

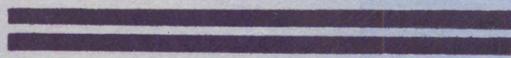
ISSN 0130-7673

# НОВОБЫИ МИР

2

НОВОБЫИ МИР

2



1979

1979



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ — Микола Нагнибеда, Михайло Стельмах, Дмитро Павлычко (перевел Юрий Саенко), Микола Бажан (перевел Яков Хелемский), Леонид Первомайский (перевел Яков Хелемский), Любомир Дмигтерко (перевел Юрий Саенко)	3
ВЛАДИМИР ЖУКОВ — Новые стихи	9
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Окончание	11
НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ — Магадавская область, стихи	176
БОРИС КУНЯЕВ — Июньское утро, стихи	179
ЮЛИЙ КРЕЛИН — На что жалуется, доктор? Повесть. Окончание	181
ЮРИЙ БЕЛАШ — Ракета, стихи	206
ИВАН КИУРУ — В Сибири, стихотворение	208

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН — Судьба просветителя	209
РАФАИЛ ХИГЕРОВИЧ — Бойцов не облакивают	214

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ХРАПЧЕНКО — Пути взаимообогащения социалистических культур	253
---	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	268
Л. Скорню. Тяжелый труд войны. — И. Соловьева. Без особых происшествий. — Виктор Кочетков. Алексей Кулаковский — поэт и просветитель.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	278
<b>А. Нуйкин.</b> Серая проказа кича.— <b>В. Перцов.</b> К познанию души человеческой.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Э. Сергеева. — Виктор Близнец. Молчун. Повести. ♦ Александр Каменский. — Александр Письменный. Рукотворное море. Рассказы. ♦ Н. Жегалов. — Валентин Сидоров. На вершинах (Творческая биография Н. Рериха, рассказанная им самим и его современниками). ♦ И. Дубашинский.— Л. В. Сидорченко. Байрон и национально-освободительное движение на Балканах («Восточные повести»). ♦ Б. Марушкин.— С. Пожарская. От 18 июля 1936 — долгий путь	284
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	288

---

---

## ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ



МИКОЛА НАГНИБЕДА

### *К созвездиям*

Гудят пути  
В долинах и в горах,  
Мосты на реках  
И в полях комбайны,  
У юности же  
Светятся в глазах  
Галактик неразгаданные тайны.  
В созвездиях  
Горячие сердца,  
Ждет юность только  
Стартового часа,  
Чтоб ввысь поднять корабль  
И до конца  
Прорезать космос  
Небывалой трассой.  
Пусть звездный мир таинственно молчит,  
Но все ж с Земли  
Сквозь все ее тревоги  
Гагарин новый  
Снова прочертит  
К далеким звездам  
Новые дороги.  
Штурмуют небо  
Сотни кораблей,  
И подвиги —  
Отцовских душ горенье —  
Передаются в руки сыновей  
И вслед за ними  
Новым поколениям.  
Пускай же тем,  
Кто подвиг вновь свершит,  
Сопутствуют  
Счастливою приметой  
Улыбчивость гагаринской души  
И голос матери  
На голубой планете.

## МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

\* \* \*

В зерне еще песня на ниве твоей,  
А ты уже ветром летишь через горы,  
Глубокая складка легла меж бровей,  
Чтоб сила подспудная вышла в просторы.

С тобою она уходила в бои,  
Пылала натруженным потом и кровью,  
Чтоб светлые помыслы, думы твои  
Взошли на звенящих полях Приднепровья.

Пусть песня в душе — как весенняя рожь.  
Гуляют ветра по пшеничному краю,  
А ты по земле как хозяин идешь —  
И нету границ твоему урожаю!

\* \* \*

Партизаны идут, напевая,  
Переплыв на закате реку:  
Ты не плачь, не печалься, родная,  
Много слез еще лить на веку.

Будешь ждать ты меня вечерами  
Из лесов, где не молкнут бои,  
Затуманятся очи слезами,  
Ляжет иней на косы твои.

Ты мне сына расти, ожидая,  
Пусть героями множится край..  
До свиданья, жена дорогая,  
Ты почаще меня вспоминай.

---

 ДМИТРО ПАВЛЫЧКО
*Збруч*

То, что нам веками сердце жгло,  
Поросло травой и отболело,  
Лишь воспоминанье, как стекло,  
Острием осколка вьелось в тело.  
Из колючей проволоки сеть  
Здесь уже не опояшет воду...  
Хочется под солнцем гимны петь  
Воссоединенному народу.  
Мой народ! Вовек не сгинешь ты,  
Не падешь, как раб, кому-то в ноги,  
Потому что над Збручем мосты  
Для тебя открыли в жизнь дороги.  
Пусть же наши вольные края  
Мучат палачей изжогой жгучею.

Где-то там, за гранью, знаю я,  
 Спит межа, как гадина ползучая.  
 Изрубили мы ее — она  
 Лишь шипит из старой дупловины...  
 Утвердился в новых временах  
 Дух народа, дух семьи единой.  
 И красу Карпат вобрал Днипро,  
 У Славуты стали шире воды.  
 Высшим счастьем светит нам добро  
 Воссоединенного народа.  
 Наш народ! Не сгинешь ты во мгле,  
 Не сожжет огонь родного крова,  
 Потому что встало на земле  
 Стражем дружбы ленинское слово.

Перевел ЮРИЙ САЕНКО.

МИКОЛА БАЖАН

## *Памяти Юрия Смолича*

1

По лестнице крутой все выше, выше  
 Я тяжко поднимаюсь в тишине  
 И, кажется, его дыханье слышу,  
 Но не выходит он навстречу мне.

Все как при нем — раскрытый верх машинки,  
 Кленовых листьев пламенный букет,  
 Стена из книг, на столике новинки.  
 И лишь его, увы, на месте нет.

Но снова мнится силуэт знакомый  
 На фоне серо-синего окна.  
 И улыбается хозяин дома,  
 Светла его улыбка и грустна.

И этот свет, не гаснущий поныне,  
 Я сызнова ищу. А вдруг найду?  
 Пускай вокруг безлюдие пустыни,  
 Я по ступенькам все-таки взойду.

Быть может, на стремянке он, а может,  
 Вздремнул, расположившись на тахте.  
 Я вспоминаю век, что другом прожит,  
 Предшествовавший этой немоте.

Одолеваю лестницу кругую.  
 Переступив заветную межу,  
 Вновь, как обычно, в комнату войду я  
 И «здравствуйте!» хозяину скажу.

2

Ты сел, проснувшись. Где будильник? Полночь.  
 Безмолвие сгущается опять.

Петух соседский о себе напомним,  
Тебе его уже не услышать.

Вселенная — как волны половодья.  
Качнулась лодка головы твоей.  
Ты слышишь? Неминуемое входит.  
Молчанье криком разорви, развей!

Сквозь темень всматриваешься незряче  
В происходящее. Настал твой срок.  
Жена запричитает и заплачет,  
Ты вытянешься, неподвижно строг.

Придет конец надежде, грусти, вере.  
Останутся в объятьях пустоты  
Любимая, друзья и — след потери —  
Незавершенной повести листы.

Ждать этого всю ночь? Томиться нудно  
Иль кануть в темень, покорясь судьбе?  
Здесь будет утром шумно, многолюдно,  
Венки и речи принесут тебе.

Простертый на хрустящем покрывале,  
Скрестив свои ладони на груди,  
Ты будешь постигать иные дали,  
Уже забрезжившие впереди.

Предвечные мгновенья. Жизни звенья.  
Обрывки лет... Ужель судьба твоя  
Тебе в минуту полного прозренья  
Явила только лик небытия?

Перевел ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ.

## ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

### *Спидометр*

Не с нами связан он — с вращающейся осью,  
Усердный счетовод всех автострад земных...  
Таинственный прибор, характер твой несносен.  
Прерви сухой подсчет, остановись на миг.  
Но к нашим просьбам глух суровый соглядатай,  
Потрескивает он и щелкает опять  
И, время уплотнив, с рассвета до заката  
Запас твоей души стремится исчерпать.  
День догорел дотла, спустился полог ночи,  
Забрезжил въезд в гараж, и мимо не пройти.  
Ах, если бы разбить тот неумный счетчик,  
Который знает все извилины пути!  
Все нипочем ему — разбитые дороги,  
Рискованный обезд, немислимый вираж.  
Увы, защиты нет — не сходятся в итоге  
Горючее твое и злой километраж.

Безжалостный прибор, безмолвный собеседник...  
 Диспетчер тоже нем в холодном гараже,  
 Спидометр посчитал твой поворот последний,  
 Он знает, что бензин кончается уже.  
 А как же все в пути, все пункты назначения?  
 Ни солнца впереди, ни животворных гроз.  
 Все кончено. Ни встреч, ни новых приключений,  
 Ни треснувших рессор, ни стоптаных колес.  
 Вернуться бы опять на грейдер тот осенний,  
 Где в желтом свете фар танцует дождь в ночи.  
 Но бензобак иссяк и ты в изнеможенье  
 Диспетчеру сдаешь путевку и ключи.

\* \* \*

Когда грохочет залп неумолимый  
 В расщелинах земных, в крутых ярах,  
 Когда труба печная вместе с дымом  
 Возносит к тучам человечесий прах,

Когда земля впитать уже не может  
 Всю кровь, что натекла из жил, струясь,  
 И даже небо с пепелищем схоже,  
 А пыль вселенной в камень запекалась —

Тогда поэт по праву ~~премыкает~~  
 (Другого права и не может быть)  
 Не к тем, кто хладнокровно убивает,  
 А к тем, кого торопятся убить.

Перевел ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ.

## ЛЮБОМИР ДМИТЕРКО

### *Место в строю*

В который раз? В десятый? В сотый?  
 Иду я в твой весенний плен,  
 Где окна, как ячейки в сотах,  
 Сверкают в камне древних стен.  
 Москва! Мы все при этом слове  
 На всех этапах, в холод, в зной  
 Солдатскую сверяем совесть,  
 Сверяем подвиг трудовой.  
 Стою в тебе  
 И пред тобою,  
 Как рядовой стою в строю  
 И сердцем всем, своей судьбою  
 Тебе я рапорт отдаю:  
 Я шел на зов страны орлиной  
 Из галицких далеких сел,  
 И пусть я не достиг вершины,  
 Но к ней со всем народом шел.

Мне в счастье и в беде, бывало,  
На всех дорогах и путях  
Звезда октябрьская сияла,  
Светил Страны Советов стяг.

### *Хатынь*

Три березки. Очажный огонь.  
Перезвоны печали. Руины.  
Я тебе положу на ладонь  
Землю, пепел и кровь Украины.

К жизни вновь поднялась Беларусь.  
Села песнями славятся ныне.  
Я же в стойкости здесь поклянусь  
Незалеченным ранам Хатыни.

Три березки. Печальна судьба.  
Но гранит пламенеет грозою.  
А кругом, словно бронза, хлеба,  
Гром далекий, как отзвуки боя.

Перевел ЮРИЙ СЛЕНКО.



---

ВЛАДИМИР ЖУКОВ



## НОВЫЕ СТИХИ

\* \* \*

Знать, и мы в нашем деле не новом  
подошли к неизбежной поре,  
когда хочется каждое слово  
подержать, задержать на пере.

Может, вовсе оно не годится  
в обиходе для жизни простой?..  
Не влечет, а пугает страница  
беззащитной своей чистотой.

Начинал ты бездумно и смело,  
а вчера — словно камни тесал...  
С л о в о, слово — великое дело,  
то не я — Достоевский сказал.

\* \* \*

Время за полночь... Гаснет в окне академика свет.  
Выключателем щелкнул конструктор: на сегодня довольно.  
На отбой не заводит часов, видно, только поэт,  
к милой тачке своей приковавший себя добровольно.

\* \* \*

Зачем так душно пахнет травостоем,  
звезда горит, течет луна с ветвей?..  
Остановись.. Я никогда не стоил  
любви твоей и нежности твоей.

Зачем ты взором прямо в душу целишь?  
Вернемся в дом. Уже не видно крыш...  
Когда-нибудь и холодность оценишь  
и, все поняв, забудешь иль простишь.

Мне не прожить одним твоим дыханьем.  
Кошунство: будет мало красоты.  
Как добрый нищий, я живу стихами,  
все остальное выдумала ты.

Уж не скрутить и не связать мне нитей,  
что льет луна в лазоревом дыму.

Я на земле, как всякий сочинитель,  
был неудобен в жизни никому.

Но и в последний горький миг прощанья  
с тем, что и дальше будет жить и цвести,  
скажу, склонясь: спасибо мирозданию  
за то, что ты на белом свете есть.

\* \* \*

Не знаю я, где голову сложу,  
свои у всех — крутой рубеж и время...  
Я не о том. Я о другом тужу —  
мне б попрощаться вовремя со всеми.  
Спасибо вам, кто искренне любил  
иль снисходил словесно до поэта.  
Кто рядом жил, со мною хлеб делил,  
слепой корыстью не казня за это.  
Тебе спасибо, родина моя,  
за небеса неповторимой сизни...  
Скажу одно: дня не прожил бы я  
на этом свете без России.  
Спасибо вам, родимые края,  
мои леса, цветы мои и травы,  
где я прошел, страдая и любя,  
и затерялся, не коснувшись славы.  
Все остальное, женщина, — тебе,  
чье имя снова повторяю свято,  
за то, что в переменчивой судьбе  
не отошла, уверовав когда-то.

\* \* \*

Я не чужаюсь верхних полок,  
но финской баней не грешу...  
Осумковавшийся осколок  
в себе нетронутым ношу.  
Мы с ним шпионим друг за другом,  
прислушиваясь и ершась,  
как два волчонка, что по круту  
знай ходят, взвешивая шанс.  
Полузабылся Верхний Волок,  
валдайский снег, лычковский лед...  
А пустяковый тот осколок  
с войны вернуться не дает.  
Все обошлось с годами вроде,  
поутряслось в твоей судьбе.  
А он возьмет да к непогоде  
вдруг и напомнит о себе!..  
Ужель и правда: вместо звеньев  
до срока рухнувших связных  
кому-то надо в поколение  
жить среди мертвых и живых?



---

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ



## ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ\*

Роман

хх

**Д**ипломат этот был Иван Афанасьевич Кудасов, известный в некоторых московских кругах тем, что в свое время будто бы спас от гибели Эльзу Триоле и что произошло это будто в пригороде Парижа, когда он, Кудасов, был сотрудником (одним из перспективных тогда атташе) в нашем посольстве во Франции. Как все это случилось, каким образом именно Кудасов оказался рядом с Эльзой и что угрожало этой великой женщине в ту минуту — никто, однако, не знал никаких подробностей, так как сам Кудасов никогда не рассказывал о них; он лишь говорил: «Да, было, но...» — и многозначительной паузой, сейчас же следовавшей за этим «но», давал понять собеседникам, что по долгу службы он не может рассказать всего, что знает, и что даже этим малым, что позволяет себе раскрыть, делает известное нарушение, которое, впрочем, как он полагал, в силу определенных его заслуг должно будет проститься ему. Он всегда давал понять, что знает многое, и он, наверное, действительно знал многое и потому казался всем человеком интересным, и даже когда молчал, все выглядело пристойно и было понимаемо всеми.

Кудасов должен был прийти с женою, но он пришел один. Не раз приглашавшийся на приемы самых разных уровней и умевший держаться по заданности — либо быть на виду, либо быть незаметным, — он хотя и не был знаком со многими гостями Лусо, но достаточно хорошо знал людей московского литературного и научного мира и потому с первых же минут, как только вошел, поставил себя так, что был и незаметен будто, и в то же время было видно, что он не испытывал стеснения среди всех этих несомненно знавших себе цену ученых людей. Поздоровавшись с хозяином, поздравив его и передав ему маленький сверток (что-то памятное, что он преподносил от себя и от жены) и затем слегка, одною лишь головою, поклонившись всем остальным гостям профессора, которые уже были заняты разговором, он сейчас же прошел в общество дам, где, он знал, быстрее и легче можно было стать центром внимания. Он сел между теми двумя дамами, одна из которых была Наташа, а другая — старая приятельница дома Лусо Мария Павловна, которую он хорошо знал, и с той тонкостью, сейчас же выдававшей в нем человека интеллигентного и дипломата, сделал несколько комплиментов Марии Павловне, как она молодо

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

выглядела (хотя она была преклонного возраста и была более полна и грузна, чем можно бы), тут же добавив, что Москва на этот раз произвела на него такое впечатление (он оговорился только, что имеет в виду прически и моды), будто он и не выезжал из Парижа. Сам Кудасов внешне не был человеком привлекательным; белое лицо его было усыпано веснушками, особенно темными и четкими теперь, в старости, брови были густые и пшенично-золотистого цвета и как будто не соответствовали живости его глубоко сидевших круглых глаз; точно такого же пшенично-золотистого цвета были волосы, которые он зачесывал старомодно, разбивая голову розным, со следами расчески пробором, и особенно заметны были крупные уши на круглом лице. Но, несмотря на эту внешнюю непривлекательность, как только он начинал говорить, он сейчас же вызывал у собеседника то чувство, когда внешнее восприятие вдруг как бы лишалось смысла и вступала в действие та, в сущности, неизъяснимая и завораживающая сила, которая заставляет иногда людей смотреть на талую воду, как она прокладывает себе русло среди синего льда и осевшего снега; непроизвольно, будто так должно быть само собою, он постепенно создавал о себе впечатление человека исключительного и глубокого; и все, что было надето на нем, начинало казаться, будто было чуть-чуть иным, чем на других: чуть-чуть лучше был сшит костюм и сидел элегантнее, чуть-чуть качественнее был материал рубашки и чуть-чуть лучше, аккуратнее повязан галстук; и эти чуть-чуть в одежде, сочетавшиеся с другими чуть-чуть, которые проявлялись в манере держаться и говорить, когда он каждому слову придавал как бы свою особую весомость и значимость, привлекали к Кудасову людей; в нем чувствовалось что-то такое, что можно было бы назвать вкусом к жизни и чего в суете дел не доставало многим гостям Лусо.

— Вы, как всегда, милы и добры, — сказала Мария Павловна, повернув к Кудасову свое заметно отечное лицо и улыбочко приоткрыв роскошные белые мертвые зубы. Она давно уже читала лекции на вечернем отделении факультета, и на нее давно уже не смотрели как на перспективного преподавателя и ничего большего, чем она делала, не ждали от нее; но она каждый год, как и прежде, брала на несколько месяцев творческий отпуск, который нужен был ей будто бы для работы над кандидатской диссертацией, и она действительно еще верила, что сможет сделать что-то, и ей было теперь особенно приятно, что Кудасов подсел именно к ней и заговорил с ней. — Но, к сожалению, в модах мы никогда не были первыми, — заметила она. — Обидно, но что поделаешь? Моду к нам всегда привозили: сперва в каретах, потом в поездах, теперь, правда, на самолетах, но все равно привозят, — заключила она и, взглянув на Кудасова, тотчас посмотрела на Наташу, как будто хотела определить, как модно была одета она; и тотчас же, перехватив взгляд Марии Павловны, живым, заинтересованным и мягким взглядом посмотрел на Наташу Кудасов.

Из всех пришедших на вечер к Лусо женщин Наташа была самой молодой, и на нее все обращали внимание; после пересудов, какие велись в институте по поводу женитьбы Арсения, — теперь, когда все видели его молодую жену, всем казалось, что пересуды те не могли быть верными и что Наташу не за что осуждать. Так думала и Мария Павловна и, чувствуя общее благожелательное настроение к Наташе, хотела первой, пока еще никто не сделал этого, взять шефство над нею и покровительствовать ей.

— Вы незнакомы? — спросила она у Наташи и Кудасова, хотя вопрос этот был без нужды ей, так как она знала, что они не были знакомы; и она тут же представила Кудасову сначала Наташу, затем Арсения, стоявшего рядом с ней.

Кудасов хотел было встать перед Наташею, как сделал бы непременно где-нибудь за границею на приеме; но здесь, в Москве, ему казалось, все давно было упрощено и не было принято вставать перед дамами; и он, только лишь четче обнаруживая свой ровный, со следами расчески пробор, наклонил голову в знак того, что рад новому знакомству.

— Мы полагаем, что моды рождаются в Париже,— сказал он, повернувшись к Марии Павловне из уважения, лишь для того только, чтобы подчеркнуть, что он продолжает начатый именно ею разговор, и сейчас же обращаясь к Наташе, чтобы после знакомства не показаться непочтительным к ней,— и думаем, что есть какие-то особенные законодательницы мод, которые диктуют свои вкусы и пристрастия. Нет, должен сказать вам, это далеко не так. Моды рождаются там, где рождается политика, и теми людьми, кто ворочает этой политикой и экономикой.— Взгляд его, как только он произнес эти слова, невольно скользнул по платью Наташи, которое было из новой и модной японской синтетики и было укорочено настолько (как и принято), что теперь, когда она сидела, были оголены ее обтянутые почти бесцветным капроном ноги. Он привычно и про себя улыбнулся той своей полной понимания улыбкой, которая, впрочем, никак не отразилась на его лице, и, несмотря на эту улыбку и, главное, оттого, что он не мог все же не сказать себе, что Наташа была одета со вкусом, сейчас же мысленно причислил ее к тому почитавшемуся им разряду женщин, которые никогда не говорят, что они умны, но которые при первом же взгляде на них оставляют именно это впечатление.— Я говорю так не потому, что здесь красивая игра слов: политика, моды,— добавил он.

Ему надо было чем-то занять себя на вечере, и он обращался к Наташе. Увидев, что разговор о политике и модах не совсем понятен ей, он тут же переменял тему и заговорил о некой пророчице Ванде, которая живет в Болгарии и знаменита на всю Европу тем, что будто бы еще в сорок первом предсказала немецким генералам поражение. Кудасов никогда не встречался с ней (пророчице было уже за девяносто) и не верил во все те легенды, какие распространялись вокруг ее имени; но он хорошо знал эти легенды и с легкостью и с изяществом начал пересказывать их. Самым важным в его рассказе было то, что пророчица будто бы ни разу не ошиблась в своих предсказаниях и что недавно вдруг заявила, что должна отправиться в Париж, в собор Парижской богородицы, и передать там данное ей богом умение предвещать.

— Можете представить, какой переполох вызвало это у служителей Нотр-Дам,— проговорил Кудасов с той естественностью, как будто не только Мария Павловна, но и Наташа не могла не знать, что он только что из Парижа.

Для Марии Павловны, так как вечер у Лусо имел для нее точно такое же значение, как и для Кудасова,— лишь бы чем-то занять себя,— все, что говорил старый ее знакомый дипломат, было интересным, и она, едва только тот поворачивался к Наташе, сейчас же наклонялась к нему, чтобы не пропустить какую-нибудь подробность; на лице ее было изумление и готовность слушать, и она явно хотела угодить этим Кудасову.

Но для Наташи все было впервые на вечере, она волновалась и никак не могла обрести уверенность. Общий вид профессорского кабинета, гости, толпившиеся в нем, которые представлялись ей все людьми значительными, их разговоры, движения, смех, улыбки, взгляды — все вызывало чувство, будто она поднялась на какую-то новую ступеньку жизни и надо было осмотреться ей. Ее беспокоило, как она

выглядела; но в то время как она присматривалась к нарядам других женщин и думала о своем платье, на которое только что обратил внимание Кудасов (платье было густого вишневого тона и сшито с той мерю изящества и вкуса, когда невозможно бывает ни в чем упрекнуть ни закройщика, ни портного),— преимущество ее заключалось в молодости и в том милом выражении глаз, как она смотрела вокруг и на дипломата, говорившего с ней.

— Нам с вами смешно, а каково было служителям собора,— между тем, улыбаясь, продолжал Кудасов, которому как будто доставляло удовольствие развлекать дам этими старыми и забавными пустяками.— Не стенам же пророчица собиралась передать свой дар предвидения, а кому-то из служителей, но... кому?

## XXI

— Я хочу представить вам человека, который только что приехал из Парижа,— в это время проговорил Лусо, стоявший между доцентами Карнауховым и Мещеряковым, и так многозначительно повел рукой в сторону, словно отдергивал занавес, за которым всем должно было открыться что-то необыкновенное; но все увидели только пожилого, с веснушками по всему лицу мужчину в красивом темном костюме, сидевшего с дамами.— Иван Афанасьевич,— затем обратился он уже прямо к Кудасову, перечислив прежде гостям все его дипломатические титулы, какие знал.— Мы сейчас просто больны Францией: Париж, Париж, де Голь! А каковы в действительности перспективы, если не по газетам, а глубже? — И он, как будто чувствуя, что допустил какую-то неловкость (не столько по отношению к Кудасову, сколько к дамам, слушавшим дипломата), шагнул к другу и остановился перед ним, открыв ему все свое широкое, светившееся искренностью и хозяйской доброюю лицо.— О чем думают потомки Наполеона? Что говорит сегодня Париж?

— Париж сегодня говорит о том же, что и Москва,— неторопливо и со значением, как он всегда любил вести разговор, ответил Кудасов и, в то время как произносил эти слова, успел взглянуть на Марию Павловну и Наташу, как бы прося извинить его за ту неловкость, какую допустил хозяин вечера.— Французы полны оптимизма. Я имею в виду рядовые французы,— добавил он.— И, удивительная вещь, как живучи традиции!

То, чего хотел достичь Лусо, было достигнуто им, гости потянулись к Кудасову, полукольцом окружая его, и центр разговора от доцента Карнаухова сейчас же переместился сюда, к дипломату; и вместе с дипломатом в центре и на виду у всех оказались Наташа, Арсений и Мария Павловна.

Арсений был настолько занят разными своими соображениями (вопрос квартиры все еще оставался для него самым мучительным), что он не сразу и не вполне понял, отчего произошло это движение, и точно так же, как все, повернул к Кудасову свое сухощавое и строгое лицо; маленькие и бесцветные глаза его за толстыми стеклами очков выражали, однако, то же безразличие, с каким он только что смотрел на Карнаухова, когда тот говорил, и на Мещерякова, когда тот лишь готовился вступить в разговор, и на всех других гостей Лусо. «Что он (Кудасов) может сказать и что может измениться от того, что он скажет? — видом своим, как он стоял, как будто отвечал всем Арсений.— И как можно думать о Франции, когда у себя дома мы не решили еще самых элементарных проблем?!» Мария Павловна, которая (впрочем, уже по старости) сразу же забывала, о чем она только что слушала, с еще большим, казалось, любопытством наклонилась к

Кудасову. Она держалась с той же естественностью (и с той мерю напускного интереса), как и многие другие гости Лусо, и потому была незаметна среди них. Но на Наташу, так как она была моложе всех и была человеком новым в привычном мире этих людей, сейчас же снова все обратили внимание, и женщины, изучавшие ее издали, имели теперь возможность ближе рассмотреть ее. Маленькие красивые уши Наташи были открыты, и были видны в них подаренные Арсением золотые сережки с красными рубинами. Эти сережки и кольцо на руке с точно таким же большим дорогим камнем были в тон платью и дополняли его, отбрасывая мягкий приятный отсвет на лицо, шею и руки, которые Наташа держала на коленях перед собой. Она была в том состоянии, когда по внешнему виду нельзя было сказать, чтобы она особенно волновалась или чувствовала себя стесненно, но в то время как она с удивлением будто смотрела на Кудасова и перед собой, все происходившее вокруг сливалось в душе в одну многоцветную гамму чувств, оглушавших ее. «Как здесь хорошо, какие милые люди»,— думала она обо всех сразу, не выделяя как будто никого; но она давно уже заметила среди разных мужских и женских лиц молодого человека, который постоянно искал случая встретиться с ней взглядом. Этот молодой человек с густыми, темными и низко подбритыми висками, подойдя теперь к Кудасову, так близко остановился возле Наташи, что она, казалось, слышала, как он дышит; и чувство, что он рядом (и что рядом не просто), и пугало, и радовало Наташу, и на лице ее то и дело вспыхивало то счастливое беспокойство, от которого всем было приятно смотреть на нее.

Между тем, выждав, пока установится тишина и определится внимание, Кудасов заговорил о Париже и французских настроениях; он не сказал ничего нового, кроме того, что должно было быть известно всем из газет (и о дружественных проявлениях Франции к Советскому Союзу, и о стремлении ее выйти из-под зависимости Соединенных Штатов), но вместе с тем все слушали его с интересом, потому что, во-первых, он был оттуда, из Парижа, и это уже придавало его словам определенную весомость, и, во-вторых, был, как выразился Лусо, представлявший его, генералом от дипломатии, а значит, находился в курсе всех тех тонкостей, проводившихся в международной политике, о существовании которых люди, не связанные с дипломатией, обычно только догадываются, и тонкости эти всегда привлекают их. И именно потому, несмотря на общий характер разговора, всем казалось, что Кудасов все же приоткрыл какие-то тайны, которые хотя и трудно было уловить в его словах и непонятно было, в чем же они заключались, но что они были, мало кто мог усомниться из гостей профессора.

— Авторитет де Голля велик.— И Кудасов, пробежав по лицам смотревших на него людей, остановился на все еще слегка возбужденном лице Лусо, словно хотел спросить: «Ну, доволен?».— Мы даже подчас не представляем, насколько этот авторитет велик во всех слоях французского общества.— Он глядел уже только на Лусо.— Де Голль может круто повернуть политику Франции.

— Своего рода Наполеон,— сказал кто-то с усмешкою.

— Французы всегда были склонны к гигантомании,— сейчас же подхватил Карнаузов, все это время со скептическим выражением слушавший Кудасова.— Шеренга Людовиков, шеренга Наполеонов, де Голль.— И он невольно посмотрел на Мещерякова, как будто сказанное непременно должно было относиться к нему.— Какому народу пришло бы в голову соорудить Эйфелеву башню посреди Парижа? Ради красоты? Нет, извините: к небу, к небу, на Олимп! — Он поднял лицо и руку, желая как будто указать на тот самый Олимп, о

котором говорил, и все утонченно-рафинированное в его внешности, что сегодня было особенно заметно всем и что не соответствовало теперь ни его словам, ни жесту, опять вызвало у многих то же впечатление неловкой, но модной подделки под народное мнение.

Успокоившийся было Мещеряков вновь почувствовал себя уязвленным, и с несвойственной полным людям (но свойственной его характеру) резвостью повернулся к Карнаухову и живо и энергично, с той мерою убежденности, как он обычно говорил перед студентами, произнес то, что, казалось, он не мог не произнести, глядя на Карнаухова.

— Эйфелева башня — это украшение Парижа, если не считать еще, что по ней идут трансляции телепередач, — сказал он. — Так что некая, как вы говорите, гигантомания оправданна. Башне найдено применение. Но оправданна ли гигантомания наша, России, да, да, не смотрите на меня так! Разве мы не отлили царь-пушку, из которой никто и никогда не стрелял и не выстрелит, и разве не отлили царь-колокол, в который ни разу не ударили и не ударим?

— О чем же это говорит? — ответил Карнаухов, с живостью вступая в спор с Мещеряковым; он хитровато сузил глаза, всем корпусом повернувшись к коллеге-доценту, и сквозь рафинированную утонченность, за которой обычно трудно бывало разглядеть мужиковатую простоту его лица, теперь, несмотря на бакенбарды, белый воротничок и щегольски повязанный галстук (и несмотря на обрамляющий лоск профессорского кабинета и собравшихся в нем гостей), простота эта ясно проглядывала в нем. Он был тем вышедшим из деревни интеллигентом, которые с удовольствием пользуются всеми благами городской жизни, в душе оставаясь, однако, приверженцами деревни, и под словами «народ» и «народность», когда произносят их, подразумевают только людей, занимающихся крестьянским трудом. — Это говорит о том, — с живостью же продолжил он, — что у русского народа... — он чуть приостановился, так как слово это требовало определенной паузы, — есть еще потенциальные возможности. Французы уже исчерпали свое, нацепили антенну — и все, предел. А нам еще предстоит ударить в свой колокол.

— Вы забываете, — возразил Мещеряков, — колокол сдан в музей и выставлен на общее обозрение.

— Под открытым небом? Это еще не музей.

— Музей, хотите или не хотите, музей. Нашей гигантомании мы даже сами не смогли найти никакого практического применения, кроме как выставить ее напоказ.

— В музей оно надежнее, сохраннее, — теперь уже возразил Карнаухов. — И если уж царь-колокол и царь-пушку мы признаем как выражение народного характера, то нечего сомневаться: рано или поздно, но характер свой народ проявит. И независимо от нашего с вами разговора. Мы еще ударим в свой колокол. Ударим. — И он еще более сощурил весело игравшие хитрецою глаза.

— Ваш патриотизм — больной патриотизм. Вы опоздали почти на полвека. Ударили в семнадцатом, — посмотрев внимательно и жестко на Карнаухова, сказал Кудасов, сейчас же снова притягивая общее внимание. Все привыкли к тому, что у нас обычно ругают западников: и в печати, и в разных официальных и неофициальных разговорах и беседах; но Кудасов вопреки этой установившейся традиции собирался осудить то, что как будто не могло подвергаться сомнению, и это обстоятельство лишь более усилило теперь интерес к нему. — Нет, я ни в коем случае не хочу упрекать вас лично, — тут же поправился он, так как то, о чем намеревался сказать, было, как он считал, общею, распространенною в определенных кругах людей болезнью. — Разве

вы не видите, что происходит в мире? Наше социалистическое содружество всем на Западе как бревно в глазу, и против нас применяют сейчас самое скрытое и самое подлое оружие — разжигание национализма. Национальные чувства любого народа — это натянутые струны, и нельзя допускать, чтобы по ним прыгали чужие пальцы. А пальцы эти начинают прыгать, червь выпущен из коробки и принимается за свое дело, и то, на что рассчитывали там, что червь-то не таврован, а будто свой, доморощенный, так и воспринимается нами. Этот соблазнительный червь уже проник и в литературу, и в искусство, и, к сожалению, во многие другие кабинеты, и самое опасное, если уж говорить начистоту, это если русский народ клюнет на эту нетаврованную приманку. Там думают, взрывом национализма можно развалить любую державу. И они на всякое наше подобное высказывание, — он опять посмотрел на Карнаухова, — бьют в ладоши и кричат: «Браво! Браво!» Но они просчитаются.

## XXII

Для Кудасова то, что он сказал, было его наблюдением жизни; он не хотел обидеть ни Карнаухова, ни Мещерякова, которых прежде, до этого вечера, никогда не видел; но он сейчас же, как только они заговорили, почувствовал в них то противоборство мнений (и в плане истории и в плане будущего развития), какое в прошлом, как яблоко раздора, из десятилетия в десятилетие постоянно кем-то будто подбрасывалось в наше общество. Начиненное, в сущности, теми же старыми, но лишь слегка подновленными идеями, яблоко вновь чьими-то ловкими руками подавалось теперь на общественный стол жизни. И хотя Кудасов не связывал это непосредственно ни с приездом де Голя в Москву, ни с успехами проводившейся социалистическими странами миролюбивой политики в Европе, но он хорошо знал, что многие деятели Запада были недовольны этой политикой, особенно недовольны были растущим авторитетом Советского Союза, и недовольство их, а вернее контрмеры, предпринимавшиеся ими, неуловимо и непонятно каким образом, но отзывались ненужным беспокойством в деловой и целеустремленной жизни московской интеллигенции. Кудасов чувствовал это; и чувствовал руку, подающую яблоко; и хотя в подтверждение он не мог привести никаких фактов (как и сотни других, понимавших то, что понимал он), но он считал своим долгом сказать это, что он думал и чувствовал, особенно здесь, среди гостей Лусо, настроение которых было так или иначе отражением общественной жизни.

Но настороженность Кудасова не была принята ни Мещеряковым, ни Карнауховым.

Мещерякову не понравилось, что дипломат отводил Западу лишь ту зловещую роль, будто там только и думают, как уничтожить Советский Союз; ему показалось, что это было старо и шаблонно — так представлять Запад (тем более что сам Мещеряков никогда не испытывал на себе как будто никакого тлетворного влияния Запада); и он, потеряв интерес к дипломату, отвернулся от него. Еще более все высказанное старым дипломатом было неприемлемо доценту Карнаухову, который считал, что национальные чувства людей нельзя смешивать ни с какими иными вопросами и что если и есть разлагающее влияние Запада, то именно в том, что народ хотят лишить национальной самобытности; Карнаухов сделал было движение, чтобы возразить дипломату, но затем, лишь скептически усмехнувшись, тоже отвернулся. Вслед за ним постепенно начали отворачиваться и отходить и приверженцы взглядов Мещерякова, и приверженцы взглядов

Карнаухова, и в освободившееся пространство неожиданно выдвинулся Арсений. Он вышел из-за спины сидевшей перед ним Наташи и живо и с интересом сказал дипломату:

— То, что вы говорите, по-моему, очень близко к истине.— И он тут же стал развивать перед Кудасовым ту свою теорию серединности, которая, в сущности, ничего общего не имела с только что высказанными соображениями дипломата, но была к месту тем, что в ней осуждались крайности.— Я вполне согласен с вами,— говорил Арсений, соглашаясь, разумеется, не столько с Кудасовым, сколько с собой, с теми своими доводами, каких всегда придерживался в разговорах с Карнауховым и Мещеряковым.— Никакой прогресс был бы невозможен без совокупности усилий всех народов земли. Нет наций особых, избранных, мы все равны перед лицом истории, и я удивляюсь, как многие из нас до сих пор еще не могут понять этого.

— Философия избранных всегда была опасной философией,— подтвердил Кудасов.

— Крайность, я говорю, крайность!

— Иногда просто крайность, а иногда и нечто большее. На Женевской конференции...— Кудасов встал, чтобы ближе видеть собеседника, и точно так же, как и Арсений, как будто в продолжение общей беседы заговорил о том, что было ближе ему, о недавно прошедшей в Женеве конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, в подготовке которой он принимал участие. Взяв Арсения под руку, он потянул его к окну, затем к двери и принялся ходить с ним по кабинету, все более и более увлекая его этими своими еще свежими воспоминаниями.

Лусо, еще в самом начале разговора ушедший посмотреть, как накрывался стол, и поторопить официанта, был теперь в прихожей и принимал последних запоздалых гостей, которые шумно поздравляли его. Мария Павловна, наклонясь к пожилой даме, отвечала ей на какие-то совершенно далекие от политики и приезда де Голя в Москву вопросы, а к Наташе, как только она осталась одна, сейчас же подсел тот самый с низко подбритыми висками молодой человек, который с самого начала вечера взглядами счастливо волновал и смущал ее.

Это был племянник Лусо, журналист и начинающий писатель Геннадий Тимонин. Он готовился к поездке в Пензу, чтобы осветить, как он говорил, сенокос, и накануне отъезда был теперь на дядиных торжествах. Лусо любил племянника и считал его перспективным молодым человеком; точно так же думали и говорили о Тимонине и в разных журналистских и литературных кругах. Среди коллег-журналистов Тимонин распространял о себе мнение, будто заниматься как следует газетными репортажами мешают ему писательские дела, а среди литераторов — будто его заедает газета, и это в его устах звучало так убедительно, что и в той и в другой среде относились к нему с пониманием и сочувствовали ему. От него ждали, что он напишет что-то основательное; но он держался среди друзей так, будто это основательное было уже создано им, и он уже будто начинал уставать от славы, отягчавшей его. «То, что вы знаете обо мне, это только десятая доля того, что я могу» — было постоянно на его улыбающемся лице. Он родился в Москве и жил в Москве, но все, что писал, — все было о деревне, о чем писал, о чем говорил и говорил теперь большинство литераторов и о чем модно было писать и говорить. На трудностях (еще в недавнем прошлом) деревенской жизни можно было быстрее и легче всего, как это думал Тимонин, нажить писательский капитал; жизнь колхозников вызывала сострадание, но жизнь городских людей (то есть та жизнь, какую жил сам Тимонин и какая была более известна ему) была иной и не могла вызвать тех же чувств у читателей, а пото-

му и немодно было и неинтересно писать о ней. Но выставляя деревню как образец нравственной и духовной чистоты, сам Тимонин, однако, продолжал жить той своей привычной городской жизнью, которая, если судить по его высказываниям, была дурной, извращенной и несвойственной естеству человека, но если судить по его всегдашнему веселому настроению — была интересной, наполненной и нравилась ему.

Среди гостей, толпившихся в просторном дядином кабинете, Тимонин выглядел самым молодым. Он был, как и большинство мужчин, в нейлоновой рубашке, темном костюме и в своих серебряных с камнями запонках, которые, как глазки, проглядывали в белых и жестких манжетах его рубашки; но запонки эти ни на кого не производили того впечатления, какое они производили обычно, когда Тимонин появлялся среди косарей-механизаторов на лугу или среди трактористов в поле (или в той же дорогомиллинской гостиниой, где завсегда и относились к нему не просто как к москвичу, но как к представителю мыслящей московской интеллигенции); здесь, у дяди, среди общего блеска рубашек, запонок, перстней, костюмов и лиц Тимонин выделялся только молодостью своего лица, на котором, кроме беззаботности, счастья и преуспевания, ничего другого нельзя было прочесть. С этим веселым и беззаботным видом и с одною только как будто целью — поговорить с красивой молодой женщиной, занимавшей его воображение, он и подсел сейчас к Наташе, с удовольствием заметив то счастливое беспокойство, какое было на ее лице.

— Вы здесь у нас впервые,— сказал он.— Я раньше вас никогда не видел.— И он представился Наташе, назвав себя и, как всегда, с улыбкой и после паузы добавив, что он журналист и писатель.

— Да, я здесь впервые,— ответила Наташа. «Он — писатель! Я сразу заметила в нем что-то особенное»,— подумала она с тем затаенным торжеством, от которого как раз и происходило все ее счастливое беспокойство; и она сейчас же начала искать глазами Арсения, как будто боялась, что вдруг разорвется та связь с ним, которая все эти недели так тепло согревала ее.

— Вы ищите мужа? Вон он, с дипломатом.— Тимонин приятно улыбнулся.— Вам так к лицу ваше платье,— затем сказал он,— да, да, я давно наблюдаю за вами, и если бы я был художником, непременно выбрал бы вас для своей картины.— И он, смущая и еще более заставляя краснеть Наташу, ладонью дотронулся до ее руки, словно хотел убедиться в гладкости ее кожи.— Если бы я был вашим мужем, я бы гордился вами,— добавил он и движением глаз указал на Арсения, увлеченно говорившего с дипломатом.

«Как вы молоды, и как он стар» — вместе с тем выразили его глаза.

— Вы читали мои книги? — чтобы снять неловкость, тут же спросил он.— Я пишу о деревне, о нравственной красоте человека,— не дожидаясь, что скажет Наташа, и стараясь упредить тот ответ, что книг его не читали, какой чаще всего приходилось слышать ему, пояснил он. Правда, на подобный ответ у него была своя оговорка, что, дескать, теперь пишут и печатают так много, что разве за всем уследишь? Но оговорка все же не избавляла от дальнейшего неприятного объяснения.— Жаль, у меня ничего нет с собой, я бы вам с удовольствием надписал. С удовольствием.— И он опять, заставив вспыхнуть Наташу, притронулся к ее руке.

— Сейчас много пишут о деревне,— сказала она.— И, по-моему, все об одном и том же, а хочется почитать уже что-то более современное, более возвышенное.

— Ну что вы, напротив, я думаю, нет ничего более современного, чем писать о корнях народной жизни,— поспешно возразил Тимонин. Его как будто совершенно не касалось то, о чем только что спорили Карнаухов, Мещеряков и Кудасов; он чувствовал лишь, что должен сказать Наташе что-то красивое и умное, что вместе с тем выглядело бы как его собственное мнение о народе и народной жизни.— Какой бы нравственный вопрос мы ни затронули, все упирается в деревню, в мужика. Я много езжу,— для убедительности того, что он говорил, добавил он,— и наблюдения и выводы очень любопытны. Вот, к примеру, когда деревенский человек общался с природой не через трактор, а через пегую или, скажем, буланую лошаденку, он более чувствовал себя человеком, потому что жизнь той же буланой лошаденки зависела от него, от мужика, мужик видел в себе высшее разумное существо, и сознание, что он как бы стоит над природой, рождало в нем чувство достоинства, что он — человек,— говорил Тимонин о том, что по логике вещей, казалось ему, должно было быть несомненной истиной.— Человек с большой буквы, если по-горьковски. А мы теряем это чувство достоинства. По объективным причинам, но теряем. Мы видим вокруг себя только машины, и техника порой настолько сложна, что она подавляет человека, и я, извините, я уже не высшее разумное существо, каким мог бы чувствовать себя от рождения. Разве это не современность? Нет, что вы, нам надо возвращаться к истокам жизни, и это одна из самых острых современных проблем,— заключил он с тем чувством, будто никто и ничем не мог возразить ему.— А впрочем, хватит о литературе,— добавил он.— Но вы сами, заметьте, сами напросились на эту лекцию. Да, да,— сказал он, приближая к Наташе свое улыбающееся молодое лицо, выражавшее совсем иные желания и мысли, чем те, о которых он говорил ей.

## XXIII

В это время в кабинет вошел Лусо в сопровождении двух молодых мужчин, и все сейчас же посмотрели на опоздавших.

Один из вошедших, Григорий Дружников, был знаком многим гостям Лусо. Но его больше знали не как геолога и ученого, работавшего в одном из научно-исследовательских институтов Москвы, а как родственника декана (Дружников был женат на двоюродной племяннице профессора, которая пришла вместе с ним и осталась теперь в той половине дома, где накрывался стол и была хозяйка) и соответственно относились к нему. Одни считали его недалеким за то, что он больше улыбался и слушал, чем говорил, другие, напротив, видели в нем глубокий и разносторонний ум, но все сходились на том, что он все же (имелось в виду: несмотря на родственную связь с деканом) был добрым малым, и оттого все охотно общались с ним.

— О, Григорий,— сказал Карнаухов, первым подходя к нему и подавая ему руку.— Ты не один?

— Да, познакомься: Дементий Сухогрудов, мой друг и, между прочим, герой Самотлора.— И Дружников чуть отстранился, как бы открывая перед Карнауховым (и перед всеми) высокого, сухощавого, с загорелым лицом и русою курчавившеюся бородкой молодого человека, пришедшего с ним.

Те, кто стоял поближе, как только было произнесено слово «Самотлор», потянулись к Дружникову и Сухогрудову, невольно образуя новый кружок для разговора. С понятием Самотлор связывалось у них то (потрясающее умы многих деятелей разных стран) открытие нефтяного месторождения, о котором все еще не переставая писалось в прессе, и то общее преувеличенное представ-

ление людей, никогда не бывавших в Сибири, что под огромным пространством тайги, непроходимых болот и трясин гаятся энергетические ресурсы,—это общее представление о пространстве, трудностях и ресурсах переносилось теперь на Дементия Сухогрудова, на которого все смотрели с нескрываемым любопытством и восхищением. Общее любопытство еще более было привлечено к Дементию, когда Дружников, назвав его автором грандиозного проекта северной нитки газопровода, добавил при этом, что проект рассмотрен в правительстве и что на днях Сухогрудов будет принят министром.

— Или его первым заместителем, я прав? — уточнил он, весело и счастливо взглянув на давнего, со студенческих лет близкого ему друга.— Пока мы здесь теоретизируем,— не давая ничего ответить Дементию и обращаясь уже к Карнаухову, продолжил он,— они там открывают богатства. И какие!

— Земля держится, как известно, не на словах, а на китах,— заметил Карнаухов, которому, несмотря на всю его внешнюю столичную интеллигентность, как он выглядел перед Дементием, хотелось казаться простым, свойским человеком; но так как шутка получилась неловкой и нельзя было понять, над кем же он более иронизировал, все опять почувствовали то ложное желание доцента подстроиться под народное мнение, какое в этот вечер особенно было заметно в нем и отталкивало от него.

— А кто киты? Киты кто? — спросил Дементий, резко повернувшись к Карнаухову и давая понять, что он не из тех, кто позволит шутить над собой.

Дементий с неохотой шел на вечер к Лусо. Прилетев (было уже за полдень) в Москву и побывав в министерстве, где было сказано ему, что все начальство теперь на коллегии и что деловой разговор переносится на завтра, он отправился в гостиницу и позвонил друзьям, которых было у него немало в Москве. Вечером он собирался сходить к сестре Галине, которую с тех пор, как она разошлась с Арсением, еще не видел, но прежде чем он вышел из номера, к нему заехал бывший сокурсник по институту Гриша Дружников, увез к себе и затем уговорил поехать к Лусо. «Там будут интересные люди,— сказал он.— Да и нелишне тебе почувствовать атмосферу интеллектуальной московской жизни, а у сестры ты еще успеешь побывать. Пойдем, пойдем, ну». И он почти силою втокнул Дементия в маленький и тесный для его роста «Москвич», за руль которого села жена Дружникова Лия и легко и уверенно повела машину по вечерним московским улицам. После Тюмени обилие огня и чувство большого города приятно действовало на Дементия, но еще приятнее было ему от веселого настроения Дружниковых, и он в первые минуты долго не мог подавить в себе чувство зависти, какое возникало сейчас же, как только он смотрел на Лию, успевавшую и вовремя затормозить перед светофором, и набрать скорость, и без умолку говорить, поворачивая то к мужу, то к Дементию свое полное жизни, милое и брызжущее здоровьем лицо. Она, казалось, была так довольна своей жизнью, что не могла скрыть этого; не мог скрыть этого и Дружников, весело и с комментариями расспрашивавший Дементия о Сибири.

— Ты делаешь себе биографию, нет, ты даже не представляешь, какую ты делаешь себе биографию,— говорил он с тем откровенным как будто добродушием, что нельзя было ни возразить, ни обидеться на него.— Нет, нет, ты герой, и я искренне рад за тебя,— продолжал он, когда, уже выйдя из машины, входили в подъезд дома Лусо.

В похвалах Дружникова было что-то не совсем приятное для Дементия. Но не умевший душевно перестроиться с той же быстротой, с какой вокруг него менялась иногда обстановка жизни, и после перелета, бессонной ночи и объяснения с женой сразу попавший в это веселое общество супругов и оглушенный их счастливой болтовней (оглушенный, главное, той их жизнедеятельностью, направление и цель которой никогда не были понятными ему), Дементий точно так же бессмысленно и глупо, как и Дружников и Лия, улыбаясь, глядя на них, и казался себе зараженным той же пустой веселостью, после которой, когда веселость проходила, обычно бывало неловко и мрачно ему. Он чувствовал себя так, словно и в самом деле был в окружении друзей, и оттого не в силах был вникать в тонкости разговора, но когда, переступив порог квартиры Лусо и поздоровавшись с хозяином и хозяйкой, прошел в кабинет, где были гости, сейчас же почувствовал ту неловкость, какую испытывал всякий раз, оказываясь среди множества незнакомых и красиво одетых людей. Несмотря на то, что сам Дементий был во всем лучшем, что Виталина дала ему в дорогу, и костюм и рубашка не были помяты и сидели аккуратно и были к лицу, но на всем внешнем виде его, и он сразу же уловил это, лежал какой-то будто налет провинциальности, который был заметен всем и который прежде всего был неприятен самому Дементию. Он сейчас же ощутил, что между ним и всеми остальными, наполнявшими кабинет Лусо, было какое-то противостояние, которое скрытно сперва прозвучало еще в похвалах Дружникова и было вполне очевидным теперь и в шутке Карнаухова и во всех тех взглядах, какие перехватывал и ловил на себе Дементий; и как бы в ответ он смотрел на всех ммуро и до конца вечера оставался мрачным и раздраженным.

Неприятное чувство противостояния было усилено в нем еще двумя обстоятельствами, которые особенно подействовали на него.

Первым было — разговор о природе и об охране окружающей среды, возникший сразу же возле Дементия. Но так как большинство говорило лишь о том, что богатства земли не беспредельны и что человечество, как клещ, вцепившись в землю, тянет из нее и нефть, и газ, и руды, попутно уничтожая леса и загрязняя реки (что было, в общем-то, не беспричинным беспокойством), — разговор этот не то чтобы не нравился Дементию, но он чувствовал, что все упреки были как бы направлены на него и ему надо было что-то отвечать и защищаться. Особенно возмутила его реплика, брошенная подошедшею пожилою дамой, Марией Павловной, которой после того, как Кудасов занялся Арсением, а к Наташе подсел племянник Лусо, скучным и неприличным казалось оставаться одной.

— Говорят, от тундры уже ничего не осталось, вы всю ее перепахали своими вездеходами вдоль и поперек, — сказала она, с заинтересованностью как будто вступая в разговор. Но не имевшая, в сущности, никакого понятия о предмете разговора, она лишь высказала то когда-то, где-то и от кого-то услышанное обывательское мнение (каких по разным вопросам жизни всегда бывает достаточно в определенных слоях людей), какое хотя и нельзя было ничем подтвердить, но ей представлялось — должно было быть правдой или, по крайней мере, чем-то приближенным к правде. Она, не подозревая того, затронула тот болезненно важный для Дементия вопрос, на который он сам давно и мучительно искал ответа и спорил с Кравчуком и Луганским, как было и в этот раз перед отлетом в Москву.

— Вы знаете, кого мы напоминаем нашим разговором? — Он произнес «мы» и «нашим», чтобы смягчить, что он намеревался сказать Марии Павловне и окружавшим ее. — Мы напоминаем тех горе-охотников, которые, доедая поджаренные хрустящие крылышки дичи и

белыми салфетками вытирая масляные губы, принимаются рассуждать о том, для чего надо было убивать эту дичь, пусть бы жила себе да и жила и летала. Можно молиться на леса, на горы и реки, а что мы оставим будущему поколению? Плюшкинские сухари в подвале? — Он употребил то пущенное Жаворонковым выражение «плюшкинские сухари», которое все теперь любили повторять в управлении. — Но разве допустима сама мысль, чтобы мы передали будущему поколению лишь плюшкинские сухари в подвале? Мы должны оставить им в наследство промышленно развитую и технически оснащенную могучую державу, — говорил он, в то время как многие, как только что от Кудасова, теперь отворачивались и отходили от него.

Вторым обстоятельством был Арсений, с которым Дементий никак не ожидал встретиться здесь. Он увидел бывшего мужа Галины в минуту, когда тот прохаживался с дипломатом, увлеченно о чем-то споря с ним; они то подходили к Дементию так близко, что он видел все оживленное (и не изменившееся с годами) лицо Арсения с его крупными роговыми очками, то отходили, и тогда перед Дементием открывалась спина и вся худая и вызывающе стройная фигура Арсения в безукоризненном темном костюме. Арсений всегда одевался хорошо, и Дементий знал это; но, может быть, по чувству, передавшемуся от отца, для которого не было в человеке ничего выше мужичьего (надо было понимать: трудового) начала, — как и отец, с первых же дней не одобрял второго замужества Галины и за все годы так и не смог сблизиться с Арсением; не зная, за что теперь осудить бывшего ее мужа, но чувствуя (за сестру же) мгновенную неприязнь к нему, он косо и с насмешкою посмотрел именно на костюм Арсения и на белую кромку воротничка вокруг его худой и бледной шеи.

Но несмотря на осуждение и неприязнь, как только дипломат и Арсений остановились, Дементий невольно начал прислушиваться к их разговору.

— Каждый организм вырабатывает защитное средство, — сейчас же донеслось до него. — Защитное средство государства — патристическая история. Историю эту и делает и сохраняет народ. Всякое старание размыть это защитное средство есть вред для народа; в конечном итоге — сильный народ, сильное государство стирают подобных размывщиков, — говорил Кудасов, не замечая, что к нему прислушиваются, и переходя к тому важному вопросу, который все это время занимал его; он старался объяснить Арсению те свои положения, какие не совсем удачно, как он думал, были высказаны им в недавнем споре с доцентами Карнауховым и Мещеряковым. — Национальное чувство людей — самое тонкое место в устройстве общественной жизни; оно невидимый и неподозреваемый до времени пороховой погреб, подложенный под всякое государство, и при любом неосторожном действии (от слова, именно — от слова!) может взорваться со страшной силой. Все попытки извне развалить нашу державу силой заканчивались неудачно; сейчас пробуют с этой стороны, — говорил он, не давая ничего вставить Арсению...

#### XXIV

— Ну так скоро ли? — Лусо в очередной раз заглянул в отведенную под столовую большую комнату, где накрывали стол.

Стол, впрочем, давно уже был накрыт, но официант все еще не решался сказать «да» и, то отступая на шаг, то наклоняясь вправо или влево (с тем видом, что не зря приглашен и не зря платят ему), смотрел на свою работу, как были расставлены приборы и кушанья. Две соседские женщины, хозяйка дома и племянница Лия были тут же

и молча смотрели на официанта, ожидая его решения; они не хуже его умели и знали, как принять и накормить гостей, но в присутствии высокого, бледного и строгого мужчины в черном с атласными отворотами костюме и бабочкой под подбородком чувствовали себя стесненно и опасались его.

— Да скоро ли? — снова проговорил Лусо.

Он чувствовал, что гости уже заждались и что пора было начинать, и с недоумением, недовольством и упреком смотрел на жену и официанта.

— Ты, Игорь, иди, мы уж тут без тебя как-нибудь разберемся, — сказала Нина Максимовна, и профессор снова ушел занимать гостей.

Только спустя четверть часа наконец все были приглашены к столу.

Гости входили в просторную, более светлую, чем кабинет, столовую и рассаживались в том неписаном порядке служебного и возрастного старшинства (и приближенности к хозяину дома), как было привычно и принято между ними, и после первых же тостов, провозглашенных в честь юбиляра-хозяина (тосты были выслушаны в полной тишине), и похвал в адрес Нины Максимовны, жены Лусо и хозяйки дома, разговор вновь незаметно разделился на большие и малые островки, в каждом из которых были и свой центр и свой предмет обсуждения и разгорались свои сиюминутные и общежизненные страсти и интересы.

Во главе стола, где виднелась бритая и порозовевшая от выпитых рюмок голова виновника торжества, опять вспомнили о предстоящем визите де Голля, и опять все внимание было обращено на Кудасова, который сидел рядом с Лусо и руководил разговором. Растратив весь полемический заряд на Арсения, которого он хотел убедить в своей правоте, Кудасов высказывал теперь лишь то, что было и интересным, и не могло вызвать разногласий.

— Начинается новая полоса в международной политике, полоса широких личных контактов государственных деятелей, — говорил он, играя голосом, и в том состоянии приподнятости, когда никто из слушавших не замечал ни конопатости его щек, ни густоты нависавших старческих бровей, безобразивших его лицо. — Мы, разумеется, еще не вполне можем постичь все открывающиеся возможности, но, думаю, шаг в сторону мира и разрядки будет огромен. Одно дело общаться через посредников, и совсем другое выходить напрямую. Наши позиции ясны, и надо, чтобы они так же ясны были тем, кому мы адресуем их, — говорил Кудасов.

— После неуверенного и шаткого десятилетия, мне кажется, — заметил Лусо, — наступает время твердого направления и разумных дел.

— Да, это чувствуется во всем, — сказал Кудасов, выражая то общее настроение, с каким большинство людей принимало и одобряло теперь все новые начинания правительства. — Хватит с нас тряской дороги, люди хотят наконец пожить спокойной и уверенной жизнью.

В середине стола разговором владели женщины.

Они говорили о том, как важно иметь в доме хрусталь, серебро и вообще хорошую посуду и что, как бы ни осуждалось пристрастие к дорогим вещам, красота никогда не была и не может быть дурным вкусом.

— Хорошо принять гостей — разве это мещанство? — спрашивала Мария Павловна, которой хотелось вести разговор. — Я никогда не соглашусь с этим. С этим просто невозможно согласиться. — И в то время как она говорила это, она перекладывала из блюда к себе в та-

релку кусок заливного осетра, игравшего желтоватым, янтарным студнем.

— Для чего тогда жить, если одно тебе запрещено, другое нельзя, третье противопоказано.— Жена Мещерякова, полная, в черном платье с ниточкой жемчуга вокруг шеи, была заражена той же идеей западничества, что и муж, и потому она не могла теперь упустить случая, чтобы лишний раз не высказать свое мнение.

— А по-моему: живи, пока живется,— весело вставила племянница Лусо Лия, для которой жить означало — ловить мгновенья.— Кто и что нам может запретить? Есть деньги — покупай, одевайся, обставляйся, а не на что — утешай себя мыслью, что ты не мещанин.

— Молодец, Лия, ты просто прелесть,— поспешно поддержала Мария Павловна, полагавшая все-таки, что она ведет разговор. «Нет, вы только посмотрите на своего племянника,— вместе с тем взглядом говорила она, незаметно указывая Нине Максимовне на Тимонина, сидевшего рядом с Наташей и ухаживавшего за ней.— Каков, нет, вы только посмотрите!» И она снова и снова искоса поглядывала на Тимонина.

Но Тимонин еще с той минуты, как он в кабинете подсел к Наташе, ни на шаг не отходил от нее и теперь, за столом, занимал ее разговором. Напротив него, Наташи и Арсения сидели Дементий, Дружников и Карнаухов с женой, и это был самый веселый островок во всем застолье; здесь говорили громко и так же громко смеялись, не заботясь, казалось, о том, что могли подумать о них.

— Вот вы, гуманитарии-историки,— весело и вызывающе говорил Дружников захмелевшему Карнаухову.— У вас никогда между собой не было ладу, вы вечно делились на западников и почвенников, а какой прок от ваших споров? Нет, ты скажи,— настаивал Дружников, хотя было видно, что никакой ответ не интересовал его.— Все вы, и те и другие, барахтаетесь в одном мешке и ничего не решаете и не можете решить, потому что главное не в вас, а в том, в чьих руках горловина мешка.

— Гриша, Гриша, не переступай,— улыбаясь, отвечал Карнаухов. Глаза его влажно поблескивали, и он покачивал головой, давая понять, что не может принять того, что говорит Дружников.

— Вы спорите, а народ живет, работает, плодится, и ему дела нет до ваших споров. Вы сшибаетесь, ломаете копья, а сражение ваше никого не волнует, потому что... да оно просто не может волновать, как всякая бессмыслица.

— Я согласен, упростить можно все до нуля.

— При чем тут упрощение? Ты хочешь убедить меня, что я русский. Но я сам знаю, что я русский, и я — я говорю в историческом плане — никогда не замыкался в себе, а шел на простор, к людям, искал контактов, и другие народы чувствовали мою душу и тянулись ко мне. Так я говорю или не так? Так. А ты хочешь окольцевать меня, зажать, посадить в скорлупу. Да, да, пожалуйста,— говорил он в то же время подошедшему со спины официанту, который с угрюмым, бледным и ничего не выражавшим лицом медленно проходил вдоль стола и подливал гостям коньяк из бутылки, обернутой салфеткой.

То, о чем говорил Дружников, должно было быть понятно и близко Арсению, но он не включался в разговор и, как и в начале вечера, опять был мрачен и угрюмо смотрел перед собой и на Дементия. Не узнав его в кабинете (по близорукости и оттого, что был занят спором с Кудасовым), Арсений сейчас же узнал Дементия за столом и еще прежде, чем поздоровался с ним, ощутил всю свою давнюю неприязнь к нему. «Для чего он здесь? Как он сюда попал? Что ему нужно?» — подумал Арсений. Он не знал точно, за что он не любил бывшего свое-

го шурина, но всякий раз, встречаясь с ним, чувствовал, что между ними было что-то несовместимое, чего ни он, ни шурина не могли и не хотели переступить. Для Дементия этой несовместимостью была та маленькая и съезженная как будто душа Арсения, которую он, казалось, когда смотрел на него, видел насквозь, осуждал и не принимал ее (и не мог простить за сестру, ушедшую от Лукина к нему); для Арсения же, напротив, несовместимостью представлялась та способная все подавить собою сила, какую он чувствовал в Дементии и которая как раз и заставляла его съезжаться и замыкаться в себе. Но теперь главным было для него не сознание несовместимости; он заметил, как Дементий, несколько раз взглянув на Наташу и что-то спросив у соседа о ней, нехорошо усмехнулся, и это задело Арсения. «Как он смеет! Что ему надо!» — снова подумал он, бледнея и суживая и без того маленькие за толстыми стеклами очков глаза.

В то время как Арсению казалось, что он никого не трогал, удаляясь от прошлой жизни (от жизни с Галиной и Юрием) и устраивая новую (с Наташей), в то время как он только-только как будто начинал познавать счастье жизни, очищаясь рядом с Наташей, неиспорченность души которой он чувствовал так же хорошо, как он чувствовал испорченность своей (и всех других, прежде близких ему), он видел, что прошлое преследовало его. Усмешка шурина вызвала в нем целый ряд воспоминаний. Перед ним сейчас же встало все то, о чем болезненнее всего было думать ему, что после вечера, когда он с Наташей вернется домой, он снова попадет в те обстоятельства жизни, когда надо будет постоянно быть настороже с бывшей женой и сыном и оберегать Наташу от них. Ему невыносимо было видеть, как Наташа соприкасалась с его прошлым, и еще более невыносимо было сознавать, что он бессилён изменить что-либо, и он испытывал точно то же чувство, какое должен был испытывать его отец, загоняемый под полку-нары в вагоне. Ему казалось, что Галина что-то готовила против него, и не случайно потому ее почти не слышно было в квартире; что-то неприятное он ждал и от сына, который тоже давно уже не ночевал дома; и в задержке ордера виделась Арсению какая-то роковая сила, которая будто раздавить его. Он метался в душе, не показывая этого Наташе, и сейчас, в присутствии бывшего шурина и под его взглядом, казался себе обнаженным со всеми своими неудачами и желанием чистой и ясной жизни и, как уличенный в чем-то нехорошем, не мог смотреть ни на кого; вечер потерял для него интерес, он ни к кому не прислушивался, и занимало его лишь свое несчастье, которое в глазах его разрасталось до таких размеров, что заслоняло собой все остальное.

Иногда, поворачиваясь, он видел, что Наташа о чем-то увлеченно говорила с Тимониным, но он не придавал этому никакого значения, тогда как Нина Максимовна и Мария Павловна (и большинство других женщин, сидевших за столом) давно заметили это и давно уже делали свои выводы о мрачном настроении Арсения.

## XXV

На вечере у Лусо, как и на всяком подобном вечере, как только терялись нити одних разговоров, находились и завязывались другие, и когда гости из столовой вновь переместились в кабинет (где им сейчас же был подан кофе с вафлями, лимоном и сахаром), предметом общего внимания стал вопрос об акселерации молодежи. Точно с той же заинтересованностью, как все только что обсуждали предстоящий визит французского президента и говорили о хрустале, сервизах и разных других дорогих и модных вещах, необходимых будто бы для

удобства жизни (и говорили о западниках и почвенниках, спор между которыми многим, как и Дружникову и Арсению, представлялся бессмысленным), с той же заинтересованностью каждый спешил теперь высказать свое мнение относительно захватившего всех нового предмета разговора.

Мнения были как будто разные, но все сходились на одном, что явление подобное существует и что не считаться с ним нельзя; и лишь Кудасов, привычно выжидавший минуту, когда можно будет ему вступить в разговор, опять удивил всех своим неожиданным поворотом мысли.

— Да, молодежь стала крупнее,— сказал он.— Но, к сожалению, акселерация идет в направлении мышц, тела, внешнего облика, а по развитию ума очевиден обратный процесс. Физически здоровые и готовые как будто к жизни молодые люди по уму долго еще остаются, в сущности, детьми, и лишь к сорока годам, да и то не всякому можно доверить какое-нибудь важное государственное дело. Есть, конечно, исключения, но главная опасность нынешнего так называемого процесса акселерации в этом. Мы, очевидно, хорошо кормим детей, но преступно долго держим их в пеленках и опекаем и... всюду, где нужно и не нужно, шумим об акселерации.— И он начал говорить о том, что явление это (акселерация мышц, тела и отставание умственного развития) характерно теперь не только для Европы, но и для Америки и что кое-где ученые уже всерьез обеспокоены этой проблемой. Он тут же назвал несколько иностранных имен, которые хотя и не были никому известны, но живо заинтересовали всех. Вокруг Кудасова снова собрался плотный кружок людей, и он с удовлетворением чувствовал, что все же преодолел наконец то сопротивление гостей Лусо, когда многие, недослушав, отходили от него.

Между тем в столовой шли приготовления к танцам, столы и стулья были сдвинуты к стене, и Лия, включив магнитофон на ту громкость, на какую только можно было включить его, вдруг, как бы захваченная громом негритянского ритма, прямо от стены (и по направлению к середине пустой еще комнаты) начала выделывать те движения ногами, руками и всем телом, называемые современным танцем, какие еще несколько лет назад всем показались бы неприличными; но у Лии все получалось грациозно, она отдавалась музыке с упоением (и видно — со знанием дела), и, может быть, только потому, что весь уклад ее жизни не вполне совпадал с тем порочным смыслом, какой был заложен в основе выделяемых ею фигур, порочное не замечалось, а все смотрели лишь на быстроту и пластичность движений легко изгибавшегося под платьем стройного женского тела. Она намеревалась показать свое умение только жене Карнаухова Зине, с которой была более дружна, чем со всеми другими, бывшими сейчас на вечере у ее дяди; но она продолжала танцевать и после того, как у дверей уже начали толпиться пришедшие посмотреть, что тут происходит, и только проделав все нужные движения, остановилась и посмотрела перед собой.

Ей сейчас же зааплодировали:

— Молодец, Лия!

— Bravo!

— Bravo!

— Фу, господа, чему только не научишься,— еще как будто оглушенная ритмом музыки (магнитофон еще раздражающе хрипел каким-то надтреснутым мужским басом), вдруг просто и естественно сказала Лия, подходя к жене Карнаухова.— Черт те что,— добавила она, довольная, однако, тем, что она сделала.

Танцевать пошли лишь те, кто был помоложе.

Не перестававшая улыбаться и счастливая тем, что все приглашали ее, в перерыве между музыкой (и между партнерами) Лия вдруг заметила, что не было среди танцующих Наташи, с которой она хотя и не успела еще как следует познакомиться, но давно уже выделила ее среди других женщин на вечере. «Надо позвать ее»,— решила она и с той готовностью сейчас же поделиться счастьем, как это бывает у людей, убежденных, что то, что радует их, непременно должно радовать и других, пошла за Наташей.

Она увидела ее и Арсения в кабинете возле Кудасова и быстро подошла к ним.

— Вы почему не идете танцевать? — И она так весело и удивленно посмотрела на Наташу, словно давно и хорошо знала ее.— Вы хотите запереть ее для себя? — затем обратилась она к Арсению, которого и раньше не раз встречала у дяди, когда он приходил сюда еще с Галиной.— Я не узнаю вас, это нехорошо, идите!

— Пойди, если тебе хочется,— сказал Арсений, наклоняясь к Наташе худощавым и строгим лицом, в которое она, давно уловившая, что что-то тревожное будто происходит с мужем, внимательно посмотрела теперь.— Пойди, пойди,— повторил он, чуть подтолкнув ее от себя, и повернулся к Кудасову, с интересом будто прислушиваясь к нему. Но на самом деле Арсению лишь хотелось остаться наедине с теми неприятными мыслями, какие он не мог унять в себе, и как только, оглянувшись, он увидел, что платье жены и платье Лии скрылись за дверью кабинета, отошел в сторону от окружающих Кудасова людей (среди которых был и Дементий) и сел в кресло, как будто решил отдохнуть от шума и суеты вечера.

Когда Наташа вслед за Лией вошла в столовую, она снова была не совсем уверена в себе. Но не успела она присмотреться к танцующим, как перед ней появился Тимонин и пригласил ее.

— Как хорошо, что вы пришли,— проговорил он, обхватывая ее за талию и беря ее руку.— Я знал, вы не могли не прийти,— добавил он с тем выражением глаз и той взволнованностью в голосе, по которым Наташа сейчас же поняла, что он ждал ее. Она смутилась и покраснела и что-то хотела возразить Тимонину; но как и в тот раз, когда он в кабинете подсел к ней (и когда она впервые вдруг подумала, что нравится ему), в ней снова возникло то счастливое беспокойство, когда было как будто ясно, что она не должна делать того, что она делала и чувствовала, и в то же время приятно было именно это, что происходило с ней.

«Нет, я ошиблась, он просто так. Да и что ему до меня? У меня муж, он это знает»,— думала она, в то время как Тимонин уверенно и легко вел ее в танце. Она чувствовала его руку, видела его плечо и видела, как мелькали лица уже знакомых ей мужчин и женщин; но все внимание Наташи было собрано вокруг ее беспокойства и так же, как и рука Тимонина, держало ее.

Она не помнила всего, что он говорил ей. Во время танца он как будто лишь убеждал ее, что она прекрасно танцует; когда прерывалась музыка и все начинали тесниться вдоль стен, он повторял ей, находя каждый раз новые слова, что она очаровательна и что муж ее, очевидно, не вполне сознает, каким сокровищем он обладает. Он еще сказал ей, что на днях должен поехать в Пензенскую область осматривать сенокос и что, если она разрешит, он с удовольствием увезет с собой в памяти этот ею подаренный ему сегодняшним вечером. Наташа понимала, что нельзя было позволять ему говорить ей это; но она только лишь сильнее испытывала то приятное волнение (то непривычное для себя чувство), какое радостно было испытывать ей. Рань-

ше ей всегда казалось, что самым большим счастьем для человека было счастье семейных отношений, в родительском доме; потом открылось счастье любви и замужества, в которое она бросилась, забыв об отце и матери; теперь перед ней снова как бы приподнимался занавес, говоривший ей, что у счастья нет предела и что существует еще нечто другое и большее, чем только то, чем она жила до сегодняшнего вечера. Когда к ней подходила Лия, она видела ее улыбающееся лицо; все лица представлялись Наташе счастливыми и все люди (и Тимонин) — добрыми, и она, положив на плечо ему руку, опять и опять кружилась с ним. Она была в том ударе своего успеха, в каком еще никогда не приходилось бывать ей, и отдавалась этому естественному для всякой молодой женщины состоянию, когда будто не она сама, а что-то стоящее выше и вне ее руководило ею.

Несколько раз Арсений, уклоняясь от разных мешавших ему сосредоточиться разговоров, подходил к двери столовой, чтобы увидеть Наташу; но, глядя на веселую и, как ему казалось, бессмысленно топтавшуюся в тесноте толпу знакомых ему людей, видел только то платье своей жены, то ее лицо; то рядом с ее лицом молодое, раскрасневшееся и отчего-то неприятное ему лицо Геннадия Тимонина.

Наташе было радостно, и потому Арсений не торопил ее домой. Он уходил в кабинет, садился в кресло, но затем снова возвращался к двери столовой. Он чувствовал, что что-то как будто недоброе происходило вокруг него, но он был настолько поглощен собой, что никак не мог прояснить, чем же вызывалось это новое, тревожное чувство в нем.

## XXVI

Все главные устремления Арсения, в которых он, впрочем, никогда не признавался себе, заключались в том, что он все время старался упростить для себя жизнь. Шагом к упрощению был развод с Галиной; и таким же шагом к упрощению представлялась ему женитьба на Наташе. Но он лишь ко всем прежним сложностям постоянно прибавлял новые, и он особенно ясно почувствовал это, когда, вернувшись от Лусо и лежа с Наташей в постели, мысленно перебирал подробности вечера.

Наташа спала. По ровному дыханию ее, по той детской, с поджатыми коленями позе, как она лежала, и по тому тихому счастливому голосу, как она, укладываясь, прошептала: «Спокойной ночи», он знал, что на душе ее было спокойно. Но это ее спокойствие, всегда так оберегавшееся им, не вызывало в нем радости. Ему казалось, что с ним повторялось то ложное, что однажды уже было пережито им; и ложное это связывалось теперь в его сознании с Наташей. «Ты посмотри, открой глаза, — как будто кто-то говорил Арсению, в темноте комнаты стоявший над ним. — Разве не то же самое происходило, когда ты с Галиной бывал на вечерах: ты — сам по себе, она — сама по себе, вечно окруженная какими-то липнувшими к ней мужчинами, которых она одаривала своей улыбкой? Ты посмотри, разве не то же было сегодня?» — продолжал будто раздаваться над ним в темноте все тот же голос, к которому Арсений прислушивался тем напряженнее, чем очевиднее было ему, что голос говорил правду.

«Да, мне не было весело у Лусо. Да, да, я знаю, не было весело, — с каким-то будто вызовом против самого себя мысленно и с поспешностью отвечал Арсений. Он напрягал воображение, чтобы восстановить обстановку вечера, и старался со стороны посмотреть

на себя, как он выглядел со своим одиночеством и беспокойством за жену, когда бегал в столовую посмотреть, с кем она танцует. «У меня было такое чувство, что что-то дурное будто происходит вокруг меня,— вспомнил он.— Да вот оно, вот, это дурное»,— подумал он, с ясностью вдруг понимая, что так нехорошо волновало его на вечере у Лусо.

Несмотря на то, что он был близорук и не мог видеть все так отчетливо, как видели другие (но, может быть, в силу как раз этой своей близорукости, что все расплывалось перед ним), еще дома, когда только собирались идти к Лусо, он заметил, что Наташа никогда еще не выглядела такой красивой, как в этот вечер; и еще более красивой показала она ему среди гостей профессора, и он с чувством счастливого удовлетворения смотрел на нее. Но теперь его угнетала мысль, что в то время как он приложил немало усилий (и вкуса и денег), чтобы Наташа выглядела такой, и в то время как красота ее должна была принадлежать только ему (по праву мужа), к красоте этой (к Наташе) как к чему-то ничейному и доступному потянулись другие с одним только желанием развлечься ею. Думать об этом было мучительно Арсению; и хотя он знал, что ревновать всегда глупо и оскорбительно, он не мог одолеть в себе того болезненного ощущения, что что-то кровное как будто, должно принадлежать только ему, отнималось у него. «И кто, главное, кто!» — говорил он себе. Он не был близко знаком с Тимониным; но по тем нелестным отзывам, какие не раз слышал о нем, давно и прочно составил свое мнение о профессорском племяннике как о человеке посредственном. «Главное, кто, кто!» — повторял он с тем большей неприязнью и озлобленностью, чем полнее представлял себе все дурные качества Тимонина.

Ему смутно вспоминались и другие подробности вечера, особенно разговор с Кудасовым. В этом разговоре, ему казалось, было что-то очень важное для понимания истории и нравственных и социальных процессов, происходящих сегодня; что-то лежащее на самом острие споров Мещерякова и Кудасова (и должно как будто прекратить эти споры как бессмысленную трату сил), но сколько он ни старался, не мог в последовательности восстановить то, что несколько часов назад так сильно занимало его в высказываниях дипломата. «Мы суетимся, что-то принимаем, что-то отвергаем, а народ живет, плодится и делает нужное для своего могущества дело», — припоминалось Арсению. «Право на национальное самоутверждение... Но когда и кто отобрал у нас это право?» — приходило на ум следующее, о чем Кудасов более спрашивал себя, чем Арсения. «Что он еще сказал? Он еще сказал что-то...» — думал Арсений, но ход мыслей его опять перебивался неразрешимым для него вопросом. Ему хотелось найти опровержение тому, что он думал о Наташе, но вместо опровержения только сильнее возникало беспокойство, что, женившись на ней, он ничего не изменил для себя и что все прошлое (вся его жизнь с Галиной), от чего он так настойчиво стремился уйти, должно было снова вернуться к нему.

«Можно налить воду в рюмку, в стакан, в ковши, но что изменится от этого?» — наконец сам себе проговорил он и удивился простоте ответа на тот сложный вопрос, который мучил его.

Но ответ этот, как он ни был прост, не мог удовлетворить Арсения. Ему не только не хотелось терять Наташу, но ему страшно было потерять ее, и он снова начал искать опровержение тому, что думал о ней; но он только возвратился на тот круг мыслей, на котором не было нужного ответа для него, а было только то, что лишь усиливало сомнения и долго еще не давало заснуть ему.

## XXVII

Утром Арсений сказал Наташе:

— Ты знаешь, какая глупость была вчера на вечере?

— Нет.— Она еще лежала в постели.

— Мне кажется, я ревновал тебя.

Он стоял возле кушетки в пижаме и протирал очки, как будто собирался взглянуть на Наташу; но более он прислушивался к раздававшимся за дверь, в коридоре, звукам, по которым старался определить, что делает Галина (и прислушивался к тем своим вчерашним мыслям, какие теперь под впечатлением утра и вида молодого и выпавшегося лица Наташи не были так мучительны для него, как ночью).

— Ты молчишь? — спросил он, заставляя себя говорить с Наташей, в то время как звуки шагов за дверь снова и снова привлекали его. «Чего она ходит? Ей давно пора на работу, а она топчется здесь», — морщась будто от усилий, какие он прилагал, чтобы протереть очки, подумал Арсений.

В это утро он как-то особенно остро ощущал присутствие Галины в доме. Звук ее шагов раздражал его. Ему казалось, что она все делала шумно только для того, чтобы напомнить ему о себе. Ей трудно было видеть его с Наташей в квартире, он понимал это; и понимал (из той своей жизни с ней, в которой не все было только дурное и мрачное), что она должна была страдать теперь, и ему было неловко перед Галиной, будто он был в чем-то виноват перед ней. «Но какое мне дело до ее страданий? Это глупо и пошло, и ничего назад не вернешь», — думал он, продолжая прислушиваться к раздававшимся звукам.

— Ты что же молчишь? — затем снова спросил он у Наташи, уже сквозь протертые очки взглянув на нее и стараясь войти в ту свою ложную интонацию спокойствия и радости, с какой он все эти дни обращался к ней.

— Я заметила, — сказала Наташа. — Ты был мрачен. Но я не подумала, что ты ревнуешь, — с удивлением как будто добавила она, не нарушая того общего счастливого выражения, какое с первой минуты пробуждения было на ее лице.

Впечатление от вечера у Лусо связывалось у Наташи прежде всего с впечатлением своего успеха. Она знала, что понравилась вчера не только Тимонину, но многим на вечере, и ей казалось (из своего женского эгоистического чувства), что теперь, после этого своего успеха, она еще более должна была нравиться мужу. «Разве я виновата? Ты можешь только гордиться мной» — выражали ее глаза, смотревшие на Арсения. Вчерашнее счастливое беспокойство, какое она испытывала при появлении Тимонина, она видела, не мешало ей сейчас с прежнею силой любить мужа; и ей было радостно от того, что так просто и возможно было быть чистою перед ним.

— Я, наверное, излишне веселилась, — все же проговорила она, — но было все так на уровне, так хорошо.

— Да и люди были интересные, — согласился Арсений, подумав о Кудасове. — А я не потому был мрачен, — затем сказал он. — Я заходил вчера к председателю жилищного кооператива. — Он пододвинул стул и сел напротив Наташи, лицо которой сейчас же насторожилось, как только он заговорил о квартире. — Не хотелось тебя перед вечером волновать, но дела наши ни к черту, просто не знаю, не знаю. — И он каким-то будто остановившимся, будто загнанным взглядом посмотрел перед собой. Ему снова вспомнился весь тот неприятный разговор с председателем жилищного кооператива, какой

угнетал его на вечере, и снова (как и на вечере) все только что занимавшее Арсения отодвинулось на второй план перед этим главным и казавшимся ему неразрешимым вопросом.

— Но дом-то готов, ты сам говорил,— возразила Наташа, поднимаясь и садясь на постели и попадая лицом в полосу лившегося от окна солнечного света, жмурясь и отодвигаясь от него. Утро было ясное, теплое, и вместе с солнечным светом сквозь приоткрытую форточку проникал в комнату с бульвара еще свежий утренний воздух, и был слышен гул срывающихся от светофора машин.

— Прикрыть? — спросил Арсений, подаваясь к окну, чтобы задернуть штору.

— Нет, нет, не надо.

— Так вот что он говорит.— Он опять посмотрел на Наташу и затем мимо нее своим устало-остановившимся взглядом.— Строители виноваты, не тот, видите ли, паркет настелили.

— Господи, при чем тут паркет? Не все ли равно, какой паркет под ногами.

— Стоимость разная, но взрывать готовые полы и заменять новыми все равно никто не будет, это смешно, хотя, как я понял, именно в этом все дело. По смете были запланированы как будто бы одни отделочные материалы, а строители поставили совсем другое, что нашлось под рукой, и перерасходовали смету. Естественно, они теперь требуют, чтобы кооператив оплатил перерасход, а кооператив отказывается, и они не отдадут ключи.

— Но есть же какие-то законы,— сказала Наташа, вполне убежденная в том, что на все в государстве есть разумные законы и что никакие дела (тем более квартирные) не могут зависеть от желания или нежелания отдельных людей.

— Законы есть, но сумма круглая, десять тысяч,— заметил Арсений.— На каждого пайщика примерно по двести рублей. В конце концов, какие это деньги—двести рублей? Согласились бы, и все, и черт с ними,— сказал он точно с той же мрачной решимостью, как он говорил вчера председателю жилищного кооператива.

— Все-таки деньги,— возразила Наташа.

— Какие это деньги! Когда отдаешь тысячи, стоять из-за двухсот рублей — я этого не понимаю.

Арсений поднялся и, отодвинув от себя стул, привычно прошагал от окна к двери и обратно мимо книг, грудой лежавших на полу. Он подумал, что, наверное, у самого председателя жилищного кооператива либо не было этих двухсот рублей, либо жалко было отдавать их, и желчно усмехнулся над своей зависимостью от финансовых возможностей каких-то других людей. «Вот она, та стена, о которую я должен теперь биться,— про себя проговорил он, втягиваясь в ту сферу своих мрачных размышлений, связанных с гибелью отца, которые в последнее время особенно одолевали его.— Куда ни повернись, стена, всюду эта чертова стена»,— продолжал он, снова прислушиваясь к отчетливо раздававшимся за дверью шагам Галины. Он еще с минуту постоял возле книг, наклонив голову, но когда поднял глаза на Наташу, лицо его сейчас же посветлело — так приятно было ему видеть ее в солнечной полосе струившегося от окна света. Обняв прикрытые рубашкою ноги и подбородком касаясь колен, она смотрела на него тем своим полным глубокого ожидания взглядом, какого раньше, до женитьбы, Арсений не замечал у нее и какой теперь, он чувствовал, словно подталкивал его к какой-то решительной деятельности. «Но что я могу, что от меня зависит?» — оправдываясь, подумал он.

— Тяжбу со строителями передали в арбитражную комиссию,—

сказал он Наташе.— Теперь пока пойдет разбирательство, пока вынесут решение... Жаль только, что с отпуском твоим мы поторопились. Но кто же знал!

— Ну и что, все равно все решится, готовый дом никто держать не будет,— так же убежденно, как она только что говорила, что на все должны быть в государстве законы, ответила Наташа.

— И я полагаю.

«Ушла. Ну вот теперь можно»,— тут же подумал он о Галине, услышав, как хлопнула наружная дверь и защелкнулся замок; и он сейчас же, взяв полотенце и сказав Наташе, чтобы вставала, с наклоненной головою зашагал в ванную умываться и бриться.

## XXVIII

Неся в руках небольшую коричневую папку с материалами для лекции, сосредоточенный, строгий, в одиннадцатом часу утра Арсений вошел в аудиторию. Несмотря на тревожные мысли о квартире и на тот осадок, какой остался у него после вечера у Лусо, как только он очутился за кафедрой, сейчас же все личное было как бы отодвинуто им в сторону, и он, привычно оглядев притихших студентов, открыл папку, собираясь начать лекцию. Он знал, что студенты всегда с удовольствием слушали его, и знал, что предмет его исследования (древнегреческая история) был предметом интересным, о котором нельзя было говорить без увлечения. Демократическая форма жизни древних греков, в которой демократия, в сущности, была демократией имущих, имела, однако, для Арсения свою притягательную силу и воспринималась им часто как неиспользованная схема общей благополучной жизни людей.

— История говорит нам, что древние греки преподнесли человечеству урок,— начал Арсений, сразу же как бы перебрасывая тот мостик между собой и аудиторией, который затем необходимо было постоянно чувствовать ему; и после этой вводящей фразы он перешел к сути разбираемого им вопроса, говоря обо всем убежденно и с тем сквозящим аспектом своего взгляда на историю, который как раз и привлекал к нему студентов и делал его лекции интересными и живыми.

Институтские дела и дела домашние были для Арсения как два противоположных полюса, на одном из которых он чувствовал себя уверенно и все было просто и ясно ему, в то время как на другом, что касалось отношений с Галиной (и с чем он столкнулся теперь, женившись на Наташе), было сложно, запутанно и только отвращало его от жизни. Он был тем человеком в мире ученых людей, которые, вникнув в суть своего учения, настолько увлекались самим процессом познания, что забывали о цели науки, о том практическом применении знаний, ради чего как раз и надо было изучать тот или иной предмет. Арсений часто как бы переносился в ту сферу человеческих отношений, какую он изучал, и чем больше он понимал прошлое, тем непонятней и отдаленней становилось для него настоящее, что окружало его. Он почти не находил в теперешней жизни того благородства, примеры которого были так очевидны ему в прошлом, и в силу своей мрачной, связанной с постыдной смертью отца философии неотвратимости беды, и в силу естественного желания видеть просвет перед собою он невольно обращался в истории чаще к фактам благородным, где проступала красота человеческой природы, и потому черты приподнятого благородства обычно составляли главную основу читаемых им лекций. Он не знал, для чего он делал это; он как будто отвечал только на свой жизненный вопрос; но

чувство просвета так важно было для Арсения, что ему казалось, что оно важно было и для студентов, слушавших его.

После вчерашнего мрачного настроения Арсений сегодня говорил особенно энергично, как будто он спорил с кем-то, и только звонок, прозвучавший на перерыв, остановил его.

— Что? Уже? — спросил он, оглянувшись на дверь, за которой как раз и раздавался этот звонок. Назвав затем источники, где можно было ознакомиться с материалами лекции, он закрыл папку и вышел из аудитории.

По возбужденности и тому внутреннему настрою мыслей, как чувствовал себя в это утро Арсений, он не хотел видиться ни с кем из своих друзей, но в коридоре его догнал доцент Карнаухов и заговорил с ним.

— Каков этот вчерашний дипломат, а? — сказал он. — Нет, ты подумай, что он нам предлагал? — И, тесня Арсения к стене, Карнаухов начал выкладывать все те свои соображения, не высказанные дипломату, которые со вчерашнего вечера, как видно, все еще не давали успокоиться ему. — Послушать этого старца, так надо не жить, а только оглядываться. А я не хочу оглядываться! Что ж, разве я не могу быть самим собой?! — с горячностью говорил он, в то время как Арсений смотрел на него, но не совсем понимал его.

На кафедре, куда затем вместе с Карнауховым вошел он, тоже большинство говорило о вчерашнем вечере у декана. Вечер вызывал разные толки, Арсений понял это по улыбкам и по тем скептическим выражениям, какие появлялись на лицах при упоминании о вечере. Но улыбки эти и выражения сейчас же исчезли, как только послышался в дверях знакомый всем голос профессора. Лусо был в том оживленном настроении, в каком он был вчера, когда принимал гостей; он вместе с собою как бы внес теперь на кафедру всю атмосферу вчерашнего застолья, и голая, поблескивавшая бритая голова сразу же оказалась в центре подходивших к нему и вновь поздравлявших с шестидесятилетием и награждением преподавателей и доцентов. Но Арсений, смотревший на все со стороны, испытывал только то чувство, что вчерашний вечер с его умными разговорами, музыкой, разнообразием нарядов и лиц и это, что происходило теперь, — все было так отдалено, что, казалось, не могло интересовать его; но когда декан повернулся к нему — как и все до него, он с улыбкой и с поклоном головы поздоровался с деканом.

Дел сегодня было у Арсения много. Ему предстояло еще прочесть несколько лекций и провести факультативное занятие, и он весь этот день жил словно бы в двух измерениях: когда уходил в аудитории к студентам, внимание его поглощалось темой, о которой он говорил, когда же во время перерывов возвращался на кафедру, мысли о квартире, Наташе и всех других сложных делах опять начинали угнетать его. Струны, которые, он понимал, натягивались между ним и Галиной, вызывали в нем предчувствие скандала, и он не видел, как можно было уберечь Наташу и себя от этой надвигающейся неприятности. «Сказать бы тогда, в сквере (в день сватовства), обо всем, и не было бы теперь этого тупика, — думал он, уединяясь от коллег, в то время как они шумно разговаривали между собой вокруг него. — Я виноват, только я, и я никогда не прощу себе этого». Мысль эта, что он виноват перед Наташей, была тем тяжелее для Арсения, чем яснее он сознавал, что прежней надежды на скорое получение ордера у него теперь не было, а что была перед ним только пустота, в которую предстояло шагнуть ему. «Как все глупо: и с отцом и с матерью ее», — продолжал думать он; и когда, закончив все дела, в пятом часу вечера он вышел из института, вместо того чтобы идти

домой, где ждала его Наташа, он невольно, не объясняя себе, что даст ему это, направился к председателю жилищного кооператива.

— Все по-прежнему, ничего нового,— сейчас же сказал председатель жилищного кооператива, как только Арсений вошел к нему.— Да вы же вчера были у меня! — затем воскликнул он, вглядываясь в примелькавшееся уже худощавое и бледное лицо Арсения.— Вы вот что сделайте.— Он знал о затруднениях Арсения, хотя и не в подробностях, но достаточно полно, чтобы понимать и сочувствовать ему.— Вы снимите где-нибудь на время комнату, ну на месяц, на полтора, пусть без прописки, и все спокойно пойдет своим чередом. Я вам настоятельно советую.

— Вы думаете, это возможно сделать в Москве? Здесь же нет частных домов.

— Помилуйте, в Москве все можно.

— Вы думаете?

— Я вам говорю.

По мнению председателя жилищного кооператива, все было просто. Но когда Арсений, выйдя от него, подумал, что надо было с чего-то начинать все (с чего — он не знал), когда увидел, что дело это было не таким простым, как представлялось, а требовало усилий и времени (было тем делом, какое Арсений менее всего умел выполнить в жизни), — он вдруг почувствовал, будто на него хотели набросить новую сеть, из которой еще труднее будет выпутаться ему. Он возвращался домой в мрачном настроении, мучаясь тем, что ничего радостного не мог принести Наташе.

### XXX

Утром Дементий был принят министром. Потом побывал в отделах, где с ним разговаривали уже как с будущим начальником строительства северной нитки газопровода, и когда в шестом часу вечера, освободившись наконец от служебных дел, вышел на улицу, поехал не в гостиницу, а к сестре Галине.

От Пушкинской площади, куда он добрался на троллейбусе, он направился вниз по Тверскому бульвару пешком. Хотя ему некуда было спешить и он не знал точно, застанет ли сейчас сестру дома, он шел быстро, той своей торопливой походкой, как он ходил всегда, когда бывал либо чем-то сильно расстроен, либо озабочен. Но вся его забота состояла теперь только в том, что ему надо было поделиться с кем-то своею радостью, что все его дела в Москве успешно продвигались вперед, надо было втянуть ког~~о~~-то в круг своих жизненных интересов, кто мог бы вполне понять его, и он чувствовал, что не было у него здесь более близкого человека, чем сестра. Но если вчера на вечере у Лусо, думая о ней, он прежде всего вспоминал о ее семейной неустроенности, то теперь, после всех деловых разговоров и встреч в министерстве, мир сестры был от него так же далек, как в день отъезда был далек мир Виталины с ее неудовлетворенностью жизнью, и все свое мнение о жене и сестре он мог бы сейчас уложить в одном ясном для себя вопросе: «Чего они хотят, чего им не живется?» Он как будто никогда не делил людей на тех, кто должен двигать жизнь, и тех, кто должен быть удовлетворен жизнью, но из всех его откровенных (для себя) суждений можно было сделать только этот вывод, что мир разделен и что каждый должен быть счастлив тем, что отведено ему; и он был теперь счастлив, подходя к дому Галины.

Он встретил сестру у под~~ъ~~езда, почти столкнувшись с ней, и с

удивлением, словно никак не ожидал увидеть ее здесь, воскликнул:

— Ты?!

Несколько мгновений он смотрел на нее, не находя слов, что еще сказать ей, и лишь замечая (с тем чувством жалости, какое испытывал всякий раз, после долгой разлуки видя сестру), как изменилась и постарела она за это время.

— Я еще вчера хотел позвонить и зайти к тебе, но... Ты так похудела,— сказал он, слегка краснея оттого, что говорит неправду, не то, что чувствует и думает про нее.— Как ты?.. Как Юрий?

— А ты, как всегда, не вовремя,— ответила Галина.— Ну пойдём, раз приехал.— И она чуть отступила, освобождая дорогу, чтобы пропустить в подъезд брата.

Пока вызывали лифт, поднимались на нем и пока Галина открывала дверь своей совместной с бывшим мужем квартиры, Дементий, все еще с увлечением думавший о своих делах, все эти минуты продолжал смотреть на сестру. Ему казалось, что четыре года назад, когда он в последний раз видел ее, она была не такой и в глазах ее и на лице, во всех движениях ее, в одежде и причёске — во всем еще чувствовалась та восхищавшая Дементия уверенность, какую он всегда и больше всего на свете ценил в людях, в отце и себе, но он не находил в ней сейчас этой прежней уверенности и снова и снова оглядывал ее. «Да чего она хочет, чего не живется ей? — наконец подумал он, задав себе тот самый вопрос, в котором только что так ясно укладывалось все, что он хотел сказать о сестре. Но предполагавшейся ясности уже не было для него в этом вопросе, и он с тем сознанием неизбежности, что рядом с хорошим (с его успехом) непременно должно проявиться что-то дурное, отягчающее и осложняющее жизнь (как он воспринимал иногда Виталину), вслед за Галиной вошел в ее комнату.

— Так рассказывай, как хоть ты живешь здесь,— сказал он, сразу спросив сестру о главном, без чего, он понимал, не могло получиться теперь разговора, но на что, он чувствовал, неприятнее и труднее всего будет ответить Галине.— Ни за кого не вышла? Одна? — И он, скользнув взглядом в комнату и про себя отметив, что ничто из обстановки не изменилось с тех пор, как он в последний раз был здесь, снова повернулся к Галине.

Она уже сидела напротив него, скрестив на столе свои никогда не знавшие тяжелой работы, округлые и еще не успевшие загореть белые руки, и руки эти и пальцы с недорогими серебряными перстеньками, которые так привычно было всегда видеть на ней Дементию, может быть, оттого, что они оказались в полосе падавшего от окна света, сейчас же привлекли его внимание. Он перевел взгляд выше и увидел совсем иное (чем только что в сумрачном подъезде), будто вдруг преобразившееся лицо сестры; и хотя оно было как будто в тени, но отраженный от рук и всей поверхности стола оконный свет падал на ее щеки, лоб, волосы и придавал всему ее лицу какое-то новое и веселое выражение. «Да не так уж, наверное, все плохо, как это показалось мне»,— подумал Дементий, более всего желавший, чтобы все было благополучно у сестры и чтобы не испытывать ему теперь лишнего и ненужного беспокойства.

— Отец пишет? — Ему неловко было молчать, и он снова заговорил с Галиной.

— Да что отец... Ты обедал? Чаем угостить? — спросила она.

— Не откажусь — сибиряк!

— Ладно уж, посиди, приготовлю.— И она, поднявшись, пошла на кухню.

«И все-таки она постарела»,— подумал Дементий, как только се-

стра вышла из комнаты. Он тоже поднялся и подошел к окну, из которого видна была вся площадь Никитских ворот с домиком Горького и церковью через дорогу, где когда-то, как говорила Галина, венчался Пушкин, и с кинотеатром повторного фильма на противоположной стороне площади. Суета троллейбусов, машин и людей и шум, сейчас же ударивший в лицо, едва Дементий приоткрыл створку окна,— все это было той будто только что оставленной им жизнью, какой, он чувствовал, не хватало здесь, в комнате сестры, и он с удовольствием, словно вновь наполнялось что-то начавшее будто опустошаться в нем, несколько минут стоял у окна, придерживая рукой приоткрытую створку, вслушиваясь и всматриваясь в пестроту улицы. Мысли его, но уже не так целостно и стройно, как только что, когда он шел сюда, вернули Дементия ко всем его министерским делам, и он долго затем, уже отойдя от окна, продолжал улыбаться открывавшимся ему теперь в связи с назначением возможностям. «Да что она там?» — наконец подумал он, как-то вдруг ощутив, что он один в комнате и что в том, что Галина не входила к нему, было что-то тревожившее его.

Дементий не помнил своей матери, но из жизни с Виталиной и из наблюдений над сестрой и тещей, Анной Юрьевной, он делал вывод, что женщины вообще все неумны, что вместо того, чтобы пользоваться тем, что предоставляется им (чтобы спокойно жить за мужем на всем готовом), постоянно чего-то ищут, мечутся и только мешают общему продвижению жизни. Ему казалось, что в поведении сестры было что-то от Виталины, и он сейчас снова подумал об этом; и как он ни был настроен против Арсения, особенно после вчерашней встречи с ним у профессора Лусо, где Арсений был не один, а с какою-то незнакомой Дементию молодой женщиной, в семейной неурядице сестры видел сейчас не столько вину Арсения, сколько вину самой Галины с ее неуживчиво-суетным характером. «Я терплю, а он не стал. Разумеется, чужой человек, ему что. Но мерзавец, мерзавец! — И в то время как Дементий мысленно произносил это, он невольно прислушивался к тому, что делалось на кухне (и откуда давно уже не доносилось ни звука).— Да что она там?» И он, чувствуя прилив раздражения из-за того, что вынужден бессмысленно и бесполово ждать чего-то, несколько раз крикнув: «Галя! Галя!» — пошел к ней на кухню.

Галина сидела на стуле возле кухонного стола и, держа на коленях маленький (для заварки) чайник, задумчиво смотрела перед собой; и хотя она сейчас же, едва Дементий появился в дверях, спохватившись, принялась заваривать чай и, чтобы отвлечь от себя внимание брата, торопливо и с улыбкой вдруг начала вспоминать, как он, будучи студентом, уносил от нее вафельные торты в общежитие, но притворство, слышавшееся в интонации ее голоса, и, главное, то остановившееся выражение глаз, какое уловил Дементий, входя к ней, заставляли его с каждой минутой все более настороженно всматриваться в сестру.

— Галя,— наконец проговорил он не в силах удержаться от того вопроса, какой возникал в нем.— У тебя какая-нибудь большая неприятность?

— А что? Заметно?

— Я бы не стал спрашивать.

— Неприятность у меня одна: как я была несчастной, так и осталась ею, а что еще может быть хуже?

— Не выживает тебя из квартиры?..

— Кто?

— Ну, этот...

— Арсений, что ли? Нет. А что ты вспомнил о нем? Ты же знаешь, мы разошлись с ним.

— Я видел его вчера.

— Ну и что?

— С кем и где, лучше спроси.

— Думаешь, будет больно? Нет, меня это не волнует — где он и с кем он. Меня давно уже это не волнует, — еще более как будто спокойно добавила она.

Она взяла поднос с чайником, чашечками, блюдцами, печеньем и сахаром в вазе и направилась в комнату, приглашая за собой брата.

— Ты бы лучше рассказал о себе, а я что, я пустоцвет, я ни на что не способна, даже вот принять тебя как следует не могу, — сказала она, опустив на стол поднос, расставляя чашечки и садясь напротив Дементия. — Ты вот об Арсении заговорил, а у меня другое горе — Юрий. Школу бросил, связался с компанией, никого и ничего слушать не хочет, — начала она, и сейчас же все то страдальческое выражение, какое она только что так старательно скрывала от брата, просто и естественно проступило на ее лице. — Я в отчаянии, ты даже не можешь представить, в каком я отчаянии: хоть в петлю, хоть под машину, и то, кажется, легче. Ну посуди... — И она неторопливо, с грустью (и уже не останавливаясь) принялась рассказывать, как тяжело было ей управляться с сыном.

Дементий и прежде знал, что Юрий рос непослушным мальчиком, но то, что услышал о нем сейчас (что он украл из дома холодильник, был замешан в какой-то пьяной драке, осужден на пятнадцать суток и отбывал наказание в милиции), настолько поразило Дементия, что в первую минуту он не поверил сестре, что все так могло быть на самом деле.

— Но как же это все произошло? — сказал он. — Как ты могла допустить до этого? А Арсений, отец?

— Какой он ему отец!

— Но ты-то, ты, как ты могла допустить? Ведь это — позор! Это, — он развел руками, — ничего себе подарочек деду в Поляновку.

Налитый чай остывал в чашечках. Ни Галина, ни Дементий не притрагивались к нему. Дементий был в том возбуждении, когда он не мог сидеть за столом; он поднялся и несколько раз прошелся вдоль стола, повторив про себя: «Украсть холодильник, попасть под выселение как тунеец, и это в нашей семье, при наших-то возможностях!» — затем подошел к окну и остановился возле него спиной к сестре. Но вид за окном уже не мог занимать Дементия; он чувствовал, что помимо всех его желаний он все же был втянут в неприятные дела сестры, и втянут не настолько (как бывало прежде), чтобы поговорить, посоветовать и забыть обо всем, а с той глубиной, когда он знал, что нельзя будет уже не вмешаться и не помочь сестре; но так как заниматься сестрой здесь, в Москве, не входило в его планы и было ненужной и лишней нагрузкой, — он думал не о том, какое горе постигло сестру, а о другом, насколько в этом своем горе была виновата сама Галина.

### xxx

«Для всех у нас как будто одни законы, одни условия жизни. — Дементий все еще не оборачивался к сестре. — Но живем мы по-разному. Почему?» Задав себе этот вопрос, он сейчас же вспомнил о семье Дружниковых, поразившей его вчера на вечере, в которой Григорий точно так же, как и бывший муж Галины Арсений, был кандидатом наук (был в том же ученом мире), а Лия, как и Галина, работа-

да в каком-то (не важно было для Дементия — в каком) учреждении и уделяла внимание семье ровно столько, сколько вообще может уделить работающая женщина; но при этих равных, казалось, условиях Дружниковы были счастливы, полны жизни, а Галина разведена, несчастна и не знала, что делать с отбившимся от рук сыном. «Там ли всегда черт, где мы его ищем, не в нас ли самих он сидит?» — подумал Дементий. Несмотря на то, что о Дружниковых он судил лишь по вчерашнему своему впечатлению, а жизнь Галины знал давно и не только с внешней, показной стороны, сопоставление этих двух семей представлялось убедительным и точным; и убежденность его усиливалась еще тем, что к суждениям об этих двух семьях он прибавлял еще свои, болезненно отдававшиеся сейчас в нем отношения с Виталиной. «Так на кого же нам теперь жаловаться, кого упрекать?» — продолжал он, все более отклоняясь от конкретного предмета разговора, от поступков Юрия, которые требовали усилий, чтобы разобраться в них, и переходя к тем общим рассуждениям, в которых надо было лишь следить за логикой посылок и выводов.

— Галя, а не находишь ли ты, что ты сама виновата во всем? — наконец, повернувшись к ней, проговорил он, продолжая уже вслух развивать то, что в мыслях занимало его. На фоне светлого окна видны были только четкие очертания его головы, плеч и рук; был ли он все еще возбужден или уже успокоился от первой вспышки раздражения, невозможно было разглядеть по его затененному и оттого плоскому теперь лицу, но по голосу, как он начал говорить, было ясно, что он как будто нашел решение всему сложному, навалившемуся на него вопросу. — Ты в свое время разошлась с Лукиным, хотя отец был против и я тоже, если ты помнишь. Но ты никого слушать не захотела и вышла за этого своего Арсения. Я не знаю, чего ты больше искала, Москвы или сильной личности? — Вопрос о сильной личности был неприятным для Галины, и она сейчас же приподняла голову, как только услышала эти слова от брата. — Я не знаю, чего ты больше искала, — повторил Дементий, — но уж раз вышла за второго, надо было жить с ним. Ну, я понимаю, он не то, он и мне не понравился с первого же дня, но ведь есть же какие-то компромиссы, что-то можно было не замечать и чем-то пользоваться для своего же и общего блага. Есть же, в конце концов, какие-то условности. — Голос его становился еще спокойнее, потому что он чувствовал логику в том, что говорил. — А к чему ты пришла теперь? Кто и чем тебе может помочь?

Галина молча смотрела на брата. Но она давно уже не слушала его. То, что он говорил, было правильно, она знала, но она точно так же знала, что в жизни все было не так, как он говорил, и что, сколько она ни старалась, она никак не могла жить по этой правильной, но кем-то другим придуманной для нее схеме; у нее постоянно возникали свои и противоречившие наставлениям желания, и желания эти вынуждали ее делать не то, что должно было вытекать из правильных понятий жизни. Она уже не помнила, отчего она разошлась с Лукиным и вышла за Арсения и что ее потянуло в Москву; события эти были отдалены от нее, но она зато твердо знала сейчас, что Арсений был не то, что ей нужно было в жизни; но что ей нужно было, она и теперь не представляла, точно так же как не представляла, когда выходила замуж за Лукина и Арсения.

«Зачем ворошить старое?» — думала она.

Несмотря на всю свою видимую беспомощность, она была женщиной практичной и сразу же начинала действовать, как только нащупывала конец нити, ухватившись за который можно было раскрыть весь тяготивший ее узел событий. Таким концом нити, показа-

лось ей, могло стать неожиданное сегодняшнее появление брата, но она видела теперь, что, кроме никому не нужного выяснения причин, ничего другого ей не следует ждать от него.

— Оставь,— сказала она, резко оборвав брата.— Что теперь вспоминать о сильной личности. Ты же хорошо знаешь, это не моя затея. Весь дом наш всегда был пропитан этой идеей сильной личности, но только вы с отцом не произносили этих слов, вы молча двигались к цели, а я восхищалась и говорила. Но я искала в других сильную личность, а вы? Вы — для себя, для себя! Вон и Юрий мой,— она кивком указала на дверь, словно сын ее стоял там,— тем же заражен. Еще и школу не закончил, а туда же — сильная личность.

— Как ты сказала? — переспросил Дементий, не столько обратив внимание на резкий тон сестры, сколько на то, что она сказала о сыне.— Он заражен этой идеей?

— А кто сейчас не заражен ею? Вся молодежь, поголовно все,— преувеличенно добавила она.— Я его спрашиваю: чего тебе не живется, Юра? А он: как жить? как вы? («Как ты?» — поправилась Галина.) Нет, извини, мой идеал — сильная личность! Да где, спрашиваю, этот твой идеал, с кого ты берешь пример?

— Значит, он заражен-таки идеей,— продолжил свое Дементий.— Но это все меняет, Галя! Парень вовсе не хулиган, не вор и пьяница, как ты представила его мне, у него есть цель, есть идея, а это уже другое дело. Хороша ли, плоха ли идея, я пока не касаюсь, но она есть, и значит — не все потеряно, парень не дурак, и с ним можно работать,— сказал он. Он снова говорил то, что было далеко от жизни (было лишь логическим представлением ее), но ему казалось, что теперь он заглянул в самый корень вопроса, и он упрекнул сестру: — С этого бы и надо начинать, и все бы сразу увиделось в другом свете.

Вернувшись к столу и сев напротив Галины, он привычным движением погладил свою русую курчавившуюся бородку и впервые за все минуты встречи тепло и дружелюбно посмотрел на сестру. «Да и проблемы-то, в сущности, никакой нет,— про себя проговорил он.— Только всегдашняя женская паника: ах! ох! А нет чтобы заглянуть в корень». Он был доволен, что опасения сестры оказались напрасными, и со свойственной ему убедительностью принялся рассуждать, как можно было (теоретически) взяться за воспитание Юрия. Но рассуждения его, как и все прежнее, о чем он говорил сегодня сестре, были далеки от истинного положения дел; Юрий представлялся ему все еще тринадцатилетним мальчиком, каким Дементий видел его в последний свой приезд в Москву, тогда как на самом деле того мальчика с тихими ясными глазами давно уже не было, а был сухощавый и долговязый (на восемнадцатом году жизни) юноша с желтым, испитым и мрачным лицом; и потому все то правильное, о чем говорил Дементий, представлялось глупым и невозможным Галине. Она опять и еще сильнее почувствовала, что нечего ей ждать от брата, и, слушая его, лишь глубже мыслями уходила в себя, в свой мир сложных и неразрешимых проблем.

Только когда Дементий вдруг сказал, что он мог бы, в конце концов, взять Юрия с собой на стройку, лицо Галины на мгновение оживилось.

— Возьми, если ты серьезно.

— Или можно к отцу в Поляновку,— добавил Дементий.— Там, по крайней мере, всегда на глазах, да и отец найдет, как подойти к нему. Когда ему в армию?

— Осенью.

— До осени пусть и поработает в деревне. В Курчавино его, в избу, в бригаду, к тетке, пусть-пусть, только на пользу все.

— Да с какими же глазами я повезу его туда?

— А что тут особенного? Всякое и со всеми может случиться в жизни, да и отцу, я думаю, приятно будет повозиться с внуком.

— Нет,— решительно возразила она,— не могу к отцу. Я и так для него — одни сплошные огорчения, и добавлять еще...

— Разве отец переменил к тебе отношение?

— Но я-то, я человек или кто? Чай вон остыл.

— Чай, что чай,— ответил Дементий.— А ты все же подумай, это лучший вариант. Подумай, чтобы потом... не кусать локоть.

Он встал и снова принялся ходить по комнате. «Трудно говорить с ней. С ней всегда было трудно говорить,— мысленно произнес он, обернувшись к Галине.— Не понимать самого элементарного!» И он посмотрел на сестру так, будто и в самом деле чего-то (умственно-го) недодано было ей при рождении.

— Нет, Галя, никто лучшего совета тебе не даст,— затем сказал он, подойдя к ней.

### XXXI

О Юрии больше не вспоминали до конца вечера.

Уже в одиннадцатом часу, когда заново заваренный чай наконец был выпит и были съедены приготовленные Галиною бутерброды проголодавшимся Дементием и когда после настоятельных просьб сестры рассказать о себе Дементий снова и снова, но каждый раз будто с разных сторон входя в одну и ту же комнату, начал говорить о том, как его сегодня принимал министр,— в коридоре открылась дверь и раздались шаги вернувшихся из театра Наташи и Арсения.

— Он? — сейчас же спросил Дементий, перебивая себя; и сейчас же почувствовав, что все беспокойство первых минут, когда он только появился у Галины (и особенно когда шел разговор о Юрии), беспокойство это, подсвеченное будто каким-то недостававшим прежде светом, вновь начало неприятно подниматься в нем.— Он? — переспросил он, оглядываясь на дверь, на Галину и опять поворачиваясь к двери.

— Они,— уточнила сестра.

— Женщин приводит?! — удивился Дементий; и он снова, в который уже раз за вечер, вспомнил, как он видел вчера у Лусо Арсения с какою-то молодой и недурной, как тогда же отметил про себя, дамой.

— Не знаю. По-моему, он женился. Нашлась какая-то круглолицая дурочка, но меня это не интересует. Еще раз говорю: не интересует. Он человек свободный, пусть что хочет, то и делает.— И она отвела недовольный взгляд от брата.

В комнате уже была зажжена люстра, и матовый свет от ее желтоватых рожков, равномерно падавший на все предметы и на лица сестры и брата, создавал вокруг какое-то будто противоположное чувствам Галины и Дементия настроение. Зеленые обои с крупными в тон цветами и серебристой прожилкою и шелковисто-зеленоватые шторы, задвинутые сразу же, как только был включен свет, зеленоватая обшивка кресел, дивана и медная под старину окантовка по серванту, горке и шифоньеру — все это, одностонно и тускло смотревшееся в затененной (в предвечерний час) комнате, выпирало теперь со всех сторон и привлекало внимание. Но Галина, так как ей давно уже было не до этого мира вещей, какими она в свое время со старанием окружала себя, не замечала происшедшей в комнате перемены, тогда как Дементий, хорошо помнивший, как покупалась и с

какой любовью расставлялась вся эта мебель, Дементий, невольно оглядывавший комнату, чувствовал, что все в ней продолжало еще (кроме, разумеется, удрученной Галины) жить прежней, заданной теплотой жизни. Он чувствовал то время, когда все здесь были как будто счастливы, и с грустью смотрел на сестру, которая так решительно («Меня это не интересует!») хотела теперь отгородиться от прошлого. «Не интересует... Интересует, по лицу вижу, интересуется»,— думал Дементий, продолжая смотреть на Галину и продолжая прислушиваться к затихавшим уже шагам в коридоре. Он еще не раз до конца встречи замечал, как она вся вздрагивала, едва только из соседней комнаты, где были Арсений с Наташей, доносились звуки. «Еще как интересует»,— говорил он себе, всматриваясь в сестру временами так, словно и в самом деле хотел определить, насколько она еще молода и может нравиться мужчине.

Он не находил на лице ее морщин; оно было гладким, и в мочках ее ушей глазками проглядывали маленькие серебряные сердечки. Они то закрывались светлыми прядями, когда Галина опускала голову, то вновь открывались, когда она движением руки откидывала за плечи свои прямые, полукружьем постриженные волосы. Она давно уже носила эту модную, как считалось теперь, прическу, когда волосы свободно рассыпались по плечам и спине, и светлый тон этих ее рассыпанных волос в сочетании с темными кофточками и платьями, какие она надевала, придавал ей какую-то особенную, контрастную оживленность. Дементий заметил, что она теперь меньше употребляла косметику, и естественная (и всегда считавшаяся Галиною грубой) деревенская красота ее, прежде обильно закрывавшаяся кремами, просто и ясно проступала теперь на ее лице. В ней еще как будто оставалось что-то от утонченной интеллигентности, но вместе с тем еще заметнее было что-то именно от простонародного, выдававшего ее происхождение, и у Дементия, которому привычнее и ближе было все то, что было упрощенным и естественным в жизни, возникало чувство, что все устремления сестры и жизнь, какою она жила здесь, в Москве, были противоестественны ей. Ему понятнее была Галина эта, какою он видел ее сейчас, и радовался в душе ее перемене; и в глазах его она выигрывала теперь своей принадлежностью к большинству (принимавшемуся Дементием) перед подчеркнутой щеголеватостью Арсения.

«Это и сразу было видно,— думал он.— Мы — люди дела (мы — была для Дементия вся та огромная масса людей, вышедших из простых семей, для которых труд всегда являлся единственной возможностью утвердить себя в жизни). Ей бы рожать, кормить, а она тут с этим... выясняет себя». Он произносил еще что-то в этом роде, и чувство правоты, силы и душевного превосходства над Арсением, какое прежде всегда испытывал при виде его, теперь вновь, хотя Арсения и не было перед глазами, наполняло Дементия; и он невольно передавал это чувство сестре, подчиняя ее чужой для нее и властной своей воле.

— Ты спрашиваешь, как Лина? Лина работает, дети растут. Да и что другое может быть с ними,— подтвердил он, в то время как за стеной, где были Наташа с Арсением, что-то вдруг тяжело и с грохотом упало на пол.— Что они там делают? Как ты можешь жить рядом с ними? — сейчас же возмутился Дементий. Незримое присутствие Арсения все же перебивало его мысли и не давало сосредоточиться на тех главных своих впечатлениях (на впечатлениях, вынесенных им сегодня из министерства), какими он не мог не поделиться с сестрой.— И все-таки неплохо, а, когда тебя вдруг назначают начальником такого грандиозного строительства,— заставляя себя при-

слушиваться только к себе, снова заговорил он.— И знаешь, что министр сказал? «Северный газопровод — это кровеносная артерия, без которой уже в самое ближайшее время мы не сможем жить и дышать». Промышленность, разумеется. Дел, тысяча дел... Да что они там? — опять недовольно проговорил он, морщась и оборачиваясь к стене, за которой шла обычная, нормальная жизнь двух здоровых людей.— Не могу понять тебя, Галя, как ты выдержишь все это?

— А куда деться? Кто мне даст другую квартиру?

— Но это же коммуналка. Причем какая: он с молодой, ты здесь... Юрий... и вообще...

— Ты прав, а что делать?

— Спуститься на землю и просто и ясно оценить все. Нужен он тебе? Нет? Хотя, собственно, из-за чего ты разошлась с ним, я так-таки и не знаю.

— Разошлась, и все, зачем тебе знать?

— Но ты же переживаешь, я вижу.

— Ничего ты не видишь. Слава богу, у тебя все хорошо, и семья, и пост, да и пусть хоть кто-то один из нас будет счастливым.

— Галя,— сказал Дементий, останавливая сестру.

— А мне: только бы Юрия пристроить.

— Отвези его к деду, что за вопрос? — И он снова начал говорить об отце, о Мценске, где прошла его и Галина молодость и где, как он полагал теперь, должно было быть хорошо Юрию.

Но Галина была утомлена, почти ничего не воспринимала и только просила брата:

— Не пора ли тебе, час уже поздний.

— Ничего, четыре года не виделись.

Прощался Дементий с сестрою как будто повеселевшим, словно и в самом деле все сложные вопросы ее жизни были разрешены им, но когда проходил мимо двери, за которой уже спали Арсений и Наташа, что-то на мгновенье заставило Дементия остановиться напротив этой двери и посмотреть на нее.

— Жаль, Галя, что у тебя все так,— сказал он, по-отцовски сосредоточенно сведя над глазами брови; с этим сосредоточенным выражением он и вышел затем из дома сестры.

### XXXII

На другой день московские дела так закрутили Дементия, что он надолго забыл о Галине.

Несмотря на то, что всю свою работу в связи с новым назначением он должен был как будто начинать с нуля, он с удивлением обнаружил, что многое для разворачивания строительства было уже сделано той группой людей (будущими начальниками участков и снабженцами), которая была создана еще до его приезда в Москву. Люди эти были специалисты, для которых прокладка газопроводов и переезды с одного строительства на другое было их привычным и постоянным делом, и Дементий с интересом знакомился с ними; но еще с большим интересом и вниманием он вникал в документы, по которым, как по донесениям с фронтов, раскрывалась перед ним вся панорама уже начавшихся работ. На линию будущей трассы, по которой он только что прошел из конца в конец, совершая контрольную поездку, уже направлялись бригады для проведения подготовительных работ, и вместе с людьми направлялись сборные домики, палатки, одежда и техника. Дементий принимал строительство, как командующий принимает армию, головные подразделения которой уже высаживались из вертолетов далеко за Тюменью в заснеженных

просторах тундры, а хвостовые, арьергардные, еще только готовились к погрузке в эшелоны в Москве и в разных других городах, соединенных лишь непрерывной телефонной и телеграфной связью со столицей; и Дементию надо было разговаривать с этими городами, торопить или придерживать отгрузку, уточнять сметы и выделенные фонды в отделах министерства и проделывать десятки других дел, о которых он еще несколько дней назад не имел понятия, что они могут существовать и занимать его. Он как будто вдруг окунулся в ту жизнь, какой всегда не хватало ему; и жизнь эта (вся его необходимая столичная суета) не только не утомляла, но, напротив, лишь подталкивала к новой и новой деятельности. Он еще раз побывал у министра и ожидал, что будет принят выше; и за все эти дни успел только написать жене письмо и сообщить, что все дела его в Москве идут успешно, но что он вынужден еще немного задержаться здесь и что по возвращении домой сейчас же вылетит на трассу, куда уже прибывают люди и техника. «Я рад за нас с тобой», — приписал он в конце, как всегда полагая, что то, что радует его, должно радовать и Виталину.

О сестре Дементий вспомнил только тогда, когда она позвонила ему в гостиницу и сказала, что вместе с сыном уезжает в Поляновку.

— Когда? — спросил он.

— В субботу, вечерним поездом.

— Я приеду за тобой.

— Нет. Приезжай лучше на вокзал, — попросила Галина.

В противоположность брату она прожила эту неделю совсем иной, замкнутой в себе жизнью. Весь государственный механизм движения, когда усилила большинства людей направлялись на то, чтобы укреплять общее благополучие (и когда рабочая сила и техника в масштабах огромной страны вдруг перебрасывались из одного района в другой), этот государственный механизм движения никогда и прежде не был доступен ей. Как всякий более или менее образованный человек, она знала лишь, что для производства любых товаров необходимо сырье; но как человек, всегда только потреблявший эти товары и никогда не производивший их, она полагала, что источники сырья неиссякаемы и что добыча и поставка его — дело столь же, должно быть, простое и обыденное, как и всякое другое, выполнявшееся людьми. И потому ни в этот, ни в прошлые приезды она не понимала брата; она видела в нем лишь эгоистическую устремленность к какой-то своей высшей цели (к чему, ей казалось, всегда стремится большинство мужчин); но так как эти эгоистические устремления не затрагивали ее интересов и Дементий был ей братом, она прощала ему все, и забывчивость, и равнодушие, утешаясь мыслью, что «все же он там, наверху... и не кто-то над ним, а он над другими». Это деление людей на тех, кто наверху, и тех, кто внизу и к кому она причисляла себя, появилось у Галины почти сразу после того, как она разошлась с Арсением. Примкнув к той прослойке «обойденных жизнью» людей, для которых механическое деление на «верх» и «низ» всегда, во все времена, составляло главную философскую основу их рассуждений, она не только приняла эту философскую основу, но ей казалось теперь, что нет и не может быть иного и более верного взгляда на жизнь; и нынешняя встреча с братом лишь укрепила эту убежденность. Она увидела, что Дементий, как и всегда, был занят только собой и что от него нечего было ждать помощи; но если брат, как она полагала, не может помочь ей, то что она могла ждать от других, чужих ей и тоже занятых собою людей? И она молча, таясь от знакомых, переживала свое горе.

Во Внешторгбанке, куда она перешла сразу же после развода с Арсением, оставив плановый отдел «Станколитэ» (из одного только желания — уйти от людей, знавших о ее несчастье), все для нее было тоже как бы разделено на два мира: тот, что был за барьером, непрерывно шумевшая толпа людей, выезжавших за границу и хотевших приобрести валюту, и этот, по сю сторону, где за столиками сидели женщины и готовили документы. Столик Галины был в глубине комнаты, и она сидела спиной ко всей гудевшей толпе; место ее считалось неудобным, так как то и дело приходилось вставать и подходить к барьеру; но в эти дни, когда сын ее попал в милицию и когда, она чувствовала, что по выражению ее глаз каждый мог сейчас же догадаться о ее горе, она не только не испытывала своего обычного неудобства, но, напротив, была рада, что никто пристально не мог теперь смотреть на нее. Она считалась в коллективе тем спокойным, тихим и благополучно как будто живущим сотрудником (не доставлявшим никому излишних хлопот), каких бывает большинство и на каких именно в силу их молчаливой исполнительности не обращают внимания. И Галина была как будто довольна этим своим положением. Ей казалось, что она приносила себя в жертву ради каких-то общих людских интересов, и эта ее новая роль, как и все прежние, когда она то собиралась посвятить себя науке, то готова была целиком отдаться семье, воспитанию сына и мужа, то вдруг принималась за организаторскую деятельность, из которой, как из всех предыдущих увлечений, ничего не выходило у нее, — роль тихого, непритязательного человека теперь полностью занимала ее. И в этой роли было два момента, особенно привлекавших Галину: сознание своего благородства, что она жертвует собой, и возможность быть на виду именно благодаря этому благородству. Она видела, что среди сотрудниц, работавших с ней, было немало интересных женщин, но из всех этих интересных женщин, к которым она причисляла и себя, более привлекательной и броской была она. Она чувствовала это по взглядам, какие бросал на нее заведующий отделом (единственный в группе обмена мужчина), когда вызывал к себе или проходил мимо ее стола; и она хорошо знала, что он смотрел на ее волосы, которые она точно так же, как в молодости, когда встречалась с Лукиным, а потом с Арсением, с тщательностью расчесывала и укладывала по утрам. Она радовалась тому, что в жизни ее появилась надежда; но радость эта чем старше становился Юрий, тем сильнее омрачалась им и тем растеряннее чувствовала себя Галина перед жизнью.

Утром, после разговора с братом, она как обычно отправилась на работу, но в середине дня, сославшись на головную боль, вынуждена была отпроситься и уйти, чтобы повидать сына.

— Вы мне всегда нужны, — выслушав Галину, сказал ей заведующий отделом Евгений Феодосьевич Рестовратцев (тот самый единственный в группе обмена мужчина), отвечая на вопрос ее, нужна ли она будет ему во второй половине дня, когда за барьером иссякнет толпа людей, захлопнутся стеклянные входные двери и все сотрудницы будут переключены на проверку и обработку текущей документации. — Вы мне всегда нужны... Идите, идите, — в той манере, как он обычно говорил с Галиной, повторил он, отпуская ее. И он как будто невольно (и по выработанной уже привычке) обежал взглядом всю ее давно уже остановившуюся полнеть фигуру — от светлых волос по темной кофточке вниз, к полу, к ногам, обутым в белые, на высоком, прямом и модном каблуке босоножки. — Да ступайте же, — добавил он, видя нерешительность Галины, по-своему понимая, отчего она, и опуская к столу лицо.

Галине шел тридцать восьмой год, она была в той поре, когда брошенный на нее взгляд мужчины уже как будто не должен был так волновать ее, но, несмотря на возраст и на то внешнее — усталость и морщинки, — что выдавало в ней ее годы, она с ужасом иногда думала, что не чувствует своих лет, что все прожитое может быть сейчас же забыто ею и что она готова испытать заново все, что испытала при первом замужестве; и пока Рестовратцев теперь говорил ей, она особенно вдруг ощутила, что главное, что дается людям для жизни, не было растрчено в ней. Она не вполне осознавала, отчего она не выходила и продолжала смотреть на Рестовратцева, тогда как ей ясно было, что он отпускает ее; но по тому неодолимому желанию, какое всегда возникает неожиданно и не подчиняется рассудку, она чувствовала, что ей надо было что-то понять сейчас в Рестовратцеве. Но она видела только его наклоненную голову с пробором седеющих волос и не находила того, в чем должна была утвердиться. «Боже, да на что я ему?!» — наконец, беспокояно вспыхнув румянцем, мысленно проговорила она и, повернувшись, пошла из кабинета. Ни на кого не оглядываясь, она прошла мимо столиков, стараясь создать то впечатление, будто все ее волнение происходит и в самом деле от головной боли, и долго затем, уже очутившись на улице, не могла избавиться от неловкого, подавлявшего ее чувства. И когда в конце концов, пересаживаясь с одного вида транспорта на другой — с троллейбуса на метро и снова из метро в троллейбус, — добралась до нужного здания, где отбывал наказание Юрий, и увидела приведенного к ней на свидание сына, была настолько измучена, что в первую минуту не в силах была ничего сказать сыну.

— Юра! — наконец, поборов себя, проговорила она, подходя к нему и издали еще всматриваясь в его лицо. Ей хотелось уловить признаки того чувства, какое сблизило бы ее сейчас с сыном. — Как тебя здесь кормят? — затем спросила она и только теперь, спохватившись, подумала, что могла бы что-нибудь купить и принести сыну.

И эта маленькая вина перед сыном сейчас же вызвала в Галине ощущение иной и большей вины перед ним. Она вспомнила о вчерашнем своем разговоре с братом и подумала, что брат был прав. «Я отобрала у Юры отца, так в чем же я могу упрекать его?» И она только продолжала смотреть на родное лицо, которое казалось ей исхудавшим, серым и вызывало сострадание. В ней уже не было цели, с какой она шла сюда, — чтобы убедить Юрия поехать к деду в деревню, — а все силы души были сосредоточены на этой жалости, какую она испытывала сейчас к нему. Но глаза ее оставались сухими, и лишь что-то тревожное и замершее было в ее открытом взгляде. Она впервые смотрела так на сына, и впервые ей хотелось не ругать, а помочь ему. Но она не представляла, что могла сейчас сделать для него, и, достав из сумочки носовой платок, принялась лишь для чего-то вытирать им под глазами Юрия. Затем осмотрела на нем рубашку и, заметив отрывавшуюся пуговицу, сказала, что надо бы пришить ее. Но через минуту о пуговице было уже забыто, и она снова лишь вглядывалась в серое лицо и остриженную голову сына. Ей хотелось, чтобы он почувствовал ее отношение к нему; но, несмотря на все ее, в сущности, никчемные теперь материнские ласки, Юрий оставался холоден к ней. Было видно, что он не понимал мать, словно мир его воспринятый был настолько противоположным миру воспринятый Галины, что точно так же, как потребовались годы, пока произошло это отдаление, нужно было теперь время, чтобы сблизиться им. При каждом прикосновении матери губы Юрия брезгливо подергивались, и он сейчас же отстранялся, словно что-то дурное со-

бирались сделать ему, но чем упорнее он отстранялся, тем настойчивее Галина пыталась проявить материнские чувства, и в конце концов, притянув к себе остриженную голову сына, прижалась щекой к его жестким и колким волосам.

— Ты не виноват, я знаю, ты не виноват,— торопливо зашептала она, глядя его голову и чувствуя под ладонью его худую мальчишескую шею.

За все короткие минуты свидания она так и не успела ничего главного сказать сыну, и лишь когда заглянувший в комнату дежурный предупредил, что свидание окончено, продолжая еще судорожно удерживать возле себя Юрия, проговорила:

— Ты хочешь в деревню к бабушке?

Затем отпустила и посмотрела ему в лицо.

— Мне все равно,— отчужденно ответил Юрий тем уже ломавшимся в нем, еще не мужским, но уже и не мальчишеским голосом.

— Ты обо всем забудешь! Мы поедем... Господи, как я хочу, чтобы ты стал человеком! Господи!..

### XXXIII

По тому совпадению событий, какие принято называть случайностями и в какие люди обычно верят мало, тогда как случайности эти происходят и влияют на общий ход жизни, в тот же вечер и почти в те же часы, когда пензенский поезд, сопровождаемый грозой и ливнем, увозил Сергея Ивановича и Юлию в деревню, с другого вокзала, с Курского, уезжала в Мценск Галина с сыном.

С утра, когда она получала отпускные и ездил за Юрием, она была оживлена и деятельна; но теперь, когда стояла на платформе в ожидании, пока подадут состав под посадку (и пока, главное, подойдет Дементий, обещавший проводить ее), была молчалива, грустна, как будто что-то отрывала от себя, уезжая из Москвы. Она все эти дни находилась под влиянием разговора с братом и думала, что поступает правильно, отвозя Юрия к деду в деревню; но когда теперь все приготовления к отъезду были позади и вопросы о билетах и отпуске не отвлекали ее, в ней уже не было прежней уверенности, что она делает все правильно, и предстоящая встреча с отчимом беспокоило волновала ее. Она нетерпеливо посматривала то на часы, то по сторонам, стараясь разглядеть Дементия в постоянно перемещавшейся вокруг нее толпе, но брата не было видно, и это еще более настаивало Галину. В ней поднималось какое-то недоброе предчувствие перед отъездом.

У ног ее стоял чемодан, а над головой она держала распахнутый зонтик, прикрывая им себя и сына от мелкого, то прекращавшегося, то вдруг вновь начинавшего накрапывать теплого июньского дождика.

Такой же светловолосый, как и мать, но с еще более мрачным и не по-мальчишески отчужденным лицом стоял возле нее Юрий. Он выглядел успокоенным и покорным, и по выражению его глаз можно было только понять, что ничто окружающее не занимало его; ему как будто безразлично было, куда, зачем и почему он уезжает, и он, казалось, заботился лишь о том, чтобы капли дождя, стекавшие по зонту ему на спину и плечи, не попадали за поднятый воротник плаща-болоньи. Плащ этот был как будто великоват ему и, как на жерди, висел на его костистых мальчишеских плечах; таким и увидел его издали торопливо подходивший к ним Дементий.

— Решилась-таки,— сейчас же проговорил он, поздоровавшись с Галиной, весело глядя на нее и невольно передавая ей свое настро-

ние. Из прошлого разговора с ней он помнил лишь, что все как будто было определено с ее сыном; он посоветовал ей тогда отвезти Юрия к деду в деревню; он был доволен теперь, что сестра воспользовалась этим его советом.— Ну, представляй,— затем попросил он, поворачиваясь к Юрию и так же весело глядя на него.— Здравствуй, племянник!— И так как Юрий ничего не отвечал, продолжая лишь молча и как будто бессмысленно смотреть перед собой, Дементий потянулся и пожал ему выше локтя руку.

— Ты что, не узнал, что ли, дядю? А ну поздоровайся с ним!

— Не надо,— заступился Дементий.— Оставь парнишку. Дядю не мудро и не узнать. Так ты все-таки едешь,— повторил он, чтобы перевести разговор.— Отец будет рад.

— Утешаешь?

— Да я и сам, Галя, давно в долгу перед отцом: и повидать надо, и времени нет, дело за дело, и никакого просвета. Ты улыбаешься?— И он тоже улыбнулся, сказав это. Он хорошо знал, что при желании всегда и на все можно найти время, тем более на поездку к отцу; но событие это не лежало в русле его деловых забот и не было для него главным; он лишь хотел оправдаться перед собой и потому сказал ей эти слова.— Смейся, не смейся, а так оно и есть на самом деле,— подтвердил он, продолжая весело смотреть на нее и улыбаться.

Несмотря на то, что он как будто понимал, как тяжело было Галине ехать к отчиму («С таким сыном? Да, радости мало»,— думал он, поглядывая на Юрия), он точно так же, как и несколько дней назад, когда впервые в этот свой приезд в Москву встретился с сестрой, невольно, лишь по обычной, не осознававшейся им привычке экономить силы для главного, не растрачивая их по мелочам, старался теперь повести разговор с сестрой так, чтобы все болезненные для нее вопросы, требовавшие напряжения, чтобы разрешить их, не были затронуты; он старался свести все к обобщенным выражениям и фразам, как будто частности, беспокоившие Галину, были уже позади и оставалось теперь только выждать время, чтобы увидеть, как при разумном отношении к жизни все хорошо может уложиться в ней.

— Я не хочу ничего предрекать, Галя,— говорил он,— но город, по-моему, все-таки убивает человека. Мы — дети природы. Ну давай по себе: да мог ли бы я представить свою жизнь без нашей Поляновки. без Мицанска, этого, в сущности, если мерить по нынешним меркам, большого села, без тайги, тундры, без всего этого простора, где и дышать-то, кажется, дышится по-другому? А в Москву, чтобы жить в ней, надо, мне думается, приезжать с уже установившимся характером, с крепкими нервами, когда все в организме заматерело и никакая душевная парша не пристанет тогда к тебе.

— Ты умно говоришь,— заметила Галина.

— А что делать? Зачем повторять глупости? Если бы из всего, я бы назвал, делового, что мы говорим друг другу, мы использовали хотя бы половину, да так ли было бы все вокруг, Галя!

Дождь прекратился, но Дементий точно так же, как он не замечал, когда моросил дождь, не замечал теперь, когда его не было, и лишь машинально время от времени проводил ладонью по мокрым щекам и бороде, вытирая последние оставшиеся капли. Он был без пиджака, в рубашке, прилипавшей к плечам и спине, и обветренным лицом своим, загорелыми кистями рук, темно торчавшими из-под белых манжет, распахнутым воротом и всей той нарочитой как будто небрежностью к одежде, по-мужицки невытравимо (по убеждению Виталины) сидевшей в нем, производил на Галину то впечатле-

ние, будто перед ней был не этот, нынешний Дементий, а прежний, которого она хорошо знала, философствующий студент, забегавший к ней, чтобы подкормиться и попросить денег; и она уже с чувством снисходительности слушала его.

«Ну продолжай, продолжай,— говорило выражение ее лица, в то время как она смотрела на брата,— все равно то, что ты говоришь, только умно выглядит, но не имеет никакого отношения к жизни; и ты сам узнаешь это, когда прикоснешься к жизни с той стороны, с какой прикасаются к ней все люди». И выражение это уже не сходило с ее лица во все время, пока не подали состав под посадку.

Но перед тем, как подали состав, произошло еще одно незначительное как будто событие, которое затем надолго запомнилось Дементию. Событие это было связано с поведением Юрия, смотревшего на все как будто равнодушно и стоявшего тихо, но вдруг самым неожиданным образом решившего проявить себя. Холодным жаланием взглядом он выбирал себе жертву среди толпившихся вокруг него на платформе людей и, ущипнув (за мякоть бедра или ноги, куда было удобнее), сейчас же снова тупо смотрел перед собой, словно никто и ничто не интересовало его. Он впивался пальцами в чужое мягкое тело с такой удовлетворяющей озлобленностью, что тонкие мальчишеские губы его на мгновение сжимались в шнурок, и первой жертвой его была с визгом отскочившая от него женщина, которая тут же принялась возмущаться и кричать на него. Затем он ущипнул девочку, проходившую мимо него вместе с матерью, и опять — возмущение и крики матери и плач девочки заставили всех стоявших обернуться к нему.

Занятая разговором с братом, на крики эти обернулась и Галина и с первых же слов поняла, что произошло и в чем упрекали ее сына.

— Ты опять за свое! — набросилась она на Юрия, несколько раз ладонью ударив его по рукам. — Ты что позволяешь себе? Ты меня не позорь! Не позорь свою мать! — Она готова была еще кричать на него и бить его по рукам, и только то чувство, что она собирает вокруг себя людей, и вмешательство Дементия, кинувшегося защитить племянника, остановило ее. — Тебе мало? Ты уже опозорил меня, тебе еще мало? — стараясь высвободиться от брата, еще продолжала она.

— Да что он сделал? Тебе, наверное, показалось, Галя, успокойся, ну успокойся,— просил Дементий, которому больно и неприятно было видеть сестру в таком обезумевшем состоянии. — Да успокойся же! — Он держал ее за плечи и встряхивал; и вместе с тем как он просил ее успокоиться, он то и дело оглядывался на зевак, стоявших вокруг. — А вам чего? Что нашли интересного? — наконец, решительно повернувшись к толпе, проговорил он; и он смотрел на них до тех пор, пока люди не начали расходиться. — Так что же все-таки он мог сделать? — затем снова спросил он у Галины, лицо которой все еще было бледно и взволнованно. — Может быть, ты напрасно, я видел, он спокойно стоял себе...

— Спокойно... Я тебя с завязанными руками возить буду! — угрозила она Юрию. — Прямо как болезнь какая-то.

— Да что все же он сделал?

— Я знаю, что — щипал прохожих! Это давно у него, со школы еще, там научился, я там еще за тебя натерпелась. — Оттого, что она была взволнована, она сразу обращалась и к брату и к сыну. — Взял манеру: как только чуть что не по нему, сейчас же щипать... Ему, видите ли, скучно, грустно, как же могут радоваться другие? Пусть всем будет плохо, и щипать, щипать... я тебе покажу, я научу тебя, как жить с людьми! Господи, хоть бы ты посоветовал что, — попросила она брата.

— Ты это на самом деле? Это правда? — спросил Дементий у племянника.

Но Юрий ничего не ответил ему.

— Что же ты молчишь?

— А что он может сказать?

— Погоди, Галя.

— Ты меня не останавливай! Что он может сказать? Хоть бы в армию его поскорей забрали, что ли. Там выучат. Там быстро научат, как уважать людей и уважать мать.

Галяна все еще не могла успокоиться и непрерывно переводила взгляд то на Дементия, то на сына.

— Ну вот, ты теперь все знаешь, — говорила она брату. — Рассуди, что мне с ним делать? В кого он такой уродился?

— Ты преувеличиваешь, Галя, — ответил Дементий. — Я уверен, ты именно все преувеличиваешь, — повторил он, заметив, что фраза эта подействовала на Галину.

Как он ни ограждал себя, чтобы не вникать в сложные и запутанные семейные дела сестры, он чувствовал, что все же опять был втянут в них и что рано или поздно, но придется ему что-то решительное предпринимать, чтобы помочь Галине; но вместе с тем — как он ни был втянут в эти лишние и только мешавшие ему семейные неурядицы сестры, он и теперь невольно продолжал искать тот ход в своих отношениях с ней, благодаря которому можно было бы без особых затруднений освободиться от этих ненужных забот; потому он и ухватился с такой торопливостью за случайно им же самим брошенную фразу «ты преувеличиваешь все, Галя» и к концу разговора, когда были уже в купе и надо было прощаться, и сам вполне верил в то, что сестра все преувеличивает и что не так уж все сложно в жизни, как это представляется ей. Но когда, обнявшись с сестрой и кивнув на прощанье Юрию, выходил из купе, вдруг, как ожог, почувствовал, что кто-то больно и зло ущипнул его. Он мгновенно обернулся и успел еще уловить взгляд Юрия и заметить его злорадное выражение лица с плотно стиснутыми в шнурок тонкими мальчишескими губами; и сейчас же то неприятное, что возмущало Галину и было как бы за чертой для Дементия (что казалось ему преувеличением), вызвало в нем сильное и резкое чувство протеста. «Как он посмел, щенок! — подумал он. — Дрянь! Ничтожество!» Дементий двинулся было на племянника, уже спокойно пристроившегося у окна, но остановился, и только по сдвинутым бровям и побледневшему вдруг лицу было заметно, что стоило ему удержать себя.

— Ты что? Что с тобой? — спросила его Галяна, не видевшая того, что произошло между братом и ее сыном, но живо ощутившая, как только сумки были переложены ею на полке, эту атмосферу возникшей напряженности.

— Так, ничего, — сказал Дементий и встряхнул головой, будто можно было сбросить неприятную (и сознававшуюся им) бледность с лица. — Ничего, ничего, хочу еще раз посмотреть на вас. Вещи все? Билеты у тебя? — Он с усилием улыбнулся. — Ну, счастливо! Отцу кланяйся. Скажи ему: непременно приеду. Выберу время и приеду. Ну, пока! — И он торопливо пошел из купе.

«Гаденыш, ну гаденыш!.. Сильная личность... Я б тебе показал сильную личность, — про себя проговорил он, невольно объединяя то, что слышал о Юрии от Галины, и то, что узнал теперь сам. — Вот оно, интеллигентское воспитание. С кем она хотела связать свою жизнь! С кем выясняет себя?!» Так как по понятиям Дементия все и всегда имеет первопричину, он подумал об Арсении, который был противен ему именно своей будто напоказ выставлявшейся интеллигентностью;

и в этой интеллигентности как раз и был, как ему казалось, заключен весь корень зла. «А сколько лоску, сколько щегольских манер!» — продолжал он, живо вспоминая вечер у Лусо, где в последний раз видел Арсения; и с этими повернутыми в сторону Арсения мыслями (так было проще и объяснимее все) Дементий вернулся в гостиницу. Пристроившись возле торшера в кресле, он полистал брошюры с техническими новинками, купленные им еще днем в министерском киоске, и затем, все более отдаляясь от вокзальных переживаний, прислушивался к грозе, полыхавшей за окном; гроза и ливень воспринимались им лишь как предстоящее обновление жизни, и обновление это было прежде всего в нем самом и для него, и он чувствовал это всем своим крепким, здоровым, отдыхающим телом.

Галина же — чем дальше поезд отвозил ее от Москвы, тем сильнее она испытывала беспокойство. То, к чему она обычно стояла спиной (к своему прошлому), к этому она как будто была теперь повернута лицом, и все прожитое от тех давних лет, с чего начиналась память, разворачивалось перед ней неохватным холстом событий. Она понимала, что сделала в жизни что-то такое, от чего была теперь так несчастна; и она старалась найти во всех перебираемых ею событиях, где и в чем заключалась ее ошибка, но при всем старании она видела себя лишь с той стороны, с какой поступки ее могли быть только оправданы ею, и ей казалось, что было что-то роковое в том, что любое ее желание почти тотчас, как только возникало, какою-то неведомою силой загонялось в тупик. В купе было темно, Юрий спал на нижней полке, и она сидела напротив него у черного незашторенного окна. При вспышках молнии, когда купе на мгновение озарялось светом, она бросала взгляд на сына, на его маленькую, остриженную, худую голову и руку, лежавшую поверх одеяла, и, наклоняясь, ощупью в темноте пыталась что-то поправить на нем; и как только пальцы ее прикасались к не по-мальчишески дряблему телу сына, она особенно обостренно испытывала чувство вины перед ним и торопливо, как она всякий раз бралась за вдруг приходившее ей в голову дело, говорила себе, что всю оставшуюся свою жизнь теперь посвятит ему. «Ну спи, спи, теперь не будет того, что было», — произносила она, запоздало раскаиваясь и краснея за ту свою несдержанность, с какой она при Дементии кричала на сына на платформе и била его по рукам. Она то вдруг, словно открывалась заглазубка, ясно слышала и стук колес и шум ливня по стеклу и крыше вагона, то точно так же неожиданно все вдруг затихало, и она снова шагала в мыслях по уже однажды пройденному кругу жизни.

#### XXXIV

На следующий день утром (это было воскресенье), не успев Дементий как следует проснуться, позвонил ему Дружников.

— Ты что собираешься делать сегодня? — спросил он с той своей обычной простотой и веселостью, какую сейчас же уловил в его голосе Дементий. — У меня есть предложение: поедем с нами на выводку собак в Серебряный бор? Получишь удовольствие.

— С кем «с нами»? — переспросил Дементий.

— Со мной и с Лией. Мы возем нашего ньюфа...

— Кого, кого?

— Ньюфаундленда, есть такая порода собак, — уточнил Дружников. — Нашему ньюфу только еще шесть месяцев, он щенок, зовут его Ньюс-Аскри-Поль. Удивительно забавное существо. Ну так как?

— Даже не могу сказать тебе, я ведь ничего не понимаю в собаках.

— И не надо тебе ничего понимать. Там будут только одни черные ньюфы и московские сторожевые... Уверяю, получишь колоссальное удовольствие. Ну так как? Заезжать?

— Заезжай,— согласился Дементий. «Все равно, где проводить день»,— про себя заключил он.

Собаки не интересовали его, но согласился он поехать на выводу потому, что ему еще раз хотелось (по недавнему своему впечатлению об этой паре) встретиться с Григорием и Лией, у которых все как будто ладилось в жизни и с которыми оттого легко и приятно было, казалось Дементию, общаться ему.

Григорий с Лией были коренными москвичами, и Москва для них была точно такой же простой, близкой и понятной, как для деревенского человека бывает проста, близка и понятна его крестьянская жизнь. Детство Григория прошло в арбатских переулках, где и теперь еще в старом трехэтажном (бывшем купеческом) доме жили его вышедшие на пенсию родители; Лиино же детство было связано с Зарядьем, как раз с тем местом, где теперь возвышалось огромное здание гостиницы «Россия», и с Замоскворечьем, где в те годы жил ее двоюродный дядя — профессор Игорь Константинович Лусо. Учились Григорий и Лия в разных школах, и пути их, может быть, никогда бы не сошлись, если бы не родители, которые по вынесенным еще из прошлого столетия традициям, предполагавшим, что семьи должны складываться только из людей одного круга, когда Григорию пришла пора жениться, а Лии выходить замуж, начали подыскивать из среды своих знакомых, кого бы можно было взять в дом или за кого выдать невесту. Отец Григория, профессор математики Илья Дружников, хотя и не был особенно близок с профессором Лусо, но иногда все же бывал в его доме, и в один из таких визитов жена Дружникова высказала жене Лусо, Нине Максимовне, что хотела бы женить сына, который к тому времени заканчивал институт, но что из нынешней молодежи не может подобрать ему подходящей пары; тогда-то супруги Лусо и вспомнили о своей двоюродной племяннице Лии, и между женщинами (и с согласия, разумеется, мужчин) было договорено свести молодых. Их стали приглашать на вечера, какие тогда уже собирал у себя в доме Лусо, и хотя мнения родственников и знакомых — и со стороны будущего жениха, и со стороны невесты — сейчас же резко разошлись и большинство утверждало, что сводить молодых по нынешним понятиям не только несовременно, но и предосудительно и что все равно из этого ничего путного не может получиться, несмотря на эти скептические голоса и на то, что сами молодые тоже неприязненно были настроены друг к другу перед встречей и согласились на нее лишь из уважения к родителям, вскоре между ними завязалась та дружба, которая и завершилась, к удивлению всех и радости стариков, свадьбой.

Свадьба была сыграна с той всегда нравившейся профессору Лусо русской размашистой широтой, что о ней долго потом не переставали говорить соседи, вспоминая при этом, как за невестою приезжал целый поезд украшенных лентами и цветами автомашин. Спустя два года молодые с помощью родителей выстроили себе в районе Песчаных улиц кооперативную квартиру и обставили ее, а еще спустя несколько лет был куплен ими (и опять же не обошлось без родительских денег) «Москвич», так как без машины в той сфере людей, в какой они вращались, было уже неприлично оставаться им. Точно так же будто естественно, будто само собой, но, разумеется, не без помощи добрых и влиятельных знакомых было предоставлено Григорию место в одном из научно-исследовательских институтов Москвы — с приличным месячным окладом и заметным общественным

положением, а в другом (с биохимическим профилем) место для Лии, и, таким образом, в свои совсем еще молодые годы они уже получили от жизни все, что могли и, как считали их родители, должны были получить от нее, и оттого жили легко, в меру отдаваясь работе и досугу, и благодаря своей общительности пользовались среди друзей репутацией добрых, милых людей.

Все знакомые профессора Лусо, вхожие в его дом, и знакомые профессора Ильи Дружникова были теперь как бы переданы Григорию и Лии и принимались в их доме. Внешне все обставлялось так, словно поддерживались лишь старые семейные связи; но на самом деле все эти люди были объединены определенными интересами текущей жизни и составляли для Дружниковых как раз ту их Москву (в общей жизни столицы), где все удавалось им и радовало их. И они старательно оберегали эту свою Москву, осторожно вводя в нее новых знакомых, и тем приятнее, казалось им, должно было быть Дементию, что безо всяких будто планов на него они втягивали его теперь в круг своих близких друзей.

— Как будто ни с чего, а какую биографию себе сделал,— говорил Григорий жене, в то время как они собирались ехать за Дементием.— Этот человек, увидишь, далеко пойдет.

— Ну и что нам-то?

— Нам ничего, но, уверяю тебя, он далеко пойдет. Умница, деловой, обаятельный, красивый...

Дементий, разумеется, ничего не знал ни об этом разговоре, ни о том, что на самом деле представляла собой семья Дружниковых. Надевшийся всегда только на себя и никогда не искавший ничьей помощи, он не думал, чтобы от общения с ним можно было искать каких-то выгод; он видел в Григории лишь прежнего своего сокурсника, хорошо устроившегося в Москве в научно-исследовательском институте и неплохо, как видно, выполнявшего свое дело, и видел в Лии тот образец женщины, умевшей по-современному делать все: и водить машину, и управляться на работе и дома, и быть, как это казалось Дементию, хорошей женой (он выводил это из своих наблюдений за ней на вечере у Лусо),— и все это как раз и вызывало в нем ответные к семье Дружниковых добрые чувства.

«Надо будет как следует присмотреться к ним»,— говорил он себе, когда, уже позавтракав в буфете на этаже и выйдя на улицу, стоял у подъезда гостиницы в ожидании, пока Дружниковы заедут за ним. Как и во время недавнего разговора с сестрой, он снова подумал о том, что при одинаковых, в сущности, условиях, какие были и у Галины с Арсением и у Дружниковых, судьбы их сложились по-разному; и он теперь еще больше был убежден, что все в жизни прежде всего зависит от самого человека. «Мы привыкли во всем и сейчас же обвинять общество, но так ли уж общество это виновато во всем?—спрашивал он себя.— Растет же вот гаденыш,— он недоволен подернул губами от неприятного воспоминания,— так при чем тут общество? Оно состоит из нас: каковы мы, таково и оно». Он еще приводил разные доводы в подтверждение своих мыслей и настраивал себя на то, чтобы поближе присмотреться к Григорию и Лии как к образцу семейной жизни, но то, с чем предстояло познакомиться ему в этот воскресный день, он даже отдаленно не мог предположить в эти минуты.

Он признавал естественной лишь ту деятельность человека, в результате которой возникали общественные блага, но он должен был столкнуться теперь с совершенно иной стороной московской жизни, где деятельность эта подменялась другой, когда люди старались ую-

требить свои силы на то, чтобы выращивать и содержать в своих городских квартирах собак. Люди эти были объединены в клубах служебного и декоративного собаководства и представляли собою, в сущности, общество в обществе, где значимость каждого определялась не личными заслугами, не возрастом и занимаемым положением — водителем, студентом, литератором или академиком, — а степенью породистости содержащейся им собаки и тем, как она выхожена. Не помнящие дальше отца или деда из своей родословной, люди эти с какой-то особенной и только им одним как будто понятной увлеченностью ведут родословные своих собак, и чем глубже такая родословная, корни которой непременно должны уходить куда-то за границу, тем больше авторитета у хозяина и тем большим уважением и вниманием пользуется он. Они, эти люди, по три раза в день — и зимой и летом — должны выводить своих питомцев на прогулку (чтобы собаки могли справить свою естественную нужду), и в определенные часы их всегда можно видеть либо в скверах, либо во дворах, либо в других каких-нибудь местах, где обычно бывает запрещено выводить собак, но ни запреты, ни недовольство жильцов и прохожих — ничто не влияет на них. Ссорясь между собой из-за преимущества той или иной породы, они сейчас же готовы объединиться, как только кто-либо начинает посягать на их права; они выправляют своим любимцам прикус, выхаживают им ноги, стригут, расчесывают, моют, и все разговоры их беспрерывно вращаются вокруг всех этих собачьих дел; обилие или недостаток продуктов в магазинах беспокоит их только с той стороны — будет ли чем или не будет чем кормить им животных. И люди эти убеждены, что именно они представляют лучшую часть человеческого общества, заботящегося о природе, тогда как все их боксеры, сеттеры, ньюфы и серые немецкие овчарки, запертые в душных комнатах или на пыльных балконах (что еще невыносимее для собак), не только не наслаждаются своей жизнью, но, напротив, лишены нормальных для себя условий, лишь мучаются ею. Но никто и никогда не говорит об этом; главным, несмотря на разбрасываемую ими по квартире шерсть и разные другие неудобства, создаваемые ими же, считается все же, что в доме живое существо и что от общения с этим живым существом (равнозначным будто бы общению с природой) добреют и облагораживаются человеческие сердца.

Но, по мнению некоторых наблюдательных людей, за всей этой любовью к природе кроется совсем иная причина. Человек, ведущий на поводке выхолненного дога или сеттера, хоть и отдаленно, но напоминает барина. И хотя давно уже нет ни псовых охот, ни дворянских псарен, так живо изображенных в литературе, и нет тех графских апартаментов, по которым рядом с хозяином прогуливались или лежали на диванах английские или немецкие доги, ухоженные многочисленную дворней, но притягательная сила той жизни, красиво обставленной вещами и собаками, продолжает еще волновать многих людей, и люди эти по большей части бессознательно, лишь из простой человеческой слабости в малогабаритных своих квартирах заводят тех же графских догов и сеттеров и, совмещая в себе одновременно и прислугу, и дворню, и хозяина, в десятки раз усложняя себе жизнь, бывают затем довольны теми короткими минутами, когда появляются на людях с выхолненным своим псом и с тем чувством, будто и в самом деле какую-то стороной приобщились к тем старым барским будням. Во всяком случае, для Дружниковых, хотя ни Григорий, ни Лия даже между собой никогда не говорили об этом, главным было именно возможность приобщения, и они приобрели себе чистокровного и дорогостоящего ньюфаундленда, родословная кото-

рого (по сучке) тянулась к какому-то небольшому западногерманскому городку близ Кельна.

Когда их спрашивали: «Какого помета щенков?» — «От Аскри Скринского и Гарри-Чана». «От Аскри?!» Сучка эта была хорошо известна среди московских любителей собак, и Дружниковы гордились своим подрастающим черным ньюфаундлендом.

Так как в будни они отвозили щенка к старикам на Арбат и брали его только на субботу и воскресенье, маленький ньюф еще не приносил им ни особенных хлопот, ни радостей; все это было у них впереди, а пока они отправлялись со своим щенком за первой, как с торжественностью объявил Григорий, золотой медалью и были, как всегда, веселы и, как от всего в жизни, ожидали от предстоящего смотра самых обнадеживающих результатов.

С этим хорошим настроением и подъехали они за Дементием. — Ты, говорят, опять был у министра, — сейчас же заговорил Дружников, как только Дементий, открыв дверцу, сел в машину. — Ну как наш Поль? Хорош, а? — затем сказал он, привлекая внимание Дементия к собаке. — Хоро-ош, хоро-ош! — И он ласково потрепал огромную, со щенячьим выражением морду ньюфа.

### xxxv

Площадка для выводки собак, располагавшаяся на Карамышевской набережной (вблизи Серебряного бора), была веревкою перегороджена на две половины. С правой стороны собирались все владельцы щенков ньюфаундлендов, с левой — щенков породы московская сторожевая, которых сейчас же можно было отличить от черных ньюфов по белой с коричневыми пятнами окраске. Несколькими клубных инструкторов, один из которых был владельцем Гарри-Чана, под дощатым навесом регистрировали подводящихся щенков и взымали плату с хозяев за предстоящую выводку; тут же из опытных любителей-собаководов и приглашенных специалистов составлялось жюри, которое и должно было затем присуждать медали.

В половине двенадцатого, когда Дружниковы с Дементием приехали на площадку, выводка еще не начиналась, но народу и собак было уже много и на травянистом откосе перед штакетником уже в несколько рядов стояли «Москвичи» и «Волги».

— Это и есть то самое удовольствие, какое ты обещал мне? — сказал Дементий, обращаясь к Дружникову и прищуренно оглядывая однообразное скопище черных вислоухих собак-подростков и людей, державших их на поводках, и столь же однообразное скопище московских сторожевых, которых, может быть, оттого, что они были крупнее, казалось больше и которые беспокойнее и шумнее вели себя. — Чем только народ не тешится... А место здесь и в самом деле отличное. — И он, оставив Лию и Григория заниматься Полем, которого они расчесывали и приводили в порядок, чтобы затем идти с ним на площадку, вышел в конец штакетника, за машины, откуда открывался вид на Москва-реку.

Почти у самых ног его начинался крутой облесенный откос, и внизу, у воды, проглядывали огороды с грядками капусты и лука. Метрах в ста от берега по ту сторону реки зияли галечные и песчаные карьеры, а за ними как раз и была та самая даль, которая привлекла внимание Дементия. Это был вид на Кунцевский район столицы и на грибные смешанные леса, нетронутой как будто целиной лежавшие вдоль Рублевского и Успенского шоссе.

«Да, места здесь удивительные», — снова подумал Дементий, в то время как Дружниковы уже звали его.

На площадке они подошли к той группе, где были собраны щенки от Аскри Скринского.

— О! Нашего полку прибыло! — сейчас же раздались голоса, и Григорий, довольный, что его так тепло принимали люди, которых он, в сущности, видел всего лишь второй раз в жизни, переложив поводок из правой руки в левую, весело обходил всех и здоровался со всеми. На Поля его ревниво поглядывали, так как он казался ухоженным, и это еще больше возбуждало Григория.

Из всего помета от Аскри Скринского (из десяти щенят) на смотр приведено только семь; и семь владельцев этих подрастающих черных ньюфов оживленно и с жестикуляцией, как сошедшие на праздник родственники, разговаривали. Дементий же, принужденно слушавший их, невольно отмечал, как много должны были они тратить времени на своих собак, если у каждого было такое неиссякаемое количество самых разных воспоминаний. Одного щенка будил по утрам, стаскивая с него одеяло, и это нравилось хозяину; другого, напротив, щенок не будил по утрам, а ждал, пока хозяин проснется, и это тоже выдавалось как проявление ума и породы; каждый находил что-то особенное в своем питомце, и только Дементий, как ни старался, как ни присматривался, но, кроме того, что перед ним были просто собаки, ничего пока не мог обнаружить в них. «Нам бы там (в Тюмени) да ваши заботы!» — наконец подумал он и, выбрав время, начал расспрашивать у Лии о собаках и людях, стоявших вокруг.

— Кто этот старик? — спросил он, указывая на человека в джинсах, разговаривавшего с Григорием.

— Лебедев. Зиновий Александрович Лебедев. В один день с ним щенков у Скринского брали.

— Какое интеллигентное лицо...

— Член-корреспондент Академии наук, — как бы между прочим, но не без гордости заметила Лия. — Разрабатывает теорию получения искусственных пищевых белков, но вы обратите внимание на его кобелька, — прибавила она, перебивая себя. — Какие выхоженные задние ноги! Вот этот, вот. — И она, протянув руку, почти дотронулась пальцами до щенка, на которого ей хотелось, чтобы теперь посмотрел Дементий. — Сильные, не правда ли? Но ведь и условия у него, — продолжала она. — На приволье, на воздухе, на даче, что еще собаке нужно? Но он, — она тут же перевела взгляд на Лебедева, — знаете, что он делает? Он привязывает к ошейнику щенка деревянный чурбак и затем гоняет его с этим чурбаком по траве, так что — посмотрите, посмотрите, какие выхоженные! — настоятельно говорила она, как будто давно и хорошо разбиралась в собаках.

И Дементий, еще минуту назад не замечавший никакого различия между щенками, видел, что тот, на которого показывала ему Лия, и в самом деле был как-то повыше других, шире в кости и во всех движениях его уже как будто чувствовалась заложенная в нем сила.

— А вон тот, видите? — снова начала Лия, указывая уже на другого щенка, владелец которого хотя стоял в стороне от Лебедева и Григория, но прислушивался к их разговору. — Тоже от Аскри Скринского. Сам он слесарь, а кобелька назвал Жераром. Любит. Ноги, видите, тоже выхоженные, по-моему, даже, пожалуй, лучше, чем у лебедевского. По песку водит. Пять-шесть километров, и по несколько раз в день.

— Когда же он работает? — изумился Дементий.

— Этого я не знаю.

— А скажите, Лия, ну вот выхожены у собаки ноги, а в чем тут смысл, цель какая? Что, собственно, оттого, что выхожены ноги?

— Как «что»? У собаки должны быть выхожены ноги, это естественно,— заявила она.

И хотя утверждение это ничего не объясняло Дементию, но произнесено было с такой уверенностью, что переспрашивать уже неловко было ему.

Лия принялась было еще рассказывать о других, стоявших возле Григория и Лебедева, но голос ее вскоре был прерван громкой, через усилитель, командой, после которой на площадке сейчас же началось движение. Участников смотра вместе со щенками выстроили в линию, а наблюдателей, в числе которых оказались и Дементий с Лией, отгеснили к штaketнику. Потом к щенятам начали выводить матерей-сучек и усаживать каждую напротив своего потомства. Уже увенчанные многочисленными медалями сучки эти должны были показать, как они умели понимать и слушаться человека (разумеется, каждая своего хозяина), и делалось это, как пояснила Лия, для того, чтобы владельцы молодняка могли увидеть, во что через год-два превратятся их несмышленные пока питомцы. Щенкам и людям как бы преподносился урок, и урок этот напоминал цирковое представление, разворачивавшееся на траве, под открытым небом. «Да тут целая система, тут все так продуманно»,— решил про себя Дементий, незаметно и все с большим увлечением вглядываясь во все то, что происходило перед ним.

Первой к щенятам была выведена сучка по кличке Карина. Как только она появилась на площадке, взгляды всех сейчас же обратились к ней. Длинная черная шерсть ее, гладко расчесанная, казалось, лоснилась от сытости. На широкой груди, как золотистый фартук, лежала корона с медалями, и в такт шагам, как переставляла Карина свои сильные передние ноги, встряхивались и позвякивали медали. Она уже, как видно, не первый раз выходила на площадку и хорошо знала свою роль; уверенные движения ее производили впечатление, и по толпе, как шорох, прокатывались слова восхищения.

«Как идет, подумать только! Осанка, осанка!» — говорили вокруг Дементия, и он тоже находил, что сучка была красивой и что в том, как хозяин вел ее, было что-то достойное уважения. Но едва только Карина с хозяином вышли на положенное место, через усилитель снова было объявлено: «Жаннет Рогачева» — и взгляды всех уже переметнулись к этой новой на коротком белом поводке выведившейся на площадку сучке. Шерсть ее точно так же лоснилась, и на груди виднелась такая же корона с медалями, но сучка была совсем иного, как заметил Дементий, веселого нрава, и на слегка приплюснутой морде ее, как и на лице хозяина, светилось лукавое выражение. «Ну что ж, смотрите, смотрите,— как будто говорило это выражение людям,— но я-то знаю, что мне это ничего не стоит». Потом одну за другой вывели еще двух медалисток, каждую, на что тоже обратил внимание Дементий, со своим характером, и когда затем объявили: «Аскри Скринского!» — он был уже настолько увлечен, что невольно подался вперед, словно боясь упустить то мгновение, когда будут выводить ее.

— Вот она, вот наша Аскри! — И Лия тоже вслед за Дементием выдвинулась вперед.

Аскри была настолько известной сучкой, что в толпе сейчас же заговорили о ней. Она была широкогрудая, с широким, откормленным тазом и ходила тяжелой, наклонив голову, волчьей походкой. Но несмотря на эту волчью манеру держаться, она была собакой послушной и с легкостью брала самые высокие барьеры. У нее было наибольшее число золотых медалей, и корона с этими медалями свисала теперь почти до земли перед ее мощными передними лапами.

Но после всех просмотренных Дементием сучек, которые уже произвели на него определенное впечатление, он долго не мог решить, понравилась или не понравилась ему Аскри. Он видел, что в ней было что-то явно отличавшее ее от других; но насколько хорошо было то, что отличало ее от других, прояснилось для него лишь после того, как начались показательные выступления. Скринский как будто только еще намеревался поднять руку, как Аскри уже мчалась к барьеру и брала его; она ложилась, вставала, пробегала по бревну, и все движения ее были настолько расчетливы и красивы, что Дементий в конце концов признался Лии:

— Да, ничего не скажешь, классная, конечно, собака.

— Понравилась? А вон наш Поль,— сказала она.— Ньюс-Аскри-Поль...

Поль беспокойно вертелся у ног Григория.

— Тройная кличка. Почему?

— По свидетельству он Ньюс от Аскри. А мы его назвали Полем, вот и выходит...

— Ньюс-Аскри-Поль. Ну что ж, звучит,— согласился он.

Шел уже второй час, но никто не замечал времени. Не замечал его и Дементий. Лишь в какую-то минуту он вдруг почувствовал, что тень от деревьев, прежде накрывавшая его, теперь сместилась в сторону и прямое полуденное солнце припекало ему спину и плечи. Большинство женщин держало над собою раскрытые зонтики. Он предложил Лии перейти в тень и опять с неослабевающим вниманием принялся смотреть на собак и хозяев, работавших на площадке. Через усилитель то и дело подавались команды — и на этой половине, где были ньюфаундленды, и на другой, где проходил смотр московской сторожевой; одно действие сменялось другим, как и во время любого представления, и как только сучки-медалистки, продемонстрировавшие все, что они умели, были уведены, на площадку вышел один из клубных инструкторов, наряженный в длиннопольный ватный халат, чтобы позлить щенков. Пустыми полуметровыми рукавами, искусанными уже так, что всюду виднелись на них клочки ваты, он начал размахивать перед взволнованными мордами щенят, и вскоре вся свора молодых ньюфов, путая поводки и увлекая хозяев, с лаем и визгом сбилась в кучу возле него. Но в это время у входа на площадку возник какой-то иной, не предусматривавшийся программой шум и отвлекал всех.

— А там что? Драка? Там что? — Как ни был высок Дементий, он все же старался подняться на цыпочки, чтобы рассмотреть, что происходило у входа на площадку.

### XXXVI

А происходило там следующее: четверо пожилых людей, возглавляемые сухоньким стариком, пытались развернуть полотнище с надписью «Прекратите мучить собак!». Администратор и несколько любителей-собаководов не давали им сделать это. Администратор требовал, чтобы нарушители удалились и не срывали общественного мероприятия; сухонький в очках старик кричал в ответ, что никому не дано право распускать руки и что он свободен выражать свое мнение и как человек и как ученый. И тот и другой, ухватившись за полотнище, тянули его каждый к себе, шума и привлекая толпу, всегда охочую до подобных зрелищ.

— Позвольте, вам, наверное, виднее, что там? — спросил наконец Дементий стоявшего впереди и все заслонявшего собой мужчину.

Лии рядом уже не было. Испугавшись за Поля, что его могут по-

мять и покусать в общей сваре щенков, она кинулась выручать его и оставила Дементия одного среди незнакомых ему людей.

— Да все тот же полусумасшедший правдоискатель...

— Кто-кто?

— Бывший профессор из Тимирязевской Шаповаленкѳ. А вы, очевидно, впервые здесь?

— Да.

— Ну тогда вам следует рассказать о нем поподробнее. Но позвольте прежде представиться: Еланский Леонид Андреевич,— сказал он. И, после того как Дементий назвал себя, продолжил:— Так вы, значит, впервые? Хотите приобрести ньюфа?

— Нет, что вы.

— И напрасно. Добродушнейшее животное, должен заметить вам, член семьи, иначе ньюфы не мыслят себя. А Шаповаленко тут все знают. На каждую выводку он обязательно приходит сюда с каким-нибудь плакатом вроде «Отпустите собак!» или «Пожалейте бедных животных!». И, знаете, хотя многие смеются над ним, называют его выжившим из ума стариком, но у него есть своя и по-своему обоснованная теория. Ему, конечно, не дадут развернуться здесь, прогонят. но... видите вон тот холмик? — И Еланский, взяв за плечо Дементия, повернул его в сторону холмика, на который показывал.— Уйдет туда, растянет там свое полотнище и будет стоять до тех пор, пока не опустеет площадка. Настоячивый старик, упорный. Но дело, собственно, не в его упорстве. Он выражает настроение определенного круга людей, а мы, как видите,— он обратил внимание на все еще продолжавшийся шум и возню у входа на площадку,— не хотим понять и признать это. А ведь, с его точки зрения, он прав, и не так-то просто возразить ему.

— Так он что, протестует?

— Разумеется.

— Против чего?

— Можно было бы сказать, против нас, тех, кто держит собак, но, по-моему, корень вопроса гораздо глубже. Я ведь тоже в некотором роде имею отношение к биологии,— заметил он,— и я как-то однажды разговаривал с ним. Вот его главный тезис: всякое рождающееся на земле живое существо имеет одинаковое со всеми право жить на ней. И не просто жить, а развиваться в естественных для себя условиях. Гуманно, слов нет. Но что вы хотите, если даже люди, общества людей, то есть государства, не позволяют друг другу развиваться в естественно складывающихся для каждого исторических условиях, а готовы подмять, поработить друг друга, навязать свою социальную систему, то что можно ожидать от такой формулы, как человек и природа? Здесь, согласитесь, никогда не было и не будет равенства.

— Мне трудно судить,— уклончиво ответил Дементий, почувствовав, что он (в Еланском) столкнулся с тем мнением, оспаривать которое всегда бывает бессмысленно и бесполезно.— Но старик, мне кажется, не так уж и глуп.

— Вот видите! — отчего-то обрадованно воскликнул Еланский.— Значит, вы понимаете, насколько глубокий и необъяснимый этот вопрос: человек и природа?! Кстати, у вас какая профессия?

— Я геолог.

— Тоже — человек и природа... — И он как будто вдруг с каким-то новым удивлением посмотрел на бородатое лицо Дементия.— Только масштабы разные, а суть одна. В чем упрекает нас Шаповаленко? Да в том, что для своего душевного удовольствия мы как будто берем от природы то, что нельзя у нее брать. Он говорит: вы из

собак делаете для себя живых кукол и забавляетесь ими и это, дескать, нехорошо, бесчеловечно. Тогда я задаю ему встречный: а что человечно? Куда деть всех этих псов и песиков? Куда? Ответа нет.

— Можно, скажем, не заводите...

— Это другое дело. Но они есть! Они существуют! И за ними ой-ой-ей какой нужен уход. Вырастить щенка — все равно что вырастить ребенка.

— А цель?

— А что цель? Цель, как мы видим ее, в том, чтобы поддерживать на земле чистокровные породы собак. А он этой цели не видит. Ему кажется, что мы издеваемся над животными, над здравым смыслом природы, и он протестует. Конечно, — меня тональность разговора (в соответствии с тем, согласен или не согласен он был со стариком), продолжил Еланский, — не у всех одинаковые условия, не каждый может выделить для собаки комнату, но ведь и люди далеко еще не все живут в просторных и удобных квартирах. Но в чем прав Шаповаленко и что я тоже осуждаю вместе с ним, так это желание нажиться за счет собак. Да, да, есть, к сожалению, и такое, — на изумленный взгляд Дементия ответил Еланский. — Каждый породистый щенок стоит от ста пятидесяти до двухсот рублей, и цены эти, как вы знаете, узаконены клубом. Теперь давайте приложим самую простую арифметику: один помет, десять щенят, вот вам уже полторы, две тысячи. Да второй помет, да третий, да четвертый, да пятый... Что ни год, то и деньги. А сколько на собаку уходит? Ну, три, ну, четыре сотни, а остальное — чистая прибыль! Вот здесь я на все сто процентов согласен с Шаповаленко.

— Но ведь сучка на то и сучка, чтобы плодить, — возразил Дементий.

— Нет, вы, очевидно, просто кое-чего не знаете. По-научному в наших городских условиях, как мы содержим собак, сучка должна приносить не больше двух-трех пометов за всю свою жизнь, и тогда щенята рождаются здоровыми и полноценными. Но дело все в том, что есть некие такие кулачки-любители, которые из своих сучек, как из свиноматок, выжимают помет за пометом. А ведь такого, с позволения сказать, любителя не ухватишь! Налогом не обложишь! Тут тебе десяток разных причин, и естественных и объективных, а дело страдает. Засядет такой любитель на квартал и наводняет затем своими недоразвитыми щенятами московские квартиры. А в клубе у него — покровитель. А сучка — такая родословная, что голыми руками не возьмешь. Бизнес, ну чисто бизнес! — возмущенно продолжал Еланский, которому, как видно, уже не раз, пока он стал разбираться в собаках, подсовывали таких неполноценных щенков. — А выводка, вся эта прелесть, какую мы с вами только что видели, служит именно, как утверждает Шаповаленко, этому бизнесу. Он, конечно, преувеличивает, но он считает, что молодежь, которая приходит сюда, а ее вон сколько, видите, посмотрит на всю эту внешнюю сторону, заразится, заболит — и вот уже потекли родительские денежки из одних кошельков в другие за щенят, у которых и порода-то — одна видимость. Да вон он, что я вам говорил, вон, посмотрите, — прерывая себя, проговорил Еланский, вытянув руку в сторону холма, на котором, развернув полотнище, стоял Шаповаленко со своими единомышленниками. — Не отступится, не-ет, ни за что не отступится, вот человек!

Все то, что говорил Еланский, было и любопытно и в то же время неприятно слушать Дементию, и он чувствовал себя так, словно перед ним приоткрыли обратную сторону того, чем он только что любовался, и он видел, что эта обратная сторона представляла собою нечто такое, к чему не хотелось притрагиваться ему. Но он все же посмот-

рел в сторону холма, на котором стоял Шаповаленко; когда же, обернувшись, увидел, что Еланского не было рядом, вздохнул с облегчением, что не надо было ничего отвечать этому человеку. «Сколько же тратится сил, а на что?» — подумал он. Все происходившее вокруг него потеряло уже для него интерес, и Лия, подошедшая к нему, сейчас же уловила это.

— Вы устали, наверное, — сказала она. — У меня есть кофе, хотите? Идемте, идемте! — И она, взяв под руку Дементия, повела его к машине.

### XXXVII

Выводка закончилась лишь в пятом часу, и вся вторая половина ее проходила однообразно и скучно.

Перед членами жюри, сидевшими за столом, поочередно по кругу проводили щенков. Затем их осматривали, выявляя достоинства и недостатки, и председатель жюри (им, к удивлению Дементия, оказался Еланский) зачитывал, кому и какая присуждалась медаль. И только в минуты, когда шло вручение этих медалей, взгляды всех на площадке обращались к тому, что делал Еланский. Он подходил к ньюфам и заученным ловким движением набрасывал на их щечки шеи медали, а владельцам, которые были довольны так, словно сами получали награды, вручал дипломы, пожимал руки и говорил что-то, должно быть, приятное. Что именно, Дементию не было слышно, но, несмотря на это, он постоянно испытывал неловкость за тех, кто ответно пожимал руку Еланскому и глупо и бессмысленно улыбался ему.

Несколько раз Дементий уходил к тому краю площадки, откуда утром смотрел на подмосковные леса и Кунцевский район столицы; но даль не привлекала его, и он снова возвращался к Григорию и Лии все в том же утрюмом настроении, какое не в силах был развеять в себе.

— А не пора ли домой? — наконец предложил он.

— Как?! Без медали? — изумился Дружников. — Подождем, что тут осталось. Но ты посмотри, как они придираются, нет, ты только посмотри, — сейчас же продолжил он, переводя разговор на то, что занимало его. Он заметил, как члены жюри во главе с Еланским в третий уже раз подходили к одному и тому же щенку и ощупывали его. — С такой их придирчивостью, я не знаю, кому они будут вручать свои золотые медали?

— Кому-то вручат.

— В том-то и дело — кому? Я за Поля побаиваюсь. Так он с виду будто ничего, мы его в ванне с бодузаном выкупали. Не положено, вредно, но мы выкупали, а вот что с задними лапами?.. Выхаживать надо, а кто будет этим заниматься? Лия на работе, я на работе, а он, — он кивнул на Поля, — у отца на Арбате. Старика и самого уже в пору водить, а я когда вырвусь днем на час-другой, так ведь этого мало. Порода, конечно, свое возьмет, но ведь... и приложить к ней надо! — заключил он.

И волновался он не напрасно. Члены жюри, когда Поль наконец был вызван на площадку, долго осматривали его и долго затем совещались, прежде чем принять решение; и лишь с учетом того, что он был от Аскри Скринского, присудили ему все же золотую медаль.

Лия сейчас же, как только было объявлено, схватила руку Дементия и начала трясти ее.

— Вы слышали?! Слышали?! — восклицала она.

Григорий, стоявший вместе с собакой в центре площадки, глу-

пейше улыбался, глядя на Еланского и не видя его лица, а видя только медаль, которую тот держал перед собой.

А Поль, едва на него надела награду, к удивлению членов жюри и тех, кто в эти минуты смотрел на площадку, вытворил номер, о котором долго потом вспоминали среди московских любителей-собаководов. Дома, когда ему приносили пластмассовую или резиновую игрушку (чтобы он не грыз то, что не положено было ему грызть), он хватал ее зубами и, прежде чем забавляться, бегал по комнатам и показывал ее всем. Получив теперь медаль, он точно так же подхватил ее за ленточку и, вырвавшись от Григория, кинулся искать Лию, чтобы показать ей, что дали ему; он сделал это инстинктивно, но впечатление от его поступка было такое, будто он сообразил, что надо было делать после того, как он получил медаль. Он бежал красивой мелкой трусой, как и мать, по-волчьи наклонив голову к земле и прижимая хвост, и только перед Лией, увидев ее, на мгновение вдруг будто остановился, вильнул хвостом и бросился к ней, стараясь попать мордую (и медалью) ей в теплую ладонь.

Вокруг закричали:

— Bravo! Bravo!

Лия, смеющаяся, ласкала Поля, и, совершенно очарованный своим псом, подходил к ним Григорий.

— Н-ну я тебе скажу!..— весело встретил его Дементий.

— А ты как думал, а? То-то! То-то, братец ты мой,— продолжил он, наклоняясь к Полю, на которого ото всех сторон с завистью смотрели теперь десятки глаз.

И, как это часто бывает, все затянувшееся и скучное, что только что происходило на площадке, было и Лией, и Григорием, и даже Дементием тут же как будто забыто, и они увозили с собой лишь это веселое впечатление, какое осталось у них от проделки Поля. Лия вела машину и то и дело оборачивалась к мужу (и псу), чтобы сказать, какой умница ее Ньюс-Аскри-Поль; она была так возбуждена, что Григорий несколько раз прерывал ее и просил следить за дорогой. Сам же он, пока ехали, вместе с Дементием рассматривал медаль, на которой была изображена добрая собачья морда.

— Что такое жизнь? — спустя час говорил он Дементию, прохаживаясь с заложенными за спину руками по своей просторной (кооперативной) гостиной. На малиновом синтетическом ковре перед диваном, как черная медвежья шкура, лежал, вытянув перед собой усталую щенячью морду, Поль и следил за передвигавшимися ногами хозяина. — Вопрос этот тысячи людей задают себе и друг другу, и каждый отвечает на него по-своему. Каждый, заметь! — Желание пофилософствовать происходило у Дружникова от хорошего настроения, с каким он приехал с выводки; и по праву именинника, как он считал себя теперь, он с доверительностью высказывал Дементию те свои мысли, о которых в другое время не решился бы говорить ему. Он чувствовал себя в положении ведущего (что редко приходилось испытывать ему) и с удовольствием, как всякий тщеславный человек, отдавался этой роли. Он никому, казалось, не подражал, но Дементий сейчас же разглядел в нем маленького Лусо со всем его профессорским добродушием, манерою держаться и говорить и улыбался, глядя на Дружникова. «Ну-ка, ну-ка, послушаем, что ты нам скажешь такого про жизнь» — выражали его чуть сощуренные (от улыбки) глаза. Как и Дружников, он тоже был в том расположении духа, когда на все смотрел весело и снисходительно, и с нескрываемым как будто интересом слушал своего давнего студенческого друга.

— Да, матереешь, матереешь, раз на философию потянуло,— заметил он.

Он сидел в кресле, откинувшись на спинку и разбросав руки по подлокотникам, и за приподнятой русой бородой его видна была Дружникову никогда не загоравшая белая прогалина тела.

— Ты хочешь сказать, старею?

— Нет, Гриша, нет, матереешь. Все мы в конце концов матереем и философствуем.

— Но по-разному,— возразил Дружников, переждав, пока Лия, входившая в комнату накрывать стол, ушла снова на кухню.— Чего не терпит жизнь, так это суеты. Нельзя суетиться в ней, и нельзя ничего торопить, подталкивать, потому что для каждого события всегда наступает свое время, будь то в государственных масштабах или в личных.

— Позволь, а что ты подразумеваешь под суетой?

— Желание человека взять больше от жизни, чем она может дать ему. Вот ты, к примеру, ты когда-нибудь торопил жизнь?

— Торопил.

— Не балагурь, давай по-серьезному.

— Торопил и буду торопить!

— Нет, ты не торопил жизнь и только из своего дурацкого чувства противоречия, которое всегда сидело в тебе, не хочешь признать правду. Когда ты поехал в Тюмень, что там было? Одна Березовская скважина фонтанировала, а все остальное — в тумане, и что ты мог получить от жизни? Ничего. Но ты поехал, и теперь — Самотлор, теперь все мы смотрим на вас как на героев. Главная энергетическая база страны, только сказать! Ось, без которой промышленность наша, в сущности, ничто, и ты — в центре и у руля. Ты не думай, что я завидую,— добавил он, наклоняясь и трепля щенка за шею,— но я знаю людей, которые так жаждали деятельности и власти, а получили вместо нее только инсульты и инфаркты.

Дементий перебил его:

— Жизнь и механизм движения жизни — вещи разные. Механизм движения жизни — это тебе не вечный двигатель, к которому уже не нужно прикладывать ум и силу.

— С биологической точки зрения, по-моему, вечный двигатель существует, а с точки зрения прогресса — тут, очевидно, ты прав. Но я другое имел в виду,— сказал Дружников, снова наклоняясь к щенку и трепля его.— Есть люди, которые добиваются чинов, а другим эти же чины сами плывут в руки. Какая тут закономерность и в чем, вот вопрос. Кто, скажем, занимает у нас министерские посты? Москвичи? Ничуть не бывало. Периферийные, только периферийные. Москвичи суетятся, ищут пути, а периферийные занимают.

— Я вижу, у тебя веселое настроение, но кого ты все же имеешь в виду? Себя? Сожалеешь, что тебе ничего не достанется, или пророчишь мне министерский стул?

— Пророчить нечего, ты его получишь, а что касается меня? В замы к тебе пойду.— И Дружников, хотевший сказать совсем другое, но сказавший именно это, что более всего можно было принять за шутку, весело рассмеялся.

Но Дементий сейчас же почувствовал, что было что-то недоговорено ему, и спросил:

— Ты серьезно?

— Зачем же...

— А то, если хочешь, я и в самом деле могу предложить тебе живое дело,— сказал он, сбрасывая все напускное добродушие и вглядываясь в Дружникова, который уже не ходил, а стоял, повер-

нувшись спиной к окну и загораживая его.— Нет, я действительно могу предложить дело.

— Какое?

— Ну, на первый случай начальником участка.

— Предложение, конечно, лестное.— На лице Дружникова все еще держалась улыбка.— Но ты меня не так понял. Я человек науки, и мы свою золотую медаль, в общем-то, уже получили,— добавил он, наклоняясь к Полю и как бы переводя разговор на него, в то время как в комнату входила Лия и несла перед собой блюдо с запеченной телятиной и картофелем, вид и запахи которых должны были как будто сказать мужчинам, что весь их разговор был ничто перед тем, что ожидало их.

## Часть вторая

### I

В отличие от тех, кто жил только в городе или только в деревне, Лукин, несмотря на свои сравнительно молодые еще годы, одинаково хорошо знал и городскую и деревенскую жизнь, и различие, какое проводил между ними, заключалось для него лишь в том, что в городе он не находил (по своей привязанности к земле) того дела, где бы он мог развернуться, тогда как в деревне эта возможность сейчас же открывалась перед ним; и потому он жил там, где он чувствовал, что труд приносит ему удовлетворение. Педагогическое образование и опыт комсомольской и партийной работы помогали ему понимать и направлять людей, а знание земли и крестьянского дела на ней, результатом которого был хлеб, роднило с ними. Но, оставаясь по восприимчивости жизни закоренелым как будто мужиком, он вместе с тем (и с той же мужицкой основательностью) понимал, что главное изменение, затронувшее деревню, коснулось прежде всего ее самостоятельности и что того замкнутого хозяйства, какое она вела прежде, уже нет и не будет; он видел, что происходило то огромное в масштабах государства кооперирование сельского хозяйства и промышленности, когда деревня, не воспроизводя уже своего тягла, лошадей и волов, все более попадала в зависимость от промышленности; у деревенского человека, в сущности, отнималась половина его привычных жизненных забот, и все высвободившиеся силы он вынужден был прилагать ко второй, заменившей ему все, и это не сразу и не легко давалось ему. Лукин чувствовал, что хлебороб как будто начал уходить от земли, и он искал в силу своих возможностей, как можно было приостановить этот процесс.

Как раз в те годы (конец пятидесятых, начало шестидесятых, когда после нескольких неурожайных лет государство вынуждено было докупать хлеб на стороне) деревенская проблема начала особенно привлекать внимание общественности. Всем было ясно, что сельское хозяйство отстает и что с деревней надо что-то делать, чтобы изменить положение в ней. Разными людьми выдвигались самые различные планы и предложения, и из всего того, что делалось для деревни и вокруг нее, Лукин выделял для себя два главных направления. Первое было — средства для капиталовложений. Он видел, что правительство предпринимало те действенные меры, которые в конце концов не могли не привести к положительным результатам. Но в хозяйствах было так много застарелых прорех, что усилий этих казалось недостаточно, и намеченные перемены в деревне шли медленно, не так, как этого хотелось всем. Кое-кто даже склонен был считать, что в решении сельской проблемы пока вовсе нет никаких сдвигов, и люди

эти, прежде жившие в деревнях и теперь отдаленные от них (и расстоянием и временем), но по-своему старавшиеся помочь общему делу, садились за сочинения, чтобы выразить через них свое беспокойство. Но по нерешительности или по незнанию, что нужно было селу, они не выдвигали никаких экономических вопросов и не просили у правительства дополнительных капиталовложений для обновления сельскохозяйственного производства; причину отставания они видели в том, что людьми деревни будто бы утрачено теперь чувство хозяина, и тяжесть вины за эту утрату возлагали на технический прогресс как на нечто будто противоестественное и чуждое русскому крестьянству. В нравственную проблему кое-кто охотно подмешивал жалость по старой, ушедшей деревне, и хотя Лукину казалось странным, кому и для чего нужно было это, но главная мысль, высказывавшаяся в книгах, что чувство хозяина будто все же утрачивается деревенским человеком, — мысль эта занимала его. Но в противоположность тому, что он читал в книгах, он видел решение проблемы не в обращении к прошлому деревни; о прошлом он вспоминал только для того, чтобы лучше представить и понять настоящее. Он говорил себе: «К примеру, как было раньше? Унавозит крестьянин землю, обойдется с ней по-хозяйски и получит с нее. Не обойдется по-хозяйски — не получит. А не получил — взять неоткуда, так что хочешь не хочешь, а не по-хозяйски нельзя». И делал вывод, что благополучие крестьянина зависело от его отношения к земле. Теперь же зависимости такой как будто не было; будет урожай, не будет урожая, все равно никто без хлеба не останется, государство поможет. «Так для чего же пуп надрывать?» — заключал он, к чему непременно должна была привести мужика подобная логика. И выходило так, что то, что делало жизнь деревенского человека устойчивой (забота государства о нем) и что, в сущности, было великим завоеванием, оборачивалось в сознании все того же деревенского человека, к изумлению Лукина, иждивенческим настроением. «Так в чем же причина?» — думал он. Он не был согласен с тем, что все обстояло именно так, будто в деревне уже никто не считает себя хозяином родной земли; люди работают, планы выполняются и перевыполняются; но вместе с тем не был убежден и в том, что чувство хозяина, всегда возникавшее у крестьянина из конкретных предметов окружающего его быта (свой закром, своя скотина во дворе), столь же прочно оставалось жить в нем и теперь, когда эти близкие ему понятия заменились другими, еще более как будто конкретными и значительными — все, что есть в государстве, все мое! Лукину казалось, что мнение, будто деревенский человек изменился и давно уже не тот и духовно и нравственно, было не совсем точно и что между этим общепринятым мнением и тем, как все на самом деле, есть расстояние, какое надо еще преодолеть. «Ты дай человеку, чтобы он ощутил результат своего труда, да он тебе вдесятеро отплатит», — говорил он.

## II

О взглядах Лукина на развитие деревни (именно с упором на экономическую заинтересованность людей) знали многие в районе. Но пока он возглавлял совхозный партком и у него не было особенных возможностей проводить свои взгляды в жизнь, мало кто всерьез принимал то, что предлагал он. Его упрекали за то, что он не понимал, насколько выросло сознание у деревенских людей, и кое-кто даже пытался обвинить в раскольнических настроениях, будто он намеревался пересмотреть самую суть партийной политики; но после «Районных будней» Овечкина и особенно после того, как введена денежная

оплата труда колхозникам, люди, которые упрекали Лукина, стали говорить о нем: «Умен, черт!» — и смотрели уже с тем нескрываемым интересом, как смотрят иногда на провидца, сумевшего, к изумлению толпы, заглянуть далеко вперед и предугадать ход жизни.

Что Лукин непременно будет выдвинут на какую-нибудь руководящую работу, многие в районе предполагали еще задолго до пленума райкома и со смешанным чувством зависти и желанья перемен встретили затем это событие. «Теперь повернет», — сейчас же заговорили о нем, связывая его будущую деятельность прежде всего с его взглядами на развитие деревни. «И пусть поворачивает», — утверждали другие. «Только чтобы по-хозяйски», — гнули свое колхозные председатели, которым важно было именно это, чтобы стоящий у руководства человек по-мужички понимал их.

Каждый чего-то ждал от нового первого секретаря (разумеется, исходя из нужд своего хозяйства или учреждения), и все вместе разговорами своими создавали вокруг Лукина как раз то благожелательное мнение, без которого нелегко пришлось бы ему приниматься за дело. Он еще только обживал, как он сам говорил о себе, райкомовский кабинет и знакомился с людьми и делами, а многие из ближнего окружения его уже готовы были сейчас же доброжелательно принять любое его предложение.

— На волне, да что там, на гребне! — как бы суммируя все это общественное мнение, говорил ему Илья Никанорович. — Народ-то тебя как принял, а?

— Ты хочешь сказать: аппарат?

— Разве этого мало?

— Аппарат, он при любом начальстве — аппарат, — весело отвечал Лукин. — А народ, он еще скажет свое слово, и ему, брат, дело подавай, а внешнего блеска он уже насмотрелся.

— Учит нас жизнь, учит, а ничему научить не может. Что задумал, ну уж клади, бей старика.

— Задумка есть, а вот бить пока нечем. Нечем, Илья Никанорович, дорогой. Да и тебя ли бить и за что? Ты свое оттрубил, а мне начинать только.

— Не забегай вперед, вровень, вровень — вот тебе и вся премудрость.

— Да кто же разрешит вровень?! — все так же весело продолжал Лукин.

Райисполком только еще подбирал ему жилье в Мценске, но дел в райкоме было так много, что он лишь на воскресенье уезжал в совхоз, к семье; все остальные дни безвыездно жил в городе и ночевал в тесной квартире Ильи Никаноровича. Он возвращался с работы иногда в одиннадцать, иногда в двенадцать ночи, когда в доме почти все уже спали, проходил на кухню, где был приготовлен для него ужин (и где дожидался его выпавшийся днем Илья Никанорович), и, закрыв дверь и распахнув окно, с удовольствием усаживался напротив своего болезненного родственника и ел, пил и говорил с тем особенным возбужденным чувством, когда и усталость, и напряжение, и отдых — все одинаково радостно воспринималось им.

Разговоры эти были необходимы ему. Как он ни старался казаться внешне спокойным, но он все еще не мог привыкнуть к своему новому положению, и ему хотелось, чтобы в эти первые дни его повышения хоть кто-то из близких был рядом с ним. Каждое утро приносило ему новые впечатления; и с каждым новым днем он лишь отчетливее понимал, как много теперь зависело от него в общей жизни района; и точно так же, как вспотевший человек торопится подставить лицо ветру, он невольно тянулся к этому остужающему холод-

ку, каким, казалось ему, веяло от стариковских предостережений Ильи Никаноровича.

— А может и так быть: я — ровень, а кто-то, глядь, уже впереди,— продолжал, однако, возражать Лукин.

Он вставал, подходил к окну. Он был теперь как раз в том среднем возрасте, когда все в нем еще казалось наполненным молодостью, и каждым движением он выдавал в себе здоровье и силу. Серый с прозеленью костюм, тот самый, в каком он был на пленуме, был распахнут на нем, галстук снят, воротничок рубашки расстегнут; раскрасневшийся от чая, от возбуждавших его мыслей и от всех тех перспектив жизни, какие, он чувствовал, широко открывались теперь перед ним, он не выглядел в эти минуты так интеллигентно, как выглядел днем, принимая людей; он представлялся Илье Никаноровичу простым душевным деревенским человеком, понятным во всех своих устремлениях, и эти-то простота и бесхитрость как раз и настояживали бывшего редактора районной газеты. «Люди только говорят о прямоте, но более всего не любят именно прямоту»,— думал он. И хотя сам он в молодости всегда был прямым и резким, но теперь, когда он давно уже, как и Сухогрудов, был отстранен от дел, и у него было достаточно времени для воспоминаний и обдумывания всех своих жизненных впечатлений, и когда он, главное, оборачиваясь назад, видел, как много мог бы избежать в жизни, будь он чуть поумнее и погибче, он особенно не хотел, чтобы судьба его повторилась в племяннике; и он как мог (как позволяло болезненное состояние) старался внушить свои опасения ему.

— В каждую мелочь не вникай,— говорил он, поглядывая из-за стола на племянника, заслонявшего спиной распахнутое окно.— Мелочи так затянут, что из-за деревьев и леса не увидишь. Только по главным, по магистральным...

— А что главное? — Лукин поворачивался, так как этот вопрос особенно занимал его, и начинал пристально всматриваться в желтое лицо дяди.

Он понимал, что бессмысленно было спрашивать об этом больного и давно отошедшего от дел родственника (бессмысленно еще в том отношении, что Илья Никанорович всегда казался ему человеком отсталым, далеким от современного восприятия мира), но желание услышать что-то такое, что укрепило бы Лукина в его главных убеждениях, было так велико, что он невольно обращался именно с этим вопросом к старику.

— Так что же главное? — Он отходил от окна и вновь усаживался напротив по-своему возбужденного разговором дяди.

— План. План государственных поставок и закупок. Другой оценки твоей работы нет и не будет.

— Согласен: план. Но кто делает этот план? Выращивает зерно, пашет, сеет, убирает?

— Люди.

— Так что же главное? Вернее, кто?

— Это совсем другой вопрос.

— Почему же другой? Это — главный. Люди и только люди.

— Не усидишь ты, Иван.

— Ну, так уж сразу... Жизнь движется, в одну реку дважды войти нельзя. Усиджу, Илья Никанорович. Почему бы и не усидеть?

Лукин никогда не рассуждал о народе отвлеченно и был далек от всех тех «философских» споров, какие почти во все времена (да и теперь иногда) нет-нет да и вспыхивали между противостоящими группами людей. Народу в тех спорах обычно отводилась лишь роль белой оболочки, под которую глубоко упрятавались личные интересы —

требование свободы, но свободы для своей деятельности, и равноправия, чтобы оправдать свою устремленность к власти и обогащению. Интересы же Лукина были настолько близки интересам любого деревенского человека, что он безо всяких усилий для себя всегда точно знал, что нужно было простым людям для жизни.

— Впрочем, о чем мы спорим,— между тем продолжал он.— Все это, в конце концов, записано в решениях партии.

— А я — с точки зрения практики.

— Тем более,— отвечал Лукин, которого волновало свое, на что он и старался теперь перевести разговор.— Наша беда в том, что мы никак не можем отказаться от традиционного мнения о деревенском человеке, тогда как мнение это ошибочно. Добродетели, пороки... допустим, так, но ведь и деревенский человек, как и городской, живет на земле для того, чтобы утвердить свое я на ней. А как? Каким образом? Трудом? Да. Но это не все. Любовью, семьей? Разумеется. Но и это не все. Добром ближнему? И это лишь часть слагаемого. Только одно, на мой взгляд, чувство может удовлетворить мужика — чувство хозяина. В нем объединено все: и труд, и любовь, и всякая иная добродетель. Не собственника, нет, а хозяина — в том большом, современном понимании, что человек и творец и созерцатель своей жизни. Когда еще говорили: не тот пахарь, который пашет, а тот, который любит своей пахотой.

— Умно говоришь, но между потоком слов и делом всегда есть расстояние, и вот тут-то как раз и поджидает тебя тот порожек, о который больно можешь споткнуться.

— Сколько их было, этих порожков? Прошли. Пройдем и этот. Важно признать одно, что все люди на земле рождаются с одинаковым чувством утвердить себя.

— Иван, мы накануне пятидесятилетия советской власти, о каком чувстве хозяина ты говоришь? Земля наша, все наше, мы за все в ответе и давно пишем и говорим об этом. Это признано всеми, и ты просто будешь смешон.

— Вот именно: говорим и пипем, а на деле? Как на деле? Я не берусь судить обо всем и обо всех, но вот тебе наглядный пример. Копошится человек на своем маленьком приусадебном огороде, и не день-деньской, а урывками, только урывками, и так обиходит свои грядки, что и в доме всего полно и еще и на базар тащит. Если пересчитать его урожай на гектар, цифра такая, что с больших площадей мы и треть того не собираем. А почему? Да потому: там — мое, а тут — наше. Именно, наше, а не мое. А не будь этого психологического различия, психологического барьера — мое, наше,— который, оказывается, на деле куда труднее перешагнуть, чем на словах, да мы бы завалились продуктами. К земле по-хозяйски, и она в ответ с добром. Ну, скажешь, не прав? Так что писать и говорить можно, а истину изменить нельзя.

— Не пойму, не назад ли ты тянешь?

— Ну так сразу уж и назад? Просто не хочу пни за собой оставлять. Если мы, как ты говоришь, уже достигли всего, нам остается только благодушеествовать. Но по ходу жизни, мне кажется, благодушеествовать нам еще, мягко говоря, рано. Поле расчистили, надо теперь пни убрать — и дальше.

— А не выдумываешь ли ты сам все эти пни, не возводишь ли плетень на пути лавины?

— Во-первых, плетнем лавину не перекрыть,— все так же с улыбкою (и с сознанием того, что он прав в этом разговоре) продолжал Лукин.— А во-вторых, только когда понятие «хозяин», разумеется, в том смысле «хозяин», что каждый советский человек должен отвечать

и радеть за все, что делается в государстве, будет принято нами не рассудком, а душой, сердцем и войдет в жизнь так прочно, что станет повседневной и естественной необходимостью, мы вправе будем сказать, что кое-что сделали в жизни. Я не знаю, как и чем достичь этого, но я глубоко убежден, что корень вопроса, по крайней мере в поднятии сельского хозяйства, лежит именно здесь. Люди — вот главное. В них и только в них дело.

Он не то чтобы спорил с Ильей Никаноровичем, но весь происшедший разговор был важен ему тем, что в старом и больном своем родственнике он вдруг увидел ту уходящую силу, с какой, он чувствовал, еще не раз, может быть, придется столкнуться ему в работе, и он старался теперь уловить те аргументы, какие затем, в другом месте, могли быть выдвинуты против него. Аргументы, он видел, не были вескими, и оттого он с охотой и убежденностью продолжал высказывать свои соображения.

— Нет, нет, непостижимо! — возражал ему Илья Никанорович. — Тебе дано сейчас все, и ты так просто хочешь прошляпить жизнь? Не знаю, не знаю. — Он качал головой и долго затем не мог успокоиться, думая о племяннике.

### III

Лишь в середине третьей недели, закончив принимать дела и побывав в обкоме, Лукин наконец выбрал время, чтобы поехать по району. На лугах созревали травы, в некоторых хозяйствах уже начали косить, и надо было посмотреть, как шла работа.

Утром, когда он выезжал, собирался дождь. Но затем, после полудня, когда он вместе с курчавинским председателем стоял на лугу, день так разгулялся, что и луг, и лес, и все, что лежало за ним по взгорью, — все было залито ярким июньским солнцем. И под впечатлением этого солнца, простора и легкости, что удалось ему вырваться из райкомовского кабинета на волю, Лукин испытывал то неодолимое чувство радости, какого он раньше всегда боялся, полагая, что в радости человек глуп, но какое теперь, сколько ни боролся, не мог подавить в себе. Радость его происходила прежде всего от сознания того, что он был удачлив и что, несмотря ни на какие возражения (несмотря, главное, на возражения Ильи Никаноровича), он всегда умел взяться за дело и довести его. «Посмотрим, что ж», — говорил Лукин себе с тем ощущением правоты, будто все задуманное было уже выполнено им и оставалась лишь та малость, за которой люди пока не могли разглядеть того, что уже отчетливо видел он; и на лице его, успевшем чуть загореть от солнца и ветра, не то чтобы были отражены, но, казалось, светились все его возбужденные мысли.

Косить еще не начинали, и трактора с навесными косилками и механизаторы дожидались на обочине луга. По лугу же через всю его середину шагал бригадир, краснощекий, приземистый, с выбившейся рубашкою из-под ремня, и по ходу его движения было видно, что он осматривал луг. И хотя накануне луг этот был осмотрен и признан готовым к покосу, но по старой крестьянской привычке (и с согласия председателя) надо было еще раз пройти по нему, и все теперь ждали, пока бригадир вернется и выскажет свое мнение.

— Ну что? — сейчас же спросил его председатель, как только бригадир подошел к нему.

— Можно.

— Давай тогда, с богом.

— С богом, ребята! — громко повторил бригадир, повернувшись к механизаторам и произнеся эти слова так, как будто по меньшей мере направлял роту в разведку.

И сейчас же один за другим, стрекоча подвесными ножами, двинулись по краю луга трактора. Загон был настолько велик, что, когда трактора достигли противоположного конца луга, они видны были только как копошившиеся над травой темные точки.

— Ну, с сеном будем,—сказал бригадир, посмотрев на председателя.

— И с сеном и с хлебом,—подтвердил курчавинский председатель и оглянулся на Лукина, для которого как раз и была произнесена эта фраза; председатель намекал на дожди, прошедшие в начале июня и погнавшие хлеба в стрелку.

Но Лукин ничего не ответил и продолжал смотреть на луг, на пройденный тракторами загон и на все лежавшее дальше за лугом, что можно было бы уместить в одном понятии — сельский пейзаж средней полосы России. Пейзаж этот не представлял собою как будто ничего особенного — деревенька, видневшаяся за лугом и лесом, но для Лукина, как и для всякого русского человека, пейзаж этот имел ту почти необъяснимую притягательную силу, которая как раз и заставляла его теперь смотреть и смотреть на лес, луг и на избы, вызывавшие в душе его чувство любви и сопричастности ко всему, что было и будет на этой земле. В нем как бы сливались сейчас в одном счастливом возбуждении и сознание своей удачливости и это впечатление от покоса, деревни и леса, и он, охотно отдаваясь этому своему состоянию, в то же время думал, что, должно быть, нехорошо и не к добру, что он так счастлив. Он слышал слова председателя и понимал, к чему относились они; но если курчавинский председатель имел в виду только свое хозяйство, которое, впрочем, было у него огромным (из пяти объединившихся колхозов), то Лукин переносил это «с сеном и с хлебом» на весь район, и ему казалось, что и погода, и люди, и сам он со своей удачливостью — все было за него; за него были и этот бригадир, что стоял рядом, и механизаторы, что вели трактора (они теперь приближались, и он ясно как будто различал их сосредоточенные в работе лица), и председатель, на которого Лукин хотя и не оглядывался, но в то же время отчетливо как будто видел перед собой его суховатое, умное и строгое лицо.

— Да, будем,—наконец проговорил Лукин, отвечая больше себе, чем курчавинскому председателю.— Ну, а теперь пора.— И, словно боясь, что кто-то подслушает его счастливые мысли, быстро пошел к машине.

Уже открыв дверцу своей черной райкомовской «Волги», он на минуту задержался и, повернувшись к курчавинскому председателю, сказал:

— Все у вас хорошо, я доволен, но вечером все же соберите актив, я подъеду, надо поговорить с людьми.

— К девяти? К десяти?

— Все равно. Я буду рядом.

И Лукин кивнул в сторону Поляновки.

Он помнил о своем обещании заехать к Сухотрудову и сейчас, оказавшись поблизости, решил выполнить его. Но предстоящая встреча и разговор с бывшим тестем уже не вызвали у Лукина прежнего интереса: за две недели, пока он принимал дела и знакомился с людьми, взгляды его на общее положение дел в районе так утвердились, что ему казалось, что ничего нового и интересного бывший тесть уже не сможет предложить ему. «Другое время, другое восприятие жизни, и другими, разумеется, должны быть методы руководства»,— думал Лукин. Он выводил это главным образом из своих споров с большим и отошедшим от дел Ильей Никаноровичем и еще из той своей внутренней убежденности, словно он уже точно знал, что и как нуж-

но было делать ему как первому секретарю райкома. «Что ж, имелась и у вас возможность, а сейчас — что же советовать?» — как будто говорил он Сухогрудову, в то время как машина везла его в Поляновку. Он все еще находился под впечатлением, какое он увозил с луга, и от этого впечатления и от постоянной деловой настроенности, какая со дня избрания его секретарем ни на час, казалось, не отпускала его, он еще менее как будто был расположен теперь вспоминать о прошлых родственных связях с Сухогрудовым. Если что и тревожило его из того прошлого, так это сын, Юрий, перед которым Лукин чувствовал себя виноватым; все же остальное было для него лишь тем неприятным событием, которое, как замытая капля соуса на рубашке: и была будто не видна и в то же время вызывала опасение, что следы проступят и испортят все.

Но вместе с тем чем ближе Лукин подъезжал к знакомой ему (еще по временам, когда он с Галиной бывал здесь) Поляновке, в душе его все отчетливее происходила та перемена настроения, когда одни мысли и чувства, что были у него на лугу, заменялись другими, тем самым беспокойством, что следы могут проступить и испортить все. Он ворочался на сиденье, изменял положение рук, как будто вдруг неудобно стало ему в машине, но как он ни старался этими внешними движениями приостановить то, что происходило в душе, беспокойство разрасталось, словно он предчувствовал, что что-то нехорошее поджидало его в сухогрудовском доме. А что было этим нехорошим, он не знал и думал, что волновался только потому, что разговор мог зайти о сыне Юрии, с которым, он уже слышал от Ильи Никаноровича, что-то неладное приключилось в Москве. «Но что может приключиться с ним?» — тут же говорил себе он, этою ложною фразой пытаясь прикрыть все свое застарелое беспокойство о сыне, какое чем счастливее Лукин чувствовал себя в новой семье (чем счастливее, он видел, были его дети от этого брака), тем острее испытывал к Юрию. Он не принадлежал к тем людям, которые, мотаясь по свету и приживая детей, с легкостью затем забывали о них; в крестьянской душе Лукина, с детства привыкшего воспринимать жизнь не в том ее голом рационализме, чтобы лишь брать и брать от нее, но в том, чтобы все живое и неживое, но одухотворенное трудом и смыслом, получало тепло человеческих рук, в душе Лукина одинаково ко всем своим детям жило отцовское чувство, и Юрий, несмотря на все старания Галины упрятать его, всегда оставался частицей его жизни. «Да что же могло приключиться с ним?» — снова подумал он, принимаясь вспоминать, что и когда слышал о Юрии. Ему хотелось свести в одно все свои разрозненные сведения о сыне (сведения от Ильи Никаноровича, который и сам никогда толком не знал ничего), но он чувствовал, что в цепи этой не было того главного звена, с помощью которого как раз и можно было соединить все и прояснить дело. Этого главного звена всегда не хватало Лукину, и звеном таким, он знал, являлся старик Сухогрудов. «Да потому только я и еду к нему», — наконец проговорил Лукин и сейчас же покраснел оттого, что все, прежде прикрывавшее цель его поездки в дом к бывшему тестю, вдруг, как одежда с плеч, спало и обнажило истину; и оттого, что он не только от жены, но и от себя для чего-то всегда скрывал эту истину, он еще более покраснел, будто уже был уличен в чем-то.

Едва только впереди показалась Поляновка, он попросил шофера остановить машину и вышел на обочину для того будто, чтобы посмотреть, как шла в рост пшеница, но взгляд его, скользнув по сочной зелени озимого клина, сейчас же устремился к избам деревни, открывавшейся ему сразу за оврагом.

Деревня была — двенадцать дворов, и он не узнал Поляновку; он

увидел лишь, что деревня эта была умирающей, одной из тех отслуживших свое по России деревень, существование которых (в связи с укрупнением хозяйств и насыщением их техникой) все более становилось бессмысленным. Как секретарь райкома и как человек, вполне осознающий необходимость этих происходящих перемен, Лукин должен был бы с равнодушием встретить то, что он увидел; но те несколько минут, пока он стоял у края пшеничного поля, он смотрел на Полянровку с тихой, сжимавшей сердце тоской, как всякий русский человек смотрит на умирающую деревню. И ему не то чтобы жалко было ее, жалко тот деревенский мир нужды и забот, какой он знал с детства; и не то чтобы он именно теперь глубоко и ясно понимал, что вместе с тем деревенским миром уходило из жизни нечто большее, чем только как опадают с деревьев листья; в памяти Лукина живо всплыли годы, когда он был счастлив с Галиной здесь, и он вдруг ясно почувствовал, как что-то оголенное и тревожное из того прошлого властно входило и волновало его.

## IV

В характере людей так ли, иначе ли, но всегда отражается характер того времени, в какое они живут.

Время, когда Лукин был счастлив с Галиной, были те трудные для жизни народа послевоенные годы, когда не хватало всего — хлеба, жилья, строительных материалов — и когда, особенно по деревням, гимнастерки, шинели и ватники, не успевшие еще выветриться от пота войны и окопной гари, не только не снимались с плеч, но и летом и зимой оставались главною, так как нечем было заменить их, одеждою и для большинства мужчин и для большинства женщин и детей. Война с огромного пространства полей, лесов, речек и переправ, со всей своей солдатской тягою к жизни была как бы перенесена в заводские корпуса, на колхозные дворы и полевые станы, в залы самых различных проектных мастерских, продолжалась уже иная, тихая как будто, без орудийных раскатов, лязга танковых гусениц, без пуль и осколков битва, в которой, однако, были и своя передовая линия, и свой (трудовой) фронт, и свои (трудовые) победы. Это было тоже сражение за жизнь и благополучие, когда сотни городов и сел надо было возродить из пепла; и хотя, сколько помнит история, каждый раз на безмерном народном горе как на дрожжах сейчас же поднимались и начинали суетиться, добывая чины, разного рода деятели, не столько помогавшие, сколько угодничеством своим мешавшие общему делу, — основная масса народа, взвалив на себя всю тяжесть восстановления, терпеливо и с упорством, как и во все напряженные дни войны, тянула воз к цели.

Для Лукина те годы были лишь началом его самостоятельной жизни. Он был рядовым участником событий тех лет, и вся тяжесть нужды, забот и коротких, как деревенское лето, радостей, все, что составляло цель и смысл каждой отдельной семьи и всего общества, было целью и смыслом жизни Лукина. Он видел, что, несмотря на лишения и на то, что у людей не было порой главного — хлеба, работа не прекращалась ни на полях, ни на стройках, как будто в народе вдруг обнаружилась вторая жила. Жила эта была — общенациональный подъем духа после тяжелейшей победоносной войны; каждый сознавал, что положена на лопатки не просто фашистская Германия, а вся противостоявшая нам военная мощь Европы; и так как Лукин жил в русской деревне (почти в самом центре России) и в окружении русских людей, общенациональный подъем духа он невольно переносил на русский народ, который, казалось, как будто вдруг очнувшись

и засучив рукава, с удвоенною энергией и силой (и по всем направлениям!) принялся налаживать свою жизнь. Подновлялись избы, рубились коровники, выдвигались в руководство думающие люди, и вся эта стихия возрождения, чем жил и сам Лукин, с естественностью молодого человека, не умевшего еще в те годы как следует философски взглянуть на жизнь, переносилась им на всех людей, окружавших его.

В Галине, как только он встретился с ней, он сейчас же почувствовал, что как будто все устремление времени было сосредоточено в ней. В ее постоянном желании деятельности (желании перемен), веселом, всегда как будто светящемся улыбкою лице, во всех движениях ее необыкновенно энергичной и в то же время нежной, женственной (со всеми изгибами и выпуклостями, скрывать которые еще не было модно тогда) фигуры — во всем он видел именно это сконцентрированное будто проявление народной жизни. И хотя Галина всегда только с шумом начинала все и ничего не доводила до конца и это никак не согласовывалось с общим течением жизни, как тысячи молодых людей, ослепленных любовью, Лукин замечал в ней только то, что хотел видеть, и не видел того, как было на самом деле. В Мценске, когда он только женился на ней, она вдруг решила, что ей нужно было изучать языки, и она бегала по всем школам, договариваясь с преподавателями, восторгаясь ими и отвергая их и втягивая во все мужа, хотя, в конце концов, дело кончилось тем, что через месяц все было забыто и словари и учебники были упрятаны на антресоли тлеть и пылиться на них. В Поляновке, как только они приехали туда, чтобы провести лето в деревенском доме отчима Галины, ей сейчас же пришла в голову идея выпустить стихотворный номер колхозной стенной газеты, и хотя из этого точно так же ничего не получилось и не могло получиться, но в течение почти трех недель все в доме, в том числе и Лукин и вовлеченная во все Степанида, красневшая и смущавшаяся при каждом произносившемся ею слове, — все было подчинено подбору и складыванию рифм. Потом она задумала организовать библиотеку при местном клубе (тогда еще в Поляновке был клуб, перевезенный позднее на центральную усадьбу, в Курчавино) и, собрав активисток, принялась ходить по дворам колхозников и уговаривать их отнести имевшиеся у них книги в будущую библиотеку. Намерение было хорошим, но книг и охотников отдавать их оказалось мало, и дело опять, в сущности, было закончено ничем; но шума и разговоров вокруг всего было так много и так, казалось, очевидно было желание Галины делать добро людям, что у всякого, кто сталкивался с ней в это лето, создавалось впечатление о ее постоянной и неумной деятельности; для Лукина же эта деятельность Галины была тем главным, что он находил удивительным и прекрасным в ней.

Но как он ни был увлечен ею, та линия жизни (та перспектива, открывавшаяся Лукину за выборной комсомольской должностью), где он мог подняться и достичь положения, всегда оставалась для него неизменной, и потому, сколь ни тяжело было ему расставаться с Галиной, он не поехал за нею в Москву. «Может, оно и к лучшему, — позднее думал он, оглядываясь на свое прошлое и начиная понимать, чего больше было в Галине: обыкновенной ли суеты или деловой устремленности. — Что же за все хвататься, одно дело в руках, но чтобы оно было делом!» Ему нужно было утешение, и он находил его в этих словах. Но, несмотря на все очевидное различие в характерах его и Галины и несмотря на всю ее суету, противоречившую как будто крестьянской уравновешенности Лукина, он постоянно затем испытывал ощущение, словно ему не хватало именно ее суеты, движения, спешки; он чувствовал себя так, будто все еще оставался в том мире понятий семьи, чести и долга, с каким впервые (в детстве) встре-

тился в деревне; и он как будто держался за этот свой мир, тогда как Галина звала к чему-то новому, что шло от эпохи, от больших городов, от той как бы лежавшей всегда за кордоном для мужика шумной столичной жизни, которая была и красивой и непонятной и постоянно и необъяснимо притягивала его. Он как бы оставался на пристани, в то время как пароход, наполненный людьми, цветами и музыкой, отчаливал от нее. Минуту назад он мог еще ступить на палубу и слиться с этой нарядной и весело голосившей толпой, и вся прелесть предстоящего путешествия по океану, как она должна была открыться всем, открылась бы и ему; но он не решился подняться на палубу, так не хотелось ему отрываться от твердой под ногами земли, и затем переживал оттого, что в душе его было неопределенно, и он думал, что он приобрел и что потерял по своему глупому мужицкому упрямству. Под ногами его была твердая земля, но для полноты жизни, он чувствовал, было как будто недостаточно этого, и он снова и снова как бы видел перед собою тот отплывавший пароход с цветами и музыкой, где все было разрисовано совсем иными красками, чем то обыденное, что окружало его в спокойной и счастливой как будто новой семейной жизни.

## V

Вторая женитьба Лукина, как и большинство вторых браков, была не по любви.

В доме старой школьной учительницы, где он поселился, когда его избрали секретарем совхозного парткома, собирались по вечерам гости — та небольшая часть деревенской молодежи, какую принято обычно называть сельской интеллигенцией, но у какой, несмотря на всю внешнюю подражательность, всегда бывает больше деревенского, чем городского. Как только набиралось достаточное количество гостей, самовар сейчас же отодвигался на край стола и хозяйка, полная, седая, с неподвижными добрыми глазами женщина, знавшая в жизни только одну дорогу — от дома к школе и от школы к дому, доставала из комода потертые карты лото и мешочек с кубиками и тем учительским тоном, каким обычно вызывают к доске учеников (тоном, задававшимся ею всей школе), спрашивала: «Ну, кто сегодня кричит?» Кричать же чаще всего предлагали ей, и она, положив мешочек с кубиками на колени и близоруко наклоняясь над столом так, что грудь ее, казалось, наплывала на скатерть огромными мягкими полукружьями, методично начинала: «Барабанные палочки!» Что означало одиннадцать. «Дамские туфельки!» Что надо было понимать: семьдесят семь. Или: «Туда-сюда, куда хочешь!» И все должны были закрывать цифру шестьдесят девять. В большинстве случаев, когда Лукин возвращался с работы, он заставал именно эту картину в доме, его сейчас же усаживали за стол, и, хотел он этого или не хотел, он невольно втягивался в общую атмосферу вечера. Иногда лото заменялось картами, играли в «акульку» (у кого останется дама пик) и проигравшему независимо от того, был ли это мужчина или женщина, углем на лбу рисовали крестик. Особенно весело становилось всем, когда черная метка вдруг оказывалась на лбу Лукина.

— Нет, нет, секретарь, не стирать! — кричали ему.

— Да это же игра, — утешала хозяйка, содрогаясь всем своим грузным телом от веселья, распившего ее.

Непременной участницей всех этих вечеров была молодая учительница Никифорова. Звали ее Зинаидой Александровной, иногда, в кругу друзей, Зиночкой, и она более других и своим поведением и образом мыслей была похожа на хозяйку дома. Она улыбалась только тогда, когда уже нельзя было не улыбаться, и сидела обычно молча-

ливо, раз и навсегда как будто запомнив лишь одно правило, что «язык мой — враг мой» и что не для того дана голова человеку, чтобы только вырабатывать в ней и выплескивать всякие глупости, но для того, чтобы слушать, наблюдать и аккумулировать все лучшее, что окружает нас; она, в сущности, была одной из тех глубоко преданных своей профессии школьных учительниц, которые считают, что едва ли есть еще более важное в государстве дело, чем учеба детей, и в силу этой своей убежденности не только каждое желание, но каждое движение своей души соизмеряют лишь с наивысшими критериями добра и нравственной чистоты. Они обычно бывают строже к себе, чем к ученикам, и все, что, по их мнению, может служить поучительным примером, часто так гиперболизируется ими, что доводится до глупости и опошления; но вместе с тем учительницы эти нужны обществу точно так же, как нужна бывает совесть или боль человеку, чтобы вовремя остановиться и посмотреть, что сделано им в жизни. Зинаида всегда носила одну и ту же прическу, приглаживая назад и забирая в пучок на затылке свои густые русые волосы, и делала это не потому, что так было модно и было к лицу ей; ей казалось, что все лучшее в женщине, что нравственно должно возвышать ее, заключалось именно в этой никогда не стареющей классической прическе, и она носила ее так, так гордо держала голову на высокой и красивой шее, что невольно вызывала у всех уважение к себе. Постепенно (и не без помощи хозяйки дома) она выработала и определенный вкус к одежде и надевала платья только такого покроя, какие лишь одни могли соответствовать, как и прическа, ее положению учительницы. Строгость ее нарядов и строгость поведения — все это естественно сочеталось в ней, и она, казалось, никогда не стремилась выглядеть броской, а добивалась лишь одного — чтобы внешний облик ее сейчас же мог всякому сказать, каких взглядов на жизнь придерживается она. Красотой в ее понимании было лишь то, что представлялось ей глубоко традиционным для русской женщины, и, может быть, потому она так любила иногда празднично накинуть на плечи белый вязаный шарф. Шарф был шерстяной, был той редкой работы, когда можно было с удовольствием разглядывать каждый отдельный рисунок на нем и с тем же приятным чувством видеть весь его на покатых плечах Зины; волнистые края его нежно поднимались к самым корешкам ее туго натянутых в прическе волос, и всякий раз что-то как будто необыкновенно солнечное излучалось от соприкосновения тонких ворсинок шарфа с мягкими и красивыми мочками ушей. Лучились круглые, как завитки волос, золотые сережки, но впечатление создавалось именно это, что от соприкосновения, и оттого лицо Зины не только никогда не выглядело унылым, но, напротив, казалось будто подсвеченным какими-то радостными огоньками жизни. И несмотря на весь свой заданный аскетизм, какой она всегда старалась подчеркнуть в себе, за спокойным выражением серых открытых глаз, за каждой черточкой ее по-крестьянски округлого, но совсем не с крестьянской белизною лица чувствовалось, что лежало иное, буйное желание жизни. Она притягивала к себе именно этой внутренней силой, которая так ли, иначе ли, но должна была проявиться в ней, и вместо того, чтобы быть незаметной, была, в сущности, на виду; и она понимала это и, как всякая другая женщина на ее месте, с еще большей настойчивостью, как только в доме появился Лукин (и особенно когда заметила, что Лукин обратил на нее внимание), продолжала делать то, что выделяло ее.

Но еще прежде, чем Зина поняла, что Лукин нравится ей (и что он может стать ее мужем), и прежде, чем сам Лукин начал замечать за

собой, что он волнуется, встречая в компании гостей или на улице Зину, заметила и поняла это хозяйка дома. «Что еще лучшего можно пожелать ей? Надо поженить их», — сказала она себе, возбуждаясь тем зудом сводничества, какой часто и необъяснимо иногда охватывает пожилых женщин. Неискушенная в этом тонком деле, но чутьем угадывавшая, что могло более повлиять на Лукина, она при всяком удобном случае, как только разговор заходил о Зине, непременно произносила теперь, что для семейной жизни нет и невозможно найти лучшей девушки, чем Зина. «Уж мне-то поверьте, я-то вижу, другая и фартучек школьный не успеет снять, а в голове уж такое: все дозволено, все нипочем! Что из такой выйдет в жизни? А Зина — девушка редкая, на нее и посмотреть одно удовольствие, а что для семейной жизни — слов нет». И это сочетание, что и «посмотреть одно удовольствие» и что «для семейной жизни — слов нет», постепенно и все больше откладывалось на душе Лукина и вызывало интерес к Зине. Он искал основательности, и он чувствовал, что основательность эта была в ней; он видел, что она была красива, была строга и что самые разные и развязные люди (какими он встречал их в поле или на совхозном дворе) вдруг как бы менялись и становились другими, сдержанными и серьезными, как только попадали в общество Зины. Отчего это происходило, он не знал; но он и сам часто ловил себя на том, что он сдержан и строг при ней и что не может позволить себе той обычной своей естественной простоты в общении с людьми, без чего он не мог бы считаться своим среди рабочего люда поселка. Он чувствовал, что в Зине жила та сила, которая действовала на людей, как действует чистый паркетный пол, на который совестно бросить окурок, и сила эта притягивала его. Ему казалось, что с Зиной у него должна быть совсем иная жизнь, чем была с Галиной; и чем он яснее представлял себе эту новую жизнь, тем отчетливее сознавал, что это и было для него как раз то главное, что он искал в жизни. «С ней, только с ней, это судьба», — думал он. Но чем больше он думал об этом, тем больше робел и тем труднее, он чувствовал, было ему сделать предложение ей. Он боялся сказать ей, что был женат (боялся возмущения и отказа), и так и не сказал ничего о Галине и сыне Юрии ни перед свадьбой, ни после, когда все первые волнения супружеской близости были позади и семейная жизнь и для него и для Зины вошла в то свое привычное, как у всех людей, русло, когда уже совсем иные заботы, чем до супружества, беспокоили и занимали их.

Он привыкал к Зине точно так же, как человек, прежде всегда живший в тесноте и неудобстве, привыкает к светлой и просторной комнате, в которой и уютно, и много воздуха, и можно пройти от угла к углу, не задев стула и не помешав никому; и это ощущение какого-то будто душевного простора, вдруг открывшегося ему, о существовании которого он и не подозревал прежде, и соразмерности жизни, о чем по крестьянским своим привычкам всегда только мечтал, не находя возможности, как добиться ее для себя, — все это и месяц, и год, и два спустя после свадьбы, когда уже родились и первая и вторая дочери, продолжало странно удивлять и радовать его. Он как будто влюблялся в жену, чем дольше жил с ней и узнавал ее. Зина никогда не вмешивалась в его дела и не говорила, что он то-то и то-то продел не так, как надо бы, что в таком-то и таком-то случае был не прав или несправедлив и что, прежде чем начинать что-либо, следует обдумать и обговорить все, как это принято делать теперь во всех дружно живущих семьях, в которых и муж и жена, одинаково занятые общественным трудом, с заинтересованностью и уважением друг к другу обычно делятся своими общими наблюдениями жизни; она лишь только замечала, когда он бывал более уставшим

или менее уставшим, и с чуткостью, присущей умной женщине, старалась лишь создать ту атмосферу в доме (приучая к этому и своих подрастающих дочерей), чтобы усталость эта была снята с мужа и чтобы ничто не могло нарушить раз и навсегда как будто избранного ею ритма семейной жизни. Но Лукину казалось, что она знала все, когда ладилось и когда и что не ладилось у него на партийной работе, и постепенно испытывал то ощущение, будто она присутствовала в его делах, и, сидя в своем рабочем кабинете, иногда даже вдруг оглядываясь, словно Зина стояла позади и своим спокойным и открытым взглядом смотрела на него. Он не думал, что это была та самая сила, которая заставляла его (и других вместе с ним) вести себя сдержанно при ней; но он ясно как будто чувствовал, что это была именно та сила (сила чистого паркетного пола), которая всегда властно действует на людей, и, ценя эту силу и подчиняясь ей, он вместе с тем чем ощущаемее чувствовал ее на себе, тем внимательнее приглядывался к Зине (в разные минуты жизни с ней), стараясь понять это непонятное, что привлекало и казалось ему загадочным в ней. Иногда вдруг, отложив газету, он начинал смотреть на нее, сидевшую за столом и проверявшую ученические тетради. Ничего как будто особенного не было и не могло быть в том, что она делала (каждый вечер она принималась за эту свою работу); плечи ее были накрыты шарфом, лицо освещено светом настольной лампы, и между шарфом и мочками ушей привычно оживляющими завитками искрились еще в девичестве приобретенные сережки; но вместе с тем во всей ее осанке, как она сидела, царственно прямо держа спину и только чуть наклоня голову, когда надо было подчеркнуть или поправить что-то, в сосредоточенности и расчетливости движений и в чем-то еще неуловимом, что соединялось лишь в общем впечатлении, будто она и в самом деле выполняла какое-то очень важное дело, от которого нельзя было отрывать ее,— во всем, казалось Лукину, было что-то еще неразбуженное, что-то глубоко русское, он сейчас же вставал, подходил к ней и неожиданно и беспричинно как будто обнимал ее.

— Ты что? — удивленно смотрела она на него.

— Ничего, ничего, работай, я так.— И он затем снова отходил к дивану и брался за газету.

И все же он иногда спрашивал себя: «Счастливы ли я с ней?» И хотя отвечал: «Да, счастливы», но уже в том, что вопрос этот возникал перед ним, было что-то такое, что заставляло сомневаться в этом.

Люди вполне счастливые не думают, счастливы ли они; они просто живут и не замечают своего счастья.

Может быть, если бы Лукин не знал другой жизни, чем та, какую он жил с Зиной; если бы всей своей комсомольской, а затем партийной работой не был включен в тот общий захватывающий трудовой ритм, когда все в стране было приведено в движение в поисках совершенных форм руководства производством и всякое даже незначительное начинание сейчас же подхватывалось, поощрялось и, не успев развиться, заслонялось новым и новым, будоража и увлекая умы и сердца людей; и если бы все эти устремления времени он не ощутил с такой отчетливой близостью в Галине с ее неутомимой жизнедеятельной суетой и переменою дел и настроения (со временем он помнил в ней только это, что она постоянно стремилась к чему-то), он был бы вполне доволен тем, как он жил теперь с Зиной. Но он знал другое, и ему не хватало беспокойства, которого не было в Зине; и, приглядываясь к ней, он постепенно начал понимать, что нет и не было в ней никакой неразбуженной силы, не было ничего загадочного, а было только страстное поклонение раз избранным канонам жизни; каноны эти были впечатляющие, в них было все то нравственно высокое и

чистое, что не могло не вызывать уважения; но в них было и другое — та ограничивающая деятельность деревенского человека черта жизни, за которую нельзя было как будто без риска быть осмеянным, как считала Зина, переступать никому. У нее никогда не возникало желания сделать что-то большее, чем то, что она делала каждый день, и ее вполне удовлетворял этот замкнутый круг ее интересов. Она старалась держать в этом кругу и Лукина, и то состояние раздвоенности, когда на работе, в поле, с людьми он продолжал оставаться все тем же прежним веселым и простоватым секретарем парткома, каким все знали его, а дома, как только переступал порог, сейчас же чувствовал, что будто попадал совсем в иной мир, где всему, даже шутейному придавалось значение важности, — это состояние раздвоенности, прежде почти не замечавшееся им, начинало тяготить его. Он сопоставлял, как бы мог жить с Галиной и как жил теперь, и то ощущение пристани и отплывающего парохода с шумной толпой, цветами и музыкой на палубе, ощущение утраченной возможности жить той жизнью, от которой он так глупо и бессмысленно отказался тогда, как нечто навязчивое, как репы на одежде с заросшего бурьяном пустыря, через который, спрямляя дорогу, случалось не раз ходить Лукину к старым хлебным амбарам, — именно это липкое и навязчивое, что надо было отдирать от себя, наслаивалось и неприятно и тревожно беспокоило его.

Особенно остро он почувствовал, что что-то неверное совершил в жизни, когда однажды в Мценске, это было в то лето, когда Галина с Арсением, счастливая своим новым замужеством, гостила у отчима, увидел ее. Он увидел ее вечером, как раз в тот день, когда она с отчимом и мужем вернулась из Спаского-Лутовинова (и с Бежина луга, где Арсений на виду у тестя на конной косилке прошел загон), и та всегда волновавшая Лукина живость в ней, и прическа, и одежда, сейчас же выдававшая в ней не просто городскую, но столичную женщину (что в те годы было особенно разительно), сразу же было замечено им, и слежавшееся было уже чувство к ней вновь и с болью всколыхнулось в нем. Но он не подошел к ней, не заговорил с ней; он только издали, из-за толпы людей наблюдал, как она вместе с Арсением проходила по противоположной стороне улицы; но вернувшись на другой день к себе в совхозный поселок, Лукин двое суток не ночевал дома. Забравшись на отдаленный полевой стан, где работала бригада косарей-механизаторов, он с утра и до вечера лежал в тени под вагончиком, а на ночь уходил к незавершенному стогу сена, оставаясь один на один с мрачными своими мыслями, с ночной тишиной и звездным небом, на которое смотрел, то видя и синеву и звезды, то не видя ничего, кроме того, о чем думал и что хотелось видеть ему. Но как ни мучительно было его состояние и сколько ни думал он о своей судьбе, он ничего не мог придумать лучшего, чем вернуться в семью и жить с ней; и, усталый и опустошенный, придя домой на третий день, он впервые вдруг остановился у порога и долго и внимательно смотрел на Зину и на девочек, своих дочерей, которые словно в каком-то странном предчувствии недоброго прижимались с двух сторон плечиками и головками к матери.

Ни в тот вечер, ни позднее он так и не сказал жене, что было с ним; сама же Зина не стала расспрашивать его, и через день-два в семье восстановилось как будто то же согласие, какое было прежде. Но оттого, может быть, что Лукин сознавал себя виноватым перед ней, он чувствовал, что было все же что-то нарушено в его отношениях с Зиной, и, чтобы загладить свою вину, он, к удивлению Зины, вдруг к лучшему как будто переменился к ней. «Раз уж нельзя бросить, так надо жить и поддерживать жизнь», — говорил он себе, стараясь про-

будить в душе то чувство, какое, казалось ему, всегда прежде испытывал к Зине, но какого, в сущности, не было в нем. Когда он теперь обнимал ее, он делал это не потому, что ему хотелось сделать это, но лишь от сознания, что он должен поддерживать в ней убеждение, что любит ее; когда говорил ей что-либо ласковое — точно так же делал от сознания, что должен сказать ей это (что так нужно для семейного согласия, без которого невозможно быть вместе), и все внимание его в такие минуты сосредоточивалось лишь на том, чтобы Зина не догадалась, как ложны его слова и чувства. Он уже не находил в ней ни основательности, ни красоты, хотя в доме всегда было уютно, чисто и приготовлено все для него; он видел только какую-то будто рабскую ее привязанность к себе и, тяготясь этой привязанностью, думал, что стало бы с ней, если бы он вдруг оставил ее. Беспокоила же его не та сторона дела, на какие средства Зина будет жить без него; он думал, как надломлена будет ее душа и что никакими объяснениями нельзя будет восстановить этого надлома; и когда теперь, отложив газету, смотрел на нее, он вспоминал бегавшую по тротуару маленькую серую собачку, которую хозяин, пожелав избавиться от нее, выбросил на улицу. Робко повиливавшая хвостом, придавленная, испуганная, не понимавшая, что произошло с ней, и не умевшая ничего сказать о себе людям, она лишь заглядывала им в лица, и в растерянных глазах ее, во всем выражении лохматой ее мордочки ясно прочитывалось: «Чем я не угодила вам, люди, и за что так жестоко вы наказали меня?!» Было это в Мценске, и Лукин тогда, нагнувшись, погладил собачку и накормил ее; и то ощущение жалости, какое испытывал тогда к маленькому беззащитному существу, странно и необъяснимо теперь распространялось в нем на Зину, и он чувствовал, что никогда не сможет поступить с ней так, как тот хозяин с собачкой; и от этой жалости к Зине он постепенно начал проникаться каким-то новым будто чувством привязанности и любви к ней (и к дочерям) и, чтобы сохранить это облегчавшее ему семейную жизнь чувство, как можно реже во все последние годы старался встречаться с бывшим своим тестем, Сухогрудовым, и избегать разговоров с ним.

Беспокоила же Лукина, казалось, только судьба сына Юрия, и оттого, несмотря на все свое внутреннее сопротивление, он все же ждал и желал встречи с бывшим тестем и волновался теперь, выйдя из машины к краю пшеничного поля и видя перед собою поредевшие избы Поляновки.

## VI

Приезд Лукина был настолько неожиданным для домашних Сухогрудова, что, как это обычно бывает в таких случаях, все в доме сейчас же всколыхнулось, заволновалось, пришло в движение, и Степанида, первая увидевшая Лукина и узнавшая его, с бледным, чем-то вроде напуганным лицом уже шептала на кухне Ксении, что это явился тот самый первый муж Галины, от которого у нее сын Юрий. и Ксения, а из-за ее плеча и Степанида смотрели сквозь раскрытое окно на Лукина, стоявшего во дворе, под солнцем. В свежем, еще не помятом костюме и в рубашке с галстуком он представлялся пожилым женщинам стройным и красивым молодым человеком и производил на них то же впечатление (благодаря незаметным и ненавязчивым будто усилиям Зины), какое производил на всех, словно и в самом деле был не деревенским человеком, а всегда жил в городе и вкус к одежде и строгость к себе были естественно и с детства привиты ему.

— Да неужто он, ты не ошиблась? — говорила Ксения, в то же

время с беспокойством оглядывая себя, в каком она платье и можно ли выйти в нем к гостю.

— Как же я могу ошибиться? Он, он! — восклицала Степанида, своим нерасторопным, застоявшимся за домашними делами умом стараясь соединить в одно целое все последние разговоры о Лукине, какие в связи с приездом Галины почти каждый день возникали и велись между женскою половиною дома; она так волновалась за племянницу и за ее сына Юрия, как будто не Галине, а самой Степаниде предстояло пережить эту неожиданную встречу со своим прошлым. — А Галя-то, Галя... ничего не знает, — продолжала она.

С утра еще ушедшая в Курчавино навестить сына, жившего у тетки Ульяны и пристроенного работать на ферме, Галина к обеду вот-вот должна была вернуться; и предчувствие чего-то интересного, что должно произойти, как только она вернется и увидит бывшего своего мужа, как и Степаниду, охватывало и Ксению.

Сухогрудов же, только что совершивший свою предобеденную прогулку вдоль пшеничного поля к березовому колку, тоже был теперь во дворе и разговаривал с Лукиным. Он стоял от Лукина на том расстоянии, когда мог видеть всего его от черных остроносых туфель до весело взъерошенных ветром волос на голове, и когда Лукин (чего по старости своей уже не в состоянии был учесть Сухогрудов) точно так же хорошо видел с ног до головы бывшего своего тестя. Лукин был одет, что называется, с иголочки, как и положено, наверное, было быть одетым ему; Сухогрудов же был во всем домашнем, в полинялых брюках, синей, с полинялым воротником рубашке и в подстеженной, несмотря на июньскую жару, длиннополой, без рукавов поддевке, и в одежде его так отчетливо проглядывало то стариковское, что сейчас же поразило Лукина. «Как проступила в нем старость», — подумал он, подавляя в себе то состояние неловкости, что сам он молод, здоров и занимает тот пост в райкоме, какой когда-то занимал этот стоявший теперь перед ним старик. Но Сухогрудов, уверенный, что в нем еще достаточно сил для деятельности (и при виде Лукина особенно ощутивший эти силы в себе), не только не замечал, как невыгодно выглядел перед Лукиным, но, напротив, оттого, что бывший зять все же приехал за советом, чувствовал себя еще увереннее перед ним, чем на пленуме, когда поздравлял с успехом его. «Значит, нужен еще», — возбужденно подумал он, всем своим морщинистым лицом строго и жестко, однако, глядя на Лукина.

— Приехал-таки, не забыл? Ну что ж, рад, рад и готов к разговору. Все эти дни думал, даже записал кое-что. Так прошу, что же стоять на солнце. — И, жестом пригласив Лукина и не сомневаясь, что Лукин сейчас же пойдет за ним, тяжеловатой старческой походкой направился к дощатому крыльцу дома.

Поднявшись на крыльцо и проходя мимо кухонной двери, за которой еще шептались Степанида и Ксения, и не оборачиваясь и не замечая их, он продолжал повторять про себя: «Нужен?.. Что ж, это неплохо, что нужен», видя всю цель приезда Лукина только в том, что сейчас должен состояться деловой разговор с ним. Он вел бывшего зятя в ту знакомую ему комнату, которая считалась в сухогрудовском доме одновременно и гостиной и кабинетом, и так как все самые значительные мысли о народе и жизни возникали и обдумывались старым Сухогрудовым именно в этой комнате, он вошел в нее так, словно в крепость, в которой ничто не могло уязвить его. От разговора с Лукиным он не ждал для себя никаких перемен; но сознание, что теперь будет у него большая возможность влиять на общий ход дел в районе (что Лукин молод, а молодость всегда нуждается в совете и поддержке), вызывало в нем как раз это чувство, что все же что-то

менялось для него в жизни и что впереди открывалось поле для деятельности; и, возбужденно думая пока лишь об этом, что было главным для него, он еще не воспринимал Лукина как бывшего зятя, а видел в нем только секретаря, то есть человека, наделенного теперь той властью, какую в свое время был наделен сам Сухогрудов, и чувство ревности и соперничества, всегда прежде подавлявшееся им, делало его теперь раздраженным и резким.

— Прошу,— кивнув Лукину на кресло, произнес он, но не как хозяин дома гостю, а тем не забытым еще своим суховато-сдержанным тоном, словно все происходило сейчас в служебном кабинете и он обращался к сотруднику, которого пригласил, чтобы разъяснить, что намерен поручить ему.— Прошу: в то, в это,— повторил он, заметив, что Лукин колеблется, в какое лучше — в центре ли комнаты или у окна, чтобы не быть на свету, сесть ему.

— Ты извини, я не в том параде,— затем, когда Лукин уже устроился в кресле, проговорил Сухогрудов, уловив его взгляд на себе.— Подожди минуту, переоблачусь.

— Ну что вы...

— Нет, нет! Я сейчас.— И он вышел, оставив Лукина одного в комнате.

В противоположность Сухогрудову Лукин не только не был настроен на деловой разговор, но еще более, чем несколько минут назад, когда от края пшеничного поля смотрел на Поляновку, всеми мыслями был обращен к прошлому, к тому лету, когда с Галиною жил здесь. Дом с тех пор был обновлен и перестроен, и Лукин еще издали, подъезжая, заметил это; но теперь, сидя в комнате, разглядывая ее и видя в ней знакомые шкафы и стулья, испытывал то чувство, будто, не смотря на перестройку и обновление, в доме еще сохранялось что-то от той светлой жизни, по какой все эти годы после развода с Галиной он тосковал как о чем-то важном и недостающем ему. Он заметил, что потеет (от того напряжения, в каком находился), и, достав платок, старательно вытерев им лицо и шею, встал, прошелся по комнате и подошел к окну. Он хотел освободиться от воспоминаний, которые угнетали его; но увиденное за окном только сильнее растревожило их, и он тут же отвернулся от берез, росших в соседнем (с вывезенно уже избою) дворе. Березы были точно такими же, какими были тогда, в то лето, и Лукин не мог смотреть на них. Отойдя от окна и еще раз пройдясь по комнате (все с той же целью — освободиться от воспоминаний), он сел в кресло и сейчас же почувствовал, что лицо и шея его опять влажны от проступившего пота.

«Да что со мной?» — подумал он с тем ясным ощущением, что он и в самом деле будто не понимал, что же так особенно волновало его. Что Галина с сыном гостила в эти дни у отчима, он не знал, но всем своим душевным состоянием, как это необъяснимо и часто случается с людьми, чувствовал, что как будто должен был сейчас встретиться либо с ней, либо с Юрием, и все напряжение происходило как раз от этого предположения, что они здесь и что он не может не увидеть их. Когда он входил в дом, он заметил только двух женщин (за кухонной дверью), одну из которых не знал — это была Ксения. Другую знал — это была Степанида, памятная Лукину тем, что из всех тогдашних родственников по линии Галины более других жалела и понимала его. Он кивком поздоровался с ней, проходя мимо, и точно так же поздоровался с Ксенией, заметив лишь, что что-то будто настораживающее было в выражении их глаз, как они смотрели на него. Но в ту минуту он не придавал этому значения; теперь же было ему очевидно, что они знали что-то, чего еще не знал он, и этим что-то, казалось ему, были Галина и Юрий. Повернув голову к неплотно прикрытой двери,

он прислушивался к звукам, доносившимся из-за нее, стараясь уловить, что подтвердило бы его предположение; и хотя никаких подтверждений не было, он по-прежнему думал, что он и здесь, и, несмотря на все свое всегдашнее желание увидеть Юрия (и увидеть Галину), впервые вдруг с ясностью почувствовал, что встреча с ними была не нужна ему, что он не смог бы ничего сказать им и только бы краснел и испытывал неловкость перед ними. «Да их и нет здесь», — все из того же желая освободиться от воспоминаний опять про себя решил он и, расстегнув воротник рубашки, слегка ослабил галстук, как будто мешавший свободно дышать ему; он боялся не самой встречи с бывшей женой и сыном, а того, что не удержится и сделает для них что-то такое, после чего трудно будет ему смотреть в глаза Зине и дочерям, перед которыми, он понимал, было у него больше обязательств, чем перед Галиной и Юрием.

«Что я здесь потерял? Зачем я здесь?» Но в то время как он говорил себе это, он то и дело оборачивался и продолжал прислушиваться и к тому, что делалось за дверью, и к своим мыслям.

## VII

— Ну вот, можно и начинать, — сказал Сухогрудов, входя в комнату и предстывая перед Лукиным совсем как будто другим человеком, чем только что был перед ним.

Он был теперь в темно-синем костюме, светлой в полоску рубашке и галстук, во всем том, в чем был на пленуме райкома, когда избирали Лукина, и в преобразившемся выражении морщинистого лица его уже не было заметно той старческой усталости, какая так поразила Лукина в первую минуту встречи. Под стариковски нависшими густыми бровями видны были живо смотревшие на Лукина глаза, и возбужденный блеск этих глаз (возбужденный предстоящим деловым разговором, в котором Сухогрудов уже заранее предполагал, что будет неопровержим от продуманности и основательности своих убеждений), блеск этот, так знакомый по прежним встречам Лукину, как сигнал к торможению, сейчас же словно приостановил все движение только что волновавших его мыслей; но несколько мгновений он все же продолжал еще всматриваться в бывшего тестя, ища теперь в нем подтверждение своим догадкам о Галине и Юрии. «Здесь они? Нет? Похоже, нет», — торопливо пробегало в его голове, в то время как Сухогрудов, усаживаясь в кресле напротив, тяжело, из-под бровей, оглядывал его. Старик Сухогрудову хотелось только уяснить себе: действительно ли слушать или спорить с ним приехал Лукин? И, готовый и к тому и к другому, лишь прищуривал глаза с той простоватой мужицкой хитрецою, какая, несмотря на его теперешний торжественный вид (и несмотря на интеллигентность, стоявшую за всей его прежней райкомовской деятельностью), выдавала в нем простого деревенского человека.

— Не придавила еще... райкомовская шапка Мономаха? — начал он с этой тяжеловатой, как он любил, и не без определенного смысла шутки. Он сидел так, что хорошо видел все напряженно-влажное от пота молодое лицо Лукина; сам же был в тени, и только гладко выбритая щека с двумя глубокими желтоватыми складками, уходившими под свободно облегавший шею воротник рубашки, была освещена скольльзящим оконным светом.

— Надо еще поносить ее, — стараясь поддержать начатый как будто шуткою разговор, ответил Лукин.

— Ничего, сначала набекрень, потом по уши, а потом — и еще глубже. И чем глубже, тем тяжелее. Все, все пройдешь. Все еще у те-

бя впереди.— И на тонких губах его появилось то выражение как будто улыбки и вместе с тем как будто усмешки, что всегда неприятно действует на людей и что теперь неприятно затронуло Лукина.

— А может, и не надо глубже, зачем глаза закрывать? — возразил он.

— Может, и не надо, но ведь и не все зависит от нас,— с той же неопределенной то ли улыбкой, то ли усмешкой глядя на Лукина, согласился Сухогрудов.— На что откроешь, а на что и закроешь. С народом работать, не с муравьями, у которых все расписано как по бумажке: этот делает это, а тот — то. Народ, он только в слове красиво един, а на деле — один покладист, другой взбрыкнет, а третий гнет свое, хоть ты кол теши ему на голове, а спрос с тебя и только с тебя: обеспечи план — и все тут.— Он чувствовал, что нить разговора была у него, и от иронии, с какою начал разговор, незаметно переходил к тому серьезному и главному, что составляло смысл всей его (в отдалении от дел) поляновской жизни.— План спрашивали всегда и будут спрашивать.

— Но разве план — самоцель?

— Самоцель, не самоцель — не старайся бежать впереди прогресса. Все мы планируем свою жизнь. И всегда планировали. И мужик планировал, прикидывал, по крайней мере, что к чему, так чего же ты хочешь от государства? И планировать будем и выполнять — жизнь заставит. А вот не кажется ли тебе, что дошла наконец очередь и до деревни — поднимать ее? Погоди, не спеши,— тут же перебил он, заметив, что Лукин собирался что-то возразить ему.— Там! — И Сухогрудов чуть приподнял указательный палец.— Там думают так: поднимать не самостоятельно, как мы ее поднимали всегда, а с государственными возможностями и подходом к делу. Наверное, пришла пора вкладывать в деревню, и вкладывать основательно, и, если откровенно, гложет меня, старика, одна мысль: а готовы ли мы освоить те капиталовложения, какие выделили и будут еще выделять нам, деревне?

— В каком смысле?

— В прямом. Сумеем ли мы по-хозяйски распорядиться тем, что дадут нам? Не разучились ли мы хозяйствовать и не начнем ли затыкать дыры и прорехи, тогда как время, мне кажется, требует от нас перестраивать все, все! Вопрос или не вопрос?

После недавних разговоров с Ильей Никаноровичем Лукин не ожидал, что Сухогрудов сможет, кроме общеизвестных стариковских истин и предостережений, сказать еще что-то интересное и дельное, и был удивлен, услышав это неожиданное признание от него; удивлен прежде всего совпадением мыслей: как думал сам Лукин и как по тому же вопросу думал старик Сухогрудов. Лукин сейчас же почувствовал, что за годы, пока не общался с Сухогрудовым, старик не то чтобы переменился, но что во взглядах его на положение дел в деревне произошли изменения и что изменения эти были так разительны, что невольно вызывали теперь удивление Лукина; он даже чуть подавался вперед, чтобы лучше слышать бывшего тестя, и напряжение (от чего он потел) отпускало его, и лицо обретало то ровное выражение, какого во все эти предшествовавшие минуты встречи не доставало ему. Он не заметил, как от одних мыслей и чувств, только что угнетавших его, переключился к другим, деловым, которые были важнее и глубже сидели в нем, и, как часто бывает при таких резких поворотах настроения, ему вдруг тоже захотелось и с тем же откровением, какое он уловил в словах Сухогрудова, поделиться своими давно вынашивавшимися взглядами на деревенский вопрос; он ждал только, когда можно будет вступить в разговор.

— Я вполне согласен с вами,— наконец выбрав минуту, вставил Лукин, в то время как в глазах и на просохшем от пота лице его живо отразилось это новое волнение, охватившее его. При всем понимании, что взгляды его и Сухогрудова совпадали, он продолжал, однако (из прежних своих инстинктивных соображений), видеть в нем некоего своего противника и был возбужден теперь тем, что хотел как можно понятнее объяснить Сухогрудову, в чем, как ему казалось, заключалась главная причина отставания деревни.— Чувство хозяина — великое чувство,— торопливо продолжил он.— Разумеется, хозяина не в том узком смысле, что только — свой амбар, а всего, всего, что мы делаем.— Он, в сущности, лишь повторял то, о чем не раз говорил Илье Никаноровичу; но произносил все с тем ощущением, будто говорит впервые, и потому слова его звучали напористо и красиво.— Корень вопроса в этом и только в этом, но вот подход к нему, к сожалению, разный.

— Подход может быть только один — партийный.

— Да, но он разный,— продолжал свое Лукин, подвигаясь на край кресла, как будто хотел еще ближе быть к Сухогрудову и видеть его.— Конечно, я понимаю, не просто было объединить мужицкие хлебные амбары в единый государственный элеватор.

— Коллективизацию имеешь в виду?

— Да. Но если та механическая сторона прошла быстро и давно закончилась, элеваторы стоят, то сторона моральная, нравственная — это не такое простое и короткое дело.

— Зачем же так глубоко забирать? — заметил Сухогрудов.

— А почему бы и не забирать глубоко? Почему? — переспросил Лукин с тем чувством, что готов был сейчас же поспорить с любым мнением.— Тот хлебный амбар как раз и рождал у мужика чувство хозяина.

— И собственника.

— Согласен, и собственника, но и хозяина. Хозяина! Амбар мы у него забрали, но рождает ли в нем это же чувство станционный элеватор? Подумали мы об этом?.. И в нравственной оболочке мужика образовалась пустота. Как и чем заполнить ее? Убеждениями? Сомневаюсь, чтобы это одно могло дать положительные результаты, и нам надо безо всякой боязни для себя сказать, что вопрос этот далеко еще не решен так, как мы привыкли считать, что он решен.

В то время как Лукин говорил это, Сухогрудов молча и внимательно смотрел на него; и в то время как Лукину казалось, что он открывает истину, известную лишь ему одному, для Сухогрудова все это не только не было открытием, но было теми давними и не раз приходившими ему мыслями, которые он в силу разных жизненных обстоятельств никогда не высказывал никому; и именно потому что не высказывал, а Лукин так легко и свободно позволял себе это, в сознании Сухогрудова рождалось резкое желание возразить ему. «Учить?! Да ты еще и под стол не ходил, когда я знал все это» — было в его прищуренном взгляде, во всем холодном выражении лица и в позе, как он сидел, постукивая старчески костлявыми пальцами по деревянному подлокотнику кресла. Он был в том ложном положении, в каком давно уже не ощущал себя (он должен был говорить не то, что думал, а то, что всегда раньше приходилось отстаивать ему), и сознание, что он не может быть теперь иным, чем был (сознание, что не может же перечеркнуть свою прошлую жизнь), делало его решительным и жестким.

— Я не теоретик и не люблю рассуждений,— резко прервал он Лукина.— Если хочешь знать настоящее мое мнение, что нужно деревенскому человеку,— ему нужно, чтобы все у него было для жизни. И по-

работать, и погулять, и пообщаться, и чтобы на столе все, тогда и в душе — никаких пустот. Вот тебе и теория и практика.— И он, как бы желая подчеркнуть, что разговор на эту тему исчерпан, поднял ладонь и задержал ее перед собой.

## VIII

Наступило то неприятное молчание, когда, как это часто бывает, только что понимавшие друг друга и казавшиеся себе единомышленниками собеседники вдруг видят, что взгляды их разны и что поток слов (и чувств, вложенных в эти слова) — все было напрасно, как холостой выстрел по цели, по которой надо было стрелять полным зарядом. Лукин не то чтобы был уязвлен, но он сейчас же понял, что он был как бы остановлен на середине пути и что цель, к какой двигался всем ходом своих рассуждений (всем разговором своим), была как бы вдруг и с небрежностью брошена ему под ноги, словно ему хотели сказать, чтобы он не бил попусту обувь на каменистой тропе, когда рядом асфальтированная дорога и площадка, на которую надо выйти, вот она, здесь, и хорошо и отовсюду видна всем. Он не мог возразить Сухогрудову на его слова, так как был согласен с ним в том смысле, что нужно было деревенскому человеку (как, впрочем, и всякому другому) для полноты жизни; но он вместе с тем ясно сознавал, что разнило его с бывшим тестем: что Сухогрудов уже стоял на площадке, а он, Лукин, искал только подступы к ней; что Сухогрудов признавал эту площадку, что она уже есть и что оставалась только самая малость, чтобы освоить ее, тогда как Лукин, напротив, полагал, что она пока лишь обозначена в общих контурах и что нужно еще приложить усилия, чтобы прояснить и уточнить все; он чувствовал, что будто вновь натолкнулся на ту стену общественного мнения, брешь в которой, казалось ему, была уже пробита временем, и, как человек, вполне осознавший, что не может быть понят здесь, сейчас же замкнул все свои открывшиеся было душевные клапаны и с удивлением, но совсем другим, чем в начале разговора, смотрел на холодно-спокойное морщинистое лицо Сухогрудова.

«Но ведь и не тебе решать,— думал он,— в этом все дело».

«Да, решать не мне, но и ты вряд ли уйдешь дальше, чем будет позволено тебе жизнью»,— молчаливо, взглядом говорил ему в ответ Сухогрудов.

Он был удовлетворен, что так решительно и одной, в сущности, фразой поставил молодого секретаря райкома на свое место; но то, как сделал это, было, он понимал, тем недозволенным и в свое время широко распространенным демагогическим приемом, какой не раз применяли против самого Сухогрудова и какой он применил теперь против Лукина; и, хорошо зная состояние бессилия, в каком оказывается в таких случаях человек, смотрел на Лукина не с торжеством, а с жалостью, как на новичка-тракториста, который хотел, но не умел, как вспахать поле. «Так-то вот учить, не лыком шиты и не с завязанными глазами жизнь прошли»,— говорил в Сухогрудове голос, какой всякий раз поднимался в нем от сознания своего превосходства над собеседником. «Да я только щупаю, не ломаю, чего скис, чего так скис?» — в то же время говорил другой голос, какой прежде, в былые годы, Сухогрудов сейчас же заглушил бы в себе, но чего не мог сделать теперь и по своей давней привязанности к Лукину как к человеку крепкому и устремленному, и по той доброте, которая как признак старости все чаще теперь проявлялась в нем. Лицо его постепенно как будто отходило, теплело, и в смягченном выражении отчетли-

во проступала именно эта доброта, которая бывает всегда так приятна в старых людях.

— Не перейти ли нам к конкретным делам, если, разумеется, они вас интересуют? — неожиданно для себя и с той интонацией, будто он извинялся и хотел исправиться, предложил он, переходя на вы с Лукиным. — Партийное дело — дело конкретное, да и не мне говорить вам об этом. Давайте-ка лучше взглянем сюда. — И, встав и приглашая за собою Лукина, он подошел к столу, на котором лежала развернутая карта земель района. — Что главное для хлебороба? Земля. Состояние земли, ее плодородие, — уже стоя перед картою, продолжал он. — Во что вкладывать средства, кому и сколько дать техники и кто лучше сможет использовать ее — вот над чем надо думать. — И он начал неторопливо излагать тот свой план размещения капиталовложений, включавший и мелиоративные работы, о чем говорилось на пленуме райкома, который, когда Сухогрудов работал над ним, представлялся ему интересным и значительным, но который теперь, после только что состоявшегося короткого разговора с Лукиным (главное, от впечатления, какое произвел на Сухогрудова этот разговор), уже не казался ни интересным, ни значительным.

Сухогрудов предлагал, в сущности, то, что он уже делал, возглавляя райком, когда всячески укреплял и без того сильные хозяйства, создавая так называемые маяки, по которым должны были равняться все другие, отстающие колхозы (и он поминутно называл свой любимый зеленолужский колхоз-миллионер, где председателем был его выдвиженец Панфер Калинин). В плане его все было бы правильно и логично, если бы не то обстоятельство, что маяки создавались, но что всем остальным, отстающим, предлагалось тянуться до них, исходя лишь из тех общих возможностей, какие были для всех хозяйств района, и это, на что Сухогрудов прежде обычно закрывал глаза, оправдывая все фразой: «Нужен пример, пусть тянутся!» — теперь, как что-то оголенное, выпирало из всего его плана и смущало его. Он чувствовал, что он предлагал что-то устаревшее, что уже не могло быть принято (что-то вроде залатывания дыр и прорех, против чего сам же возражал в начале разговора); но ничего другого, кроме этого, что было так основательно, как ему казалось, продумано им, он предложить не мог и только то и дело, замолкая, оглядывался на Лукина, стараясь уловить по выражению его лица, о чем тот думал. В душе Сухогрудов понимал, что для поднятия сельского хозяйства нужны были какие-то кардинальные меры (то, что позднее будет названо индустриализацией сельскохозяйственного производства); но в сознании его не могло родиться ничего, что бы вышло за рамки устоявшихся форм работы и жизни, и он, продолжая еще убеждать Лукина, создал всю бессмысленность того, что делал, но остановиться все же не мог, потому что не мог показать себя слабым перед Лукиным, которого тоже считал в душе своим выдвиженцем.

Состояние же Лукина в эти минуты было еще сложнее и запутаннее. Когда он, поднявшись с кресла, подошел к столу, он еще думал, что сможет что-то интересное узнать от старого Сухогрудова, не год и не два (и неплохо, как считалось тогда) руководившего районом; но как только понял, что предлагалось ему: предлагалась все та же система паровозов и вагонов (то есть ведущих и ведомых хозяйств), которая хотя и не объявлялась еще устаревшей, но уже изживала себя, — интерес к сухогрудовскому плану у Лукина сейчас же пропал, и он лишь из уважения, что неприлично было уходить недослушав, продолжал стоять за спиной бывшего тестя и делать вид, что слушает его. То различие между ним и собой: что Сухогрудов уже взошел на площадку и осваивал ее, а он, Лукин, лишь искал пути к ней; что Сухо-

грудов исходил из того умственного заключения, что он признавал как завершившееся то, что, в сущности, не было еще завершено в нравственном сознании мужика, а Лукин воспринимал все в том истинном, как казалось ему, свете, как было на самом деле все в жизни,— различие это особенно остро ощущалось им. «А говорят, нет проблемы отцов и детей. Да вот же она, вот, я понимаю его, а он не понимает, не хочет и не может понять»,— мысленно говорил он себе, в то время как на самом деле все обстояло не так, как он думал. И его и Сухогрудова беспокоили, в сущности, одни и те же проблемы, но только старик не знал, как решить их, и предлагал лишь то, что было знакомо ему и проверено им, а Лукин был убежден, что знает все, и снова и снова говорил себе: «Одному больше, другому меньше... да в том ли дело? Надо восстановить чувство хозяина — единое, большое, масштабное, чтобы оно было у каждого и составляло суть его жизни. И надо искать, как восстановить это чувство» — и ему сейчас особенно казалось, что мысль эта была не только нова, но была его собственной мыслью, открытием, и что он начинал что-то смелое, что должно было, если применить это к делу, сейчас же положительно сказаться на всем. Но он, не замечая того, не только не был оригинален в своих суждениях о некоем нравственном отставании мужика, но теперь еще более повторял лишь то мнение, усилившееся к середине шестидесяти годов (что надо спасать русскую деревню!), исходной точкой которого было известное беспокойство за состояние сельского хозяйства, но заключительной стороной — неверные, лишь мешавшие делу выводы. Люди, часто не связанные с сельской жизнью, предлагали рассматривать деревенский вопрос прежде всего как совокупность нравственных проблем, и в своих высказываниях и публикациях о деревне из лучших, разумеется, намерений так опозитизировали разные стороны прежней крестьянской жизни (что связано с национальной историей любого народа), так выбеливали то, что столетиями было сопряжено с тяжелым, изнурительным трудом на земле, что у многих и по-разному настроенных людей невольно стало возникать одно и то же чувство, будто и в самом деле что-то огромное и важное утрачено теперь в нравственной жизни народа; они предлагали искать в прошлом то, что нужно было для решения сегодняшних проблем, и как ни казалось Лукину, что в своих рассуждениях о чувстве хозяина он шел от жизни, а не от наносных настроений, поиски его одинаково лежали не в том главном направлении, на каком можно было достичь цели. Он ошибался, как ошибались сотни других, примыкавших к этому общественному мнению, и точно так же, как они, не только не видел, что ошибается, но не признавал даже самой возможности ошибки, тогда как в эти же годы и, несмотря на это общественное мнение, и в самом народе и в глубинах партийного и государственного аппарата начали появляться люди, которые думали уже иначе и, не заботясь о том, против или не против какого мнения выступают они, принимались за разработку действенных мер по поднятию деревни.

Отбросив ту гордость, которая не позволяет признать, что есть кто-то умнее тебя, люди эти присматривались и изучали опыт ведения сельского хозяйства в других странах и сопоставляли с тем, что было у себя, и, уловив главную в этом вопросе тенденцию века — тенденцию на индустриализацию,— выдвигали программу еще большего укрупнения и большей специализации хозяйств и строительства, казалось, немислимых по масштабам животноводческих комплексов, агрохимцентров и комбинатов по производству кормов. Но нужно было еще верить в эту программу; и нужны были десятилетия, чтобы освоить ее и чтобы изменилась сама суть крестьянского труда; и тогда точно так же, как в сознании мокшинского механизатора

Павла Лукьянова, в сознании каждого деревенского человека естественно и без всяких внешних толчков и усилий должно было появиться то удовлетворение работой и жизнью, какое прежде всегда было объединено в нем в одном чувстве хозяина. Предстояло снести еще сотни деревень и переселить людей в благоустроенные поселки, и объем этих работ был настолько велик, что трудно было даже поверить, что все это осуществимо в жизни. И путь этот никому не представлялся легким. Впереди были и ошибки и неудачи, которые еще предстояло преодолеть людям; и предстояло преодолеть Лукину, так горячо взявшемуся теперь за дело, которое он только думал, что хорошо знает, но которое, в сущности, еще нужно было изучать и осваивать ему. Но так как он был только в начале пути, он был самоуверен и, не умея скрыть на лице своего иронического отношения к тому, о чем слушал, больше смотрел не на карту, лежавшую перед ним на столе, а на затылок и морщинистую (со стариковски красноватой кожей) шею Сухогрудова, который склонялся над картой и столом.

## IX

Придя утром в Курчавино к Ульяне и не застав у нее сына, Галина отправилась затем вместе с теткой (прихворнувшей, как она сказала, в этот день) на ферму, где должен был работать Юрий.

Прежде Галина знала почти всех, кто жил в Курчавине; теперь же ей казалось, что, кроме тетки Ульяны, она никого не знала и что все так странно изменилось здесь, но изменилось лишь то, что свезены были сюда избы из соседних деревень, был выстроен в центре деревни сельский универмаг, как аквариум, просвечивавшийся сквозь стекла до самых прилавков, и выстроены были клуб и правление колхоза; окна которого широко, непривычно и весело смотрели на деревенскую улицу,— ей казалось, что все так изменилось, что она не узнавала того, что раньше было хорошо знакомо ей. После московского многолюдья, хотя она уже вторую неделю гостила у отчима, она никак не могла привыкнуть к тишине деревенской жизни, и ей казалось, что здесь, где раньше (по ее памяти) все было шумно, оживленно и весело, происходило запустение, какое она ясно как будто видела и сознала, но какого не замечали и не чувствовали все другие вокруг нее. Запустением веяло и от перестроенного и обновленного дома отчима, и от разговоров и одних и тех же каждодневных хозяйских дел, чем были заняты Степанида и Ксения, и от тетки Ульяны, старушечьи юбки и кофты которой были все какого-то одного неприглядного цвета и одного (непонятно какого) покроя, и от ее мужа, колхозного столяра, которого, сколько Галина приходила к ним, видела в одной и той же линялой косоворотке, влажно прилипавшей к начавшим уже сутулиться мужицким плечам; ей не нравилось (после Москвы) все в этой как будто однообразной и скучной деревенской жизни, из какой она когда-то вышла сама, но какую теперь не мыслила для себя. На душе ее было так опустошено, что и вокруг себя она видела ту же пустоту и боялась за Юрия, что и он должен был мучиться всей этой непривычной для себя переменою жизни.

Когда Галина выезжала из Москвы, она не думала, что отчим особенно обрадуется ее приезду, но все же надеялась (по той прежней любви, какую, она знала, всегда питал к ней отчим), что не только будет принята, но и понята и прощена им. Теперь же, чем дольше жила у него, тем яснее становилось ей, что она, как выроненное у порога полено, через которое нельзя пройти не споткнувшись, только мешает отчиму и раздражает его. Ее поразило, как он изменился за то время, пока она не была у него; и она видела в нем те странности, каких не

замечала прежде: что он, спрашивая, не ждал и не слушал ответа, что всякий разговор о чем-либо житейском, что особенно важно было для Галины, сейчас же вызывал на лице его неприятное выражение, будто он прикасался к чему-то липкому, что нужно будет потом отмывать от рук; она с удивлением отмечала про себя, что в то время как он должен был как будто жить свободно, как пенсионер, жизнью, он постоянно был занят так, словно решал что-то важное для человечества. Она видела в нем то, чего не видели ни Ксения, ни Степанида; но при первой же попытке поговорить с ними об отчине поняла, что поведение его было для них той необходимой нормою жизни, без чего отчим не был бы для них тем, кого они должны были ценить и боготворить. «Неужели и тогда было все так? — думала она, ужасаясь тому, что открывалось ей в доме отчима. — Он же болен, он заговаривается, его надо лечить! И Дементий ничего не знает...» Но, несмотря на то, что она думала так, она не только не предпринимала что-либо, чтобы исправить положение, но продолжала глубоко и затаенно обижаться на отчима, что он оставался безразличным к ней и ее горю — сыну Юрию.

— В колхоз его, в колхоз, к Ульяне! — сухим, старческим голосом почти прокричал он, как только (было это в первый же день приезда) возник разговор, куда пристроить Юрия.

— Может быть...

— Ничего не может быть! Трудом учить! Трудом! Трудом! Трудом! — И он окинул Юрия тем скользким из-под бровей взглядом, как будто смотрел на что-то лишнее, чего не должно было быть в комнате.

Затем, когда Юрия отвели к Ульяне, старый Сухогрудов за всю неделю ни разу не вспомнил о нем, и Галина тяжело переживала это. Ее угнетало равнодушие отчима, и оттого она еще более, чем в Москве, жила напряженной, стиснутой в себе жизнью. Она старалась не встречаться с отчимом и виделась с ним только за завтраком, обедом и ужином (и то лишь потому, что он требовал, чтобы собирались все, когда подавалось на стол), и в доме все эти дни стояла та атмосфера натянутой струны, когда вот-вот должно было что-то лопнуть, и это неприятно чувствовали и Ксения и Степанида, занимавшие в этом невидимом как будто противоборстве между Галиной и отчимом сторону отчима. И Ксения и особенно Степанида знали, что отчим любил Галину, и им казалось, что он только выдерживал теперь гордость по отношению к ней, на что имел и право и основание, но что Галина была не права, состязаясь с отчимом в гордости. Они все толковали по-своему, исходя из своих житейских представлений, как они прожили жизнь; но Галина, чувствовавшая это их отношение к себе и не понимавшая, отчего оно происходит, была недовольна ими. «Одна батрачит, другая верховодит, и обе рады-радешеньки», — думала она о них, замечая то различие (то главенствующее в доме положение Ксении), какое было между ними. Но если к Степаниде Галина еще могла относиться по-родственному снисходительно и прощать ей, то к Ксении испытывала вполне определенное чувство как к человеку чужому, кого не знала и не хотела знать. «Зачем он взял ее? — упрекала она отчима. — Неужели не видно, что она решила устроиться в жизни и ни мне, ни Дементию теперь нечего делать здесь?..» Она переносила тяжесть обиды с отчима на Ксению, и то, что было в радость отчиму — как Ксения, вся еще дышащая здоровьем, округлая и довольная жизнью и нежившаяся в своих большеватых ей байковых халатах, выходила к столу, — было не то что неприятно Галине, но она видела в этом что-то оскорблявшее ее, оскорблявшее отчима, Степаниду и все, что до появления Ксении в доме было чтимо и свято здесь. Галина

не могла бы объяснить толком, что именно было чтимо и свято, но она чувствовала, что перечеркнуто было в доме теперь то, что в сознании ее связывалось с памятью о матери, и этого она не могла простить Ксении.

Она жалела, что послушала брата и приехала сюда; но всякий раз, едва начинала думать, что лучше уехать, чем жить так, как она жила здесь, она сейчас же вспоминала, что было с Юрием (и с ней!) в Москве, и ясно видела, что вернулась бы только к тому, от чего уехала; и от этой мысли, что Юрий ее опять попадет в компанию, из которой она бессильна будет вырвать его, что все может повториться с ним — и арест и осуждение — и что этого нового позора она уже не в состоянии будет перенести, все холодело в ней, и она не только не предпринимала ничего, чтобы уехать из дома отчима, но искала повод и оправдание для себя, чтобы еще остаться и пожить здесь. Но ей не хотелось возвращаться в Москву еще и потому, что неприятно было встречаться с молодой женой Арсения. Как ни считала Галина, что все у нее с Арсением кончено, и как ни старалась убедить себя, что он волен делать все что захочет, но сознавать, что он был счастлив с молодой женой, в то время как она не то чтобы была несчастна, но была в горе и не знала, что делать с сыном, — сознавать это было тяжело; и особенно тяжело было с этим своим горем постоянно находиться на виду у бывшего своего мужа и его молодой жены. «Все против меня, — думала Галина, — все, все, хотя что и кому я сделала плохого?» Ей казалось, что она была так чиста во всем и так благородны были всегда ее помыслы, преисполненные добра к людям, что все свои невзгоды и горести она никак не могла соединить в одно с этим своим ясным чувством — как хотела бы она жить сама и жили бы все другие вокруг нее.

Она не готовила обеды, не мыла полы, не убирала в комнатах и не полола на огороде, и Степаниде и Ксении жизнь ее представлялась праздной (чему они, в общем-то, радовались, говоря между собою, что пусть отдохнет здесь, а намотаться еще у себя успеет); но для самой Галины не только ничего праздного не было в этой ее деревенской жизни, но она уставала за день, казалось, еще сильнее, чем на работе; и происходило это оттого, что там, в Москве, в суете служебных дел она забывала о себе, а здесь с утра до вечера оставалась наедине со своими мыслями, и так как больше всего думала о сыне, то уходила в Курчавино, чтобы повидать его.

## Х

Когда в этот день вместе с Ульяною Галина подходила к ферме, она уже знала о сыне все, что только можно было узнать о нем от тетки, любившей (в противоположность брату Акиму) рассудить обо всем. По мнению тетки, не имевшей своих детей, на Юрия было больше наговорено, чем было на самом деле, и главным аргументом в этой ее оценке было то, что скотник Кузьмич, к которому как раз и был определен в помощники Юрий, говорил о нем только: «А че, парень как парень, в министры — не знаю, а телят пасти — ума хватит». Ульяна, разумеется по-своему, пересказывала эти слова, и по ее выходило, что хотя Кузьмич и не хвалил Юрия, но и не жаловался на него, и потому не о чем было волноваться Галине.

— Оно и Москва, видать, не каждому впрок, — говорила Ульяна, в то время как они подходили к жердевой ограде, за которой видны были резвившиеся на траве телята.

— Да тут уж и не знаешь, кого винить: Москву ли, себя ли.

— И то верно. А то ведь и так бывает: не столько дела, сколько

сраму,— продолжала Ульяна.— Одна тут у нас заперла своего в сенном амбаре и кричит: «Ага, застала, осрамлю, осрамлю на весь белый свет!» А сошлись люди, открыли, а там только и есть что ее благоверный. «Дура ты, дура»,— он-то говорит ей... Да вон и Кузьмич, сейчас узнаем все,— привычно перескочив с одного на другое, затем произнесла она и кивком указала на скотника, выходявшего из ворот.

Ульяна была в том хорошем настроении, в каком она бывала почти всегда, и вся сегодняшняя хворь ее заключалась лишь в том, что она, зная, что колхозных дел никогда не переделать, но что и свои запускать нельзя, решила в этот день остаться дома, чтобы прополоть и окучить зараставшую на огороде картошку; и хотя с приходом Галины замысел ее был нарушен, она не только не была недовольна этим, но, напротив, была рада племяннице и с охотой шла с ней на ферму и разговаривала с ней. Она была моложе Акима и моложе Степаниды; была в том возрасте, когда уже ничего больше не ждала от жизни, но и не хотела еще терять ничего из того, что эта самая жизнь дала ей, и одинаково весело смотрела и на телят в загоне, носившихся по траве и щипавших ее, и на луг и поле, лежавшие впереди по взгорью, и на лес и поднимавшееся над ним к зениту солнце, и на Галину, все время старавшуюся косынкой прикрыть лицо от этого солнца, и на скотный двор и Кузьмича, который, поняв, как видно, что женщины направлялись к нему, остановился и ждал, пока они подойдут ближе. Запах с полей и запах скотного двора, вид зелени, неба и утопанного копытами полукружья земли у ворот — все это было естественно для Ульяны, было едино с ее общим настроением, так что она не то чтобы радовалась этому нежаркому солнечному дню, какие бывают только после дождей и лишь в начале лета как предвестники урожайного года, но, казалось, была неотделима от этого дня, зелени и солнца. Пальцы ее рук были припухшими, как у всех бывших доярок, но Ульяна не прятала их, и они вместе с однотонной широкой юбкой, что была надета на ней, серой однотонной кофтой и всем загорелым морщинистым лицом составляли как бы самую суть всей той деревенской жизни (того и ныне еще поэтизирующегося тяжелого крестьянского труда), над чем думали и старый Сухогрудов, и молодой Лукин, и все то огромное количество людей, которые, склонившись пока над столами и планами, уже в иных красках видели будущее русской деревни; но для Ульяны не могло не быть хорошо то, что было в ней и вокруг нее и составляло смысл ее бытия, и по доброте своей она хотела, чтобы так же хорошо было все и у Галины, оторвавшейся от деревни и намучившейся в Москве.

— Половина кишок под этим, под рейхстагом оставил, а все скрипит, все скрипит,— говорила она о Кузьмиче, уже совсем подходя к нему.

Но Галина почти не слушала ее, и настроение было у нее совсем иное, чем у тетки. Она видела все, что видела Ульяна, и чувствовала, что день был по-летнему хорош, светел и ясен и что все так лезло из земли, наливаясь жизнью (все — было для Галины трава, густо росшая по сторонам тропинки, по которой она шла); но вместе с тем это в ее, что начиналось у ног и было впереди и вокруг (и тетка с непрерывными рассуждениями своими), — все было как бы отдалено от Галины и жило само собой, вне связи с тем внутренним миром, какой она несла в себе, и ей, в сущности, было безразлично, что окружало ее, как бывает безразлично человеку, идущему по коридору учреждения, зеленый или красный ковер у него под ногами, когда все мысли устремлены на то, как будет решено его дело; мысли Галины, когда она теперь подходила к ферме, были о сыне, и она испытывала то же почти

чувство, какое испытывала в Москве, когда ходила навестить отбывавшего наказание Юрия. Нетерпеливо быстрым взглядом она окидывала скотный двор и старалась заглянуть в раскрытые ворота коровника, чтобы увидеть Юрия; но сына нигде не было видно, и взгляд ее падал на Кузьмича, который всем своим видом — одутловатыми в коленях брюками и курткой с застарелыми пятнами просохшего пота — не то чтобы вызывал ощущение неряшливости, но настораживал Галину (как раз этой своей неряшливостью), что такой стоял над ее сыном. «Трудом учить, трудом!» — вспоминались ей слова отчима. «Каким? Этим?» — спрашивала она себя, не сводя глаз с Кузьмича, к которому вслед за теткой подходила.

— Ты что телят-то в загоне держишь? — начала Ульяна совсем не с того, с чего, как ожидала Галина, надо было начинать разговор со скотником.

— А ты че, указывать пришла? Че, в зоотехники перевели?

— Не мели пустое, сам не видишь, что ли?

— А я самовольничать не привык. За самовольство в армии знаешь че бывает?

— Да ты в армии аль в колхозе?

— А че в колхозе? Че, уже и начальства нет?

— Ладно, хватит дурить, мы по делу, — прервала его Ульяна.

Ей очевидно было, что он не выпустил телят на луг не потому, что не получил распоряжения, а по лени, как бы не переработать лишнего; и так как она знала (как и все в Курчавине), что переговорить Кузьмича нельзя, что на все у него сейчас же найдется ответ, велела позвать Юрия.

— Позвать можно, отчего не позвать, — согласился Кузьмич, не предпринимая, однако, ничего, чтобы пригласить Юрия. И он затем повернулся к Галине с тем выражением, будто еще и от нее хотел услышать подтверждение тому, о чем просили его.

Он знал Галину и то дурное, что говорили теперь о ней и о ее сыне в Курчавине. Но он делал вид, что ничего не знает («Ваньку ваял», — как потом сказала о нем Ульяна, добавив, что он отродясь такой и что горбатого только могила исправит), и поглядывал на Галину, то отводя, то вновь вскидывая на нее сощуренные будто от солнца глаза. «Ну, кланяйся, кланяйся, чего же? — вместе с тем всем своим молчаливо-выжидающим видом говорил он. — Как бы хорошо ни было у вас там в столицах, а за правдой-то сюда, к нам, в деревню!» И он неторопливо, как солдат на походе, разминая в пальцах сигарету и прикуривая, продолжал все так же внимательно и выжидающе вскидывать глаза на Галину.

— Позвать можно, только для чего звать-то? — как будто и в самом деле не понимал ничего, спросил он.

— Да мать же пришла, да ты ослеп, что ли? — возмутилась Ульяна.

— Зна-а... мать?! Ну так че звать, вон он и сам едет, — сказал он, движением руки предложив женщинам оглянуться и посмотреть, что было позади них.

Позади них въезжал на скотный двор на телеге Юрий. Он вез жерди для ремонта ограды, за которыми еще утром послал его Кузьмич, и неуклюже дергал вожжами и покрикивал на серого, с отлежалым желтым боком мерина, тянувшего телегу. Увидев мать, несколько мгновений Юрий удивленно смотрел на нее; потом, спрыгнув на землю и передав вожжи Кузьмичу, шагнул было к ней и остановился, видя, что она кинулась к нему.

— Юра, Юрочка, ну как ты здесь, как ты? — торопливо, будто могли остановить ее, заговорила Галина, берясь руками за худые плечи сына, вглядываясь ему в лицо, притягивая и целуя его. — Как ты

здесь? Я уж вся изболелась за тебя,— то отстраняя от себя голову сына, чтобы заглянуть в глаза, то опять притягивая, прижимая и глядя его, продолжала она. Ей еще более, чем в Москве, когда она ходила в милицию навестить его, хотелось уловить по выражению его глаз, что он рад ей и принимает ее ласку и заботу о нем; ей хотелось ощутить ту душевную связь между собой и сыном, которой, в сущности, давно уже не было между ними, но которая в сознании Галины еще была мальчиком и что именно ласкою она могла пробудить в нем ответное чувство; но Юрий, считавший себя взрослым, чем больше нежности проявляла теперь Галина к нему, тем решительнее отстранялся от нее, чувствуя себя неловко, особенно при Кузьмиче, что так по-детски обращались с ним.

— Да все в порядке,— отвечал он.— Ну видишь: все в порядке.

— И с лошадей... Как же ты с лошадей?

— А че... с лошадей? — подражая Кузьмичу, так же просто, будто ничего необычнее не было для него, чем работать с лошадей, проговорил он.

Кузьмич прямо посреди двора принялся разгружать жерди. Ульяна, оставив Галину и Юрия одних, чтобы не мешать им, подошла к скотнику.

— Ну злыдень, ну злыдень! — с упреком набросилась она на него, на что Кузьмич даже не обернулся, словно никакой стороной не касалось его то, что Ульяна говорила о нем.

Между тем Галина и Юрий отошли в тень, под стену коровника, и после первого восторженного чувства, что она увидела сына, Галина уже как будто более спокойно вглядывалась в его лицо, смотрела на его руки и на всю худую фигуру сына, силясь понять, хорошо ли, плохо ли было ему здесь, среди всей этой неприглядной и словно остановившейся, как ей казалось, в своем развитии деревенской жизни. То чувство запустения, какое преследовало ее в Поляновке и было усилено здесь и видом безлюдной (в этот час) курчавинской улицы, видом скотного двора и скотника в одутловатых (в коленках) брюках, видом телеги, серого мерина и серых покосившихся стен и ворот коровника (то есть всего того, что было самым запущенным участком в хозяйстве и не могло и не отражало главного, что составляло жизнь деревни), она переносила на Юрия, и ей казалось, что надо было спастись от него, что надо было делать что-то, чтобы забрать отсюда, увезти и устроить где-то в другом месте, где было бы не унижительно, а достойно ему. В сознании ее, как это часто случалось с Галиной, что-то словно озарялось и подталкивало к деятельности; но так как она совершенно не представляла, что она могла предпринять теперь, вся эта ее энергия выливалась лишь в ласку, с какою она снова и снова приступала к сыну. Успешнее загореть лицо ее казалось молодым, так живо видна была на нем вся напряженная работа ее души, и она опять суетилась, не понимая, что это было неестественно, ложно и не нужно во встрече с сыном.

Но, несмотря на всю эту свою душевную суету и скованность, она все же не могла не заметить перемены, какая произошла с Юрием. Хотя он был все так же худ, как он был в Москве, но не только не выглядел болезненно, но, напротив, казался здоровым и жизнерадостным, и в глазах его не было той прежней мрачной отчужденности, которая так пугала Галину в сыне. Она видела, что пребывание здесь было на пользу ему, и в ней (вопреки опасениям), рядом с тревожным чувством постепенно рождалось другое, которое успокаивало ее. Она не думала, что было на пользу ему: работа ли на свежем воздухе, общение ли с Кузьмичом, который уже не представлялся ей

недобрым, как только что (как не представлялось неприглядным и серым все то, что было вокруг на скотном дворе), — и не знала главного, что Юрий ее больше спал по углам на сене, чем работал, и все здоровье его происходило от этого сна и еще от парного молока и сливок, чем поила его тетка Ульяна; но когда Галина прощалась с сыном, все опасения ее за Юрия, что ему плохо здесь и что надо его немедленно увозить отсюда, были не только забыты ею, но как будто не поднимались и не волновали ее. Она видела, что он посвежел, что у него был здоровый цвет лица, и это было главным, что заслоняло все остальные подробности перед ней.

Она пробыла с сыном около часа; но точно так же, как и в Москве во время свидания с ним, так памятного Галине, она ни о чем серьезном не успела поговорить с ним и, прощаясь с сыном, неприятно чувствовала это; и чувствовала это особенно потом, когда ей хотелось восстановить в памяти, как ее сын жил и работал в Курчавине.

— Как ты посвежел, Юра, ты очень посвежел, — говорила она сыну, в то время как Ульяна уже торопила ее. — Тебе нравится здесь? Нет, ты скажи, тебе нравится здесь? — настаивала она.

— Да че не нравится, да все в порядке, — отвечал Юрий, опять (и незаметно для себя) подражая Кузьмичу.

— Ну будь умным, я так рада за тебя!

— Да постараюсь, да че я, я все делаю. — И он оглянулся на Кузьмича, боясь, как бы тот не выдал его.

Но Кузьмич, сидевший на разгруженных жердях, куривший и обжигавший сигаретою губы, лишь смотрел на эту свою сигарету и как будто не прислушивался ни к чему, но на сощуренном лице его было: «Врет-то, врет, заливает (что относилось к Юрию); простофиля, ну простофиля, а еще из столицы (что относилось к Галине); ничего, возьмусь еще за тебя, со мной, брат, не то что с твоей мамочкой (что опять уже относилось к Юрию)». Примяв затем каблуком окурок, он встал и принялся молча распрягать мерина.

## XI

— Вот уже и чекать стал, ты заметила? Как они быстро перенимают все, — говорила Ульяна, когда ферма была уже далеко позади них.

— Да. Но посвежел как! Как он посвежел! — Это важно было для Галины и занимало ее.

Она еще задержалась у тетки, пила с нею чай, а когда вышла от нее, была так удовлетворена и так спокойна, особенно за сына, с которым, казалось ей, все теперь должно было наладиться и пойти, как у людей, что не замечавшаяся ею прежде красота летнего деревенского дня (красота пшеничного поля, через которое она шла теперь по тропинке, ежегодно протаптывавшейся вопреки запретам курчавинского председателя поляновскими колхозниками) словно вливалась в нее, радовала и составляла одно целое с ее настроением и мыслями. «Нет, не все еще так плохо на земле, есть еще что-то, что выше нас, есть справедливость, и надо только не упираться, а идти и идти навстречу этой справедливости» — нечто в этом роде, что было неопределенным, но было важным сейчас для Галины, приходило ей в голову. Сняв косынку, она весело помахивала ею, и светлые волосы ее, полукружьем облежавшие шею и плечи, то вдруг будто встряхивались, подхватываемые ветерком с поля, то опять лишь гладко закрывали мочки ее ушей с маленькими и светившимися серебряными сердечками. Она выглядела молодой, красивой и острее, чем когда-либо, чувствовала это; она чувствовала свою красоту так же, как

сильный человек чувствует силу, и в живо отражавшем все душевное настроение лице ее, в движениях рук, во всей еще чуть начавшей полнеть фигуре было и в самом деле что-то особенно привлекательное, что-то от матери, во что когда-то влюбился (и что затем продолжал любить уже в Галине) отчим.

«Хорошо здесь»,— думала она, как думает всякий праздно наблюдающий природу человек, когда ясно и счастливо у него на душе; и она не только не замечала этой своей перемены в настроении, но ей странным бы показалось, если бы вдруг ей сказали, что утром она была другой и что все здесь представлялось ей дурным, скучным и запустелым. В душе ее вместо прежней пустоты поднималась какая-то новая цель жизни; что это была за цель, она не знала, но она точно знала, что она что-то должна была сделать и что в том, что она будет делать, заключалось что-то важное и благородное; и от этого предчувствия дела как раз и было у нее ясно и счастливо на душе. Все московское прошлое было как бы отдалено от нее; точно так же как она, отходя от Курчавина и приближаясь к Поляновке, была где-то посередине между этими деревнями, она чувствовала себя посередине между прошлым и тем, что только еще ожидало ее в жизни, и удалялась от одного и приближалась к другому.

Но вся прелесть этого часто из ничего как будто возникавшего в ней целостного настроения сейчас же, едва показались впереди избы Поляновки, была нарушена в ней, и только что так плавно звучавшая в душе ее музыка вдруг, как в старой пластинке, начала прерываться и прокручиваться на одной неприятно повторявшейся ноте: отчим, Степанида, Ксения, отчим, Степанида, Ксения! Все ее отношения с отчимом, неприязнь к Степаниде и особенно к Ксении — все с живостью предстало перед ней; она остановилась у края оврага и с минутой, прежде чем спуститься по тропинке и пройти через него, всматривалась в дом отчима, весело выделявшийся среди других изб этой умиравшей деревни. Она заметила у ворот дома черную «Волгу» и подумала, что кто-то, наверное, приехал к отчиму; но затем, когда увидела, что Степанида, давно и с нетерпением ожидавшая возвращения племянницы и не раз уже выбегавшая в огород, чтобы посмотреть, не идет ли она,— что Степанида с огорода машет рукой и зовет ее, Галина почувствовала, что, может быть, случилось что-то более серьезное, чем только приезд гостя. «Да он же стар, он болен!» — сейчас же мелькнуло в ее голове, и она, забыв о своих волнениях и думая теперь только об этом, что могло случиться с отчимом, почти бегом спустилась в овраг и поднялась к Степаниде.

— Ты что так долго? А мы тебя ждем, мы ждем,— торопливо начала Степанида, волнуясь и во все глаза глядя на племянницу.

— А что случилось?

— Иван приехал.

— Какой Иван? — Что говорила Степанида, не совпадало с тем, о чем думала Галина и что напугало ее, и потому она не сразу поняла, кто был Иван и что заключалось в том, что он приехал. — Какой Иван? — переспросила она.

— Ну, твой, ну... Юрин отец.

— О господи! — И Галина опустила приподнятые было от волнения плечи. — Напугала как! А я уж решила... — Но она не сказала, что напугало ее; ей важно было, что с отчимом ничего не случилось, и побледневшее лицо ее (не столько, может быть, от волнения, сколько от быстрого подъема по крутому склону оврага) вновь начало наливать спокойствием и жизнью. — Зачем он приехал? Кто его звал сюда? — затем спросила она, уже как будто успокоенная, в то время как по отраженному блеску глаз ее, с любопытством обращенных к Сте-

паниде, было видно, что в душе ее произошло движение, противоположное этому безразличию, с каким спрашивала она.

— Тут все яснее ясного: на тебя посмотреть да на сына, — возразила Степанида, для которой (как и для Ксении) приезд Лукина мог иметь только один смысл, этот, на который она намекала.

— А как он узнал, что я здесь?

— Кто захочет, тот все узнает. Узнал вот и прикатил.

— И напрасно. Сына я ему все равно не покажу, да и мне... что он мне? — Но уже вместе с тем как она говорила это, в тоне голоса ее ясно чувствовалось то другое, что поднималось в ней от сознания, что он помнил о ней и приехал к ней. — О чем я буду говорить с ним?

— О том и поговоришь: отец он Юрию или не отец?! Ну пойдем, пойдем, обед стынет, да и заждались уж, — поторопила Степанида.

Но на крыльце дома, прежде чем войти, женщины остановились.

— Как хоть он выглядит? Постарел? — спросила Галина, краснея оттого, что спрашивала это.

— Нет, ну, такой стал, такой стал! — не умея сказать большего и вкладывая все свое впечатление о Лукине в эти слова, ответила Степанида. — Да они в кабинете сейчас, — затем добавила она, поняв (по тому, как Галина осмотрела себя), что племяннице не хотелось в таком виде появляться перед бывшим своим мужем. — Двери закрыли, говорят что-то, говорят. Пойдем, успеешь все.

## ХИ

Ксения была так же возбуждена, как и Степанида, и, встретив Галину в коридоре, сейчас же бросилась к ней и заговорила:

— Наконец-то, боже мой, наконец! — Как будто не только никогда не было между ними никаких натянутых отношений, но всегда были мир и согласие, какие лишь могут быть между матерью и дочерью, когда мать еще достаточно молода, а дочь на выданье и вся щепетильность предстоящего сватовства (и предстоящего счастья дочери) с одинаковой живостью и волнением (и будто наперекор всей мужской половине дома) понимаются ими. — Он давно здесь, он ждет, боже мой, как хорошо, что наконец-то... Тебе надо переодеться, да иди же, иди, — говорила она растерянно стоявшей перед нею Галине.

— Иди, иди, Галя, успеешь, — тут же суежилась Степанида.

Женщины вели себя так, словно в доме находился не гость, а жених и словно от того, как будет выглядеть Галина (как сумеет принарядить себя), будет зависеть исход дела. Они не говорили ей этого, но по их лицам, словам и жестам она сейчас же поняла, о чем они думали и что ожидали от предстоящего ее свидания с бывшим мужем, отцом Юрия. «Они с ума сошли, — было первым, что решила Галина. — Теперь?! После стольких лет?! Они с ума сошли!» Но в то время как она сказала себе это, она вдруг ясно поняла, что это не только было возможно, но было как раз тем, что она уже давно и томительно ожидала от жизни. Она вдруг почувствовала, что наступила для нее минута, когда все утраченное может вернуться к ней, и что из всех возможных и угасавших (после развода с Арсением) вариантов замужества у нее этот, как возвращение после скитаний в отчий дом, был самым желанным и надежным; и хотя она продолжала еще мысленно говорить Степаниде и Ксении, что «они с ума сошли!» — не только чувствовала всю созданную ими атмосферу сватовства, но жила ею и была точно так же, как они, убеждена, что Лукин приехал в Поляновку лишь из-за нее и что как она раньше не подумала, что все это непременно должно было случиться здесь. Ей казалось, что перед ней как будто вдруг открылась дверь к счастью и она вот-вот должна

войти в нее. Она не думала, что она скажет бывшему мужу и что он скажет ей; ей ясно было только одно — что он здесь и что важно не то, что он скажет, а то, что решила она, и ей хотелось лишь поскорее начать дело. «Просто и само собой решилось все с Юрием! Просто и само собой решится все здесь», — думала она, и впечатление ее от встречи с сыном и разговора с Ульяной и то радостное предчувствие дела, какое испытала она, идя через пшеничное поле, — все представлялось ей лишь началом этого, что должно было произойти с ней теперь.

— Господи, да я сейчас, — проговорила она, одновременно отвечая и Степаниде и Ксении. — Ну а вы? Вы-то что? — добавила она, быстро окинув взглядом, как были одеты Степанида и Ксения.

По мнению Галины, они не были еще готовы к встрече с Лукиным. Но по мнению самих Степаниды и Ксении, они давно уже были одеты во все лучшее, что имелось у них, и, оставшись теперь одни, сейчас же переглянулись, тем понимающим друг друга взглядом, когда им не то чтобы ясно было беспокойство Галины, но что они рады были этому беспокойству. Степанида была в темно-коричневой шерстяной юбке и коричневой же в белый горошек кофте, и все это, прежде когда-то бывшее в меру ей, теперь, как и то, что повседневно носила она, неуклюже висело на ее плоской, без груди и бедер, сухощавой фигуре. Как что-то лишнее она держала перед собою большие загорелые руки с широкими по-крестьянски ладонями; волосы ее, редкие и седые, были тщательно причесаны и собраны в маленький, с детский кулачок, клубок на затылке, и от этой приглаженности ее волос все как будто уложенное складками старушечье лицо ее было, казалось, выдвинуто вперед и со всех сторон открыто постороннему взгляду; оно выглядело большим, крупным, с крупными и белыми, не загоревшими под косыночку ушами и казалось некрасивым и грубым; но во всем выражении этого лица как будто светилось что-то такое, что было зажжено от одного огня и светило в глазах и на лице Галины, только что ушедшей к себе, и на лице и в глазах Ксении, стоявшей здесь. «Хоть бы все было хорошо, я так рада за нее, так рада!» — говорило выражение Степаниды. «Я знаю, все будет хорошо, и я тоже рада, я очень рада» — как будто в ответ Степаниде было на круглом лице Ксении.

В том, что происходило теперь в доме (но происходило пока лишь между женщинами и более в воображении их), Ксения видела для себя возможность наладить отношения с Галиной и выказать свое расположение к ней; и, радуясь положенному уже началу, готова была еще и еще проявить к ней то материнское чувство, о каком она знала, что оно существует, но какого не только у нее не было к Галине, но никогда не было и к своим дочерям. «Они-то пристроены, — думала она о своих дочерях, — а Галя, Галя... я должна позаботиться о ней!» И ей казалось, что она как раз и проявляла сейчас ту заботу к Галине, о какой думала, что надо было проявить к ней. В наряде ее было не меньше нелепостей, чем в наряде Степаниды; но держалась Ксения увереннее, чем Степанида, с тем привычным для себя превосходством, какое все домашние всегда чувствовали в ней. Она перебрала весь свой гардероб (что она делала всякий раз, прежде чем появиться на людях, когда еще была помоложе, была замужем за директором совхоза и считала себя первой среди совхозной интеллигенции дамой в поселке), прежде чем надеть это платье густого свекольного цвета, какое было теперь на ней. Платье это шилось давно и было, как и все на Степаниде, мешковато на Ксении; но веселый покрой этого платья с гофрированной отделкой на груди и понизу, с широким отложным воротником, широким поясом и такими же широкими хлястиками на

рукавах — все это в сочетании с цветом, румяно ложившимся на ее и без того еще румяное, полное и округлое лицо, было, как представлялось Ксении, как раз тем, что молодило ее и делало ее интеллигентной. Любившая халаты и привыкшая к ним, она чувствовала себя стесненно в платье; но она делала вид, что ей было уютно и хорошо в нем, и всем полным улыбающимся лицом выражала это.

И Степанида и Ксения были еще в фартуках, так как, кроме той заботы, что им надо было показать себя перед бывшим мужем Галины и создать впечатление у него, надо было еще приготовить обед и накрыть стол; и в этом втором деле они были более естественны, более остроумны и сами собой, и все их старание и деревенское хлебопечение были затем по достоинству оценены не только Лукиным, но и обычно молчаливым и безразличным ко всему старым Сухогрудовым.

Они могли приготовить обед только из того, что было у них под рукой. Но под рукой у них было — два зарубленных молоденьких петушка, сметана, сливки, квашеная капуста с яблоками в погребе, прошлогодняя еще морковь в песке, свежий лук и еще кое-какая ранняя зелень для приправы, какую сейчас же Степанида, сбегав на огород, нарвала и принесла на кухню; и были еще — тертая в сахаре смородина, подававшаяся обычно только старому Сухогрудову и только по утрам как лекарство, было загустевшее в стеклянных банках яблочное домашнее варенье и черствый, еще третьего дня принесенный Степанидой из курчавинского сельмага хлеб, печенный погородскому, в жестяных формах. Всего этого, как объявила Ксения, было недостаточно, чтобы принять гостя; но так как ничего другого придумать было нельзя, посоветовавшись коротко между собою, женщины принялись за дело. Распотрошенные и облитые сметаной петушки вместе с круглой, только очищенной, но не нарезанной картошкой были поставлены в духовку газовой плиты, горевшей от привозного баллонного газа, и Ксения, считавшая себя мастерицей этого блюда, сама следила, как томились и зарумянивались петушки и картошка, и то и дело поливала их, чтобы сочнее были, натапливавшимся от них жиром. И картошка и петушки покрывались коричневой хрустящей корочкой (особенно кончики крылышек), и Ксения, чувствуя, что все получалось у нее, была в настроении, улыбалась и успевала руководить Степанидой, накрывавшей стол.

— Ты на два блюда, а два, — говорила она, входя в столовую, в то время как Степанида устанавливала приготовленный ею морковный салат. Морковь была мелко натерта, подбелена сметаной и посыпана сверху моченым изюмом и должна была представлять собою тот деликатес, чем женщины хотели удивить Лукина. — Не много ли ты сметаны положила? — Салат этот был давним и любимым изобретением самой Ксении, и она не могла удержаться, чтобы не спросить, что besпокойло ее.

Квашеная капуста была полита подсолнечным маслом и выставлена в центр стола, а справа и слева от нее уложены на тарелках моченые яблоки; на клетчатой скатерти перед каждым стулом была положена салфетка, поставлены приборы: тарелки, фужеры, рюмки; в хрустальной салатнице была принесена и тертая в сахаре смородина, чтобы, если кто захочет сладкого к птице, как объявила Ксения, то — пожалуйста, что еще может быть лучше и вкуснее, чем эта домашнего приготовления смородина. Тут же лежал и репчатый лук и стояла тарелка с хлебом; а когда решалось, что гость будет пить, Ксения сказала:

— Только не коньяк, нет, я знаю, теперь у них у всех все больше водка в моде. — Она была убеждена (по высказываниям своего перво-

го мужа, что если уж пить что, так лучше водку), что самым приятным для всех мужчин была водка, и она тут же поставила хранившуюся у нее бутылку «столичной» на стол.

Все это к приходу Галины было уже готово, и по всему дому — кухне, коридору, столовой — аппетитно распространялся запах жареных кур, картофеля, запах солений, свежего лука и зелени, принесенных с огорода.

Ксения, как только Галина отправилась переодеться, сняла фартук и еще раз придирчиво перед зеркалом осмотрела себя; Степанида, зная, что во время обеда придется прислуживать ей, осталась в фартуке, и обе женщины, довольные, что дело так хорошо складывалось у них, прошли из коридора в столовую, где все уже было готово к торжеству, и оставалось только позвать мужчин, продолжавших еще о чем-то говорить в кабинете.

В столовой было светло, створки оконных рам были растворены, и летний воздух со двора шевелил свисавшие к полу тюлевые занавески. Солнце, клонившееся к вечеру, было теперь напротив окон, и желтый свет от него, cedившийся сквозь тюль и расплывавшийся пятном по стене и полу, как раз и наполнял комнату. И в этом свете тарелки, фужеры, рюмки — все, что было на столе, все смотрелось как-то по-особому, переливаясь искрами в хрустале и отражаясь на мельхиоровых ножах, вилках и ложках. Ножи, вилки и ложки эти были привезены Ксенией в сухогрудовский дом, были ее гордостью, и она теперь, с озабоченным как будто видом обходя стол, невольно смотрела на это свое богатство и перекладывала по-своему там, где, казалось ей, положено было Степанидой не так, как полагалось по хорошему тону; и пока она делала это, вошла Галина и осталась у двери.

На лицах Степаниды и Ксении, как только они увидели Галину, сейчас же отразилось удивление, которое было вызвано видом ее. То, что было модно в Москве, не было еще модно здесь, в деревне; здесь еще полагали, что неприлично появиться женщине в юбке выше колен. Но Галина была именно в такой, выше колен, юбке (по московскому образцу сочли бы неприличным, если бы она была одета не так). У нее были красивые ноги, и она знала это; и ноги эти, обтянутые теперь, несмотря на жару, тонким капроном (что должно было придать большее совершенство им), были все на виду и вызывали у Степаниды и Ксении то возражение, что лучше было бы, если бы эта красота лишь чувствовалась, но не была бы так откровенно выставлена. «Что он может подумать, Галя!» — одинаково было на их удивленных лицах. Но, несмотря на это, они все же не могли не признать, что Галина смотрелась и что оголенность ее ног еще не означала, что она была оголена вся; она лишь хотела подчеркнуть, что было еще молодым и привлекательным в ней, и Ксения сейчас же поняла это; и сейчас же, как будто от восторга заморгав, кинулась к Галине и торопливо начала говорить ей:

— Прекрасно, Галя, прекрасно! Да как ты можешь не понравиться ему?! Как он вообще посмел уйти от тебя?!

По себе зная, что привлекательность женщины часто зависит не столько от одежды, сколько от настроения и уверенности, что все красиво и хорошо на ней, Ксения старалась поддержать теперь Галину; и в то время как хвалила ее, постепенно сама уверялась, что и в самом деле все на Галине было прекрасно: и синяя юбка, и кофта голубоватого оттенка, сквозь которую видны были кружева нижней рубашки, и рассыпанные вокруг шеи светлые волосы, и даже те самые серебряные сердечки, какие Ксения видела на Галине всегда, но какие теперь, казалось ей, были особенно кстати и украшали ее.

Степаниде тоже хотелось что-то сказать племяннице. Но то, что она могла сказать ей, было неуместно, а то, что было уместно (что говорила Галине Ксения), не укладывалось в простоватом уме Степаниды в слова и фразы. Она не умела говорить не то, что думала, и потому теперь лишь молча улыбалась, глядя всем своим морщинистым, добрым и открытым лицом на Галину.

В конце концов настроение Ксении передалось и ей, и все трое, составлявшие женскую половину сухогрудовского дома, еще и еще раз оглядев себя и стол и согласившись, что все было готово к торжеству, решили, что пора звать мужчин; и Ксения как хозяйка, тотчас настраиваясь на заискивающе-уважительный тон, каким она собиралась говорить с Лукиным, чтобы не испортить дела, пошла пригласить гостя и мужа к столу.

### XIII

Она вошла в тот момент, когда между Лукиным и старым Сухогрудовым было уже почти все переговорено и они сидели в креслах друг перед другом — лицо Сухогрудова в тени, лицо Лукина на свету — и перебрасывались теми обычными как будто фразами, которые, им казалось, что-то еще заключали в себе, но были, в сущности, безынтересны им, так как не затрагивали тех главных вопросов, какие волновали их. Они думали об одном и том же — что нужно для поднятия жизни в деревне, — но подход к делу был настолько различен, что им обоим было очевидно, что они не понимали друг друга; но из вежливости ни Лукин, ни Сухогрудов не хотели вслух признать это и, как пассажиры, оказавшиеся в одном купе, ожидали лишь останки, когда можно будет спокойно разойтись им.

— Да, с кем на ты, с кем на вы, каждого надо знать, — говорил Сухогрудов, имея в виду теперешнюю ознакомительную поездку Лукина по району. — И что ни человек, то тебе и... держава!

— Так оно и должно быть.

— А руководить? Как?! Ведь это все держать надо. — Он протянул перед собою сухую, старческую ладонь и сжал ее. — Держать! А то живо поползет все, кто куда хочет. — И он нервно и вопросительно остановил взгляд на Ксении, вошедшей в кабинет и помешавшей ему.

Он не вникал в хозяйские интересы женщин. То, что они делали в доме, ему казалось, должно было делаться ими само собой. Но при всем этом как будто невниманием своим к жене и сестре он заметил теперь, что жена была не в халате, а в том любимом ею свекольном платье, которое он уже не помнил, когда она в последний раз надевала. «Что она? Да стоит ли гость того?» — быстро перекинув взгляд с Ксении на Лукина и с Лукина опять на Ксению, подумал он. Но как он ни был далек от домашних дел (и как ни казалось его домашним, что он стар и нерасторопен умом), по выражению лица жены он сейчас же понял, для чего она нарядилась и что вообще затевалось всеми там, за дверью, откуда, он давно уже слышал, доносились звуки и запахи готовившегося застолья. «Нашли топор под лавкой, хватились», — подумал он с той мрачной холодностью, как он относился ко всякому делу, начинавшемуся без согласия его. Он всегда бывал недоволен в таких случаях и теперь был недоволен вдвойне: и тем, что разговор с Лукиным не удовлетворил его и он не хотел оказывать бывшему зятю особого гостеприимства, и еще тем, что сводничество, затевавшееся женщинами, было, он видел, во-первых, бессмысленным, и, во-вторых, глубоко противным ему; он чувствовал всю нехорошую сторону этого дела, и готовое уже вырваться раздражение его, какое чем старше он становился, тем труднее было сдерживать в себе, невольно

должно было обратиться теперь против Ксении. Лицо Сухогрудова побледнело, и на тонких старческих губах появилась та усмешка, что он сознает себя выше этого, что происходит вокруг него, какая затем не только во все время обеда, но и после отъезда Лукина долго еще была как бы прикреплена к его лицу.

Он встал и, обращаясь к Лукину тем тоном, по которому нельзя было определить, как он относился к жене, проговорил:

— Прошу: моя жена, Ксения Александровна.

Лукин тоже поднялся и, назвав себя, пожал руку Ксении.

— Да, да, тот самый,— глядя на жену, добавил Сухогрудов, не разъясняя, что означало «тот самый», но видя по глазам ее, что ей более чем понятен смысл того, что он говорит ей.— К столу? Все готово?

— Да, милости просим,— светясь вся, подтвердила Ксения, не отрывая от Лукина взгляда.

Она заметила недовольство мужа, но это не смутило ее. Она знала, что всякое недовольство его заканчивалось лишь тем, что он замолкал и уходил к себе и что это никому и никак не мешало; и была убеждена, что не должно было помешать и теперь. Привыкшая считать (как и Сухогрудов в своей сфере деятельности), что все в доме вращается вокруг нее, она особенно чувствовала себя теперь в центре надвигавшегося события, исход которого, она понимала, мог зависеть только от того, как она поведет все; и она видела по выражению лица Лукина, что начало уже удалось ей.

— Чем богаты, все на столе. Все ждет,— повторила она.

— Ну, раз на столе, так на столе. Как смотришь? — обернулся он к Лукину.

— Не против.

— И прекрасно. Но только... я сожалею, что сразу не сказал тебе об этом,— сказал он, жестом остановив уже направившегося было к двери вслед за Ксенией Лукина.— Галя здесь. С сыном. Ты извини,— добавил он, еще острее, чем минуту назад, почувствовав всю неловкость того положения, в каком был теперь сам и в каком особенно оказался Лукин, еще продолжавший как будто улыбаться, но весь уже изменившийся в лице.— Я не хотел, это случайность. Ты извини.

#### XIV

Вся ложность положения Лукина, ложность положения Галины, ее отчима, Ксении и Степаниды, как после сдернутого покрывала, когда все вдруг увидели то голое и неприличное, что скрывалось под ним, была почувствована всеми сразу же, как только, сойдясь в столовой, начали рассаживаться вокруг накрытого к обеду стола, подчиняясь звонку и не умолкавше звучавшему голосу Ксении. Она видела, что все были стеснены и всем было неловко; и сама испытывала это; но по тому принципу, что мосты к отступлению сожжены, что вино откупорено и надо пить, всеми силами старалась соединить то, что было, и все чувствовали это, несоединимо; она старалась угодить каждому (особенно Лукину, который молодым и щегольским видом своим вызывал у нее восхищение), но она переигрывала в этом своем усердии хозяйки стола и дома, и все только острее чувствовали от ее как будто приветливой суеты, как ложно, неприлично и не нужно было то, для чего они собрались здесь.

В темно-синем костюме, светлой в полоску рубашке и галстук, переодетый только для встречи и разговора с Лукиным, перед которым не хотелось старому Сухогрудову выглядеть по-домашнему просто, он видел теперь, что он был как будто приобщен ко всему

затейному женщинам сватовству, и это не нравилось ему. В то время как Ксения усаживала Галину рядом с Лукиным, он смотрел на них с тем нескрываемым на лице отвращением, словно он уже видел не то, что происходило перед ним, а последствие этого, ту порочную близость, которая, он знал, как она будет принята и осуждена всеми в районе. Живший постоянно в сфере тех возвышенных мыслей, которые, как звенья в цепи, вырабатывались в нем и приподнимали и сковывали его, он особенно видел, как было мелко, ничтожно и плоско это, к чему он был причастен теперь. Он противился, и густые стариковские брови его были насуплены; но именно потому, что он был раздражен, был мрачен, он думал обо всем собранно и ясно. «Локоть хочешь укусить? Нет, милая моя, нет, поздно», — думал он о Галине. Он не мог простить ей, что она долго не приезжала к нему, что почти ничего не писала о своих делах и разошлась с Арсением и что еще прежде, давно (но что, однако, живо было в старческой памяти Сухогрудова), разошлась с Лукиным; не мог простить ей отчужденности, с какою, он чувствовал, все эти дни она относилась к нему, и невольно искал в ней теперь то, что подтвердило бы, что она дурна и не стоит того, чтобы думать о ней. Но вместе с тем как он видел, что она была в короткой юбке, и осуждал ее, и видел, что она не только не стеснялась, что ее усаживали рядом с когда-то отвергнутым ею мужем, но, напротив, казалось, была счастлива, что такая возможность представлялась ей, вместе с тем как ему мучительно было сознавать, что за всю неделю пребывания в отцовском доме Галина еще ни разу не была так весело возбуждена, как теперь, — он чувствовал, что это дурное, что он старался подчеркнуть в ней, наталкивалось в душе его на что-то другое, что не позволяло так плохо думать о дочери. Он не мог отделаться от мысли, что когда-то любил ее; и он знал, что если она попросит, он сейчас же сделает для нее все, чтобы наладить ей жизнь (ведь есть же у него еще связи в Мценске!); но он с болью видел, что она не только не нуждалась в нем, но даже не замечала, что он здесь, не смотрела на него, а вся была поглощена своей целью, которая старому Сухогрудову представлялась бессмысленной, недостижимой и возмущала и оскорбляла его. «И это в моем доме?! Кто позволил? Кто разрешил?» — было в нахмуренных глазах его. Он готов был сказать это, но он не говорил этого, понимая, что если скажет, то перерубит то последнее, что еще связывало его с дочерью.

Нахмуренно смотрел он и на Лукина. «Какой ты секретарь! Мальчишка, еще азы учить, а туда же, брат королю и кум богу!» — так же зло, как о Галине, думал Сухогрудов о Лукине. И так же, как в Галине, старался найти в нем то дурное, что позволило бы неприятно думать о нем. Но кроме того, что Лукин смущался и держался стеснительно и неловко, ничего другого Сухогрудов не мог заметить за ним и мысленно возвращался к подробностям разговора с ним, по которому он ясно видел, за что можно было осудить Лукина. «Элеваторы... чувство хозяина... с бабой сладить не мог!» Он знал, что не Лукин бросил Галину, а она его, уехав в Москву и оставшись там; но сейчас ему хотелось думать иначе, и он понимал, что все можно повернуть т а к и обвинить бывшего зятя. Он чувствовал, что не только это, но и все другое, что прежде казалось достоинством в Лукине и за что он уважал и ценил (и продвигал!) его, можно было точно так же повернуть против него, усмотрев во всем ложь и умение сделать карьеру, и мысль эта, вдруг возникнув, так овладела старым Сухогрудовым, что как он ни старался затем опровергнуть ее, не мог сделать ни в этот день, ни позднее, когда обращался в размышлениях к этому дню. Он всегда ценил Лукина за то, что тот умел слушать и воспринимать, что говорили ему; но в этот раз он увидел Лукина другим,

возражавшим и не слушавшим, и искал, чем можно было объяснить это. «Тогда — продвигался по службе, теперь — достиг положения, так вот ты каков!» — решил наконец Сухогрудов. Что предлагавшийся им план был устаревшим, был неприемлемым (и что, главное, сам Сухогрудов понимал это), это теперь не бралось им в расчет; об этом было забыто; но не забыто было безразличие, с каким отнесся к плану Лукин, и причина этого безразличия была теперь вполне очевидна Сухогрудову, и он не сознавал только одного — что если бы не это дурное, что думал о бывшем зяте, нашел бы что-либо другое, потому что ему необходимо было так дурно сейчас думать о нем. И по той простой логике, что если возможно одно, то возможно и другое, он решил, что и приезд Лукина в Поляновку имел свой второй смысл. Сухогрудов выводил это из того, как был одет Лукин; и это давало старику повод полагать, что торжество в доме (сводничество, как переводил для себя он) готовилось заранее, всеми и за его спиной; и он нахмуренно смотрел уже на Ксению и Степаниду, суетившихся вокруг стола и не знавших, как лучше угодить гостю. «Прыги, прыги сколько!» — раздраженно думал он о них. Ему хотелось встать и разогнать всех, но он не делал этого, а только сжимал плотнее свои тонкие побледневшие губы и подыскивал, что бы колкое сказать либо Лукину, либо Галине, либо Степаниде, либо Ксении.

«А знает ли она, что ты женат? Да, да, знает ли, что у тебя семья, дети?» Он выжидал лишь время, чтобы с той насмешливой интонацией, как он умел делать это, высказать все бывшему зятю и дочери.

Но в то время как Сухогрудов верно разгадал замысел женщин, он был совершенно далек от того, что чувствовал и о чем думал Лукин. В ту же минуту, как только Лукин услышал, что Галина с сыном здесь, в доме, предположение, что он увидит их, и мысли, связанные с этим (и воспоминания, охватившие еще на обочине пшеничного поля, откуда смотрел на Поляновку), все сейчас же поднялось в голове Лукина, и он не то чтобы уже не понимал, что затем говорили ему Сухогрудов и Ксения, но слышал их, видел перед собой, а думал о другом — как увидит Галину и Юрия и что скажет им; он как будто вдруг потерял ориентацию и не находил (среди трех сосен!), в какой стороне был выход; и в то время как ему хотелось быть собранным, чувствовал, что мысли расплывались и что из всего нынешнего и прошлого, что занимало его, ясно было в сознании лишь то, что когда-то связывало его с Галиной. «Ну да, я же знал, что она здесь, — вместе с тем просто и ясно сказал он себе, как будто ничего неожиданного не было в том, что должно было случиться сейчас. — Увижу ее, увижу наконец сына и поговорю с ними!» Ему хотелось, чтобы все было просто и чтобы он не испытывал потом вины перед дочерьми и женой; но он волновался, входя в столовую, и волнение было так сильно, что он, казалось ему, по-настоящему увидел Галину только после того, как она, протянув руку, чтобы поздороваться, подошла так близко, что наполненное непонятым счастьем лицо ее оказалось рядом, перед глазами. Он увидел, что она была молода и была так же красива, как прежде; и вопреки опасениям Степаниды, Ксении и Сухогрудова не только не нашел в общем виде ее ничего неприличного, но, напротив, сразу же уловил то, что, как и предчувствовала Галина, не могло остаться незамеченным им.

Он сейчас же отметил про себя, что она была одета с тем вкусом, каким всегда отличаются женщины одного круга от другого (женщины городские от деревенских); отметил ту показавшуюся ему изысканной простоту в ее одежде и прическе, что в понимании его, как в понимании всякого провинциального человека — и это было еще характерно тогда! — не могло не соединиться сейчас же со слова-

ми «Москва» и «столица» и понятием всей той жизни, какая стояла за этими словами. То, что он всегда считал потерянным, было перед ним; перед ним была та самая палуба парохода с цветами, шумом и музыкой, на которой каждый раз, в воспоминаниях, уплывала от него Галина, и он чувствовал, что не только мог сейчас войти на эту палубу, но что одной ногой уже стоял на ней, и волнение моря (волнение той жизни, от которой добровольно и так поспешно отказался когда-то) ясно передавалось ему через эту палубу. И хотя Галина была сдержанна, не суежилась и, казалось, не торопила события, вся живость ее души, бесконечность ее энергии, деятельности, все было как бы на виду у Лукина, и он чувствовал это в Галине так же хорошо, как он всегда раньше чувствовал это в ней. Когда он переводил взгляд на ее волосы, он видел, что они были такими же красивыми, какими он помнил их; так же красиво поблескивали в ушах ее сережки, и красивыми были лицо, шея, плечи, грудь, руки, все, все, что когда-то было близко и доступно ему и могло стать близким и доступным теперь; и от сознания, что прошлое могло вернуться, он еще более не мог сосредоточиться и лишь бессмысленно и глупо улыбался и краснел от этой своей улыбки и оттого, что и старик Сухогрудов, и Ксения, и Степанида — все в доме представлялись ему добрыми и понимавшими его.

Он не чувствовал той ложности своего положения, как видели и понимали это Сухогрудов, Степанида, Ксения и отчасти Галина; ложным казалось ему не то, что он был здесь и что так принимали его, а другое, что ожидало его после, когда все закончится и он должен будет уехать отсюда. Он знал, что, несмотря на все свое теперешнее желание войти на палубу (желание быть с Галиной), он вновь не сможет оторвать от земли ту ногу, какой еще прочно стоял на ней; и именно в этом он видел и свою вину перед Галиной и ложность своего положения перед всем собравшимся за столом семейством Сухогрудовых.

## XV

— Кушайте, кушайте,— звонко и с той неестественностью, какую не только все другие, но и сама Ксения должна была чувствовать в себе, говорила она, привстав над столом, наклоняясь и подавая Лукину морковный салат в белой с золотым ободочком фарфоровой салатнице, которым ей особенно хотелось покормить гостя. Было только что выпито по рюмке, и все еще морщились, ища глазами, чем бы поскорее заесть то, что, все делали вид, было приятно им, но что на самом деле было неприятно, горько и вызывало ощущение ожога.— Ну, Акиму ладно, ему нельзя, а вы, Иван Афанасьич, вы-то что ж так? — продолжала она, видя, что отпито Лукиным было только несколько глотков и что рюмка с водкою уже была поставлена им на стол.— У нас положено до дна, до дна!

Она знала (по опыту всех своих прежних застолий, какие приходилось собирать ей, особенно когда жив был еще первый муж), что всякая натянутая обстановка между гостями бывает натянутой только до первых двух-трех рюмок и что после того, как гости выпьют, становится шумно, весело и торжество идет само собой, как пущенные с горы сани, когда и ветер и снег в лицо и не надо ни смотреть, ни управлять ничем; но вначале сани эти надо подтолкнуть, надо приложить усилие, чтобы все двинулось и закрутилось само собой, и она как умела (как подсказывало ей положение хозяйки) приглашала гостя и выпить вместе со всеми, и закусить, и чувствовать себя как дома.

— Бирюк ты, бирюк, и что только я за тебя пошла,— вместе с тем

говорила она мужу веселым, ласковым тоном, на какой, она знала, никак нельзя было обидеться ему.

Но он не отвечал, а только молча и нахмуренно продолжал смотреть на то, что делалось за столом. Лишь когда Степанида пошла на кухню, чтобы подать зажаренных петушков с картофелем и Ксения вышла за ней проследить, как все будет уложено на блюде, Сухогрудов вдруг как будто оживился и, дрогнув густыми старческими бровями, спросил Лукина:

— Уже перебрался в Мценск или нет?

— Нет.

— Квартиру не могут подобрать?

— Почему? Но ее подновить надо. А пока ночую у Ильи Никанорыча.

— Зачем же старика теснить?

— А что делать?

— Как он хоть поживает там, как здоровье его? — Сухогрудову хотелось сказать другое, то колкое, что было приготовлено им не столько для Лукина, сколько для Галины; но как он ни был настроен скептически, как ни был недоволен и раздражен, вместо колкости (что знает ли она, что у Лукина жена и дети!) говорил то, что не могло оскорбить ее.

— Ничего, тьфу-тьфу, как говорится.

— Рад за него, какой был редактор! И людей и землю — все знал в районе. Районщик. Районщик! — повторил Сухогрудов так, словно и в самом деле что-то очень важное было заключено в этом слове.

— Я не люблю это слово, — сейчас же возразил ему Лукин.

— Почему?

— Да разве вы не чувствуете, сколько в нем пренебрежения к деревенскому делу, сколько унижительного чего-то? Нет, я бы не хотел, чтобы меня в старости называли так.

— Называют не по выбору, как мы хотим, а по жизни, кто что сделал.

— Тогда что ж, выходит — землю пахать унижительно? Районщик? Нашли же словечко, прилепили ярлык. И кому? Тем, кто подает им на стол. Я бы вообще запретил пропускать это слово в печать: рай-он-щик! — В кабинете у Сухогрудова Лукин не позволял себе так резко говорить со стариком; но теперь, в присутствии Галины, что-то словно подталкивало его к этой категоричности и жесткости. Он не оборачивался к Галине, но он знал, что она смотрит на него, и у него словно прибавлялось от этого сил и смелости для разговора. — Мы терпеливы и прощаем всем и все. Привыкли терпеть и прощать, и в этом беда наша.

«Да, да, только ты один и знаешь это. Мальчишка! Ты поживи еще да поработай!» — было в напряженно-холодном взгляде Сухогрудова, в то время как он слушал бывшего своего любимца и зятя.

Степанида, шедшая впереди Ксении, несла в руках перед собою блюдо с жареными петушками и картофелем. Ксения, опередив ее, принялась освобождать середину стола, чтобы установить блюдо, и все вокруг сейчас же снова заполнилось ее суетливыми движениями и голосом. Грудку, где было белое мясо, и крылышки с коричневыми хрустящими кончиками она положила на тарелку Лукину; точно такую же грудку и крылышки от второго петушка подала мужу и, предлагая затем кому картофель, выглядевший так же аппетитно, как и петушки, кому тертую в сахаре смородину («На вкус, на вкус», — приговаривая при этом), звонко и с той же ложной интонацией, которая, впрочем, уже не замечалась ни ею, ни всеми остальными, сидевшими за столом, просила наполнить рюмки. Ей казалось, что торжество бы-

ло запущено и что теперь оставалось только поддерживать разговор; и она бездумно, не зная, о чем говорили мужчины, и не считаясь с тем, что должно было интересовать Галину, а испытывая лишь желание поскорее включиться в общее течение торжества, перебивая и заглушая всех, начала говорить с Галиной о Москве.

— Вот уж где не была, так не была,— наконец заключила она, имея в виду Большой театр, как будто во всех других московских театрах бывала не раз и хорошо знала их.— Занавес, лепка, балконы, золото, кресла в малиновом бархате — да тут и не захочешь, а графиней почувствуешь себя.— Разговор этот о театре был начат ею случайно, как и все другое, о чем говорила во время застолья Ксения; но ей казалось, что она возвышала этим Галину и давала понять бывшему ее мужу, что дочь ее (она мысленно уже называла Галину дочерью) москвичка, что ведет соответственный образ жизни, которому можно только позавидовать, так много прекрасных сторон собрано в нем.— Ты расскажи, Галя, это же интересно,— просила она.

«Театр, графиня... О чем мелет?» — недовольно, что прервали его, подумал о жене Сухогрудов.

— Театр как театр,— ответила Галина, которой было не до театра; теперь, когда она видела смущенное лицо Лукина, она еще более понимала, что цель ее была достижима и возможна.

— Ты же ходила, Галя,— настаивала Ксения.

— Ходила, но в жизни столько всего, что я уж и забыла. Да и зря так думать, что у москвичей только и дел что бегать по театрам.

— Ну как же, Галя, как же?! Вы закусывайте! Яблочки моченые, лучок,— тут же говорила Ксения, соединяя в одно и то возвышенное, что виделось ей за словом «театр», и то житейское, что заключалось в словах «моченые яблоки» и «лучок» и было естественнее, ближе и понятнее ей.

Она продолжала еще и еще — о том несущественном, что было не интересно и не нужно никому; но все слушали, смеялись и отвечали ей, не желая разрушать веселого настроения хозяйки. Только Сухогрудов сидел молча и неподвижно и терпеливо, казалось, ждал, когда можно будет начать разговор ему.

— А ведь ты в рубашке родился,— как только утихла Ксения, сказал он, подняв взгляд на Лукина. Он опять говорил не то, что хотелось, и от слов его, хотя и не было ничего как будто осудительного в них, веяло холодностью.— И дать есть у тебя что (Сухогрудов имел в виду те средства, какие теперь выделялись государством на развитие сельского хозяйства) и что взять тоже будет (намекал на дожди, обильно прошедшие в начале мая). И в обкоме у тебя авторитет, и перед народом. Ну, за твои успехи,— добавил он затем, чтобы сгладить впечатление, какое должны были произвести его слова на Лукина.

Лукин почувствовал, что было что-то нехорошее в том, что сказал Сухогрудов, но рюмки уже поднялись над столом и он не смог возразить старику.

— Да, я думаю, урожай будет. И неплохой,— согласился он, чтобы только сказать что-то.— Луга — смотреть приятно, а хлеба?!

— Но ведь и год на год не приходится.

— Само собой,— опять подтвердил Лукин.

— Да когда мы были без хлеба, боже мой, о чем вы, люди давно уже забыли об этом,— решительно вмешалась Ксения. Она всякий раз входила в разговор, словно брала вожжи у кучера; и всякий раз дергала не той вожжей, куда надо было повернуть воз.— Будет, не будет урожая — хлеб будет. Да и в хлебе ли дело! — И она снова начала о Москве, стараясь вовлечь в разговор Галину, но, в сущности, не давая

ничего произнести ей; и даже когда выходила на кухню, продолжала оттуда говорить Лукину (о Москве и Галине), что, казалось ей, важно было услышать ему.

## XVI

После обеда был подан чай, а после чая все встали из-за стола, и Лукин, потный и красный, подошел к распахнутому окну, чтобы остыть и подышать воздухом. Его мучил вопрос: уйти ли ему сейчас, распрощавшись со всеми и не поговорив с Галиной о том, о чем, он чувствовал, надо было поговорить с ней (и не повидав сына, появление которого с волнением ожидал во все время обеда), или остаться, что было, он понимал, не совсем удобно ему; и пока решал, как поступить, Сухогрудов, устроившийся в кресле в глубине комнаты, через несколько минут уже по-стариковски дремал, наклонив голову и отключившись от всего, что занимало его, а Степанида и Ксения, переглянувшись, удалились на кухню, чтобы оставить одних Галину и Лукина.

— Ну? Видишь? Он только затем и приехал,— сейчас же радостным шепотом объявила Ксения, схватив руку Степаниды; она не могла не сказать это, потому что не могла поверить, чтобы усилия ее были напрасны.

— Ой, Ксения, Ксения.— Степанида сомнительно покачала головой.

— Я же вижу, ты что, только затем и приехал!

«Так уйти мне или остаться?» — снова спросил себя Лукин, продолжая стоять у окна и чувствуя по той свежести, какая вливалась в комнату, что наступал вечер и что от полей, луга, от всей не успешшей еще подсохнуть после дождей земли поднималась сырость. И трава и земля — все остывало, отпотевало, и Лукин не то чтобы думал, что было хорошо, что выпадала теперь роса и что это к урожаю, но всей крестьянской натурой своей чувствовал это обилие влаги и жизни. Он не оборачивался и не видел, что старик Сухогрудов задремал в кресле. Состояние молодости и состояние старости так различны, что ему и в голову не приходило, что бывший тесть его, столь энергичный всегда, позволил бы себе задремать. Не слышал Лукин и того, как удалились на кухню Степанида и Ксения, и заметил только, что вдруг стало тихо в комнате, и обернулся, встревоженный этой тишиной. И как только обернулся, сразу понял, что оставлен наедине с Галиной и что та минута, какую ждал во все время обеда, наступила и надо говорить что-то. Но то ясно представлявшееся ему, что он хотел спросить у бывшей своей жены, вдруг будто отступило, исчезло, и он лишь смотрел на Галину, как он часто мысленно смотрел на пароход с шумом, людьми и музыкой, на котором отплывала она, и ничего не говорил ей.

— Что же ты молчишь? — Галина подошла к нему. — Постарела и не нравлюсь тебе? — Она не думала минуту назад, что так будет говорить с ним; но по привычке своей все сложное превращать в простое и по тому бессознательному, как это бывает у женщин, чувству, что так надо, так будет лучше, она начала разговор именно в этом наступательном тоне, словно не только никогда не считала себя виноватой перед ним, но будто у нее всегда было за что упрекнуть его. — Ты женат? У тебя дети?

— Да.

— И ты счастлив с ними?

— Зачем ты спрашиваешь это? — ответил он, краснея оттого, что он, в сущности, говорил ей, как он живет с семьей.

— Я думала, ты приехал ко мне и хочешь сказать что-то,— сказала она. — Говори, что же ты? Говори. Мне не перед кем краснеть, я одна. С твоим сыном. С Юрием,— добавила она.

— Как одна? — переспросил Лукин.

— Так. Одна. С Арсением разошлась.— Она ближе подошла к Лукину, вглядываясь в него.— А Юра весь в тебя, весь до черточки,— сказала она.

Точно так же, как игрок, держащий в руках козырной туз, в нужный момент бросает его на стол и выигрывает партию, Галина вдруг поняла, что козырным тузом у нее в ее теперешнем сложном деле был ее сын, Юрий. Она сейчас же почувствовала, что из всех прежних нитей, связывавших Лукина с ней, прочнее всех была именно эта — сын. Она только что в этот день видела сына, и впечатление, оставшееся от встречи с ним, давало ей основание с гордостью теперь думать о нем. «Да, я помню, ты хотел помочь мне воспитать его, но я не приняла твоей помощи и воспитала сама, и, как увидишь, неплохо» — выражали ее глаза, в то время как она смотрела на Лукина. Она не хотела знать, что то, что она делала — разбивала чужую семью, — имело определенное название и осуждалось людьми; ей важно было, что она имела право на Лукина, и этого было достаточно для нее, чтобы держаться уверенно и отстаивать свое право. Все лежавшее между тем днем, когда она не попрощавшись уехала от Лукина в Москву, и этим, когда стояла теперь перед ним, — все представлялось ей таким незначительным, что она удивилась бы, если бы вдруг сказали, что надо в чем-то простить ее; она только стремилась к лучшему, и если он не понял этого тогда, то хотя бы должен понять ее теперь; и она смотрела на Лукина с той лучезарной ясностью, как будто лишь хотела слегка упрекнуть, что как это он не может увидеть того, что очевидно и просто ей и всем остальным.

— Было трудно, ты, наверное, слышал, было не так все просто.— Она продолжала как будто о сыне, но говорила уже и о себе, давая понять Лукину, что то, что связано с сыном (со сложностями его воспитания), связано с ней и неотделимо от нее.— Мальчики всегда трудно растут, особенно если они характером в отца.

— Ты считаешь?..

— Да, да, не легкий,— сейчас же перебила она, продолжая еще говорить наступательно с ним, но уже чувствуя, что наступательность была на грани, что надо переменить тон, сказать что-то такое, что приоткрыло бы перед Лукиным тот край занавески, за которым он увидел бы, что она упрекает только потому, что любит его, и что если бы все обстояло иначе, не было бы теперь между ними этого прямого и откровенного разговора.— Не легкий,— повторила она,— но я не сказала: плохой! Я этого не сказала. Боже мой, о чем мы с тобой говорим, боже, о чем говорим?! — И, поймав взгляд Лукина, всем своим душевным беспокойством вдруг поняла, что она близка к цели.

Цель ее была — вернуть к себе Лукина и решить таким образом те свои проблемы, от которых, ей казалось, она уже устала в жизни. Цель ее была — устроить свое благополучие. Но вместе со всем этим простым, ясным и очевидным, чего хотела добиться она (и что шло от разума, а не увлеченности, как это бывало в молодости), она чувствовала, что Лукин был тем единственным человеком, с кем возможно было ее счастье. Все прежние представления ее о совершенстве мужчины, когда она то искала глубины духовного мира в будущем своем муже, то, напротив, считала, что и умение подать себя есть тоже проявление культуры, — все ее представления о совершенстве были теперь соединены в Лукине, и она с замиранием думала, как она раньше не разглядела в нем этого и оттолкнула его от себя. «Дурой была, какой была дурой!» — повторила она слова отчима, сказанные ей тогда в раздражении. Она как будто смотрела сейчас только в глаза Лукину; но она видела все молодое, с деревенским загаром лицо его, го-

ворившее ей о здоровье и силе, видела расстегнутый воротник рубашки, расслабленный галстук и видела руки, которые он держал сложенными так, будто радостно удивлялся чему-то и, не имея возможности сказать о своем удивлении, жестом выражал его. И жест этот так о многом говорил Галине, что ей казалось, будто она снова была молодой, красивой и что, главное, не только она, но что это видит и признает в ней Лукин. «Боже мой, я все сделаю, все, все, на все готова, лишь бы только быть с ним и видеть его», — торопливо думала она, выдавая лицом эту пробудившуюся в себе силу к жизни.

— Я хочу сказать тебе, чтобы ты знал: я очень жалею о прошлом, — сказала она.

— Я знал это.

— Ты знал?!

— Да.

— Но ты-то, ты?..

— Я тоже очень жалел. Жалел, — повторил Лукин, стараясь подчеркнуть, что все было в прошлом, в то время как глаза его, смотревшие на Галину, говорили другое, что он жалеет обо всем и теперь и только в силу определенных обстоятельств (какие должны быть понятны Галине) не может сказать ей этого.

«Да говори же, говори», — взглядом просила Галина.

Она торопила события и готова была шепнуть ему, что он должен сказать ей; но за спиной ее тяжело заворочался в кресле отчим, и она и Лукин тут же вместе оглянулись на него. Для Галины это сонное движение отчима было равнозначно тому, что перед глазами ее был разрушен дом, так красиво и добротнo построенный ею, и на лице ее не то чтобы отразилось недовольство, но вспыхнуло что-то злое, относившееся к старику: что она не забудет и не простит ему этого. Для Лукина же сонное движение старика имело совсем иное значение и произвело то отрезвляющее действие, как если бы на него вылили ведро холодной воды. Он вдруг увидел, что он был не один с Галиной и что все сказанное им и ею (и еще более — не сказанное, но что, казалось ему, было сказанным) было услышано бывшим тестем и определенным образом воспринято им. Лукин вдруг как бы со стороны увидел всю двойственность своего положения и ужаснулся тому, что он делал. Он вспомнил о Зине, о дочерях, как они провожали его в эту поездку по району и как Зина, поправляя на груди его галстук, говорила: «Следи за собой, знаешь, как люди сейчас внимательны, все замечают» — и будничным голосом ее, будничное выражение лица (как смотрят обычно замужние женщины, убежденные в верности своего мужа) — все, все это, так живо вспомнившееся ему, неприятно, тяжело, грузом опустилось на душу. «Что я делаю? Я хочу освободиться от нее? Уйти, бросить, как тот хозяин свою собачонку...» — подумал он о Зине. Он знал, что, если уйдет от нее, она не поймет, почему он сделал это; он представил себе состояние Зины и мучительно понял, что не сможет причинить ей эту боль. «В чем она виновата? Почему я должен так поступить с ней?» Он продолжал еще как будто смотреть на старика Сухогрудова, ворочавшегося в кресле, но видел перед собой спокойное, будничное лицо Зины, в котором, он находил теперь, было что-то такое для него, чего не хотелось терять ему. «Нет, нет, это хорошо, что я делаю. Я не должен делать этого», — снова подумал он, уже отвернувшись от Сухогрудова и глядя в окно. Галина стояла рядом, и он слышал, как она дышит; но прежнего желания повернуться к ней и посмотреть на нее у Лукина не было; не было ни палубы, ни музыки, ни всей той воображенной жизни, к которой еще минуту назад так хотелось прикоснуться ему; все было разбито, развалено, приглушено, и он только болезненно пытался вспомнить, что еще

нужно было ему спросить у Галины. Он, в сущности, не поговорил с ней о сыне и не увидел его; но он не мог вспомнить этого и, сознавая лишь, что нельзя больше оставаться здесь, что надо идти, думал, как было удобнее сделать это.

— Да мне пора,— сказал он, как-то вдруг, сразу взглянув на часы и повернувшись к Галине.— Да, да, пора,— подтвердил он, видя, как она странно посмотрела на него.

— Так быстро? Мы еще ни о чем не успели поговорить с тобой.

— О чем говорить, Галя, когда все в прошлом.

— В прошлом?!

— Да.

— Ты считаешь, все в прошлом? — переспросила она. Ей надо было сказать что-то другое, но она забыла, что у нее есть козырной туз — сын! — и что самый момент теперь пустить его в дело, и только смотрела на Лукина своими еще ясными, еще переполненными надежд глазами и умоляла остаться его.

— Нет, нет, не могу,— отвечая не на тот вопрос, какой она задала, а на тот, какой он читал в ее взгляде, поспешно проговорил Лукин.— Я действительно не могу, Галя, ты извини,— затем сказал он, желая успокоить ее. Он взял ее руку, чтобы попрощаться, и задержал ее.— Ты извини, так будет лучше.— И то, чего он не мог высказать словами, он старался пожатием передать ей.

— Но мы еще должны встретиться с тобой и поговорить. Ты не будешь возражать? — Галине важно было узнать это.

— Конечно, Галя. Но мне пора, пора.

Он повернулся, намереваясь проститься со стариком Сухогрудовым, но она задержала его.

— Не надо,— сказала она.— Он спит. Он всегда теперь после обеда спит в этом кресле.

— А где же Степанида, где Ксения Александровна?

— Они на кухне.

— Надо зайти к ним.

Но прежде чем выйти из комнаты, он кивком попрощался с Сухогрудовым и затем молча прошел на кухню.

— Все было так прекрасно, так обильно и вкусно, что я хочу поблагодарить вас,— весело начал он, увидев Степаниду и Ксению и инстинктивно почувствовав, что нельзя ему не быть веселым перед этими добрыми и гостеприимными женщинами, которые не слышали его разговора с Галиной и не могли ничего знать о нем.— Но я должен извиниться, мне пора ехать.

— Ну что же вы так, вы нас обижаете, Иван Афанасьич,— сейчас же возразила Ксения, мгновенно сообразив, что что-то, наверное, не получилось у Галины с ним и что надо помочь ей.— Уже вечер, еще чаю попьем, да и на ночь можно, дом большой, всем места хватит. Или, может быть, что-нибудь не так?..

— Что вы, все было отлично.

— Так и оставайтесь, мы будем рады. Галя, Галя, что же ты так отпускаешь гостя! — Голос Ксении звучал так же ложно, как он звучал во все время обеда; но только теперь вся ложность была настолько оголена и так очевидна, что всем неловко было слушать ее.— Галя, что же ты?!

— Нет, нет, не могу, спасибо, но не могу.— Лукин уже не улыбался и, чтобы не продолжать разговора, точно так же, как он только что кивнул старику Сухогрудову, прощально кивнул теперь женщинам и направился к выходу.

Женщины — все три — вышли за ним проводить его. Ксения и Степанида остановились на крыльце и переглянулись. «Что же он

так?» — было в глазах Ксении. «А как судить его, как?» — было в глазах Степаниды.

Но Галина, несмотря на поспешный отъезд Лукина, не считала, что ничего не вышло у нее. В то время как она смотрела (от середины двора, где она остановилась), как Лукин, выйдя за жердевые ворота, садился в машину, она сильнее, чем во все прошедшие минуты встречи, чувствовала, как она была близка к цели. Она не думала, отчего была в ней эта уверенность; но то, что, прощаясь с ней во дворе, Лукин опять задержал ее руку, так много сказало ей, что она не могла думать иначе, чем она думала теперь о себе и о нем.

## XVII

Распорядок жизни в сухогрудовском доме был настолько устойчив, что приезд Лукина и волнения, связанные с приездом, не могли изменить этого распорядка. Особенно это относилось к старому Сухогрудову.

Проснувшись от послеобеденного сна и обнаружив, что Лукина нет, он сказал только: «Ну и скатертью дорога, и хорошо, и пусть едет» — и ушел в кабинет, чтобы появиться затем лишь у вечернего самовара. Увидев же вечером, что все за столом были в сборе, что с Галиной ничего не произошло и что сводничество не состоялось (да и не могло состояться, когда он в доме, как полагал он), он стал думать о Лукине и своем разговоре с ним. «Чувство хозяина, элеваторы, да, да, что-то он там еще городил?» — с насмешкою спрашивал он себя, в то время как хорошо помнил все подробности этого разговора. В старческом сознании его опять началась та привычная для него работа, как будто он должен был подготовиться к новой и жесткой встрече с Лукиным. Для него опять потянулись те обычные дни, когда он, перемежая завтраки и обеды с прогулками и послеобеденным сном, продолжал заниматься той своей, в сущности, бессмысленной деятельностью, от которой ждал, что она еще что-то принесет ему. Не славу, нет; он не думал о славе; он, казалось, заботился только о том, как извлечь из опыта своей прошлой работы пользу людям, и цель эта — быть полезным — побуждала его к деятельности. Он был уверен, что его позовут, что не могут не позвать, и готовился к этому. «Зачем же всем им второй раз проходить то, что прошел я? — думал он, имея в виду прежде всего молодого Лукина. — Я прошел, и я могу вести всех дальше!» И он снова, как прежде, часами просиживал за столом, всматриваясь в развернутую перед собой карту района, и хотя внешний распорядок жизни его как будто не был нарушен, мысли, приходившие теперь, после разговора с Лукиным, были иными, как если бы он вдруг, взглянув в очередной раз на поле, с детства знакомое ему, увидел, что оно было совсем не таким, каким он всегда прежде видел его.

Поле это было — народная жизнь, которую он хорошо знал, в которой вырос и от которой никогда не отделял себя; и он рассматривал теперь эту народную жизнь не в той приближенности, как раньше, когда был непосредственным участником дел и когда от его решений зависела судьба людей и надо было быть осматрительным ему, но видел все в том временном пространстве, когда в потоке людских и государственных устремлений легко можно было различить те отдельные и важные направления, которые в силу разных обстоятельств как бы выбивались из общего русла и уводили в сторону. Все рассуждения Лукина о чувстве хозяина были непонятны и неприемлемы для Сухогрудова потому, что затворничеством своим он как бы отделил себя от всех тех многочисленных и разнообразных источников обществен-

ного мнения, какие влияли теперь на Лукина; но вопрос о чувстве хозяина — вопрос этот всегда занимал Сухогрудова и был для него тем камнем преткновения, который он обычно обходил и не решался трогать. Но в то время как он не решался трогать этот камень, молодые, пришедшие за ним, он видел, безо всяких оговорок и опасений надорваться брались за него и пытались сдвинуть его. Особенно старик Сухогрудов почувствовал это в разговоре с Лукиным; и разговор этот не давал теперь покоя ему. «Но я-то и видел больше и знаю больше, так для чего же им надрываться и мучить себя, когда я могу помочь им», — рассудил он. И, разрешив таким образом перешагнуть себе через ту душевную скованность, которая всегда только мешала ему, он вдруг ясно для себя увидел, в чем было дело. «Мы бичуем собственничество, но так разогнались в этом важном для нас деле, что перешагнули черту, за которой кончается собственничество и начинается жить обычное житейское чувство хозяина!» Он увидел ту опасность нахлебничества, какая уже начала проявляться в деревне, когда люди отказывались от всякого домашнего хозяйства (и от приусадебного огорода), так как это представлялось им собственничеством, и, вместо того чтобы что-то еще подавать на общественный стол, садились за него и, в сущности, полностью переходили на обеспечение государства. Он как бы в перспективе увидел, что еще только-только выбрасывало ростки над землей, но могло, если не принять мер, превратиться в такое положение, когда не в город, а из города мужик будет возить молоко, яйца, мясо к себе в деревню; он видел в этом государственную проблему и думал, что отбить у человека охоту заниматься домашним хозяйством (что всегда было и будет подспорьем для семьи) не так уж трудно, но что потребуются затем годы, чтобы привить ему снова это желание. «Так что же это, если не нахлебничество?» — думал он. Он чувствовал, что надо было если выступить теперь, то выступать по этому коренному вопросу, и весь был поглощен разработкой его.

Он старался записать то, что он думал; но всякий раз, как только начинал делать это, сейчас же замечал, что то, что было логично и складно в уме, было нелогично и нескладно на бумаге, и что исчезало что-то такое, что он ясно понимал и чувствовал, но что, он видел, невозможно было передать словами, чтобы так же ясно чувствовали и понимали другие. На бумаге (вместо жизни) получался сухой документ, который не только не представлялся бесспорным, но был, казалось Сухогрудову, и не ко времени, и уязвим, и неточен. Разрешив себе мыслить по-новому, он еще не мог разрешить себе так же свободно излагать на бумаге эти свои новые мысли, и, не вполне сознавая, что мешало ему, мучительно старался преодолеть стоящий перед ним барьер, был сосредоточен и, как всегда, не замечал, что происходило вокруг него в доме и занимало Степаниду и Ксению.

Они не думали о жизни в том плане, как думал об этом старик Сухогрудов; для них важны были не общие положения — куда что движется и почему? — а то конкретное, с чем они сталкивались ежедневно и что составляло круг их повседневных домашних забот. И в этом кругу были свои проблемы, которые требовали разрешения. Из трех оставшихся еще в Поляновке коров две этой весной были отведены в Курчавино и проданы, и перед Степанидой и Ксенией возникал вопрос, где они будут покупать молоко и сливки, если последняя корова, держать которую было хлопотно и невыгодно, как уверяла хозяйка, тоже будет отведена и продана. Пора было кастрировать кабанчика, которого выкармливала Степанида, но тот человек, Матвей Захарыч, которого всегда приглашали на это дело (и о котором все в деревне говорили, что у него легкая рука), жил, как и большинство бывших

поляновских колхозников, на центральной усадьбе, и сколько ни ходила к нему Степанида, не могла договориться с ним и привести его. Заваливался сарай, и надо было чинить его; надо было заменить прогнившие перекладыны в погребке и вкопать новые стойки ворот; надо было выносить и проветривать ковры, поедавшиеся молью, и еще, и еще — множество дел, требовавших сильных мужских рук, которых не было в доме; но никто не хотел наниматься, и Степанида и Ксения (по женскому разумению своему) приходили к выводу, что жить становилось все труднее и труднее, что народ разленился, заелся и что не только за рубль, как бывало раньше, но и за три не дозовешься никого даже на самое пустячное дело. «Да где это видано, чтобы человек зарабатывать не хотел?!» — было главным, что поражало их. На деньги, которые они имели, — и от Дементия, помогавшего им, и от дочери Ксении, жившей с мужем на Севере и присылавшей переводы матери, — они не могли сделать того, что нужно было в хозяйстве, и огорчались и говорили об этом. Но огорчения эти были больше на словах и не нарушали спокойного течения их жизни. С приездом же Галины и особенно после встречи ее с Лукиным спокойствие это было не то чтобы нарушено, но какая-то словно новая полоса забот охватила Степаниду и Ксению.

Вместе с Галиной в дом к ним вдруг как бы вошла частица совсем другой, незнакомой им жизни и заслонила перед ними все их домашние дела. Они увидели, что они были более устроены в жизни, чем она, и почувствовали, что должны помочь ей; и были особенно омрачены, поняв после поспешного отъезда Лукина, что дело, какое им так хотелось, чтобы сладилось у Галины с ним, не было слажено. Весь следующий день Ксения лежала с примочкой на голове, и Степанида одна молча и придавленно управлялась по дому, и это душевное состояние женщины осложнялось еще тем, что Галина не только, казалось, не замечала, как переживали они, но держалась еще более отчужденно с ними, будто и в самом деле в чем-то обвиняла их. Но на самом деле она ни в чем не обвиняла их; она думала о себе, о том, как жила все эти годы, бросаясь то к одному, то к другому, ища счастья и не находя его, тогда как счастье ее было здесь, в бывшем ее муже и во всей той жизни, от которой так безрассудно она уехала когда-то. Она чувствовала, что могла вернуть все, и ее занимал только вопрос, как сделать это. Просидев почти безвыходно три дня в своей комнате, она затем сходила в Курчавино к сыну, а вернувшись от него, заявила, что должна поехать в Мценск и пожить там.

— Раз хочешь, так и поезжай, — сейчас же согласился отчим, не видя в этой затее ее ничего предосудительного.

Чуть погодя он уже не помнил об этом разговоре и утром был удивлен, когда Галина зашла проститься к нему.

— Как? Почему ты едешь? — спросил он. — Надолго? — Как будто это было важно для него.

— Дня на три, на неделю.

— Ну поезжай, поезжай!

Он еще с минуту смотрел на нее тем остановившимся взглядом, словно хотел что-то вспомнить и спросить у нее; но он ни о чем не спросил и сел за стол, чтобы в очередной раз начать записывать то, что он обдумывал в эти дни. И как только он пододвинул к себе стопку белой бумаги, вся старческая фигура его успокоилась, замерла и на продолговатом сухом лице появилось то выражение сосредоточенности, какое как раз и представлялось Галине странным и пугало ее. Но теперь она не заметила этого выражения. Точно так же, как отчиму было не до нее, ей было не до отчима, и, выходя от него, она думала, что надо еще проститься со Степанидой и Ксенией, с которыми не-

приятно было прощаться ей. Она видела, что они знали, для чего она собралась в Мценск, были обижены на нее и не вполне одобряли это ее решение. Особенно Ксения, которая уже не суетилась так, как в день приезда Лукина, и разговаривала с Галиной сдержанно и только о том, что считала нужным назидательно сказать ей.

— Холодильник там отключен, так ты включи его,— говорила она, передавая Галине ключи от своей мценской квартиры.— Если что прибрать, Шуре позвони, прибежит, поможет. Она все сделает, ты только позвони, да и познакомишься с ней.

### ХVIII

Галина отправлялась в Мценск устроить свое благополучие. Как и всегда, когда она затевала что-либо новое в налаживании своей семейной жизни, она бывала убеждена, что только это новое и может принести ей успокоение и счастье, и все в ней начинало подчиняться не разуму, а чувству, подсказывавшему ей, как надо вести себя; с ней и теперь как будто происходило только то, что не раз уже бывало с ней; но вместе с тем она отчетливо сознавала, что на этот раз все было для нее по-другому, было тем главным, к чему она стремилась всю жизнь и что невозможно было сейчас упустить ей. Лукин оставил у нее впечатление красивого и умного мужчины, каким она не думала увидеть его; и она была удивлена этим и снова влюблена в него. В воображении ее повторялись подробности ее встречи и разговора с ним — те подробности (как он, прощаясь, задержал ее руку), из которых она могла делать лишь тот вывод, что еще имела власть над ним и что надо воспользоваться ей этой властью. Она думала только вернуть себе своего мужа, и возможность этого счастья, казавшегося близким ей, заслоняла в ней все иные мысли о возможном несчастье другой семьи; в ней независимо от нее просыпалось и брало верх то эгоистическое начало, когда, как это бывает в таких случаях у большинства людей, кажется, что то, что хорошо для меня, непременно должно быть хорошо и для других, и Галина, подчиняясь лишь этому естественному в ней теперь чувству (чувству сохранения жизни), искренне полагала, что то, что она делала, было не только справедливо и нужно ей, но справедливо и нужно для общей вокруг жизни. «Я пошла не по той дороге, но я вернулась и хочу идти по той, по которой положено мне идти, так что же осудительного может быть здесь?» — как будто говорила она себе, в то время как мысль эта было теперешнее состояние ее души. Она радовалась тому, что происходило с ней, но вместе с тем была так серьезна, как не бывала никогда прежде. Лицо ее как будто проигрывало от этой серьезности, но вместе с тем в это новое выражение ее лица вплетались те черточки, которые сейчас же говорили о целостности и основательности ее намерений; и вся красота ее была уже не в том, как она одета и как выглядят ее светлые волосы, модным полукружьем спадавшие к плечам, а в глубине и чистоте того чувства, какое она так бережно несла теперь Лукину.

Она приехала в Мценск под вечер и через час уже сидела в приемной Лукина, дожидаясь, пока он останется один и можно будет войти к нему.

Она не знала, что скажет ему, и не думала, что как только он увидит ее, все тут же решится между ними; ей только хотелось, чтобы все сейчас же решилось, и она была так убеждена, что невозможно отвергнуть то, что она испытывала к нему, что она слышала, как билось ее сердце, как будто то, что не раз бывало с ней в молодости, с какою-то обновленной силой повторялось в ней теперь и волновало

ее. «Да что же все так тянется? — недоумевала она. — Разве он не знает, что я здесь? Он знает, он же знает, как он может?!» И она недовольно оглядывала тех, кто входил к Лукину и выходил от него. Она ненавидела всех этих людей, которые, казалось ей, отнимали у нее счастье и мешали ей соединиться с Лукиным; но когда секретарь наконец сказал ей, что она может войти, она вдруг почувствовала, что ей трудно сделать это, что между ней и Лукиным есть другая преграда (есть ее московская жизнь!), которую не так-то просто было забыть и отбросить ей. «Как я могла вообразить?! Как он может простить мне?!» Но секретарь, стоявший у приоткрытых дверей, ждал, чтобы она вошла, и она, невольно уже подчиняясь этому его молчаливому приглашению, поднялась и пошла, неслышно для себя ступая онемевшими ногами по жесткому паркетному полу приемной и кабинета.

Внимание ее было так напряжено, что сколько она потом ни пыталась вспомнить, что было с ней в эти первые минуты, когда она вошла к Лукину, она с удивлением отмечала, что в памяти ее был провал и вместо подробностей — что сказала она, что ответил он и как затем усадил в кресло и сам сел напротив нее, — вместо этих подробностей возникало только ощущение, будто она пережила тогда самые тяжелые и лучшие минуты своей жизни. В то время как она чувствовала, что не могла жить без Лукина, и понимала, что была виновата перед ним; в то время как ей очевидна была вся невозможность того, что так хотелось, чтобы было возможным, и она сознавала, что нельзя было ей приезжать сюда; в то время как в душе ее шла эта работа мысли и сердца, наполнявшая ее силой, какую принято называть любовью, но какая воспринималась ею только как страх перед тем, что то, что она несла, могло быть не принято и разбито, — вся эта борьба желаний и страха, сковывавшая ее в словах и движениях, так щедро излучалась из ее глаз и от всего вспыхнувшего лица, что нельзя было не заметить этого ее волнения, которое должно было многое сказать Лукину. Он сейчас же почувствовал в ней то, что всегда прежде любил в ней, — ту ее взрывную энергию, у которой не было конца, а было лишь постоянно возобновлявшееся начало; было то, что в народе называют пустым звоном, но что для Лукина, помнившего только, как шумно Галина начинала все, и не помнившего, что из всех ее начинаний ничего не было доведено ею до конца, для Лукина было наполнено значением красоты и одухотворенности жизни. Он слушал Галину и смотрел на нее, не отводя глаз, словно боялся, что больше не увидит ее; и в то время как она говорила ему о сыне (ту правду, какую и сама не знала, как решилась рассказать ему), смысла ее слов почти не доходил до него; с ним происходило точно то же, что и в Поляновке, когда он вдруг узнал, что увидит ее, и он точно так же не мог сосредоточиться сейчас ни на чем, кроме того, что он понимал только, что она здесь. Он опять чувствовал в ней частицу той деятельной столичной жизни, какой всегда не хватало ему; и хотя в рассказе Галины жизнь та не содержала как будто ничего деятельного и тем более возвышенного, что непременно будто должно содержаться в ней по представлению всякого отдаленно живущего от Москвы человека (была только жалкая история с Юрием!), Лукину казалось, что между тем, что Галина рассказывала, и тем, что он всегда думал о ее столичной жизни, не было и не могло быть связи. То, что она говорила, было неприятно и грустно; но то, что он воображенно видел в ней, было светло, ясно и притягивало его. Перед ним как будто открывалась какая-то новая перспектива жизни, невольно связывавшаяся им с возможностью проявить себя на работе; но чувство, какое он испытывал при этом, было чувство прыгуна, затоптавшегося перед планкой, которую подняли так высоко, что он знал, что не преодолет ее, но от ко-

торой уже не мог отойти, не совершив попытки, потому что все (все — была для него Галина) смотрят и ждут, чтобы он разбежался и прыгнул.

«Да, да, я всегда чувствовал, что было что-то нехорошо с сыном», — думал он, в то время как Галина продолжала говорить ему.

Она не знала, почему заговорила с ним о сыне, и не думала, что надо было ей именно теперь бросить на стол свой главный козырь, чтобы выиграть партию; но она сделала именно это, что не решилась сделать в Поляновке, и чем больше и правдивее теперь говорила о сыне, тем свободнее чувствовала себя перед Лукиным. Она говорила о том, что волновало ее, не заботясь как будто, какое впечатление произведет это на Лукина; но в то время как она рассказывала о проделках Юрия, она говорила и о себе, сколько пришлось перенести ей, и роль страдалицы, в какую невольно облекала себя, была для нее, и она видела это, выигрышной, потому что оправдывала ее. Она заметила в глазах Лукина сочувствие и воспринимала это его сочувствие как мостик, по которому пролегла ее дорога к нему, и всеми силами старалась укрепить этот мостик и говорила, говорила, боясь, что, как только остановится, все сейчас же рухнет и у нее уже не останется больше надежд на него.

— Ты не можешь представить себе, как я намучилась с ним, — то и дело повторяла она с той естественностью, как будто и в самом деле разговор шел не о Юрии, а о ней. — А что было этой весной? Ты думаешь, почему я здесь? Почему я приехала сюда? — И после этих вопросов, которые, казалось ей, уже сами по себе означали многое, она пересказала Лукину ту историю с холодильником, арестом и осуждением Юрия (и с угрозой высылки его из Москвы за тунеядство), весь ужас которой, как можно было понять из ее слов, состоял не столько в том, что что-то неладное случилось с Юрием и что надо что-то срочное предпринять, чтобы помочь парню исправиться, сколько в том, как невыносимо болезненно было пережить ей это. И если бы Лукин не был возбужден и слушал Галину, из ее рассказа он сделал бы только тот вывод, что она не знает ничего о своем сыне.

— Когда же все это началось с ним? — спросил он, полагая, что он пропустил то важное, что надо было понять ему.

— Не знаю, Ваня, не знаю, — сейчас же откровенно ответила она. — Я все делала, чтобы он учился, рос, а получилось... я не знаю, у меня нет слов. Ни сил, ни слов, ничего.

— Да, я понимаю, — сказал Лукин. — Но почему ты не написала мне об этом раньше?

— Как же я могла тебе написать?! — удивленно переспросила Галина.

Она невольно задала тот главный вопрос, который для Лукина означал, что у него семья и что если бы не было у него семьи и он был бы так же свободен, как она, то она непременно написала бы ему и позвала его. Он понял это по выражению ее глаз, тону голоса, по всему ее напряженному виду, как она посмотрела на него, и покраснел, будто и в самом деле был в чем-то виноват перед ней. «Да, но я бы объяснил все Зине, она бы поняла все», — сейчас же про себя решил он. Но он только сильнее покраснел, зная, что не смог бы ничего объяснить жене. Не находя, что ответить Галине, он встал и озадаченно прошелся по кабинету. То, что в течение многих лет представлялось ему вполне совместимым — возможность быть одинаковым к дочерям и к сыну, — он увидел теперь, что было не только несовместимым, но были две совершенно разные семьи, требовавшие каждая, чтобы он либо принадлежал весь, либо уходил и не прикасался ни к чему. Он вдруг ясно понял, что он должен сделать выбор между нынешней сво-

ей женой и Галиной, и чувствовал, что это было нехорошо и не в его силах и что точно так же, как жалко ему Галину и сына, жалко Зинаиду и дочерей, которых он не мог подумать, как бы он бросил теперь. По чувству, какое поднималось в нем, он тянулся к Галине; но по разуму (по тому последствию, что могло разразиться, если он бросит семью), по разуму он не мог разрешить себе этого, что хотелось ему. Он считал, что надо прервать теперь разговор с Галиной; но, остановившись перед ней, сказал не то, что могло прервать этот разговор, а другое, что могло только продолжить его.

— Так он в Курчавине сейчас? — спросил он.

— Да, — ответила Галина, которой передавалось волнение и нерешительность Лукина.

— Это, конечно, не выход.

— Но хоть что-то.

— Нет, это не выход, — повторил он. — Надо подумать, как помочь ему. — Но он не знал, чем он мог помочь Юрию, и снова зашагал по кабинету, заставляя себя думать о сыне, но думая о своем, что должен сделать выбор, но что это нехорошо и что было бы лучше, если бы никакого выбора не стояло перед ним.

— Я вижу, ты волнуешься, — сказала Галина, прерывая это мучительное состояние его. — Ты извини, что я пришла к тебе со своими болячками. Мне казалось... ах, да что тут?! Юра при деле, все уладится.

— Нет, нет, я должен помочь ему.

— Как хочешь, Ваня, — ответила Галина.

Она стояла перед Лукиным, и чувствовалось, что собиралась уходить.

— Ты уходишь? — спросил он.

— Да.

— Я провожу тебя. — Но в то время как он говорил это, он ясно понимал, что этого нельзя было делать ему.

## ХК

Половину дороги они шли молча. Но они не замечали, что идут молча, так занимало их то, о чем они думали.

«Что же тут плохого, если я решил проводить ее? Я только провожу, и все, и сейчас же уйду, и ничего плохого и предосудительного тут нет», — говорил себе Лукин, оправдываясь и убеждая себя, что ни перед кем и ни в чем не надо оправдываться ему. Но, будучи совершенно далеким от той ныне вновь многими проповедуемой простоты нравов, когда кажется, что переспать с чужой женой или с чужим мужем все равно что выпить стакан воды, Лукин чувствовал, что уже в том, что он шел с Галиной, было что-то такое, чего нельзя, нехорошо и предосудительно было делать ему. Но, чувствуя, что он делал что-то предосудительное, он вместе с тем продолжал идти, говоря себе, что было бы еще более нехорошо и предосудительно, если бы он остался и не пошел с ней. Он думал как будто о пустяжном деле, которое, в сущности, не заслуживало того, чтобы так много думать о нем; но то, что стояло за этим пустяком и что имело для Лукина совсем иное значение, чем только то, что он проводит или не проводит ее, заглушало в нем все здравые мысли и заставляло волноваться его. В душе его шла та борьба, когда он должен был решить для себя, переступить или не переступить ему через ту черту, через которую нельзя безнаказанно, без определенного общественного осуждения, переступить никому, и он чувствовал себя так, словно одной рукой старался еще удерживать то, что было

ненадежно и могло рухнуть (что было теперешней его семейной жизнью, в которой он был как будто сам по себе, Зинаида с дочерьми — сами по себе), а другой пытался достать то, что было близко, было привлекательным и манившим его, но обоим, что он понимал, можно было не только обжечь руку, но обжечься всему и потерять и работу и положение, достигнутое им.

Он думал, что то, как он жил, не было счастьем, а было только общепринятым порядком жизни. Но порядок этот, которого он придерживался, позволял ему открыто смотреть на мир и проявлять себя в нем. Сойдясь же с Галиной, он понимал, что вынужден будет отступить от этого порядка и лишиться многого, что было дорого ему, и он колебался, что считать счастьем: то, что он имел, или то, что только полагал, что будет иметь, но что было еще как бы туманом скрыто от него? Его, в сущности, занимал тот вопрос жизни, какой в разные времена и не одно поколение людей безуспешно пыталось решить для себя; но Лукину казалось, что опыт прошлого не имел к нему отношения, а все, что он переживал, все было впервые и было потому трудным и неразрешимым для него.

Несколько раз, вдруг спохватившись, что он молчит, он спрашивал у Галины про Юрия (что было как бы в продолжение того разговора, какой он вел с ней в кабинете), но то, что отвечала Галина, он почти не воспринимал, и не смотрел на нее, и не видел, в каком состоянии была она. Он только чувствовал, что с нею как будто происходило что-то такое же, что и с ним, и что должно было решить и ее и его участь, и боялся поднять на нее глаза, опасаясь, что то, что увидит на ее лице, сейчас же решит все. «Что же я делаю? Для чего я иду? — вместе с тем продолжал думать он. — Если хочу помочь сыну, то я могу сделать это и по-другому, необязательно идти к ней!» Но когда он остановился у подъезда дома, где жила Галина, на вопрос ее, не зайдет ли он, чтобы еще поговорить о сыне, он не задумываясь ответил:

— Зайду, почему же?

— По старой памяти чаем напою.

— Не откажусь, а почему?..

Он только не спросил, здесь ли отчим или в Поляновке; но Галина, как будто услышавшая этот его вопрос (она поднималась по ступенькам впереди него), повернулась и сказала:

— Я одна. Все в Поляновке.

Она сказала это так просто и естественно (чему позднее сама всегда удивлялась), словно все то, что она делала — зывала бывшего мужа к себе, — не только не имело никакой с ее стороны заданной цели, но было тем, что бывает между друзьями, которым приятно час-другой побыть вместе. Она открыла дверь и, переступив порог, с той же естественностью и простотой проговорила:

— Ты только извини, здесь пыльно и не убрано. Здесь никто не жил, все было на замке. — И, оставив у дверей туфли, пошла, мягко ступая босыми (в чулках) ногами, через коридор в комнату, к окну, чтобы открыть его.

Как всегда, у Галины не было ничего продумано и приготовлено, чем бы она могла угостить теперь Лукина. Но она поняла это, только когда вошла на кухню и увидела, что холодильник отключен и дверка его открыта и что на полке в шкафу, где обычно рядком стояли пакеты с конфетами, печеньем и сахаром (как было еще при матери), было все пусто и застелено вырезанной зубчиками по краю цветной клеенкой. Она вдруг поняла всю нелепость своего положения и изумилась тому, как она могла допустить это; но это, что

Должно было смутить ее, она сейчас же сообразила, можно повернуть в свою пользу, как будто она никого не ждала сегодня; и она, вернувшись в комнату к Лукину, весело объявила:

— Ну вот, нахвалилась, а угостить нечем. Даже, по-моему, и сахара у них здесь нет.

— Давай сходим куда-нибудь поужинать?

— Ты так хочешь?

— Как ты скажешь.

— Потом. Чуть посидим, потом,— предложила она, усаживаясь напротив Лукина в кресле.

Она подобрала под себя ноги, не думая, для чего сделала это, лишь чувствуя, что надо создать какую-то атмосферу домашности и теплоты. Было уже около десяти вечера, в комнатах горел свет. Красивые ноги свои Галина прикрыла юбкой, и можно было теперь только угадывать их очертания. Голову она держала чуть наклоненно и так озорно, весело и лукаво смотрела на озадаченного Лукина, как будто вот-вот ей исполнилось двадцать и все, что было прожито ею, еще лишь предстояло, и в лучшем варианте, прожить ей. Она вновь чувствовала, что она близка к цели, и все возбужденное состояние ее души опять было отражено и на лице, и в глазах, и во всей по-домашнему уютной позе, как она сидела перед бывшим своим мужем, которого хотела вернуть себе. Она снова видела, что он был красив; но вместе с тем как она видела это, что он был красив, был молод, она ясно сознавала, что он был для нее еще и тем человеком, за которым она могла спокойно и счастливо прожить жизнь. Теперь, когда она знала (по своей одинокой с сыном жизни в Москве), как важно было быть обеспеченной, она не думала, чтобы что-то плохое скрывалось в этом ее желании; напротив, она была убеждена, что смысл замужества для всякой женщины только в том и должен состоять, чтобы быть обеспеченной, и готова была теперь на все, даже оставить Москву, чтобы получить то, что так хотелось получить ей. Но что она могла дать взамен? Тепло, любовь, ласку? И ей казалось, что этого было так много в ней для Лукина, что он не может не быть счастливым с ней.

То, что в комнате было пыльно и что большинство предметов было накрыто старыми занавесками, газетами и целлофановой пленкой (что Сухогрудовы делали всякий раз, чтобы сохранить мебель и вещи, когда уезжали на лето в Поляновку), не беспокоило Галину и не смущало ее точно так же, как и то, что нечем было ей угостить Лукина; она чувствовала, что главным для него было не это, а была она, и ей радостно было сознавать и чувствовать это. Щеки ее горели, и что-то, казалось, золотистое (от люстры, зажженной под потолком) было вплетено в ее светлые волосы; она рукой убрала их со щеки, приоткрыв ухо и маленькое серебряное сердечко в нем, на которое внимательно посмотрел Лукин.

— Ты, наверное, доволен своей работой,— между тем начала Галина, не заметив как будто этого его взгляда. Она инстинктивно почувствовала, что надо было теперь говорить с ним не о сыне, не о себе, а надо было говорить о нем самом, о его работе, о чем он сам всегда прежде любил говорить с ней.— Ты молодец, добился своего, у тебя такой кабинет..

— Нет, Галя, я кабинета не добивался.

— Да, да, конечно, ты извини, я не так сказала,— сейчас же поправилась она.— Но ты теперь можешь осуществить все свои планы и замыслы, я же помню, сколько их было у тебя,— сказала она, помня, в сущности, только то, что планы и замыслы у Лукина были и что он не раз высказывал их ей, но не помня, в чем заключался

смысл этих планов и замыслов и почему нельзя было осуществить их. «Какое-то переустройство, что-то в отношении земли, людей, деревни»,— возникало в сознании Галины, в то время как она старалась продолжить этот начатый ею разговор, который был не то чтобы интересен Лукину, но был для него теперь тем спасательным кругом, за который нельзя было не ухватиться ему; он понял это и, отвечая сперва вяло, неохотно, все более затем начал втягиваться, как он выразился, в тему, и беспокоивший его вопрос, для чего он здесь и хорошо ли или нехорошо, что он здесь, незаметно как бы отступил от него и заслонился этим разговором.

Он почувствовал в Галине то, чего ему всегда недоставало в Зинаиде, с которой он уже не помнил, когда говорил о своих делах; почувствовал тот интерес и внимание к себе, каким, ему казалось, никто дома не окружал его, и, подогреваемый этим интересом и вниманием, начал пересказывать те свои взгляды на положение дел в районе и на развитие сельского хозяйства вообще, о чем говорил только с Ильей Никаноровичем и Сухогрудовым. Но теперь все у Лукина получалось собраннее, яснее, четче, он чувствовал это, радовался этому и не замечал, что, в сущности, подавал себя Галине. Он делал это бессознательно, по одному только понятию, что так надо, и говорил, говорил, как прекрасно было бы, если бы в деревенском человеке укрепилось масштабное, перешагнувшее за собственный плетень и разделительную колхозную между чувство хозяина. То, что Галина слушала его, он видел; но то, что она ничего не понимала из его слов, он не замечал; лишь в какую-то минуту вдруг словно что-то подтолкнуло его, он остановился, почувствовав, что то, что он говорил, было не нужно ни ей, ни ему и что совсем не для этого они сошлись сегодня в этой комнате. Он вдруг понял это так ясно, и так живо все прежние тревожные мысли — хорошо ли, нехорошо ли было, что он здесь? — вернулись к нему, что он сейчас же, как было уже не раз в этот вечер с ним, покраснел от сознания ложности своего положения перед Галиной.

— Я утомил тебя, Галя, ты прости, но я живу этим. Это моя жизнь,— сказал он, оправдываясь и желая исправить положение.

— Ну что ты! Ты так красиво говорил, я ничего не поняла, но ты так красиво говорил,— поспешно перебила его Галина.

Она встала, решив для чего-то подойти к нему, и Лукин тоже поднялся навстречу ей. Они стояли теперь друг против друга, и Лукин видел по глазам Галины (точно так же и Галина видела по глазам бывшего своего мужа), что все, что было между ними до этой минуты, было лишь преддверием к тому, что должно произойти теперь. Но это, что должно произойти, было так желанно и так унижительно Лукину (унизительно последствием, какое, он знал, нельзя будет избежать ему), что он не решался первым сделать то движение, которое сейчас же подсказало бы Галине, что он испытывал к ней. Но он не делал и другого, чтобы сказать, что не может допустить близости с ней, что есть обстоятельства, которые выше его и не позволяют ему допустить это; он лишь напряженно смотрел на Галину каким-то вдруг обезжизненным будто лицом, словно ему предлагали совершить преступление, на которое он когда-то дал согласие, но которое теперь, когда надо было делать, было так очевидно нехорошо и осуждаемо всеми, что он не мог совершить его. «Все это ложно, что я думал о сыне. Я обманывал себя и думал о ней, только о ней, и только ее всегда не хватало мне,— думал он, продолжая смотреть на Галину и не решаясь ничего сказать ей.— Но что же я делаю? А Зина? А девочки мои?» — думал он, в то время как понимал, что означало для Галины то, что он молчал перед ней.

— Ты что-то хочешь сказать мне,— сказала Галина, кладя ему на плечи свои никогда не знавшие тяжелой работы мягкие руки.— Говори, ну говори! — И она сделала то движение руками, как будто она хотела разбудить его.— Говори,— повторила она.

Она вдруг решительно обняла его и губами прижалась к его губам. Потом торопливо начала целовать в щеки, глаза, губы, притягивая его голову и полупшепотом повторяя: «Дорогой, милый, дорогой». Затем, снова обняв, уже всей грудью прижалась к нему, с замиранием ожидая, когда висевшие как плети руки Лукина поднимутся и обнимут ее. И когда она почувствовала, как ладони его прикоснулись к ее спине, что-то теплое и приятное стало как будто наполнять ее грудь, сердце и разливаться по телу, расслабляя все в ней после пережитых напряженных минут и дней. Не было ни Арсения, ни сына, ни отчима, ни Степаниды и Ксении; не было ничего, что было с Галиной прежде, а существовала только эта минута, от которой, она чувствовала, пойдет новый для нее отсчет жизни.

## XX

После этой проведенной у Галины ночи Лукин уже не мог не бывать у нее. Илье Никаноровичу, с беспокойством пришедшему к нему, сказал, что не хочет больше стеснять его и что будет пока ездить домой, в совхоз, хотя далеко и неудобно это. Но перед женой (что не приезжал к ней) оправдывался тем, что дел в райкоме уйма, что идет сенокос и надо бывать ему в колхозах и совхозах, чтобы следить за всем и знать все. Он вдруг открыл для себя, что вполне можно жить этой раздвоенной жизнью: на работе, при людях держаться так же уверенно, как он держался всегда прежде, и разговаривать с женой тем же спокойным тоном, как он обычно говорил с ней, и в то же время чувствовать себя счастливым с Галиной, словно и в самом деле не существовало никаких преград для счастья с ней. Он по-прежнему говорил с ней о Юрии и предлагал съездить к нему в Курчавино и повидать его; но хорошее намерение это оставалось только намерением, и ни он сам, ни Галина не предпринимали ничего, чтобы что-то сделать для сына. Оба они понимали (хотя и не высказывали друг другу этого), что Юрий был бы теперь только помехой им; они так наслаждались своей близостью, как будто спешили наверстать то, что, им казалось, было упущено ими, и вся их теперешняя совместная жизнь была для них как один радостный звук, за которым они не могли слышать ничего другого.

Иногда, как и прежде, Лукин справлялся, как ремонтировалась выделенная ему горисполкомом квартира, ездил смотреть ее и высказывал пожелания, что еще следовало бы доделать в ней, но не торопил строителей. Почувствовав во время очередного разговора с женой беспокойство в ее голосе, он в первую же после этого разговора субботу поехал к ней и весь воскресный день провел с семьей, подчеркнуто внимательно относясь к дочерям и Зине, как это обычно бывает с людьми виноватыми и желающими загладить вину, и на вопрос Зины, что с ним, не задумываясь ответил, что весел потому, что давно не видел их, рад им и любит их. И это так правдиво получилось у него, что если бы он и в самом деле любил их, не мог бы выглядеть более искренним, чем то, как выглядел теперь. Он вернулся в Мценск с тем настроением, что все было как будто улажено у него и не было причин для волнений. Он видел, что и в райкоме тоже как будто все шло хорошо: созывались бюро, заслушивались вопросы, принимались решения, и он был активен, смел, требователен, и люди тянулись к нему и слушали его. Но по той исти-

не — по той простой и распространенной среди народа поговорке, что шила в мешке не утаишь, связь его с Галиной, то есть то самое, что хотелось Лукину, чтобы скрыто было от людей, — связь эта не могла оставаться тайной. Через неделю уже весь подъезд в доме говорил о ней, и через Шуру все было передано Ксении и Степаниде в Поляновку и Илье Никаноровичу, который в тот же день, решив по-родственному поговорить с Лукиным, так разволновался, что был отвезен в больницу и уложен в ней. Слух об этой связи Лукина непременно должен был дойти и до Зины, а в райкоме члены бюро уже начали поговаривать между собой, что надо бы остановить первого, и заговорщицкое настроение их невольно передавалось Лукину. Но он понял, отчего происходило это заговорщицкое настроение их, только после того, как заметил, что Борисенков как будто следил за ним, появляясь у подъезда как раз в тот утренний час, когда Лукин выходил от Галины. «Зачем он здесь? Что ему надо?» — раздраженно думал Лукин. Но разгадать, что было нужно Борисенкову, было так нетрудно, что весь рабочий день у Лукина бывал после такой встречи испорчен, и вечером с Галиной он уже только притворялся, что был счастлив с ней, тогда как мысль, что он должен будет расплачиваться за это свое счастье, мысль эта ни на минуту не покидала его. Он чувствовал, что он так усложнил себе жизнь, что как о чем-то недостижимо светлом думал теперь о тех днях, когда еще не встречался с Галиной и было у него легко, правдиво и честно на душе.

Самым мучительным было для него сознавать, что он вынужден будет с позором уйти из райкома; что те самые люди, которые так аплодировали ему, когда избирали его, которых он каждый день принимал теперь в кабинете и которые, он чувствовал, готовы были сейчас же выполнить любое его указание, — люди эти будут за а с л у ш и в а т ь его дело, и надо будет смотреть им в глаза и отвечать им; он так ясно представил всю эту унижительную для себя процедуру, что невольно что-то будто тяжелое, злое накапливалось в нем и поднималось против Галины. Он уходил от нее рано, когда она еще бывала в постели. По-девичьи бояливо подтянув к подбородку одеяло, но так, что круглые женские плечи ее с бретельками от рубашки были все на виду, она обычно следила, как он повязывал галстук, надевал пиджак, и затем подставляла щеку, когда он, уходя, целовал ее. Но он уже не уносил с собой (как это бывало в первые недели) ни запаха ее волос, ни белизны ее тела, ни тепла ее постели, так радостно возбуждавших в нем чувство близости с ней; он как бы просыпался теперь ото сна, в какой добровольно погрузил себя, чтобы испытать то прекрасное, что хотелось испытать ему; но, увидев, что прекрасным было все только издали, но что вблизи все это были только обязанности, сковывавшие его, он искал теперь, как ему было выйти из этого положения. «То, что я мог сделать для деревни, что знал, что было продумано мной, не будет теперь выполнено», — думал он. Он готов был отказаться от Зины, от дочерей, от Галины и Юрия; от всего, что представлялось сейчас лишним и ненужным ему; но лишиться работы, на которой так хотелось ему проявить себя, было для него все равно что лишиться жизни, и он болезненно переживал это.

Днем, когда он не видел Галину, ему казалось, что он легко может порвать с ней, и он то и дело, как магнитофонную кассету, мысленно прокручивал предстоящий разговор с ней об этом; но вечером, когда приходил к ней, вся решимость сейчас же исчезала, он чувствовал, что не может поступить с ней так, как надо бы, считал он, поступить, и все более лишь ставил себя в положение человека, которому после каждого сделанного шага добавляли на плечи новый

груз. Лукин притибался под этим грузом, но, вместо того чтобы остановиться и сбросить его, продолжал идти и делать то, что было бессмысленно, пагубно, но от чего нельзя было отказаться, так как остановка только приблизила бы развязку, но не облегчила бы ее.

О сыне же было забыто ими, как будто его и вовсе не было у них.

## XXI

Но жизнь этого существа, как о нем говорил старый Сухогрудов, жизнь Юрия шла своим чередом, как она могла только идти у брошенного и забытого родителями подростка.

Он требовал присмотра, глаза, как все дети в его переходном возрасте; но ни в Москве, ни здесь, в Курчавине, не было за ним этого глаза, и тетка Ульяна, никогда не имевшая своих детей и не знавшая потому, как обращаться с ними, делала для Юрия только то, что, ей казалось, было нужно, — ублажала его. Но она любила порассуждать о воспитании и рассуждала об этом важном государственном деле точно так же, как и Галина и те, кто все дурное, проявлявшееся в подростках, спешил сейчас же приписать влиянию времени, общества, улицы и еще — еще всему тому, к чему сами как будто не имели никакого отношения и не могли ничего изменить там, Галине казалось, что Юрий ее был трудновоспитуемым потому, что был заражен идеей сильной личности. Что порочно было заложено в этой идее, она толком не знала; но она часто слышала (из разговоров определенного круга людей, которым всегда надо что-то отрицать и ругать в обществе), что идея эта осуждалась, что было в ней что-то, что отрицательно сказывалось на жизни общества, особенно на детях, от которых, как утверждалось все теми же людьми, нельзя никогда скрывать правду (хотя что подразумевалось под этим словом, всегда было загадкой; было тем, что каждому должно было казаться — нельзя произносить вслух!), и Галина, ничего не понимавшая во всех этих разговорах, но видевшая, что поступки сына можно отнести на счет этого осуждавшегося общественного явления, Галина с тем чувством правоты, как это делали все другие родители, похожие на нее, с легкостью снимала с себя вину и перекладывала ее на школу и улицу. «Одно хулиганье, — говорила она, — да где же тут вырасти порядочному человеку? Куда смотрят школа, государство? Ведь должен же быть какой-то порядок?!» Она делала то, что в народе имеет определенное название, — перекладывала с больной головы на здоровую, тогда как вся трудность ее заключалась в ней самой и в том образе жизни, какой она вела. Не было ничего запутанного, сложного, связанного с социальной перестройкой общества, а была только та родительская беззаботность, которая во все времена приносила лишь эти плоды душевного уродства, распушенности и грубой, ожесточенной вседозволенности.

Но что было для Юрия — сильная личность и что означало для него — улица?

Пока у Галины с Арсением было согласие и пока Арсений, с охотой усыновивший ее сына, занимался им и следил за ним, все у мальчика и в школе и дома было благополучно. Но как только этого согласия не стало в семье, как только Юрий почувствовал, что мать была занята собой, отец — тоже собой и он, тринадцатилетний школьник, мог тоже бесконтрольно и безнаказанно делать то, что было проще, доступнее и более хотелось делать ему (табуниться с ребятами во дворе, чем учить уроки), он невольно втягивался в эту полную как будто привлекательной свободы, но, по существу, развязности и распушенности дворовую, уличную жизнь. Дурное влия-

ние не приходило откуда-то со стороны и по злому умыслу; оно рождалось у самих же этих подростков, вынужденных, как и Юрий, из-за родительской беспечности днями околачиваться на улице. Подростки эти собирались вместе, и им надо было проявить себя; надо было на что-то тратить время и силу, и они тратили ее на озорство, сходявшее им с рук, потом на то, что было уже посерьезнее, было дерзким и непотребным, но именно оттого более привлекательным для них. И с естественностью, как это делают обычно взрослые (и что называют философией, наукой, подыскивая под всякое свое дело определенное теоретическое обоснование), с той же естественностью, но только не так осознанно, как взрослые, искали подростки, чем бы можно было оправдать свое озорство; и так как понятие об истории и литературе, какое дала им школа, все же было у них и так как самым приемлемым для их проделок было — сильная личность (что к тому же, они слышали, осуждалось как будто взрослыми), было сейчас же подхвачено всей этой бездельно шатавшейся подростковой толпой и провозглашено своим законом и флагом. Прикрываясь понятием сильной личности, можно было кого угодно избить, что угодно украсть, сломать, вырвать телефонную трубку у автомата; можно было делать все, над чем можно взять верх, и авторитет каждого из такой толпы был тем выше, чем больше и значительнее проявлялась «сильная личность» в нем. И хотя Юрий не был из числа тех, кто имел этот авторитет, он только тянулся, чтобы заслужить его, но постепенно в детской душе его все ожесточалось, матерело, и окружавшую жизнь (как и жизнь разошедшихся отца и матери) он уже воспринимал только как площадку, с которой можно лишь брать все и не следует ничего класть взамен; надо только стать сильной личностью, к чему как будто и стремился изо дня в день Юрий.

Он бросил школу и по той цепочке, по какой все порочные люди всегда находят друг друга и бывают затем связаны между собой, примкнул к более взрослым, но так же иждивенчески бездомно, как и он, привыкшим проводить время на улице, к той компании людей (что было еще не худшим вариантом), которые, именуя себя грузчиками, не то чтобы работали, но постоянно околачивались возле мебельных магазинов, где можно, услужив на пятак, получить трешку или червонец и сейчас же весело и беззаботно пропить все. Юрий вдруг как бы открыл для себя эту возможность в многолюдной, многомиллионной Москве, как обетованный остров посреди океана, где для жизни было все, что надо было ему; а надо было ему так немного, чтобы только было на что погулять с друзьями, и он весь был нацелен на эту жизнь, где он по-своему имел и «авторитет», и «вес», и «имя». И как ни пыталась Галина оторвать его от этой жизни (от этой компании его), все усилия ее до поездки сюда, к отчиму в Поляновку, не только оказывались безрезультатными, но лишь усугубляли дело, а не исправляли его.

Постепенно, как у большинства подобного рода людей, избирающих для себя этот, в сущности, противоестественный для человеческого достоинства образ жизни, у Юрия выработался тот свой взгляд на будущее, смысл которого заключался в том, что будущее это никак не воспринималось им; он не думал, что с ним будет завтра, послезавтра, год и два спустя, когда он войдет в ту пору зрелости, когда надо будет обзаводиться семьей и жить, как живут все люди; утром, когда он появлялся возле мебельного магазина, все мысли его были только о том, чтобы зашибить тройку или пятерку, а зашибив, сейчас же внимание его сосредоточивалось на том, чтобы купить «столичной» и пристроиться где-нибудь за грудою тары и

ящиков и к вечеру хоть как-то добраться домой; вся философия его (несмотря на рассуждения о сильной личности) начиналась и заканчивалась лишь потребностью текущей минуты, и потому, когда его отрывали от этой нацеленности его, он начинал ненавидеть все, что было вокруг, и пускал в ход свои костлявые еще мальчишеские пальцы, стараясь как можно больнее ущипнуть того, кто оказывался рядом. Свое душевное раздражение он превращал в физическую боль для других и испытывал при этом удовлетворение, какое, в чем оно заключалось, объяснить бы не мог, но хорошо чувствовал и понимал, что оно было. Он не боялся ни матери, ни Арсения, которого считал отцом и с которого — он только не знал как — можно было вытягивать деньги; но что вытягивать их было нужно, мысль эта, одобренная дружками, давно уже и навязчиво не давала покоя Юрию.

Он считал нормою жить за счет других и не умел и не хотел работать; и скотник Кузьмич, когда Юрий попал к нему, окрестив своего подручного «вша туineaцкая», бывалым солдатским умом своим сейчас же разгадал, в чем было зло.

## XXII

Исправить же это зло, по деревенским понятиям Кузьмича, можно было только силой, которую он и собирался применить к Юрию.

Но в первые дни, пока еще Галина приходила к сыну, Кузьмич давал возможность отоспаться и окрепнуть ему. «Пушай, че тут, пушай пока», — снисходительно говорил он. Но при первой же попытке заставить Юрия делать то серьезное, что положено было делать ему, натолкнулся на такое молчаливое и упорное нежелание, что считавший, что повидал мир (что сломал, как он выражался, такую войну!), Кузьмич вдруг почувствовал себя беспомощным перед этим щупальцем, в чем только душа, светловолосым и чуждым ему недеревенскими привычками своими подростком. «Выдрать бы, да и весь бы сказ, — думал он, — так ведь и не выдерешь, не то время. Тут, брат, такая мадама прибежит!» Он представлял, какой крик подняла бы Галина, тронь он хоть пальцем ее сына, и вместо силы, какую хотел применить к нему (и что было единственным, что исцелило бы Юрия), лишь часами высказывал те свои нравоучения, которые только еще более вызывали у Юрия отвращение к деревенской работе и жизни.

— Кто ты есть, вот ты мне че скажи, кто ты есть на земле? — говорил Кузьмич, сидя в тени, дымя сигаретой, издали поглядывая на телят, которых он, поскольку не было указания выпускать их на луг, держал в загоне, и время от времени вскидывая глаза на Юрия. — Ты есть вша туineaцкая, вот кто ты есть. Ты есть та вша, которую надо р-раз — и к ногтю, а ты еще хлеб жуешь и землю топчешь, которую и топтать-то не положено тебе, — говорил он. — Раньше сызмальства пороли. Может, сызмальства и не надо, но в свой срок — будь добр, подставляй задницу, если хочешь человеком стать. Че смотришь? Че так-то смотришь? Да я же насквозь тебя вижу, да еще и на три аршина под землей. Че в тебе есть, я уже прошел, знаю, а че во мне, придешь и ты к этому, да локоть-то он вот, а укуси попробуй. Слушал бы ты, че старшие-то говорят, — заключал он, обжигая пальцы сигаретой, сплевывая и каблуком прижимая окурок. — Ну, бери вилы, пошли. Бери, бери, пошли, че глаза-то таращить!

Для Кузьмича Юрий был не просто лодырем, но был представителем тех никогда не занимавшихся сельской работой людей, о которых (по дурной и все еще трудно изживавшейся традиции) было у него свое определенное мнение. Ему казалось, что хотя люди

эти и были обеспеченнее его, но не имели того умудренного тысячелетним крестьянским трудом понятия о жизни, какое имел он, и он смотрел на них так, как смотрят обычно на погорельцев, у которых из всего, что горбом и потом было накоплено ими за жизнь, только и осталось что рубаха на теле. «Гольши гольшом душой, ни себе радости, ни людям пользы»,— думал он, только больше утверждаясь в этом своем мнении, что все, что отрывается от земли, непременно должно переродиться и засохнуть и что дело не в том, кто как одет (при этих словах он сейчас же вспоминал мать Юрия, Галину), а в том, кто что делает и что потом люди скажут о нем. Сам он представлялся себе безупречным, хотя и упрекали его в колхозе, и было за что; но по тому принципу, что в чужом глазу соломинку разглядел, а в своем и бревна не увидел, Кузьмич был настолько убежден в правоте того, что думал о Юрии и вообще о назначении человека на земле, что все учеными, казалось ему, было ничто в сравнении с тем, что знал и понимал он. И превосходство это, так как Юрий не мог ничего ответить ему, нравилось Кузьмичу; ему так нравилось поучать, что, когда Юрия по недостатку рабочих рук решено было отозвать с фермы и перевести на другую работу (на транспорт, как значилось в председательской записке), Кузьмич хотел было пойти в правление и возразить, чтобы не трогали парня, но потом только махнул рукой, что означало, что ему в конце концов все равно, что делается на свете, потому что ума, как он думал, людям не прибавишь.

В эти дни с мценской товарной станции начали возить в Курчавино строительные материалы и оборудование для межколхозного комбикормового завода, и Юрий был послан сопровождающим к машине, выделенной для этих перевозок. Он не то чтобы должен был помогать шоферу, чего, естественно, потребовать от него было нельзя; обязанностью его было только сидеть на прицепе и следить, чтобы ничего не потерялось в дороге, и работа эта, когда никто и ничему не поучал его, была более по душе Юрию. Большую часть времени, пока машина находилась в дороге (да и при погрузке и выгрузке), он был предоставлен сам себе; и он с мучительной тоской думал о тех своих московских возможностях жизни, от которых, как от материнской груди, отняли его.

Здесь, в Курчавине, не было для Юрия того обетованного островка жизни, какой был для него в Москве; здесь было только то, что, по его понятиям, было скукой; было тем, что он глубоко презирал,— работой, работой, от утра и до вечера работой. Деревня днем настолько пустела, что праздношатающихся почти невозможно было встретить в ней. Та небольшая ватага мальчишек, которая на лугу, за школой, гоняла футбольный мяч, ни с какой стороны не привлекала Юрия; кино и танцы в клубе, куда ходились по вечерам и молодежь и взрослые, были так чужды и непривычны Юрию, что он лишь исподлобья смотрел на всю эту веселившуюся толпу деревенских людей, не понимая ни смысла, ни значения их веселья, и, дичась, не находил, о чем с ними можно было поговорить ему. Он не признавал этой жизни, в которой, впрочем, как и в городской, не все было одинаково благородно и правильно (и где были и свои обетованные островки и свои искатели и жители подобных островков), он признавал только то, что было привычно ему в Москве, где остались у него друзья, сообщники и наставники, и на все деревенское смотрел сквозь призму этого своего восприятия мира. Но, неуютно чувствуя себя в этой чуждой ему среде, он опасался пускаться в ход пальцы и не щипал никого и не высказывал никому своих затаенных мыслей. Тетка Ульяна, как только вечером встречала

его, сейчас же начинала хлопотать вокруг него, охая и повторяя то и дело, как он устал за день, и Юрий под этим предлогом, что он устал, наевшись всего, что было приготовлено теткой, уединялся, чтобы не слушать никаких нравоучительных разговоров. Еще менее занимался Юрием муж Ульяны. Приходивший из столярной мастерской с гудевшими от работы руками, он только спрашивал (в промежутке между тем, как Ульяна убирала от него тарелку из-под съеденных щей и подавала кашу, залитую маслом): «Племяш-то как там?» — и, чувствуя по ответу жены, что с племяшом все как будто в порядке, и зная по опыту своей крестьянской жизни, что ничто так не исцеляет человека, как сознание необходимости труда на земле (не поработаешь на ней — и не возьмешь с нее, как внушали ему с детства!), он, потягиваясь и позевывая, уходил со спокойной душой и совестью спать, чтобы утром со свежими силами выйти для продолжения своего круга жизни.

— Привыкнет, куда денется,— говорил он о племяннике.— Все, что есть доброго в человеке, земля пробудит, только ты прикоснись к ней.

То, что он говорил, было правильно; но он только не знал одного — что Юрий не прикасался к земле, а скользил по ней, отбывая лишь тот свой срок в деревне, какой, он понимал, мать отвела ему для исправления. Ни синева рассветного неба, ни утренние запахи трав, ни белесовато-зеленые овсы по взгорьям, на которые смотрел он, проезжая мимо них, ни вид речек, деревень, покосов и леса — ничто не трогало Юрия и не вызывало в нем того чувства, что это было красиво, было русской землей с ее тысячелетней и трудной историей; он не понимал и не воспринимал этой красоты жизни, и ему казалось, что не было на земле ничего более достойного и наполненного смыслом, чем те вонючие, заплыванные и загаженные уголки за грудою тары и ящиков, где с привычным бульканьем разливалась по стаканам водка (всем поровну, по мерке: на глаз ли, под ноготь ли, смотря кто брался верховодить) и где все для Юрия было близким, понятным, было тем, что представлялось ему миром свободы и дела. И этот свой заящичный мир, который он ставил выше всего, он не мог и не хотел менять ни на что другое. «Когда-то же надо ей выходить на работу,— думал он о матери.— Уедет она, и я уеду с ней».

Но мать не торопилась возвращаться в Москву; она жила в Мценске и уже не навещала Юрия. Что удерживало ее там, он не знал; но он так тяготился своей деревенской жизнью, что ему все чаще и чаще приходила в голову мысль: а не уехать ли одному, без матери? Особенно мысль эта укреплялась в нем, когда он смотрел (пока грузилась машина) на пронесившиеся мимо товарных тупиков пассажирские поезда. Он встречал и провожал эти поезда таким взглядом, словно в них была заключена его жизнь, и в юношеском сознании его постепенно начал вырабатываться план побега. Как будто желая проведать деда, тетку и бабушку, Юрий заехал в Поляновку и, порывшись в материнном чемодане, нашел ключ от московской квартиры и взял его. Потом попросил у тетки Ульяны денег взаймы, объяснив ей, что хотел бы кое-что купить для себя в Мценске, и когда все это было готово, стал поджидать случай, когда удобнее всего будет уехать ему. Он знал, что ни тетки и дед в Поляновке, ни мать в Мценске не подумают о нем и не хватятся его; нужно только отпроситься у бригадира и обмануть Ульяну, сказав ей, что едет к матери, и тогда никто ни в чем не заподозрит его. Но что он будет делать в Москве, Юрий не думал; его тянул только тот заящичный мир с дружками и водкой, где, ему казалось, была настоя-

щая жизнь, и, кроме нее, кроме этого пятна перед собой, он не видел и не желал видеть ничего.

Он торопился но осуществить свой замысел смог, только когда началась уборка хлебов. Он сел в поезд ранним воскресным утром, бессонно проведя на вокзале ночь, и в то время как на душе не должно было как будто быть беспокойства и он говорил себе: «Да что же, на хлеб не заработаю, что ли? Да уж как-нибудь»,—временами вдруг что-то как будто начинало давить его, и он воровски оглядывался на спавших вокруг пассажиров. Он так и не смог до самой Москвы сомкнуть глаз, и впервые какая-то неясная тревога угнетала его.

### XXIII

Несмотря на дела частные, какие всегда происходили и будут происходить в отдельных семьях (у Галины ли с Лукиным, у Наташи и Арсения, у Дементия, Виталины, Дорогомилина, старого Сухогрдова или профессора Лусо и тех, кто так ли, иначе ли связан с их домами и деятельностью), есть общенародная, государственная жизнь, где все частное растворено и подчинено одной общей цели. Цель эта — всеобщее благополучие, и движение к ней лежит через цепь событий, к которым привлекается внимание всех людей. Для москвичей весной этого года событием таким было прибытие с официальным визитом в Советский Союз президента Французской Республики генерала Шарля де Голля.

Мало кто предполагал в те дни, особенно из людей простых, неосведомленных, что этим приглашением французского президента и переговорами с ним на высшем, как писали газеты, уровне закладывалась Советским правительством та, в сущности, новая и долговременная политика дружеских контактов и связей между государствами, которая уже спустя десять лет приведет мир к тому, что в Хельсинки высокими представителями европейских держав, Соединенных Штатов Америки и Канады будет подписан документ необычайной важности для судеб европейских народов — Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе; и будут наконец окончательно закреплены итоги второй мировой войны и признаны справедливыми и нерушимыми установившиеся между государствами границы. Страдания сотен тысяч людей, еще в окопах, в холоде и голоде мечтавших об этом дне, когда народы и страны поймут, что можно жить в согласии и дружбе, и приближавших этот день,—страдания эти и надежды как бы сгустятся все в одном хрустально сияющем зале хельсинкского дворца, украшенном флагами, где в лучах осветительных ламп и под прицелами теле- и кинокамер премьеры и президенты, люди, облеченные доверием и властью, важные и торжественные, окруженные каждый притихшей толпой своих доверенных лиц, членов правительств и дипломатов, будут один за другим склоняться над Актом и подписывать его; и в громе аплодисментов, что разразится по окончании церемонии, в том громе ясно будут слышны всем и орудийные раскаты ушедшей уже в прошлое войны, и ежегодно повторяющиеся залпы победных салютов. И народам и государствам останется только прислушаться к этому Акту и выполнить его; останется только внять здравому смыслу и жить в мире и дружбе; но... и ближняя и дальняя история свидетельствует, что в мире немало подписывалось хороших документов и произносилось речей, но являлись затем на свет чингисханы и наполеоны, рождались захватнические идеи, и огромные массы вооруженных людей, разрушая все, то направлялись с востока на запад, то с запада на восток. Как будет теперь? Будет ли извлечен государ-

ствами и народами урок? Но... шла еще только весна 1966 года, и идея хельсинкского Заключительного Акта еще лишь зрела в кабинетах Кремля, и встречей с французским президентом делался первый шаг к цели. Те, кому надлежало вести переговоры, представляли всю сложность их; настроение же простых людей, не представлявших этой сложности, было таково, что все ждали положительных результатов и находили, что Франция всегда была традиционно близка к России и что это хорошо, что у французов вновь обнаружился здравый смысл в понимании расстановки сил и взаимоотношений в Европе.

Почти в самый канун прибытия французского президента, 12 июня 1966 года, в стране проходили выборы в Верховный Совет СССР. 9-го, 10-го и 11-го были выслушаны предвыборные речи партийных и государственных руководителей, произнесенные ими в Большом театре и в Кремлевском Дворце съездов перед избирателями, и Москва, еще не успевшая остыть от этих событий и буднично преобразиться, уже 20-го вновь выглядела торжественной и нарядной. К Ленинскому проспекту, по которому должен был проехать правительственный кортеж с генералом Шарлем де Голлем, уже с утра начали стекаться москвичи, желавшие поприветствовать высокого гостя, и особенно много народа собралось у Каменного моста, где кортеж сворачивал в Кремль. Здесь было тесно, шумно, и среди этой тесноты, стесняемый с разных сторон теплыми и потными телами, стоял профессор Лусо, радостным лицом своим как бы говоривший всем, что непременно важно увидеть ему французского президента. «Не Наполеон, разумеется, но все же, все же», — думал он о знаменитом французском генерале. Лусо был более, чем когда-либо, оживлен, был восторженно глуп, и стоявшие за спиной его коллеги по институту, среди которых был и Арсений с женой, только весело улыбаясь, следя более не за тем, что происходило вокруг, а за своим декафом, и шутили и подсмеивались над ним.

Арсений и Наташа были оттеснены настолько, что ничего не могли видеть, что происходило на дороге; они только чувствовали по тому волнению, какое прокатывалось по толпе и передавалось им, что все вот-вот начнется и что эскорт мотоциклистов и первые машины уже въезжают с улицы Димитрова на перекресток и мост. Но всякий раз волнение это оказывалось ложным, и снова лишь продолжали тянуться длинные минуты ожидания. Никто не знал толком, когда проедет де Голль, и все только суетились и разговаривали об этом.

— Господи, для чего мы пришли сюда? — говорила Наташа, которой не то чтобы не хотелось посмотреть на генерала де Голля и весь правительственный кортеж, который будет проезжать по мосту; все это, она соглашалась, должно было быть интересно; но, видя во всем этом лишь театральную сторону и не понимая главного, чему посвящался визит и что стояло за всей этой необходимой государственной формой торжества, она готова была уйти, чтобы не томиться в духоте, на солнце, среди шумного скопища людей. Она не чувствовала себя здесь первой (что она недавно испытала на вечере у Лусо и что все еще приятно волновало ее) и была теперь недовольна и возмущена. — Что мы стоим? Зачем? Ну, увидим, не увидим — что от этого изменится? — продолжала она.

— Да теперь уж вот-вот, подождем, — возражал ей Арсений.

Он пришел сюда потому, что не мог не пойти, когда шли все; и взял с собой Наташу потому, что не хотел оставлять одну дома. Но признать это было неприятно Арсению, и он старался убедить себя, что, как и всем, ему тоже для чего-то важно увидеть де Голля.

Но что было важным, что он мог увидеть здесь, было так неясно Арсению, что он даже не пытался разобраться в этом; он только чувствовал, что тут было какое-то противоречие, которое не совмещалось с его общим взглядом на жизнь и историю. Он со школьных еще лет твердо усвоил (и сейчас сам учил этому студентов), что история делается не отдельными личностями, а народом; и ему странно было видеть теперь, как тот самый народ, что призван делать историю (и творит ее!), тот самый народ с нетерпением, как на что-то необыкновенное, жаждет взглянуть на де Голля. Вольно или невольно, но людьми, он чувствовал, как бы признавалось то — роль личности, — что, в сущности, отвергалось исторической наукой; и он испытывал недовольство оттого, что он понимал это. Ему точно так же, как и Наташе, неинтересно было стоять здесь и хотелось уйти; но он то и дело упирался взглядом в спину и соломенную шляпу Лусо и думал, что будет, пожалуй, неприлично, если, не дождавшись окончания всего, уйдет отсюда.

Но до окончания было еще далеко; все еще только начиналось, и во Внуковском аэропорту президент Франции генерал Шарль де Голль еще только обходил строй почетного караула, выстроенный на площадке в честь его. Рядом с де Голлем шел Алексей Николаевич Косыгин, а позади них, в дистанции шага, двигались сопровождавшие их военные от французской и советской сторон. Дальше, за спинами этих военных, был виден весь дипломатический корпус, члены правительств, разные политические и общественные деятели, журналисты и радио- и фотокорреспонденты, суетно перемещающиеся по площадке, без которых невозможно теперь представить никакого торжества. На флагштоках величественно перекачивались крупными волнами державные флаги двух государств, СССР и Франции, и уменьшенные копии этих флагов — полотняные и бумажные флажки — были как бы рассыпаны всюду по толпе людей, пришедших встретить высокого гостя. Объективы теле- и кинокамер и взгляды всех — все было обращено к этим двум, представлявшим каждый свои народы государственным деятелям, которые все еще продвигались вдоль строя почетного караула, и было заметно, что де Голль не торопился закончить церемонию. Всегда думавший только о величии Франции, как он сам писал о себе, и делающий как будто все, как ему казалось, чтобы восстановить это былое величие, генерал с видимым удовольствием как бы впитывал в себя весь этот почет, предназначенный народу его страны. Высокий, худощавый и достаточно еще стройный старик в характерной своей генеральской фуражке, делавшей его еще выше, чем он был на самом деле, с лицом, тщательно и утонченно подгримированным, чтобы не так ясно видна была его старость, де Голль несколько раз останавливался и вглядывался в молодежавшие лица стоявших перед ним солдат. Для чего он делал это, что хотел прочесть в глазах этих деревенских и городских русских парней, надевших (в свой срок) военные мундиры, было неясно; но что генерала явно интересовало что-то, было замечено всеми. «Как приглядывается-то, как приглядывается», — раздавалось вокруг. «Тайну русского характера все пытаются разгадать, да никак не могут», — иронически ответил кто-то. Но де Голль не слышал этих слов. Как и многих других крупных государственных деятелей Европы, переживших войну и участвовавших в ней и, несомненно, хорошо знавших, как трудно было противостоять фашистской Германии в то время, его все еще интересовал вопрос: как смогли русские выдержать такую войну и победить в ней? Он чувствовал (несмотря на сознание своего величия и величия Франции), что не он, не Франция, не Черчилль и Англия и иные заморские

страны, но только этот народ (эти солдаты, в лица которых он всматривался и которые были для него народом), этот народ направлял и делал историю двадцатого века. Сознать это было неприятно де Голлю, и он никогда позднее не высказывал этих своих мыслей; но что эти мысли были у него, было так очевидно теперь выражено на его сухощавом, морщинистом и, несмотря на грим, старом лице.

В памяти его, как, впрочем, и большинства тех, кто встречал теперь генерала и должен был вести переговоры с ним, было еще свежо впечатление, когда он в первый раз приезжал в Советский Союз. Было это в дни войны. Стараясь утвердить себя и Францию как равную среди стран коалиции, боровшихся с фашизмом, и не находя нужного понимания и поддержки у ближайших своих партнеров — Англии и Соединенных Штатов, — де Голль принужден был обратиться к Москве за содействием и помощью. Ему, пытавшемуся тогда возглавить Сопротивление, но, в сущности, не признававшему того главного, что делалось французскими коммунистами, ему мучительно было принять это решение. Но он не думал теперь о тех подробностях, какие заставили его тогда приехать в Москву к Сталину; и как что-то тяжелое, серое, каменно давящее, в чем он тоже не хотел разбираться теперь, хранилось в его душе воспоминание о залитой дождями холодной осенней Москве той военной поры. Он, по существу, и не видел ее; он смотрел на нее лишь сквозь дождливо-запотевшее окно отведенного ему кабинета, и вид, какой открывался ему, — крыши столпившихся в сумерках зданий незнакомого, чужого города — вид этот не располагал к легким мыслям. Мрачный, со скрещенными на груди руками (в той позе, как, по описаниям, смотрел Наполеон из Кремля на сожженную им Москву), де Голль попросил, чтобы никто в эти минуты не входил к нему. Его занимал вопрос: как он, привыкший хладнокровием и логикой брать любые политические барьеры, не мог в полной мере добиться того (выгод для Франции), что, он полагал, можно было добиться ему здесь, в Москве? Он видел, что в разговорах со Сталиным он столкнулся с таким хладнокровием и такой логикой, как будто столкнулся со всем огромным пространством России и населяющими ее народами; и он многие годы затем пытался понять и объяснить себе это. И хотя теперь Сталина уже не было в живых и документы, которые после теперешних переговоров предстояло подписать де Голлю, были почти все предварительно согласованы в различных дипломатических инстанциях, сознание, что противостоят ему на этих переговорах будет еще более могущественная, окрепшая Россия, волновало французского генерала. Он старался скрыть волнение; но он не мог сделать этого ни в минуты, когда исполнялись гимны Франции и СССР, ни когда принимал рапорт начальника почетного караула, ни позднее, когда, прочитав перед микрофонами и телекамерами приветственную речь, садился в машину, чтобы проследовать по весело вышедшей встретить его Москве.

За кольцевой дорогой, как только кортеж пересек ее и въехал в Москву, по обе стороны шоссе чем ближе к центру подвигалась колонна, тем больше было видно людей и флагов. Торжественность эта размягчала де Голля, и он (он ехал вместе с Алексеем Николаевичем Косыгиным в открытой машине) то и дело поворачивал то вправо, то влево свою старчески красивую, гордую голову и, с улыбкой наклоняя ее, приветствовал москвичей. И по толпе сейчас же возникало ответное движение, сопровождавшееся различными приветственными возгласами и пожеланиями.

— Е-едут! Е-едут! — катилось впереди эскорта и колонны.

Когда же крики эти в очередной раз всколыхнули людей, стоявших вокруг Лусо, когда то, что так хотелось увидеть профессору,— машина с Шарлем де Голлем уже въезжала на мост и надо было быть в первом ряду встречающих,— Лусо вдруг заметил, что он был (как и Наташа с Арсением) оттеснен и затерт в общей массе напиравших отовсюду и сжимавших его людей. Мгновенно сообразив, что так можно прозевать все, он энергично принялся работать локтями, забыв о возрасте и положении, и когда наконец потный, растрепанный, с красным лицом и развернутой на голове шляпой вырвался в переднюю шеренгу, машина с де Голлем была прямо напротив него.

— Viva! Viva! — сейчас же закричал Лусо, стараясь для чего-то выказать то французское, что, казалось ему, всегда жило в нем; и он так смотрел при этом на де Голля, как будто видел перед собой Наполеона.— Viva! Viva! — еще громче закричал он, совершенно высовываясь из-за плеча дружинника, чтобы обратить на себя внимание де Голля.

Но в то время как за шумом толпы де Голль не слышал ничего, эти странно патриотические выкрики удивили и рассмешили тех, кто был рядом с Лусо. Он почувствовал это и, повернувшись, сейчас же понял, чему улыбались люди.

— Viva, черт побери,— тут же произнес он, уже невольно выражая теперь то русское, что сидело в нем и было в делах и поступках.— Чертов старик! — Он еще недовольно скосил глаза на машину с де Голлем, чувствуя уже настроение толпы.— Даже головы не повернул.— И, переведя все на шутку, Лусо принялся поправлять на себе галстук и шляпу.

Хвост дипломатических машин еще перекатывался по мосту, когда все начали расходиться по своим делам.

#### XXIV

Утром 21-го в Кремле начались переговоры с французским президентом. Во второй половине дня де Голль знакомился с Москвой, а вечером был с супругой в Большом театре на балете Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Но еще за неделю до этого события в деканате исторического факультета кто-то предложил (в порядке культурного мероприятия) коллективно сходить в Большой театр. Так как попасть в любой московский театр для москвича проблема, предложение было принято; был тут же подключен к делу — к добыванию билетов! — местком, и 21-го, как раз в этот день, когда на спектакле должны были быть де Голль с супругой, по совпадению, которое, впрочем, никому не казалось странным, почти все преподаватели исторического факультета вместе с Игорем Константиновичем Лусо были в театре.

Здесь оказались все те (кроме Дружниковых и Тимонина, уехавшего в колхоз освещать сенокос), кто был на вечере у Игоря Константиновича, и Наташа, как только вместе с Арсением вошла в фойе, сейчас же почувствовала (по тем приветливым улыбкам, как она была встречена этими уже знакомыми ей людьми), что весь тот понравившийся ей вечер у Лусо был теперь как бы перенесен сюда и продолжался здесь.

— Как это прекрасно, что вы пришли, как мило, Арсений, с вашей стороны, что вы привели ее,— подойдя к Наташе и Арсению, проговорила Мария Павловна в той своей подражательной манере, как должны были, по мнению ее, говорить между собою люди, представлявшие во все времена цвет общества.— Нет, нет, я не могу рав-

нодушно смотреть на ваше платье, оно ослепительно, оно чудесно! — Заметно отечное, старое лицо Марии Павловны приятно улыбалось, и она не столько смотрела, сколько старалась показать, что смотрит на платье Наташи и любит его. Как и на вечере у Лусо, Марии Павловне надо было теперь чем-то занять себя, и самым лучшим, казалось ей, было для нее взять покровительство над молодой женой Арсения и руководить ею.

Наташа, не ожидавшая, что так много знакомых встретит здесь, была в том же наряде (и с тою же прической, открывавшей ее маленькие красивые уши), как она была у Лусо, и в первые минуты она испытывала чувство неловкости оттого, что все могли подумать, что, кроме этого платья, что на ней, у нее не было больше ничего другого, в чем бы еще она могла появиться здесь. Но беспокойство это, как только Мария Павловна заговорила с ней, сейчас же прошло у Наташи. Она с живостью заметила, что снова на всех производила впечатление, и перед глазами ее, как перед глазами всякого счастливого чувствующего себя человека, постепенно начала подниматься та дымка розового тумана, сквозь которую невозможно было увидеть ничего дурного (увидеть все таким, какое оно есть на самом деле), и мир, и жизнь, и новые знакомые Наташи — все представлялось ей прекрасным, полным достоинства, ума и блеска. Но она и в самом деле выглядела очаровательной в своем безукоризненно сшитом (густого вишневого тона) платье, которое было изящно и строго на ней и оживлялось лишь драгоценными дополнениями — сережками с красными рубинами и кольцом на руке с точно таким же камнем, как будто сыпавшим искорками при свете высоких хрустальных люстр. Но кроме того, вокруг Наташи было теперь больше пространства, она была более на виду и потому смотрелась лучше, чем в комнатах на вечере у Лусо.

— Вы находите? — спросила она у Марии Павловны, отвечая на ее восклицание.

— Ну что вы, поверьте мне, — подтвердила Мария Павловна, беря Наташу под руку. — Вашему мужу можно только позавидовать. — И она повела Наташу по кругу, продолжая, но уже неслышно для Арсения, говорить с ней.

То, что Наташа была красива в этом своем наряде; то, что она производила на всех впечатление и к ней подходили и улыбались ей; то, что самому Арсению всегда нравилось в ней — ее умение держаться и говорить, — складывалось теперь в нем в одно счастливое понятие, что он дал ей возможность быть такой. И он был рад, что он мог для нее сделать это. Ее природная красота и красота, стоившая ему денег, которые он не задумываясь тратил на нее, — все это, сложное вместе, как раз и составляло для него ту бесценную ценность, какою он обладал. И ценность эта была так дорога ему, что когда теперь Наташа вместе с Марией Павловной отходили от него, он смотрел на жену с тем беспокойством, как будто ее хотели отнять у него. «Может быть, я ревную ее? — подумал он. — Но к кому? Да и глупо и нехорошо это». Но вместе с тем, как только Мария Павловна и Наташа слились с общей толпой враставшихся вокруг центра людей, своими маленькими, круглыми и бесцветными, как они выглядели за толстыми стеклами очков, глазами Арсений торопливо принялся искать среди этой толпы того молодого человека с густыми и модно подбритыми висками — племянника профессора Лусо, который там, на вечере, то и дело странно оказывался возле Наташи. Арсений искал глазами Тимонина, о котором имел то свое определенное мнение, что считал его человеком дурным и опасным; и тем неприятнее было теперь думать, что этот профессорский пле-

мянник (этот человек с дурными намерениями) мог сейчас снова стоять рядом с его женой. «Нет, нет, зачем же я отпустил ее? Ей тоже должно быть неприятно это, надо пойти к ней и помочь ей», — продолжал думать он, отыскивая уже глазами Марию Павловну и Наташу. Он чувствовал, что в новую его жизнь (в его жизнь с Наташей) как будто вклинивалось что-то, что воспринималось им как роковая сила, заставившая когда-то отца его залезть под полку-нары; и точно так же, как он боялся всю жизнь этой силы и не знал, как противостоять ей, он еще больше боялся ее теперь; он не представлял, как и откуда возникала эта сила и с какой стороны могла придавить его; но он ясно пока видел, что сила эта была в Тимонине, и, невольно опять начиная искать его глазами, морщился от сознания, что сейчас увидит его. Он не знал, что Тимонина не было в театре, что он был далеко от Москвы, на пойменных лугах Мокши; но вечер для Арсения был уже испорчен этим — что он опасался каждую минуту увидеть его.

По мере того как подходили сослуживцы и друзья профессора Лусо, в фойе театра, в левой стороне его, постепенно составлялся из этих людей как бы свой островок жизни. Островок этот, в свою очередь, был разбит на две половины, в одной из которых были женщины, хорошо знавшие друг друга и любившие поговорить между собой, а в другой — мужчины, которых обычно не упрекают в том, что они любят поговорить, но которые (в этом отношении) отличались теперь от своих дам только тем, что касались высоких материй. У женщин в центре кружка была жена доцента Мещерякова Надежда Аркадьевна — женщина еще довольно молодая, обеспеченная и завистливая, она ясно давала понять всем, что бросает вызов Наташе и готова соперничать с ней. По манере одеваться, по вкусу к жизни, по тому, что муж ее считался в институте западником, то есть человеком передовых в ее понимании взглядов, чем она гордилась и что исповедовала сама, приобретая в дом и на себя только все заграничное, и еще по тому, как умела подать себя, она невольно признавалась первой среди всего этого знакомого ей круга женщин. Но на вечере у Лусо она вдруг увидела, что у нее появилась соперница — Наташа. Что было привлекательного в этой «выскачке», как Надежда Аркадьевна сейчас же мысленно окрестила ее, и отчего к ней потянулись люди, она не знала; но здесь, в театре, словно предчувствуя, что снова увидит Наташу, Надежда Аркадьевна приготовилась к тому, чтобы на этот раз не остаться в тени. То платье, какое было на ней, было ярче и дороже, чем то, какое было на Наташе, и все должны были видеть это; оно было модного серого с густым фиолетовым оттенком цвета; было с блестками и вырезом, почти до плеч оголявшим ее полную белую шею, было вечерним и стоило денег; но, несмотря на всю эту свою стоимость, сколько было затрачено на него, оно было так заметно, что его нельзя было надеть дважды. Но в этом-то как раз и заключался весь смысл для Надежды Аркадьевны, что она могла позволить себе это. На грудь и платье спускалась удлиненная ниточка жемчуга, что тоже говорило о достатке; пальцы ее были в перстнях, и маленькая театральная сумочка тоже отражала весь тот блеск, которым все было как будто заполнено в ней и вокруг нее. У нее было это богатство, и ей казалось, что она затмевала Наташу. Но у Наташи было свое богатство — молодость, которую нельзя было затмить жемчугами; и потому она не только не замечала, что кто-то соперничает с ней, но была так счастлива и так далека от этого, что все вокруг представлялось ей добрым, милым и расположенным к ней.

— Я так рада видеть вас, — сказала Наташа Мещеряковой, когда

Мария Павловна подвела ее к ней.— Да, да, только это можно сказать о вашем платье,— затем подтвердила она, когда Мария Павловна, только что хвалившая платье Наташи, начала восторгаться нарядом Мещеряковой.— И вам оно очень к лицу с вашими темными волосами,— продолжала Наташа просто и естественно, как с подругою на работе, обезоруживая, в сущности, Мещерякову и отдавая ей как будто то первенство, какого та добивалась, но еще более выигрывая его как раз этой своей простой и естественностью, от чего здесь давно уже отвыкли все, но умели еще ценить в других.

«Как тонко играет»,— думала Мещерякова, глядя на Наташу, вынужденно улыбаясь и скрывая за этой улыбкой все то нехорошее, что поднималось в ней. В ней поднималось то жестокое чувство, когда ей оскорбительно было не только то, что Наташа посмела появиться в этом обществе и соперничать с ней, но что Наташа вообще существовала в жизни. «Надо поставить ее на место, да, да, я сумею сделать это»,— говорила она себе, продолжая улыбаться и жестко, несовместимо с этой улыбкою смотреть на Наташу.

Но Наташа, приобретавшая себе врага в Мещеряковой, не только не думала (по наивности и доброте, с какою сама воспринимала всех этих окружавших ее людей), что кто-то мог затаить против нее что-то нехорошее, и не только не предпринимала ничего, чтобы оградить себя от этого зла, но со счастливым выражением продолжала усугублять дело. Розовый туман, стоявший перед ее глазами от ее счастливого возбуждения, не давал ей видеть то, что она должна была видеть; и до конца вечера она так и оставалась в счастливом неведении того, что задумывалось против нее и рано ли, поздно ли, но должно было больно уколоть ее.

В центре кружка мужчин, как и положено было быть, стоял доцент Карнаузов, сейчас же выделявшийся среди всех утонченно-интеллигентным видом своим. Против того, как он был на вечере у Лусо, он был только в другом галстуке, более темном и более походившем к тонким и черным линиям его бакенбард. Он держал вечерний выпуск «Известий» и возмущенно говорил что-то. Его всегдашний противник, доцент Мещеряков, стоял тут же, но не вступал в разговор. То, что он всегда решительно отстаивал в институте (или в кругу знакомых) и что было для Мещерякова принципиально важным, имевшим научную, как ему казалось, основу, он не позволял себе открыто отстаивать на людях, где, он чувствовал, он не мог быть понят и поддержан; но он все преподносил так, словно не хотел ставить себя в положение человека, выносящего сор из избы (тот сор, по которому сейчас же можно определить, что происходит в избе), и выдвигал это как правило игры, которому невольно подчинялся и Карнаузов. Они были теперь как будто совсем другими людьми по отношению друг к другу, чем были на вечере у Лусо; но на гладком и полном лице Мещерякова нет-нет и возникала усмешка, какою он все же не мог не комментировать то, что говорил Карнаузов.

Когда Арсений подошел к ним, разговор был в самом разгаре. Карнаузов только что прочитал опубликованный в газете отчет о пребывании де Голля в Москве и переговорах с ним и был возмущен речью французского президента, произнесенной им на встрече с Промысловым после знакомства с Москвой.

— Ведь ему, в сущности, показали лучшее, что у нас есть,— возмущенно говорил Карнаузов, высказывая то, что он действительно думал и что в речи де Голля было неприемлемо для него; но утонченным видом своим он опять производил то впечатление, будто поддельвался под простонародное мнение (что осуждалось, но что было

можно среди определенного круга людей), и все потому с недоверием слушали его.— Я могу признать, что он умен, да я и признаю это,— говорил Карнаухов.— Но, позволь, хоть ты и генерал и француз, но и нас не считай за дураков. Едут-то они все как будто с улыбкой, а без того, чтобы не уколоть, нет, без этого не могут. Арсений, Арсений, ну-ка, ты человек нейтральный,— сказал Карнаухов, чуть оглянувшись на Мещерякова, как будто нарушал правило игры.— Ты человек справедливый,— поправился он,— так вот послушай и скажи свое мнение. Вот, слушай.— И, развернув газету, Карнаухов уже во второй раз принялся читать: — «Я пришел к выводу, что Париж и Москва стоят перед одной и той же проблемой — улучшения благосостояния человека, как Франция и Россия стоят перед одной и той же проблемой — проблемой мира». Ну, каково? — спросил он, закончив читать и отстраняя от себя газету.— Как тебе этот де Голль? А ведь ему показали лучшее, что есть в Москве!

Арсений пожал плечами, потому что ему трудно было перейти от тех своих личных мыслей, какие занимали его, к этим общим, какие занимали Карнаухова.

— Я так не могу, надо прочитать все,— наконец проговорил он.

— А все можно не читать. Главное здесь, в этой фразе: «Я пришел к выводу...» Он пришел к выводу, побывав на Ленинских горах, в МГУ, на Ломоносовском, Комсомольском, Кутузовском проспектах, на Красной площади!

— Но в целом-то мысль его верна,— заметил кто-то, стоявший за спиной Карнаухова.— Благосостояние надо улучшать, что же тут плохого, и за мир надо бороться. Все, что он предлагает, все правильно.

— Правильно! Нам подложили мину, нас, как говорится, мордой, мордой... а нам все правильно! Одного я никак не могу понять,— обращаясь уже только к Арсению, заговорил Карнаухов,— как это мы, русские люди, глухи к слову? Бегло прочитать — все вроде правильно и даже пафосно, как тут не ударить в ладоши. А ведь он, в сущности, прямо говорит нам, что нам нечем гордиться. Он перечеркнул наши достижения, нашу жизнь и сделал это, видите ли, с таким французским изяществом, что мы должны не иначе как аплодировать. Но что касается меня, нет, я аплодировать этому не собираюсь. Пусть разберется у себя в Париже, а нас нечего поучать, мы тут у себя как-нибудь сами поймем что и к чему.

— Я думаю, ты преувеличиваешь,— сказал Арсений, произнеся эту фразу потому, что он всегда произносил ее Карнаухову.

— Нет, позволь! «Я пришел к выводу...» Как это понимать? Видите ли, он «пришел к выводу...», но к какому?

— Ты преувеличиваешь.

— Ну, конечно, я преувеличиваю, конечно, нам непременно надо, чтобы нас кто-нибудь поучал, унижал, и чтобы непременно заморский, заграничный, и мы с вожделием готовы смотреть ему в рот.

— Пошли, все уже входят,— сказал Арсений, перебивая его.

— Что? Третий звонок? — Карнаухов всполошенно оглянулся на опустевшее уже фойе.— Да, да, пошли, а то дамы наши... Но, я этого понять не смогу, ты представляешь...— И он снова, пока входили в партер, в третий раз повторил Арсению то, что не устраивало его в речи де Голля.

## XXV

Еще не приглушался свет люстр и на балконах и в партере слышалось шуршание платьев и костюмов усаживавшихся людей, когда вдруг как будто что-то прокатилось по залу, и все, полуобернувшись

шись, стали смотреть в противоположную от сцены сторону. Повернулся и Арсений, плотнее придвинув к глазам свои тяжелые (с толстыми стеклами) роговые очки, чтобы лучше видеть, и в это время в центральной ложе, украшенной государственными флагами СССР и Франции, появились де Голль и Косыгин, пропускавшие впереди себя жен.

Выглядевший особенно молодежавым и свежим, де Голль легким движением руки и улыбкой поприветствовал зал. Он был доволен тем, как начались переговоры, был доволен осмотром Москвы и речью, произнесенной в исполкоме Моссовета, которая составлялась в Париже и произвела здесь, в Москве, то нужное, как ему казалось, впечатление, какого он ждал и добивался от нее; он был доволен всем, как складывалась его поездка, и когда зал, поднявшись, зааплодировал ему и Косыгину, с тем сознанием величия, словно аплодировали только ему, де Голль поклонился на три стороны и затем, как будто подчиняясь воле людей, стоя продолжал смотреть в зал перед собой. Он был не в Париже, и тем приятнее была ему эта людская признательность, какую московская публика одаривала его. Жизнь его была на исходе, но он чувствовал, что он был на вершине своей трудной славы, и он оттуда, с высоты, спокойно как будто и величественно смотрел, как жизнь, точно так же как она плескалась перед ним в молодости, весело, заманчиво и шумно плескалась теперь вокруг него. Мог ли он отдать свою славу, чтобы юношей вновь войти в эту жизнь? Нет, он не ставил перед собою так вопрос; слава его была слишком дорога ему, но те, кто наблюдал за ним сквозь стекла биноклей, видели, что глаза его были полны тревоги, той, старческой, за которой сейчас же прочитывается, что всякому страшно покидать этот мир надежд и волнений.

Зал еще продолжал аплодировать, когда в центральной ложе вслед за Косыгиным и де Голлем появились министры иностранных дел СССР и Франции, другие члены правительств, послы, дипломаты, среди которых был и Кудасов.

— А вон и Кудасов наш,— сказал Лусо как можно спокойнее, помня еще то свое «viva», как он кричал из толпы де Голлю, и не желая больше ставить себя в это смешное и ложное положение.— Вон он, наш Кудасов, вон, видите?— повторил он, невольно передавая направо и налево по ряду, где сидели его сослуживцы и друзья, свое радостное возбуждение.

— Разумеется, он! Он, конечно же! — кто-то сейчас же поддержал профессора.

— Этот человек спас Эльзу Триоле.

— Что Эльза, когда он... рядом с де Голлем!

— Работает. Мы смотрим, а он — работает...

Арсений слышал, как фразы эти, словно звуки от ударов по клавишам, возникали вокруг него. Но мелодии, какую они должны были составлять, то есть той общей мысли, какой были бы подчинены эти фразы, уловить не мог и потому видел все иными, чем Лусо и остальные, глазами. Арсения занимали свои проблемы, решение которых никак не зависело от того, увидит он или не увидит сейчас де Голля, и он понимал это. Он понимал, что он был в театре, что театр — не жизнь, а лишь условное представление ее и что потому все, что происходит здесь, все условно и имеет только ту цель, чтобы всей этой сияющей позолотой, хрусталем и бархатом заслонить от людей их настоящую жизнь. «Ну что, что Кудасов там? — было в сознании Арсения.— Разве он может что-нибудь изменить в том деле (выдаче ордеров на квартиры), которое важно для меня? Разве он может взять за руку Тимонина и остановить его в его дурных на-

мерениях? Нет, у него свои заботы, и то, что он решает там, не изменит ничего для меня здесь. Так чему же я должен восторгаться? Чему?» И он беспокойно пробежал взглядом по рядам в поисках Тимонина. «Нет, нет, я должен видеть его», — говорил он себе, чувствуя, что его как будто хотят втянуть в эту условную жизнь (в то состояние, когда он должен будет забыть о своих проблемах и жить только этой минутой торжества, блеска и радости), и противясь этому; и то, что всем другим представлялось теперь целостным, что было соединено для всех в одном ясном выражении — атмосфера театра! — для Арсения было разделено на части и оттого казалось бессмысленным; он видел не здание, а кирпичи, снятые с его стен, и только пожимал плечами, не находя ничего прекрасного и возвышенного в них.

С тех пор, как он принял к себе Наташу, он не только не стал спокойнее, не только не убавилось, как ожидал, забот у него, но, напротив, их было теперь столько, что он никак не мог собрать их воедино, чтобы осмыслить свое новое положение. Та чистота жизни, о какой он мечтал, связывая ее со своей женитьбой на Наташе, — та грезившаяся ему чистота, он видел, была так же отдалена от него теперь, как была отдалена раньше; и это, в чем он каждый день убеждал себя (что жизнь его изменилась и что он уже живет новой жизнью), было лишь как старый костюм, принесенный из чистки. Но Арсений не позволял себе признать это; он только думал, что могло быть так, и лишь чуть притрагивался к краю занавески, за которой скрывалось все, но сейчас же отдергивал руку; и, чувствуя затем себя виноватым, что хотел подсмотреть, был еще мягче, нежнее и доверчивее к Наташе. Он оберегал ее от своих сомнений и, несмотря на все теперешнее свое беспокойство, был так же подчеркнуто нежен к ней и готов был выполнить любое ее желание.

— Ты видишь Кудасова? Вон, справа от де Голля, в глубине, — сознавая, что надо что-то сказать Наташе, восторженно смотревшей туда, куда смотрели все (на де Голля и его супругу); сказал он. — Вон, во-он в глубине.

— Кудасов? — переспросила Наташа.

— Да.

— Кто он?

— Ну, помнишь на вечере у Лусо...

— Там де Голль! Де Голль! — торопливо перебила его Наташа, очарованная тем, чем были очарованы все.

Почти сразу же после аплодисментов были исполнены государственные гимны, и затем, когда публика вновь уселась на своих местах, началось представление. Дирижировал в спектакле Рождественский, в главных ролях были Стручкова и Лица. Но фамилии эти ничего не говорили Арсению. Будучи москвичом и человеком интеллигентным, он как будто должен был быть и театралом; но он не любил театра и не выносил в нем прежде всего этой условности жизни, какую особенно обостренно чувствовал теперь. Те очищенные страсти, какие преподносились ему со сцены (как луковица перед тем, как употребить ее), он видел, никоим образом не могли быть жизнью; преувеличенные или преуменьшенные, они казались Арсению уродством, каким он принять не мог, и по этому отношению своему к театру не запоминал ни артистов, ни дирижеров, представлявшихся ему на одно лицо. «Да, да, лишь блеклое отражение», — думал он теперь, в то время как тяжелый бархатный занавес, медленно раздвигавшийся под звуки музыки, открывал перед ним ту нереальную, сказочную красоту неба, земли и всей плазменно насыщенной бликами атмосферы сцены, где должны были разгореться

столь же нереальные страсти, выражаемые изгибами полууголенных тел, прыжками, перемещениями, взмахами рук, ног, головы, то покорно бросаемой на грудь, то в ужасе откидываемой на спину. Все это были иероглифы, по которым публике предлагалось понять, что и в какую минуту переживало то или иное действующее лицо; ей предлагалось войти в этот мир разыгрывавшихся страстей, чтобы, постигая их, очищаться ими, и по напряженным лицам мужчин и женщин (как все смотрели на сцену), по той застывшей как будто тишине в рядах (как все слушали музыку) можно было, если бы Арсений со стороны посмотрел на все, сделать лишь тот вывод, что между публикой, артистами и музыкой было то простое и возвышенное, что в эти мгновенья объединяло их. Но для Арсения единства этого не было; то чувство любви, какое он испытывал к Наташе, казалось ему, было совсем иным, чем то, какое испытывали на сцене Ромео и Джульетта; Арсению казалось, что его чувство к Наташе сейчас же потерялось бы и исчезло, если бы он стал выражать его прыжками, как это делал Ромео, и точно так же исчезло бы и чувство Наташи к нему, если бы она вместо обычной, нормальной жизни с ним вдруг принялась бы кружиться перед ним на одной ноге и заламывать руки. «Нет, все в жизни не так, все проще, правдивее и глубже», — думал он, с тяжелым безразличием глядя на сцену. Он опять видел не здание, а лишь кирпичи с его стен, и они не производили на него впечатления. Зал, музыка, плазменное свечение сцены и балерина, порхающая в этом свечении, — все было разъединено для Арсения и жило отдельной жизнью; и, вместо того чтобы объединить все, он лишь еще более расчленил все на части, на отдельные положения человеческих тел, из которых, как ему казалось, как раз и состояло все искусство балета. «Да, да, тридцать шесть букв — и бесчисленное разнообразие слов, — думал он. — Сорок, пятьдесят известных положений тел (известных фигур) — и бесконечная лента балета. Новизны нет, есть только изменение последовательности. Да, да, все в этом — только изменение последовательности!» И мысль эта, что в балете нет новизны, волновала Арсения тем, что хотя и отдаленно, но напоминала ему, что точно так же и в жизни — никакой новизны не было для него в том, что он женился на Наташе.

«Та же потребность — побогаче одеться; та же забывчивость (к мужу!), что я сотни раз наблюдал в Галине; все, все точно то же, что было, и моя жизнь, ее, другого, третьего — все есть только вариант известных человеческих отношений. Недиалектично, знаю, но так», — думал он, в то время как на сцене он замечал только, что поминутно то убывало, то прибывало количество прыгающих балерин. И как будто в такт этим количественным изменениям Наташа, державшая свою руку в его, вдруг начинала пожимать его пальцы (от волнения, по ходу спектакля возникавшего в ней), и Арсений принужден был отвечать ей точно такими же пожатиями, как будто понимал ее, был согласен с ней и поддерживал ее.

В перерыве его снова подхватил и увел Мещеряков, и досматривал Арсений спектакль с тем мучительным чувством, что не мог дожидаться, когда же наконец театральный занавес, сомкнувшись, прервет не столько то плазменно светящееся, что происходило на сцене, сколько эти его тяжелые мысли, от которых хотелось освободиться ему.

— Мне показалось, ты был мрачен вчера, — утром на следующий день сказала ему Наташа. — Все было так прекрасно, но ты был мрачен, — повторила затем, делая ударение на этом слове «мрачен». — Я не могу так, у нас должно быть одинаковое настроение, ты пой-

ми, я тоже начинаю переживать,— сказала она ту неправду, которая теперь казалась ей правдой.— Может быть, тебе плохо со мной?

Та первоначальная цель, для чего Наташа выходила замуж,— окружить вниманием и заботой Арсения — была не то чтобы забыта ею, но была теперь понимаема ею так, что забота и внимание должны были быть не вокруг него, а вокруг нее. И это, казалось ей, было так естественно, так разумелось само собой, что она искренне удивилась бы, если бы ей вдруг сказали, что совсем еще недавно она думала иначе; и она инстинктивно торопилась восстановить сейчас это свое право женщины в доме, без признания которого невозможно бывает никакое семейное счастье.

— Да, я был немного мрачен, но не в тебе дело, нет, ты ничего не думай,— ответил ей Арсений, глядя сквозь толстые стекла очков на нее своими круглыми, маленькими, бесцветными глазами.

— А в чем?

— Все у нас неустроено, и я ничего не могу поделать.

— Но нас никто не тревожит сейчас, мы одни.

— Сейчас — да, а завтра, послезавтра?

— Завтра и послезавтра — дадут ордер. Дадут же его в конце концов! Нет, я так не могу, когда у нас разное настроение.— И она вновь вернула его к теме, занимавшей ее.

## XXVI

Чем больше Наташа осваивалась со своей новой жизнью (со своим замужеством), тем яснее сознавала, что выбор, сделанный ею, был правильным и что счастье, о котором так часто спорят, в чем оно заключается, заключалось для нее теперь именно в этой новизне ее жизни. Она чувствовала, что она как будто из одного слоя общества была перенесена в другой, высший (в круг знакомых Арсения), и слой этот такое произвел на нее впечатление, что вся ее прошлая жизнь (как жили ее мать, отец и как она сама жила вместе с ними), та ее жизнь представлялась ей настолько мелкой и простонародной, что ей страшно иногда становилось оттого, что она могла бы так и остаться на том уровне родительских интересов, главным в которых было не то, что двигало жизнь теперь, а то, что было в прошлом — война, болезненно помнившаяся еще в народе. Все знакомые отца — бывшие его однополчане — были людьми добрыми, и она ничего осудительного не могла сказать о них; но люди, с которыми Наташа встретилась на вчерашней у Лусо и вместе с которыми затем была в Большом театре,— люди эти были другими, были очаровательными, и она не могла без восторга думать и говорить о них. «Я так счастлива, так счастлива»,— писала она матери после встречи и знакомства с ними; и точно так же, как она не могла сказать, из чего состояло это ее счастье, она не могла написать ничего конкретного, кроме этих общих фраз, выражавших ее настроение.

Чтобы как-то развеять Арсения, она доставала билеты и вводила его в театр, совсем не представляя себе, что это не только не приносило мужу радости или удовлетворения, но, напротив, лишь усложняло ему жизнь. Ему надо было готовиться к лекциям и просматривать курсовые и дипломные работы студентов; надо было продолжать свою докторскую диссертацию, главы из которой были приняты к публикации в историческом журнале; надо было еще и еще делать разные дела по институту, на которые требовалось время; но времени этого у него не было теперь, и он, не желая хоть чем-либо огорчить молодую жену, не говорил ей о своих заботах и только думал, как ему выйти из этого положения. «Да уж получить бы квартиру, что ли»,— мысленно повторял он, связывая с этим свои надежды на будущее.

В первые дни после отъезда Галины с сыном он еще был насторожен и опасался, что они вот-вот вернутся и произойдет что-то; но прошел месяц (и шел уже второй), а их все не было, и Арсений вдруг понял, что они у отчима в Поляновке и что вполне могут до осени пробыть там, и успокоился, подумав о Галине, что хоть в этом нашлось еще благородство в ней. «В конце концов я бы мог предложить ей размен, но я целиком оставляю ей свою квартиру»,— решительно сказал он себе.

Но, кроме этих забот по институту и опасений, что с возвращением Галины и Юрия все же может произойти что-то, что отравит ему и Наташе жизнь, и кроме того приступа ревности, возникшего на вечеру у Лусо и мучительно повторившегося затем в Большом театре, было еще одно обстоятельство, которое беспокоило Арсения. Он не мог забыть, как отец Наташи, отставной полковник Сергей Иванович, не поговорив с ним, не выслушав его, выгнал из дому, и хотя в конце концов главным для Арсения было то, что Наташа была с ним и что уже ничто не в силах было изменить это, но все же сознавать, что родители ее (отец, главное, отец!) не приняли его, было неприятно Арсению. Он понимал, что счастье Наташи, как бы ни утверждала она, что отец не прав и что пока он не признает это и не повинится, она не пойдет к нему,—счастье ее не могло быть полным; что после всех этих впечатлений ее замужней жизни наступит день, когда она вдруг остановится, посмотрит вокруг себя и вспомнит об отце; и тогда все покажется ей другим, и разрыв с отцом тяжелым укором ляжет ей на душу. «Как же я могу допустить это? Душа ее должна быть чистой!» — думал он, живо припоминая, как она плакала, придя с похороном бабушки, где она видела отца, но не подошла к нему и не заговорила с ним, и припоминая, как переживала, не пойдя (хотя он предлагал ей сделать это) на вокзал проводить уезжавших в Мокшу отца с матерью. Он видел и понимал это, и понимал, как важно ему помириться с ее родителями. Но как было сделать это, придумать не мог, и лишь с той же тревогой, как он ожидал возвращения Галины и Юрия, ожидал приезда в Москву и Наташиных родителей — Юлии и Сергея Ивановича.

Что Наташа переписывалась с матерью, он знал. Но он не говорил с ней об этом. Он только чувствовал, что, как грозовые тучи, стягивались над ним в узел житейские проблемы и угнетали его.

## XXVII

Хотя принято считать, что Москву и москвичей трудно удивить чем-либо, но вместе с тем в каждой отдельной группе людей, объединенных служебными или личными интересами (особенно в среде литературной, артистической или научной), время от времени вдруг сенсационно объявляется об открытии какого-нибудь очередного гения. И хотя гений затем оказывается человеком вполне заурядным, а то и вовсе ноль без палочки, как потом с разочарованием говорят о нем, но обман обычно быстро забывается и на всякое новое открытие, как на наживку, опять все спешат со своими похвалами и объятиями. Для людей, близких по взглядам к Карнаухову, таким открытием стало имя аспиранта Никитина, который в первых числах августа приехал в Москву, чтобы потолкаться, как сам он определил цель своего визита, по редакциям и пообщаться в определенных кругах с нужными людьми. Рукопись — плод своего многолетнего сидения за столом,— которую он привез с собой и подавал как научное открытие, была в редакциях отвергнута именно в силу того, что не представляла научной ценности; в ней только неуклюже пересказывались широко известные положения о русской иконописной школе;

но тот факт, что ее не публиковали, Никитин всюду где только можно было старался представить так, словно в журналах боялись правдивости и остроты, с какою он якобы написал об этой самой русской иконописной школе; и он складывал таким образом вокруг рукописи и вокруг своего имени то выгодное для себя общественное мнение (опять же — среди определенного круга людей); из которого можно было сделать только тот вывод, что он пострадал за свою смелость, остроту и правду. О том, что на самом деле представляла собой рукопись, было быстро забыто всеми; но что она не была напечатана — продолжали еще говорить, и с тем многозначительным умолчанием, что лишь усиливали интерес к ней; но в конце концов и об этом было забыто и осталось для всех только, что молодой ученый страдал за свою гениальность. Никитин ходил в ореоле непризнанного гения, и ореол этот открыл ему двери во многие московские дома. «Ну что Москва, что Москва, — сейчас же говорили в тех самых кругах, близких по взглядам к Карнаухову (что было не истиной, но лишь модой приносить вслух). — Если и есть еще гении среди русских людей, то их надо искать только в провинции. Никитин — вот вам, пожалуйста, что же еще?..» И Никитин, эта вдруг объявившаяся в столице провинциальная знаменитость, стал нарасхват приглашаться в разного рода кружки охочей до сенсаций околоторческой московской публики. На одной из таких встреч он был представлен Карнаухову, и разговор между этими двумя сейчас же понявшими друг друга людьми закончился тем, что Карнаухов решил устроить у себя на подмосковной даче прием в честь молодого провинциального гения.

Прием был назначен на воскресенье, и приглашено было только небольшое общество избранных людей, которых Карнаухов считал своими единомышленниками. Не было Лусо, не было Мещеряковых. Но Дружниковы, так как ни Григорий, ни Лия никогда не оспаривали мнений Карнаухова (хотя, впрочем, особенно и не поддерживали его) и были к тому же людьми веселыми, умевшими поладить со всеми в компании, — Дружниковы были приглашены одними из первых; и приглашены были также (на правах близких друзей) Арсений с Наташей и Геннадий Тимонин как писатель, набивающий себе руку на деревенской тематике. К тому времени он уже отписался, как он сказал, по сенокосным делам в своей газете и готовился к новому броску, но уже на Косовицу Хлебов, начавшуюся в центральных областях России. Может быть, если бы Тимонин заранее знал, что на приеме у Карнаухова он увидит Наташу, которая так понравилась ему на вечере у дяди-профессора, он пришел бы один и соответственно подготовился бы к этому; но он не знал этого и пришел с Ольгой Дорогомилиной, приволачившейся за ним в Москву как будто только затем, чтобы устроить для себя в издательстве новый перевод с английского, но на самом деле с тайной надеждой остаться здесь и соединиться с ним.

— Она что, переводчица? С английского переводит? — с удивлением спросил Карнаухов, когда Тимонин по телефону ответил ему на приглашение, что придет не один. — Ты кого хочешь подсунуть мне?

— Да она наш человек, поверь мне, наш.

— С английского-то?!

— Я тебе говорю — наш!

— Ну веди, черт с тобой, — согласился Карнаухов.

День был нежаркий, был один из тех примечательных для Подмосковья летних дней, когда высоко по небу тянулись облака, то открывавшие, то закрывавшие солнце, и по траве и лесу от этой перемены тепла и прохлады прокатывался ветерок, освежавший тела и лица людей. От полян, еще пестривших белыми и желтыми цветами, пахло

поспевающей земляникой; от леса же, особенно тех затененных уголков, где все еще держалась весенняя сырость, веяло чем-то прелым, что принято называть грибным духом, и к полудню, к тому часу как сходить к гостям, запахи эти были так густы и так значительна была после Москвы вся распахнувшаяся красота подмосковного лета, что у всех невольно поднималось в душе то привычное для горожан чувство (как проста и ясна крестьянская жизнь!), когда всем казалось, что они готовы сейчас же сменить свои московские квартиры на деревенские избы. И все говорили об этом, пока отдалялись от платформы, где они вышли из электрички, и углублялись по тропинке в лес, к поселку, где Карнаухов с женой и тещей, уже накрывавшей к обеду стол, ожидали на даче их.

Гости были одеты по-разному, не так изысканно, как они появлялись в клубах и на званых вечерах, но и не столь упрощенно, чтобы что-то загородное, будничное можно было заметить на них. Свой модный пиджак с разрезами по бокам Никитин нес переброшенным через руку, и ослепительной белизны рубашка его с расстегнутым воротом и расслабленным галстуком (в том положении, как он чувствовал себя, ему казалось, что не только позволительна была ему эта вольность, но что вольность эта должна была говорить всем, что он пренебрежителен к себе потому, что глубок умом), — эта ослепительной белизны заграничная нейлоновая рубашка сейчас же заставляла всех обратить внимание на него, и он шел так, будто и в самом деле был тем непризнанным гением, за кого принимали его. В поведении его за время московской жизни появилась какая-то неуловимо новая черта (в отличие от того, каким его всегда видели в Дорогомиллинской гостинице), и он говорил и держался теперь так, словно был более москвичом и столичным человеком, чем те, кто принимал его.

— Туда ли идем мы? — время от времени, останавливаясь, спрашивал он.

— Туда, туда, прямо по тропинке; — сейчас же весело кричала ему Лия, успевавшая, как всегда, и вставить нужное слово в разговор мужчин, и отклониться в сторону от тропинки, чтобы сорвать привлечший ее внимание цветок, и, схватив за руку Наташу, вдруг прошептать ей что-то, чему обе затем смеялись, заставляя всех оглядываться на них.

У всех, казалось, было то праздничное настроение, какое только может быть у людей, вдруг выбравшихся из квартир на лоно природы и знавших, что им предстоит весь день пробыть среди этих полей, орешника, сосен, елей и белых островков берез, так ситцево оживлявших все вокруг, за которыми уже видны были (и побогаче и победнее, и одноэтажные и двухэтажные) дачные строения.

Дача Карнаухова, доставшаяся ему вместе с женой и тещей, представляла собою двухэтажный бревенчатый дом, срубленный финнами по русскому образцу. Он был поставлен еще отцом Надежды Николаевны, погибшим затем в войну, и главной достопримечательностью этой дачи было то, что было точно известно расстояние от нее до Боровицких ворот Кремля. Отец Надежды работал в Кремле и ездил на «эмке» (что было для того времени большой редкостью); и Карнаухов, не имевший никакого отношения к ее отцу и тому делу, какое тот выполнял в Кремле, любил, однако, не без гордости напомнить иногда гостям, что от его дачи до Кремля тридцать три километра. «Да, да, по спидометру, я перепроверял», — обычно подтверждал он. И он с улыбкою думал теперь об этом, ожидая гостей. Сквозь открытые окна кухни просачивался в сад аппетитный запах жареного лука, картофеля и еще чего-то сдобного; но в самом саду и по тому участку леса, где прохаживался Карнаухов, поблескивая своими начищенными мод-

ными остроносими туфлями,—в саду и по лесу стоял густой запах скошенной накануне и подсыхавшей теперь травы. Косили к приходу гостей, и запах этот по замыслу Карнаухова должен был напомнить им об их крестьянском детстве. «Кто бы что ни говорил, а есть все же что-то перевозданное в этом аромате подсыхающих трав»,— думал он, глядя направо и налево от себя (от асфальтированной дорожки, по которой вышагивал) на валки не тронутого еще граблями после косы сена.

Он был одет, как всегда, с той утонченностью, когда нельзя было выделить на нем что-либо отдельно — рубашку ли, пиджак или галстук; все было в тон, сидело на нем прекрасно и как бы соединялось в единое целое с тонкими линиями его худого лица и линиями узких черных бакенбард, уходивших как будто под самый воротник кремовой рубашки. То противоречивое и ложное — как он бывал одет и что и как говорил,— что всегда отмечалось всеми, было теперь на фоне леса, сада, скошенной травы и бревенчатого дома еще более заметным в нем. Но сам он старался внушить себе, что он был здесь хозяин и что все это, что должно напомнить гостям о простоте деревенской жизни,— все настолько близко ему, что он и дня не смог бы прожить без этого ощущения красоты природы и слитности своей с ней. Но впечатление, какое так хотелось ему произвести на гостей и какое он производил на самом деле (если бы они теперь вдруг со стороны посмотрели на него), впечатление это было противоположно его желанию; он не только не казался хозяином, но, напротив, выглядел явно человеком временным здесь, лишним, искусственно перенесенным от холодного блеска хрустальных люстр и покрытых лаком паркетных полов в этот мир зелени и жизни, мир леса, солнца и ветра, вдруг порывами налетавшего на его белое городское лицо и белые руки и прохладю освежавшего их. «Да, именно, что-то перевозданное, и не перебраться ли и в самом деле сюда на лето?» — думал он, в то время как за забором уже слышался шум голосов подходивших к воротам людей.

— О-о, милости прошу! Прощу, прошу, прошу,— сейчас же весело заговорил Карнаухов, поздоровавшись за руку с Никитиным и здороваясь затем с Лией, Наташей, Григорием и Арсением и пропуская их.— Мать! Мать! — затем громко закричал он, подражая тому обычаю (обычаю ложной народности), как в некоторых семьях мужья называют своих жен.— Мать, принимай гостей!

## XXVIII

Вскоре подошли еще двое весело настроенных молодых мужчин (с женами), один из которых, Самородов, назвался издателем (хотя где, в каком издательстве и в качестве кого работал, было так неопределенно, что, как ни переспрашивали его, никто толком не мог ничего узнать), а другой, Михаил Черепанов, был представлен всем как знаток русских хороводов и собиратель частушек (хотя точно так же непонятно было, каким образом он, лишь на день-два выезжавший из Москвы, во множестве затем поставлял свою народную продукцию в заводские клубы для художественной самодеятельности); потом подошли еще художник и литературовед, и они составили тот кружок, в центре которого непременно должен был стать Никитин.

Соответственно преподнесенный гостям, Никитин понимал, что чем меньше он будет говорить теперь слов (и, главное, чем глубокосмысленнее будут его фразы!), тем большее он произведет впечатление на всех, какое ждут от него; и он собирал все свое усилие, чтобы произносить только то, что, он видел, все хотели, чтобы было произнесено им.

— Есть ли что-либо более красивое и более благодатное, чем русская земля,— сказал он, медленно оглядывая обращенные на него лица людей. Он чувствовал, что был в роли старика Казанцева в дорогомиллинской гостиной, и роль эта нравилась ему и вызывала в нем возбужденное беспокойство, словно он и в самом деле представлял собою явление значительное и нужное в обществе.— А как мы обращаемся с этой нашей землей? Мы губим ее. Беспощадно и безжалостно губим с нашей русской расточительностью, с нашей национальной щедростью.— И он сделал ударение на словах «русской» и «национальной».— Красота такая, что на нее бы только посмотреть, дышать бы только ею,— продолжал он с тем глубокомысленным выражением, словно высказывал что-то особенное, что было запрещено или, по крайней мере, не принято говорить вслух о русской земле. В воображении же своем, чтобы правдивее звучали его слова, он силился восстановить ту картину (тот открывшийся ему пятачок русской земли), какую, когда ехал сюда, в Москву, увидел утром, проснувшись, из окна вагона. По окаймленной березняком низине шла женщина в ватнике, с граблями и косою на плече и узелком с пищею в руках. Ноги ее, как в молоке, были в белом утреннем тумане, а ватник и платок — волглыми от этой утренней сырости. Она шла на целый день и на ту мужскую работу, которую, как видно, некому было выполнить за нее; но то дело, какое предстояло ей делать — косить и сгребать (и с которыми Никитин не был знаком, как оно тяжело, так как никогда не держал в руках ни косы, ни граблей), дело это, заслоненное для аспиранта видом березняка и низины, заполненной туманом, который местами уже редел, открывая сочную зелень травы, и заслоненное тем общим предчувствием появления солнца, что недоступно было (в силу совсем иных душевных привязанностей) понять Никитину, но что он все же, несмотря ни на что, ясно как будто понимал,— дело этой женщины, как и весь крестьянский труд, было заслонено перед ним именно красотой берез, тумана, луга и неба; он чувствовал только эту красоту, перенося ее на жизнь вообще, как будто жизнь только и могла состоять из этой созерцательности. Но, в сущности, Никитин лишь красиво восклицал, и у него не было слов, чтобы выразить всю истинную красоту того, что он видел.— А мы роем и перерываем эту красоту. Это же ужасно, что тут у вас, под Коломенским, делается! Поле, на котором останавливались войска Юрия Долгорукого, это историческое поле варварски перерыто! Метро... Ну хорошо, метро проводить надо, но не в ущерб же нашей отечественной истории. Не в ущерб же! — И он опять медленно обвел взглядом лица тех, кто слушал его. Поле под Коломенским (и церковь Вознесения и все, что вокруг этой церкви, давно превращенное в музей и охранявшееся законом) — поле это никогда прежде не интересовало Никитина; будучи в Пензе, он не вспоминал о нем; но здесь, в Москве, он живо уловил, что кое-кто (кто жил в центре и не нуждался в открытии новой линии метрополитена) был недоволен, что перерывали это поле, и Никитин спешил теперь присоединиться к тем вставшим против течения «ценителям русской старины».— Должны же мы понимать, что мы делаем, что губим! Нам не простят этого. Это история. История! — несколько раз повторил он.

То, что он говорил, казалось ему значительным и было бы тотчас понято и принято всеми в дорогомиллинской гостиной; но на тех, кто был теперь у Карнаухова и для кого все эти сентенции были этапом пройденным, а хотелось услышать что-то более новое и серьезное, что радостно поволновало бы их гуманистично-патриотические устремления,— для всех этих людей слова Никитина имели пока лишь тот смысл, что он еще не говорил главного, а только подходил к теме.

— Ты кого нам преподнес? — чуть отведя в сторону Карнаухова, спросил его Дружников. — Он производит весьма странное впечатление.

— Да он просто нас всех принимает за дураков, — присоединился к нему Арсений, тоже сперва слушавший Никитина, но затем разочарованно отошедший от него.

— Не торопитесь с выводами, — возразил Карнаухов. — Человек этот еще покажет себя.

— Ты ослеплен своим идеалом, и только, — в свою очередь возразил Арсений.

— Не спеши, единственно прошу. У него отвергнута книга.

— Какая? Где?

— Этого я не могу сказать, я не читал, но говорят, очень острая.

— На тему?..

— Н-ну, вы хотите, чтобы я разжевал да и в рот положил вам. Сами, сами, друзья мой! — И Карнаухов снова присоединился к Никитину, чтобы слушать его.

Но, несмотря на ожидание, что будет еще что-то сказано им, ничего значительного не было (да и не могло быть!) сказано Никитиным. Он только в разных вариантах повторил ту свою надоевшую всем в дорогомиллинской гостинной (но впервые прозвучавшую здесь) мысль о пагубности научных открытий и науки вообще, ведущей якобы человечество к гибели, но и это его высказывание вызвало лишь удивление и недоумение у тех, кто слушал его. От него постепенно начали отходить и забывать о нём; и всё же до появления Тимонина и Ольги Дорогомиловой (которые могли сейчас же раскрыть весь секрет, кем он был в Пензе) он еще держался уверенно и старался не замечать того, что происходило вокруг него; но с их появлением сразу же сник, словно до неприличия раздел и начал, уединяясь, мрачно искать выхода из этого своего положения, в каком оскорбительно было быть ему.

### XXX

— О-о! Никитин! И ты здесь?! Ты-то как здесь? — войдя в просторную остекленную веранду, где все уже ожидали, когда их пригласят к столу, воскликнул Тимонин, увидев знакомого аспиранта. — Ты-то как сюда попал? Ну черт, ну черт! — И он весело и решительно хлопнул Никитина по плечу. — Уж не тобой ли Карнаухов грозился нас угостить сегодня, а? — Тимонин был весел потому, что был с Ольгой Дорогомиловой (и потому, что в эти первые суетные минуты еще не видел Наташу, которая стояла с Лией и, разговаривая с ней, сейчас же покраснела, услышав его голос и посмотрев в его сторону); и так как Тимонину всегда было безразлично, что в ту или иную минуту испытывали другие, как безразлично было теперь, что испытывал пензенский аспирант, слушая его, Тимонин навязывал это свое веселье всему обществу. — Ярый противник науки, мрачный предсказатель катастроф, н-ну, а наука-то движется себе и движется вперед, и не видно, чтобы что-то серьезное угрожало человечеству, по крайней мере на эти ближайшие часы, пока мы здесь, а, Никитин? — шутливо продолжил он.

Он не был похож сейчас на того Тимонина, каким знали его в дорогомиллинской гостинной. Там, в провинции, чтобы быть принятым и обласканным всеми, надо было подлаживаться под то общество людей и поддерживать их высказывания независимо от того, нравились или не нравились эти высказывания ему; здесь же надо было подлаживаться под этот круг людей, с которыми Тимонин виделся постоянно и от расположения которых к нему зависело многое в его жизни,

и потому надо было высмеивать то провинциальное, что не принималось и не могло быть принято здесь; и Тимонин делал это с той легкостью и так искусно, что в Пензе он казался всем естественным в том своем качестве, в каком выступал перед ними, а здесь, в московских домах, естественным в этом — что и как говорил и как держался теперь. Руки его постоянно были в движении, и огромные, с камнями серебряные запонки, уже до смешного знакомые всем (Тимонин менял рубашки, но не менял запонки и даже шутил по этому поводу, что не может без них, как не может без часов или расчески, чтобы держать в порядке свои модно удлиненные волосы), запонки эти как будто искорками при свете солнца брызгали от его рук.

— Так вы знакомы? — спросил Карнаухов у Тимонина, удивленно и недоверчиво глядя на него и глядя на смутившегося Никитина.

— Разумеется, кто же не знает его? Его знает вся Пенза (что равнозначно было для Тимонина — вся дорогомиллинская гостиная)! Но я рад тебя видеть здесь, Никитин, — затем сказал он. — И еще более рад, друзья, представить всем вам мою хорошую знакомую, между прочим, хранительницу и покровительницу всех пензенских муз, как видите, тоже из Пензы, — для чего-то добавил он, — Ольгу Дорогомиллину. — И он, повернувшись, пропустил вперед себя невысокую и худенькую молодую женщину в короткой кожаной юбке и кофте желтого цвета; без рукавов; шею ее закрывали прямо и редко спадавшие черные волосы, из-под которых, казалось, выглядывало ее маленькое заостренное личико.

Она улыбнулась, но совсем не так, как у себя в гостиной, где все прислушивались к ней и одобряли любое ее мнение; она сейчас же поняла разницу, что она была не дома и что все эти люди, с кем знакомил ее теперь Тимонин, были единомышленниками в искусстве, которых Ольга не то чтобы категорически осуждала, но просто по общему складу своих мыслей и душевных привязанностей не могла понять и принять их. Но как человек более осведомленный, чем Никитин, в том, что считалось модным и что не модным среди московской литературной (но вернее было бы — окололитературной) публики и что имело влияние и что не имело на продвижение и оценку рукописей и книг, Ольга понимала, что ей надо было понравиться здесь, и оттого как ни противно было ей, протягивая руку и называя себя, улыбаться всем; она делала это с тем старанием скрыть свои чувства, что только Никитин, мрачно и от угла наблюдавший за ней, видел, как ложно, искусственно было все в Ольге. Привычно холодное выражение лица ее, так поразившее еще недавно Сергея Ивановича и вполне сочетавшееся с провинциально роскошною (под барскую старину) обстановкой ее пензенской квартиры с бронзовыми бра и ледяными хрусталиками люстр, с бархатисто-вишневыми обоями и позолоченным оттиском трехпалых подсвечников и свеч по ним, с павловским креслом, китайским ковром, колоннами и гарднеровскими статуэтками на них, — то холодное выражение было как бы растворено теперь на ее лице обилием солнечного света, улыбок, праздничностью нарядов и видом белых городских лиц, чем наполнена была вся эта просторная, с распахнутыми окнами, остекленная веранда карнауховской дачи.

Но как ни старалась Ольга понравиться этому кругу людей, она видела, что ее с трудом принимали здесь. Потому ли, что Никитин был уже скомпрометирован и отношение к нему, так как Ольга тоже была из Пензы, переносилось на нее или в силу определенной привычки их замечать только себя и говорить только о себе, но Ольга чувствовала себя неуютно и почти все застолье просидела молча возле Тимонина. «Да так и должно, наверное, быть, — между тем, чтобы

утешить себя, думала она.— Они все свои». И ей казалось, что как будто ей не за что было обижаться на этих людей, что, окажись кто-либо из них в ее гостиной, она точно так же, наверное, не замечала бы этого человека и что тому было бы, наверное, так же неудобно, как неудобно было ей теперь. Она прислушивалась к общему разговору и отмечала про себя, что то, о чем говорили все эти собравшиеся у Карнаухова люди (и что вполне можно было бы объединить в понятие: созерцательное отношение к жизни), не было для нее ни новым, ни интересным; как всем им высказывания Никитина показались пройденным этапом, Ольге представлялось, что это, что так возбужденно занимало всех (и что в сути своей отличалось от утверждений Никитина только утонченностью формулировок), было давно-давно переговорено, пережито и забыто ею; она видела, что все здесь было точно так же мелко, было игрой, как и в ее пензенской гостиной, и она делала для себя из этого вывод, что следует лишь повнимательней присмотреться ей, следует только поточнее уловить ту главную ноту, на какой играют здесь, как она сейчас же сможет занять то положение, какое так хотелось, чтобы уже теперь было у нее. «Они умны все не больше, чем умен наш Никитин»,— думала она, время от времени укоризненно поглядывая на аспиранта, как будто говоря ему: «Чего-чего, а уж этого я никогда не забуду вам!» И она живо представляла, как она преподнесет эту сегодняшнюю историю (разумеется, с Никитиным, но не с ней) Казанцеву, Рукавишникову и всем остальным в своей гостиной. Но деловые размышления эти, как они ни занимали Ольгу, то и дело прерывались совсем иным обстоятельством, более важным для нее, касавшимся ее отношений с Тимониным.

Всегда так тепло принимавшая его в своей гостиной (и принимавшая у себя в постели и потому имевшая, как считала, права на него), она теперь вдруг после всех его (ночных!) заверений в любви к ней увидела, что она, в сущности, была не нужна ему; она увидела, что он смотрел на Наташу и все время обращался к ней; и, главное, увидела, что Наташа была моложе, интереснее, была москвичкой и потому была под рукой, и обстоятельство это сейчас же подсказало Ольге, что она не могла соперничать с Наташей. «Так вот в чем дело?! Там, в Пензе — ко мне, а здесь, в Москве — другая?! — мертвенно бледнея своим заостренным личиком, подумала она, вспомнив, как он нерешительно приглашал ее в Москву.— Негодяй! Негодяй!» — злобно и оскорбленно затем несколько раз повторила она. Теперь, когда она бросила мужа (из-за Тимонина же, как она думала теперь), приехала в Москву и сняла комнату, он наносил ей этот удар, должный раздавить ее; и перед ней так преувеличенно ясно встало все это ее оскорбительное положение, что она уже не могла видеть ничего, что происходило вокруг. С бледным и злобным лицом, выражение которого она не в состоянии была изменить (уже после того, как все вышли из-за стола и парами и тройками разбрелись по саду и лесу, не замечая покоса, не восторгаясь запахом трав, то есть всем тем, что Карнаухову хотелось, чтобы было восторженно замечено всеми на его даче), Ольга несколько раз подходила к Тимонину, чтобы напомнить о себе и увести его от Наташи и Лии; но всякий раз он, только ответив незначительной и мягкой репликой ей, брал затем под руку Наташу и Лию (или только Наташу) и продолжал прохаживаться по дорожке сада с тем веселым и увлеченным видом, будто был один с дамою и никто не мог видеть его.

Ольга была оскорблена, и все, что оставалось ей в утешение — взгляды, какими она окидывала Наташу. «Ничего, и тебя ждет то же,— говорили эти ее насмешливые, презрительные и не замеча-

шиеся оживленную Наташей взгляды.— Но что, собственно, произошло? — вместе с тем пыталась убедить себя Ольга.— Произошло только то, что я знала, что произойдет. Разве я верила ему? Я никогда не верила ему». И она с этой ложной, вдруг как будто открывшейся в ней легкостью говорила себе, что еще в самом начале ее отношений с Тимониным было ясно, чего он хотел от нее. «Я знала, я сама хотела»,— говорила она, стараясь заслониться этим признанием, по которому выходило, что все, что было между нею и им, было только от ее желания и что если бы она хоть на минуту могла тогда представить, что увидит сегодня, никогда бы не допустила его к себе. Но именно потому, что допустила и что это, что должно было быть оценено им, не признавалось и затапывалось теперь, было невыносимо Ольге. Она не могла видеть, что он был с другой, и, чтобы не мучиться, молча и тихо вышла за ворота с одной только мыслью, что не простит ему этого.

### XXX

Но для Тимонина то, что Ольга собиралась «не простить» ему, не только не имело того мрачного смысла, какой вкладывала во все Дорогомилина (бросившая, как она говорила, мужа из-за него), но представлялась лишь тем приятным пустячком, какие существуют в жизни для того, чтобы весело, не обременяясь и ни к чему не обязывая себя, проводить время. Он видел в Наташе точно то же — молодую замужнюю женщину,— что он видел в Ольге, когда впервые встретился с ней; и по тем понятиям своим, что с замужними женщинами всегда проще и безопаснее иметь дело и всегда «верняк», как любил говорить, повторяя это расхожее среди его друзей словечко,—по этим понятиям своим он полагал, что точно так же, как Ольга (как все другие, с кем он бывал близок), должна была быть доступна и Наташа ему, стоило только соответственно повести себя. Вопросы, какой он должен был бы задать себе: хорошо ли, плохо ли то, что он делал? — вопроса этого он не задавал себе; он видел, что большинство тех самых (околотворческих!) молодых людей, с которыми он общался, делали то же, что и он, и он не слышал, чтобы кто-то громко и принародно осудил их; он видел, что все было в порядке вещей, а главное, доставляло удовольствие ему и уже по одному этому не могло быть дурным и осуждаться. Мужья? Но мужья только для того и существуют, искренне полагал он, чтобы содержать тех самых жен, с которыми он хотел иметь дело.

Чуть огорчившись, как только увидел Наташу, и пожалев, что пришел с Ольгой, которую вполне мог оставить в Москве, он затем не только забыл об Ольге, но, казалось, забыл обо всех, кто был на даче у Карнаухова, и, пользуясь тем, что Арсения постоянно втягивали в какую-нибудь мужскую компанию, ни на шаг не отходил от Наташи, подавая себя ей в том лучшем свете — модною прической, низко подбритыми висками и умным выражением лица, сейчас же должным сказать всем, что он писатель,— в каком он был способен подать себя.

— Вы знаете, я очень скучал по вас,— наконец сказал он Наташе, когда отошла Лия и он остался наедине с ней.— Тот вечер у моего дяди, помните? Так и стоит все перед глазами...— И в то время как он говорил это, он так смотрел на Наташу, словно в этом светлом, свободно облегавшем ее летнем платье, также укороченном и высоко от колен открывавшем ее еще по-девичьи красивые ноги, она была еще привлекательнее, чем в том наряде, в каком он встретил ее на вечере у Лусо. Он видел, что она была хороша вся: и своими форма-

ми, и молодостью, и лицом, шеей, глазами, в которых всякую минуту было то волнение, какое переживала она; он видел в ней то, что не только привлекало его, но чем хотелось обладать ему сейчас же, не откладывая ни на день, в этот вечер, и он чувствовал (по многочисленному опыту своих прежних связей), что это было возможно и что надо только помочь ей преодолеть тот нравственный барьер верности мужу, какой всегда так трудно бывает в первый раз преодолеть женщине.

Только что говоривший (пока рядом стояла Лия) о разных пустых и забавных случаях, происходивших будто бы с ним во время этой его пензенской поездки по сенокосным делам; только что шутивно как будто высмеивавший свой журналистский профессионализм, в котором главным было, что он почти всегда писал противоположное тому, что на самом деле видел в жизни, и из чего следовало, что фантазия (его писательская фантазия) всегда ярче и богаче любой жизненной правды, он вдруг, словно только и ждал этого момента, сейчас же от шутки перешел к тому серьезному тону, какой, как он помнил еще по первой встрече с Наташей, был более по душе ей. Он задал ей вопрос, как она жила все это время, пока он не видел ее, который, если посмотреть просто, был как будто в ряду обычных, как спрашивают друг друга при встречах знакомые люди; но Тимонин произнес его так, что Наташа не могла не почувствовать, что в нем заключалось что-то большее, чем только обычный интерес к ней.

— Ну так скажите же, как протекала ваша молодая замужняя жизнь? — повторил он, решительно беря Наташу за оголенную выше локтя руку и направляя ее по тому заранее уже выбранному им маршруту по саду и лесу, где он, казалось ему, менее был бы на глазах у всех с ней.

«Как я жила? — подумала Наташа, краснея от этого прикосновения его руки и не отстраняясь. — Что я скажу, как я жила?» И, несмотря на желание сказать что-то, чувствовала, что не может ничего ответить ему. То, что составляло суть ее счастливого замужества (из чего, собственно, складывалось это ее счастье), было так розово-неясно ей, и так не хотелось ей раскладывать это розово-неясное на составные части, которые бы сейчас же разрушили все (разрушили бы этот мир свободы замужества, когда после родительской опеки и стесненности в деньгах она вдруг ощутила себя хозяйкой и ей было доступно и разрешено все), — нет, она не могла вот так, сразу, выразить Тимонину эту свою возбужденность жизнью; как она не могла сделать этого во всех многочисленных письмах к матери. Тем более она не могла сделать этого теперь, когда была в гостях у Карнаухова, где, ей казалось, собрано было все то же блестящее общество людей, как и у Лусо и в Большом театре, и она видела, что ее не только не обходили вниманием, но что Тимонин был еще более, чем при первой встрече, предупредителен и вежлив с ней. «Да что же ответить ему, как я жила?» — между тем торопливо спрашивала себя Наташа, чувствуя, что надо уже говорить что-то. То неудобство жизни, когда еще Галина и Юрий были в Москве, и все те переживания, связанные с сборкой с отцом, с болезнью матери, похоронами бабушки и отъездом родителей в Мокшу, — все представлялось Наташе сейчас таким далеким и незначительным, что она не только не хотела говорить об этом Тимонину, но ей самой не хотелось вспоминать и думать о том. «Та жизнь и эта — так далеки друг от друга, — думала она. — Что было там? Что в том прошлом может интересовать его, когда здесь все так мило, так возвышенно и столько достоинства, красоты и правды!» Но в то время как ей приходила в голову эта простая и так радовавшая ее мысль, она чувствовала, что и ее нельзя было отчего-то высказать Тимонину.

Ей казалось (в сравнении с тем, о чем все говорили здесь), что события ее жизни так мелки, так мелки, что они не могут никого интересовать. Ну и что из того, что по предложению Арсения она ушла из библиотеки и теперь не работала нигде? И что из того, что не встречалась теперь (обретая эти новые знакомства) с прежними своими подругами? Что из того, что ходила теперь по магазинам, стараясь устроить свою с Арсением жизнь так же уютно, под старину, как жили Лусо или Дружниковы? Все это было совсем не то, что надо было сказать Тимонину.

— Вы счастливы, и вы не хотите сказать мне этого, — выждав, сколько удобно было выждать ему, сказал он, чтобы помочь Наташе преодолеть то смущение, какое, он видел, было вызвано в ней его вопросом. — Или вы несчастны? И этого тоже не хотите сказать мне? — добавил он, чуть приостанавливаясь и заглядывая ей в лицо. — Нет, если бы вы даже сказали мне это, я не поверил бы. Мне кажется, — еще более вглядываясь в нее и говоря этим взглядом, что она красива, что он восхищен ею и что такое прелестное создание, как она, не может быть хоть в чем-то (хоть от мужа!) испытывать стеснение, — мне кажется, вы не можете решить про себя, счастливы вы или нет. Так бывает, мы часто не знаем, когда мы счастливы, когда нет.

— Как же можно не знать, счастлив ты или нет? — изумленно спросила Наташа, сейчас же подхватив этот разговор, в котором не было для нее того стесненного положения, того тупика, из которого только что так трудно было выйти ей.

— Можно. И это вполне естественно и объяснимо.

— И вы можете объяснить?

— Во всяком случае попробую, — сказал Тимонин.

Он видел, что они подошли к самому краю сада и что надо было поворачивать и идти обратно на люди; но чтобы не идти обратно на люди, он встал перед Наташей так, что путь этот был заслонен им, и в этом естественном как будто для себя положении он начал то свое путаное объяснение, что следует считать счастьем и что не следует считать таковым, из которого ясно было только одно — что люди, подобные Арсению, то есть мужу Наташи, счастливы тем, что они несчастны, что, отдаваясь работе, не берут ничего от жизни взамен, но что есть люди другого порядка, подобные ему, Тимонину (или Наташе, как он заметил тут же), для которых счастье всегда только в том, что они счастливы, то есть не только отдаются работе, но и пользуются всеми теми радостями жизни, какие есть в ней и созданы в конце концов для чего-то; он говорил то, что в той ли, иной ли форме должен был сказать ей, чтобы убедить, что дверь, куда он приглашал войти ее, была только с виду тяжела и массивна, но что открыть ее было просто, если без страха и предубеждения притронуться к ней.

— Я могу уважать, это другое дело, но я никогда не смогу понять тех, кто заживо запирает себя в науке или в литературе. Я не понимаю их точно так же, как монахов, хотя, правда, их сейчас нет, во всяком случае так полагаю, что их у нас нет, — поправился он. — Но были. Были! Как эти монахи или монашенки в самом расцвете жизненных сил вдруг заточают себя в каких-то мрачных кельях?! И если бы я не писал о деревне, о мужике нашем, которого я люблю и понимаю, и если бы это было то время, я непременно выбрал бы для себя предметом исследования эту тему. Так вот, а вы говорите, понимаем мы или не понимаем, что такое счастье, — далеко еще не собираясь заканчивать разговора, сказал он.

— Но ведь и монашки могут быть счастливы, — возразила Наташа.

— Да. Но тем, что они несчастны. И это, если хотите, утешение, не больше,— добавил он, видя по взволнованному выражению лица Наташи, что она как будто не вполне понимала его.— Может быть, я не так убедительно объяснил все,— затем сказал он, сейчас же подумав про себя, что можно повторить все и что, повторяя, более откровенно высказать то, что так хотелось ему внушить ей.

Но волнение Наташи происходило вовсе не оттого, что она не понимала Тимонина; она понимала его, но так, что разговор был о ком-то, был разговором в о о б щ е и не имел отношения к ней; ей просто любопытно было позволить себе столь утонченно поговорить с чужим мужчиной об э т о м, а беспокойство шло от другого — что она чувствовала, что было неловко, что она стояла с ним в конце сада, отделившись от всех. Она видела, что это было нехорошо, что можно было превратно истолковать это, и, краснея, подыскивала слова, как сказать увлеченно говорившему ей Тимонину, что надо уйти отсюда. Ей казалось, что он не замечал неловкости и что словами своими она могла на что-то дурное намекнуть ему; и потому ей трудно было произнести их.

— Мы так отделились от всех,— все же наконец сказала она, живя уже только этим своим беспокойством и не воспринимая того, что он говорил ей.

— Ну и что? Пустяки,— прервал он Наташу и, перехватив ее устремленный (за его спину) взгляд, повернулся и увидел Арсения, шагавшего через сад по дорожке к ним.— Да сущие пустяки все,— по инерции еще произнес Тимонин то, чем он только что хотел успокоить ее, и когда снова обернулся на Арсения, увидел, что того опять кто-то перехватил и занял разговором.— Но я не возражаю, пожалуйста.— И он отступил перед Наташей на шаг в сторону, открывая дорогу ей и снова беря ее под руку.

### XXXI

Арсения перехватил Карнаухов, давно уже обеспокоенный мрачным видом его.

— Послушай, да ты чем недоволен? — спросил он, по-свойски повернув Арсения за плечо к себе.— Этот Никитин!.. Я раскусил его. Чем ты недоволен? Ты мне не нравишься сегодня.

— Я всем доволен, с чего ты взял? — убирая его руку с плеча, возразил Арсений.

— Нет, ты недоволен. Я вижу. И я хочу знать на правах друга, что тебе не понравилось здесь, у меня?

— Все.

— Как «все»?

— Все. Все,— решительно подтвердил Арсений, хотя этим «все» было только то, что всякий раз, когда он отыскивал глазами Наташу, он видел рядом с нею Тимонина, который был (еще по ухаживаниям за Галиной) неприятен ему и при виде которого теперь (при виде того, как он липнул к Наташе) впервые поднималось в душе Арсения то тяжелое чувство, которое подталкивало его к действию и заставляло бледнеть перед тем, что он собирался сделать.

Он уже не сомневался в намерениях Тимонина, как было у Лусо; но оттого, что не сомневался, что не надо было искать подтверждений этому, что так болезненно беспокоило его, было еще мучительнее переживать Арсению. Он говорил себе, что надо сейчас же защитить Наташу; но в сознании его это оборачивалось тем, что надо защитить себя, и потому так решительно возникала в нем мысль, что он должен предпринять что-то. Но он только бледнел и по не осознававшейся им привычке всегда все злое подавлять в себе лишь обостренное

прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Говорилось, что русский народ талантлив, но что он любит пить; но что, несмотря на то, что любит пить, он все-таки великий народ. Для Черепанова, знатока русских хороводов и собирателя частушек, величие это состояло именно в хороводах и частушках, благодаря которым он кормился, получая соответствующие гонорары за свое собирательское дело, и исчезновение их, то есть этих, в сущности, неуместных при нынешней технической насыщенности умирительно-патриархальных, когда-то скрашивавших крепостную крестьянскую жизнь хороводов представлялось ему не только равнозначным исчезновению самобытной русской культуры, но стиранию всяких национальных граней. Литературовед, объединившись с издателем и художником, чьи так называемые русские пейзажи с березами, выписанными в виде геометрических фигур, никогда и нигде не выставлялись,—литературовед общался с ними все время старался свести разговор к Антону-горемыке и перекидывал весьма странные мостики то от того времени к себе, то от себя к тому времени, будто и в самом деле могла существовать какая-то связь между ним и тем временем. «Какое величие, какие хороводы, какое исчезновение?!» — спрашивал себя Арсений с тем удивлением, как будто и в самом деле все это впервые говорилось при нем. Но раньше он просто не прислушивался так обостренно к этим разговорам; теперь же, в раздражении, воспринял все преувеличенно и, говоря Карнаухову «все», имел в виду теперь именно это, что так неприятно, странно и удивительно было здесь слышать ему.

— Я давно замечал, что ты идешь по какой-то не той дороге, но я никогда не думал, чтобы ты так глубоко погряз во всем этом,— сказал Арсений Карнаухову, в то время как Наташа с Тимониным проходили недалеко от него и он, не оглядываясь, чувствовал это; и тем важнее было ему сказать что-то резкое Карнаухову, чтобы не думать о них.

— В чем же это я погряз, как ты выразился? — спросил Карнаухов.

— Зачем объяснять, что ты сам хорошо знаешь. Могу словами Достоевского?

— Изволь.

— Хотя и по памяти, но точно, можешь проверить: «...все эти всеславянства и национальности — все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе, как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской». Национальность в том понимании, как все вы трактуете ее здесь,— уточнил Арсений.— Да можно ли серьезно говорить о какой-либо национальности или национальной культуре, не признавая при этом общего и постоянного движения народов к прогрессу? И какую услугу вы делаете этому своему народу, который так рьяно взяли опеку здесь?

— Ну-ну,— как бы желая, чтобы Арсений сказал еще что-то, после чего можно обрушиться на него, проговорил Карнаухов.

— Вы хотите вернуть русских людей назад в курную избу, а они, видите ли, упираются, не идут, ищут и делают для себя другую, новую жизнь, и вам это не нравится, вы возмущены и готовы кричать где только можно, что пересыхает сам источник национальной культуры! Вы хотите пользоваться электричеством, но вас коробит вид линий электропередач — как же, нарушена красота полей, девственность! Вы хотите ездить на электричках и в метро, но вас до глубины души возмущает — для чего перекрывать Енисей, Ангару, Волгу?! Так предложите лучшее. Предложите!

— Я у себя в доме и потому не хочу спорить с тобой, хотя мог бы с не меньшей убедительностью ответить тебе,— сказал Карнаухов с той значительностью в голосе, как будто и в самом деле мог легко опровергнуть Арсения.— Всегда прежде мы понимали друг друга, и мне жаль, что ты произнес эти слова.

— Я сказал лишь то, что готов повторить в любую минуту.

— Тем более жаль. Но я отношу это за счет твоего дурного сегодняшнего настроения.

— И напрасно.

— Нет. Когда ты пришел, ты уже был не в духе, я видел это,— возразил Карнаухов.— Если ты от Мещерякова ко мне, то этого не надо было делать. Если же что-то случилось, то скажи,— действительно закончил он.

— Ты не прав, я пришел не от Мещерякова и с хорошим настроением.

— Тогда, значит, я ошибаюсь, извини. Но я не хочу, чтобы мы поссорились у меня в доме. Извини.

— Я не беру слов назад.

— Все равно извини. Я должен занять гостей.— И Карнаухов с холодным, бледным и напряженным лицом (из чего можно было заключить, что он был более чем недоволен Арсением) отошел от него.

«Да, занимай, занимай»,— про себя и зло повторил Арсений и, несмотря на то, что хорошо знал, что Тимонин с Наташей прошли за его спиной к даче, повернулся и стал искать их глазами в той стороне сада, где только что перед разговором с Карнауховым видел их.

Все, что теперь делал Арсений, было частью того, чем он хотел защитить себя; и по той логике, какая бывает обычно у раздраженных людей — соединять несоединимое,— объединял в одно те не имевшие, в сущности, никакого отношения друг к другу события, которые для него все стояли в одном ряду и предназначались, как ему казалось, только для того, чтобы омрачать ему жизнь. Он не хотел признаться Карнаухову, что был не в духе, когда пришел к нему; но в действительности же был не в духе, и причиной беспокойства было неожиданное появление Юрия, которого он вдруг вчера, вернувшись за чем-то из института (когда Наташи не было в доме), застал в квартире возле дверей своей комнаты. Юрий небольшим, загнутым, расплюснутым и раздвоенным с одного конца ломиком, каким обычно дергают гвозди и раскапывают ящики, пытался открыть дверь.

— Ты что делаешь? — спросил Арсений, не сразу поняв, что намеревался сделать его бывший, усыновленный им сын.— Тебе чего надо у меня?

— Ничего.

— Зачем же дверь ломать?

— Так,— ответил Юрий, держа перед собою орудие своего труда и глядя в лицо Арсению с той нагловатой усмешкою, за которой сейчас же было видно, что он замышлял что-то дурное, чего даже не хотел теперь скрывать от отца.

— Что?! Украл у матери холодильник, теперь ко мне? Но у меня, кроме книг, ничего!.. Дай-ка сюда эту штуку.— И Арсений почти вырвал тяжелый и холодный ломик из рук Юрия.— Не смей, слышишь, не смей! — затем сказал он, полагая, что этого будет достаточно, чтобы образумить сына.

Он положил затем ломик на край стола, когда вошел в комнату, и теперь, в связи с разговором с Карнауховым, вспомнил о ломике и о том, что ничего не сказал о нем Наташе. «Да где же они? — между тем думал он, продолжая отыскивать глазами жену, но употребляя это множественное «они», так как не представлял уже, что мог уви-

деть ее без Тимонина.— Надо подойти к ним и сказать что-то ему, чтобы... чтобы...» — но он не закончил фразы и остановился, пораженный той мыслью — как защитить себя! — какая пришла ему. Он вспомнил всю неприятно-холодную тяжесть ломика и то свое чувство, с каким держал этот предмет насилия; но он видел теперь, что этот предмет насилия вполне можно употребить как предмет защиты, подняв и обрушив его на голову оскорбителя. «Ужасно, но это единственное», — подумал он. И он уже не мог отойти от этой страшной мысли, возбуждившей его. Лицо его так мертвенно побледнело, каким никогда никто не видел его; и во всех черточках этого побледневшего интеллигентного лица вдруг ясно проступила та страшная решимость, то есть то, что в народе называют безумием, когда Арсений, будь у него в руках ломик, двинулся бы на Тимонина с одной только этой целью обрушить металлическую тяжесть ломика на него, чтобы защитить себя и Наташу. Он даже приподнял руку и посмотрел на нее. Но ломика в руке не было. «Нет, этого нельзя, это ужасно, ужасно», — тут же сказал он себе. И, вместо того чтобы искать Наташу, направился к скамейке, стоявшей в саду, и сел на нее.

Но когда всех позвали к чаю, он уже был как будто спокоен и даже несколько раз улыбнулся, отвечая Дружникову на его шутки; но после чая казался больным, холодно попрощался с Карнауховым и, позвав Наташу, ушел с нею задолго до того, как был окончен этот торжественный дачный прием.

### XXXII

То, что происходило в душе Арсения, Наташа не знала; и при всем старании, если бы захотела этого, все равно не смогла бы понять его, так счастливо было у нее самой на душе и так чисты, по крайней мере по отношению к мужу, казались ей, были ее мысли. Но Арсений, который по опыту жизни мог бы вполне понять Наташу, не понимал ее потому, что поглощен был своими ревнивыми чувствами, и то страшное дело, как он мог защитить себя, — то страшное дело продолжало еще воображенными подробностями волновать его. Он вышел из ворот карнауховской дачи с тем ощущением, словно из темного и мрачного елового леса, где обилие стволов и ветвей угнетало его, ступил на просторное поле, вдруг открывшееся перед ним, и с облегчением вздохнул, оглянувшись на то, что оставила за спиной; и та болезненная как будто бледность, как выглядел он, прощаясь с Карнауховым, постепенно сходила с его лица, оно преображалось и обретало спокойное и доброе выражение.

«Надо решительно отказаться от этих встреч», — думал Арсений, в то время как Наташа весело говорила ему о своих впечатлениях. Ей все понравилось у Карнауховых, так как она снова, как ей казалось, была принята всеми, и то недовольство ею, почти неприязнь к ней, какую временами испытывал Арсений, находя в ее поведении то, что он всегда осуждал в Галине, — недовольство это теперь, когда Наташа была рядом и он видел, как она была счастливо возбуждена успехом (тем своим успехом, какой, как она думала, должен был радовать мужа, что она нравилась всем), недовольство это постепенно приглушалось в нем, и минутами начинало казаться ему, что он был не прав, думая плохо о ней. Да разве могло быть хоть что-либо недоброе в этой не запятнанной еще пороками, от которых он оберегал ее, драгоценно-чистой ее душе? «Я буду счастлив с ней, как я мог сомневаться, когда столько непосредственности и красоты жизни в этом маленьком существе», — думал он.

Но вместе с тем как он воображал себе эту свою будущую жизнь с ней (как он вообще любил представлять свой идеал супружества, о

котором и сам толком не знал, из чего должен состоять он), вместе с тем как он (что тоже было уже привычно ему) все более проникался настроением, исходившим от Наташи и заражавшим его, он продолжал думать о Тимонине и глубоко презирал этого человека уже не за то, что видел его возле Наташи, а за что-то другое и большее, как он полагал теперь, чем только за это дурное, что было так очевидно в нем. И он хотел сказать об этом Наташе. Но он видел, что слова его могли быть восприняты ею по-иному, именно в том значении, какого он не хотел придавать им теперь, и это останавливало его. «И все-таки надо, надо сказать ей», — думал он, опять и опять побуждаемый (при всем этом своем обновленном взгляде на Тимонина) той первоначальной целью, тем чувством ревности, какое продолжало мучительно беспокоить его. Ему трудно было признать то, в чем он собирался упрекнуть Наташу, и потому вместо упрека лишь вопросительно смотрел на нее, на что она, удивляясь, отвечала:

— Я в чем-нибудь провинилась?

Она была виновата перед ним; но ей так не хотелось, чтобы он знал, что она была виновата, что она невольно делала это удивленное лицо, чтобы успокоить его. «Но что же плохого, если он поговорил со мной?» — вместе с тем спрашивала она себя, стараясь этой простой и ясной как будто фразой оправдать себя. Но она видела, что фраза только звучала оправдательно, но что оправдаться ею было нельзя, потому что разговор ее с Тимониным, и она более чем сознавала это, был не из тех обычных, какие возникают, чтобы провести время. Еще у Лусо она заметила, что Тимонин неспроста подошел к ней и что, главное, ей приятно было это, что он подошел к ней; но тогда она только чуть поволновалась и забыла о нем, а теперь чувствовала, что не сможет забыть, и как раз это, что знала, что не сможет забыть, счастливо возбуждало ее. Но это и хотелось скрыть ей от мужа. «Разве я что-нибудь допустила? — думала Наташа. — Я ничего не допустила. Я люблю его (Арсения), а не его», — говорила она, чтобы успокоить себя, но только более возбуждаясь и выдавая эту свою возбужденность за общее хорошее настроение.

Пока они шли к электричке, ждали ее и ехали затем до Москвы, успело стемнеть, и они уже по вечерним улицам добирались домой.

— Как я устала, — сейчас же проговорила Наташа, как только очутилась в комнате, произнесла точно те же слова и точно так же, как приносила их ее мать, когда поздно откуда-нибудь возвращалась с отцом. — Помоги, пожалуйста, снять туфли. — И она затем принялась читать письмо от матери, вынутое Арсением из почтового ящика вместе с газетами, пока она вызывала лифт.

— Ну что она пишет? — спросил Арсений.

— Да все хорошо, — не вдаваясь в подробности, которых в счастливым состоянии своем она сама не могла воспринять, сказала она. — Все хорошо, — повторила она. — В деревне, ты знаешь, я сама люблю жить в деревне, — уже не под влиянием письма матери, а от впечатлений дня, проведенного на даче у Карнауховых, проговорила она, хотя всегда прежде, как только отец ее вместе с нею и матерью после отставки поселился в Москве, утверждала, что никогда и ни на что не меняет столицу.

— Когда домой собираются, не пишет? — пропустив ее слова о деревне, снова спросил Арсений.

— Нет. Да куда им торопиться?

— Ну все же.

— Если ты волнуешься за то, — сказала Наташа, для которой ссора с отцом и вся та история, как она ушла из дома (от этого счастливого восприятия жизни, как она чувствовала себя в замужестве),

давно уже не имели того драматического смысла, из-за чего нужно было переживать ей,— то напрасно. Все уладится. Мать все давно уже уладила,— прибавила она, поняв еще из первых писем матери, что все будет самым лучшим образом улажено ею.— Но день-то какой был сегодня, день! — сказала Наташа, уже переодевшись и в рубашке, забираясь в постель и укладываясь в ней.— Правда, хорошо было? — спросила она, на что, в сущности, ей не надо было ответа.— Я бы хотела, чтобы у нас было все так. Я бы очень хотела... господи, как хорошо! — сворачиваясь в тот детский клубок, как она любила спать, сказала она с той удовлетворенностью жизнью, какая особенно, когда Арсений слышал ее, радовала его.

Он улыбнулся, искоса посмотрев на ее рассыпанные по подушке волосы и на все молодое и казавшееся ему красивым лицо, но того привычного желания сейчас же лечь к ней не почувствовал в себе. Несмотря на то, что ему тоже надо было ложиться и надо было гнать свет, он еще для чего-то потоптался по комнате и затем, как будто вспомнив что-то, подошел к столу и посмотрел на ломик, отобранный им у Юрия и лежавший со вчерашнего дня здесь. Он взял этот ломик, неприятно почувствовав холодную тяжесть его, и оглянулся на Наташу, которая, отвернувшись к стене, уже засыпала своим молодым, крепким сном счастливого человека, и, поняв, что она не видит, что он делал, опять весь обратился к ломуку. Но он уже не думал теперь, был ли это предмет насилия или защиты; та металлическая тяжесть, какую он так ясно ощущал в руке, подсказывала ему только, как он сам мог употребить этот предмет; и то страшное дело, в котором главным противником Арсения был Тимонин,—то страшное дело всеми воображенными подробностями опять встало перед ним. «Так, пожалуй, и совершают люди преступления»,— подумал он, кладя ломик на прежнее место, но продолжая смотреть на него так, будто, несмотря на сознание того, что страшное дело всего лишь мысль, болезненное воображение и что на самом деле ничего этого нет и не может быть с ним в жизни, несмотря на это понимание, продолжая смотреть на ломик так, словно предчувствовал, что будто все же связывало его что-то теперь с этим предметом.

### XXXIII

В середине ночи, после того как бессонно проворочавшись более двух часов и отыскав наконец положение, в каком он мог заснуть, Арсений был вдруг разбужен какой-то тенью, угрожающе будто нависшей над ним. В первое мгновение он подумал, что это только показалось ему; но внимательно всмотревшись своими близорукими, как только он мог видеть без очков, глазами, он вдруг отчетливо увидел чье-то лицо, смотревшее на него, и руку и какой-то, вроде знакомого уже ему ломика, предмет, занесенный над ним. «Что это?» — не столько подумал, сколько сейчас же ощутил всем своим похолодевшим телом Арсений. Не вполне соображая, что и для чего нужно делать ему, но ясно помня (из всех своих вчерашних впечатлений) о ломике, который лежал перед ним на столе, как можно применить его, с проворством, к какому он никогда, казалось, не был способен, он протянул руку, взял этот тяжелый предмет и, кинувшись на откатывшуюся перед ним тень, обрушил всю тяжесть руки и ломика на нее. «Ну вот,— сейчас же сказал он себе, пока что-то рухнувшее перед ним еще ворочалось на полу,— ее больше нет, я уничтожил ее!» Он сказал это прежде, чем произошло все последующее, что заставило ужаснуться его, и в этих произнесенных в первые секунды словах было то главное, что только одно могло оправдать его: что он как

будто выступил против силы (когда-то заставившей отца его залезть под полку-нары), которой боялся всю жизнь, но с которой теперь одним этим ударом было решительно покончено им. «Все, ее больше нет, я свободен, ее больше нет», — вгорячах еще повторил он.

То, что не давало Арсению жить, как он хотел и как считал, что должны жить все люди, и что было противно всем его жизненным убеждениям, он всегда связывал с этой неотвратимой, неуправляемой злой силой. Она попеременно выступала для него в образе то отчима Галины, особенно когда тот был у власти и все в районе подчинялось ему, то брата своей бывшей жены, Дементия, который всякий раз уже одним появлением своим подавлял Арсения, то самой Галины, как он в последнее время воспринимал ее, и в образе усыновленного им Юрия; то тех инстанций, которые все еще одни не сдавали, другие не могли принять выстроенный кооперативный дом, и выдача ордеров на квартиры, то есть то дело, какое так жизненно важно было для Арсения, откладывалось и откладывалось со дня на день; то теперь в образе Тимонина, который стал тем последним звеном в общей цепи событий, когда Арсений уже не мог больше терпеть над собой эту страшную и слепую, противостоящую ему силу и готов был выступить против нее; и он теперь, весь еще возбужденный тем, что совершил, с каким-то злым и радостным чувством продолжал еще держать поднятым перед собой ломик.

— Ты что там делаешь? Кто там? — услышал он голое Наташи, которая, проснувшись, тянулась к настольной лампе, чтобы включить ее. — Кто это? Что?! — после того, как был зажжен свет, спросила она, увидев спросонья только, что Арсений стоял посреди комнаты с чем-то тяжелым в руке и что у ног его, скорчившись, лежал человек, лица которого невозможно было разглядеть ей.

От головы и плеча этого человека расплзлось по полу черное пятно крови.

— Ты что сделал? Кто это? — в ужасе переспросила Наташа, застыв в том положении (с протянутой еще к настольной лампе рукой), как она увидела все.

— Я убил его.

— Кого? За что? Ты что говоришь?!

— Не знаю, но я убил его, — снова и решительно повторил Арсений и, переступив через лежавшего на полу человека, направился к столу взять очки, без которых он чувствовал себя беспомощным.

— Да вот они, вот, — пододвигая к его трясущейся руке очки, сказала Наташа.

Надев очки, но все еще не выпуская ломика, Арсений наклонился над скорченно вздрагивавшим на полу человеком, повернул его голову к себе и по открывшемуся лицу сейчас же узнал Юрия. Глаза Юрия были открыты и были как будто мертвы; но в этом своем мертвом остеклении они так смотрели на Арсения, что он в ужасе откачнулся от этого взгляда и, чтобы не потерять равновесия, уперся было рукой в пол, но угодил ладонью как раз в то теплое и липкое пятно крови, какое расплывалось из-под Юрия. Ужас застывших мальчишеских глаз, и бледно заострившееся лицо, и ощущение липкой крови, от которой Арсений тут же отдернул руку, и, главное, сознание, что это был его сын, так действовало на Арсения, что он позднее помнил только, что почувствовал тошноту и что падает как раз в это теплое и вязкое пятно крови. Он упал, обмазавшись этой кровью, потеряв сознание и не успев даже подумать, как случилось, что он убил сына. Но случилось же только то, что непременно должно было случиться с Юрием, убежавшим из Курчавина и приехавшим в Москву. Ему понадобились деньги, и достать их проще всего было у отца.

Сначала Юрий решил сделать это днем — забраться в комнату и пошарить по ящикам стола и в карманах отцовских пиджаков; но когда не получилось днем, решил повторить ночью и, достав еще один такой же ломик (что было просто сделать ему), какой был отобран у него Арсением, в четвертом часу утра открыл им дверь и проник в комнату. Но прежде чем начать свое дело, решил посмотреть, крепко ли спит отец, и Арсений как раз увидел его в этом наклоненном положении и с ломиком в руке.

Как только Арсений упал, Наташа соскочила с постели и, подбежав и увидев его и Юрия окровавленными, в ужасе схватилась руками за грудь, потом только из того инстинктивного чувства, что надо было что-то предпринимать, с криком: «Помогите!» — выскочила на лестничную клетку, чтобы позвать людей.

В ночной рубашке, обезумевшая, совершенно потерявшая себя, она принялась колотить руками в первую же попавшуюся ей на глаза дверь, отчаянно крича:

— Помогите! Помогите!

Спустя два дня, когда стало известно, что Юрий скончался в больнице и что с Арсением, заключенным в последственную тюрьму, свидание не разрешено ей, Наташа, отлежавшаяся у соседей и пришедшая наконец в себя после пережитого потрясения, отправила матери в Мокшу ту самую телеграмму, по которой отец ее, Сергей Иванович, похоронивший Юлию (и в еще худшем состоянии, чем он уезжал из Москвы), выехал в Москву.

Что ожидало его в Москве, он не знал; но всю ночь в поезде он не то чтобы не мог заснуть, но просто не входил в купе и не ложился, а стоял в коридоре у окна и с тяжелым, как будто давившим его предчувствием (что было, он полагал, от похорон Юлии) смотрел, как над подмосковными полями, деревнями и лесом поднималось летнее серое утро.

#### XXXIV

Дело, какое поручено было возглавить Дорогомилину — строительство песчаногорского птицекомбината, — было так запущено, что его надо было вытягивать, как говорили ему, характеризуя состояние дел этим уютно прижившимся теперь у нас в разных сферах деятельности словом, и Дорогомилин, долгое время работавший в аппарате обкома, не только был хорошо знаком с этим словом, но и с тем, что означало оно для того, кого направляли вытягивать что-то, — Дорогомилин, приняв стройку, был вынужден прилагать те усилия, какие одни только могли поправить дело. Ему был хорошо известен весь тот ступенчатый механизм — с какой ступеньки начинать и требовать что! — при помощи которого можно было наладить бесперебойное снабжение стройки кирпичом, бетоном и другими строительными материалами, и механизм этот, как ни трудно было привести его в действие (как ни трудно было заставить тех, кто составлял этот механизм, обратить внимание на нужды сельской стройки), механизм этот от нажатия известных Дорогомилину пружин был все же приведен им в движение, и замороженно стоявшие по неделям стены будущих производственных корпусов начали заметно тянуться вверх, под стропила, как говорили вокруг. Чтобы еще больше поднять настроение людей (но, в сущности, лишь по-хозяйски отнестись к делу), Дорогомилин решил одновременно со строительством основных объектов начать закладку жилого поселка, и это потребовало от него новых усилий. Он был теперь постоянно занят — не телефонными разговорами и чтением бумаг, как это было в обкоме, не подготовкой

текстов постановлений, а исполнением тех самых формулировок, какие еще недавно составлял сам и в которых так очевидны были ему теперь неточности и просчеты. И Песчаногорье уже не представлялось серым, сухим и унылым полем, неприятно застланным с утра до ночи красноватой строительной пылью, но сама эта пыль, поднимавшаяся над стройкой, вызывала в нем радостное чувство удовлетворенности, что, несмотря ни на что, он все же вытягивал то, что было поручено вытянуть ему.

Но самым главным, что побуждало Дорогомилина к этой энергичной деятельности, было не только то, что он, как начальник строительства, должен был все выполнить добротнo и в срок; он чувствовал себя участником того огромного дела в переустройстве сельскохозяйственного производства, которое вопреки вдруг возродившемуся отчего-то мнению, что будто русского мужика только не надо трогать и тогда он завалит всех хлебом и мясом,—вопреки этому вдруг отчего-то возродившемуся мнению, началось осуществляться в стране. Оно было продиктовано жизнью, то есть теми растущими потребностями городов и промышленных центров в продуктах питания, удовлетворить которые уже невозможно было только за счет «петушков» и «курочек», выращивавшихся на примитивных колхозных фермах или в частных дворах; нужно было наладить производство (именно производство, как говорили теперь сельские специалисты, употребляя это новое понятие взамен устаревшего — в ы р а щ и в а н и е) этих «петушков» и «курочек» таким образом, чтобы точно так же по заданному плану, как выпускают готовую продукцию заводы и фабрики, ежедневно и в нужном количестве поставлялась бы в продажу продукция обновленной, индустриализированной деревни. И хотя Дорогомилин, может быть, не представлял себе во всем объеме этой проблемы, как она уже вставала перед страной, но и в той мере, как понимал ее, было достаточно, чтобы сознавать себя в центре этого огромного государственного дела.

Но в то время как на работе все шло у него хорошо, в обкоме были довольны им («Оправдал доверие, ничего не скажешь, оправдал»,— говорили о нем), семейные обстоятельства были так плохи, что составляли самую мучительную сторону жизни Дорогомилина. Ему не хватало не только Ольги, не только Веры Николаевны, этой в большинстве молчаливой с ним, старой, привыкшей к определенному стилю жизни женщины, его тещи, с которой он так и не сумел, как ему казалось, наладить отношений, и не только Евдокии, которая будила его по утрам и подавала завтрак, но не хватало того гостиного мира, тех собиравшихся в его доме людей, которых он хотя и презирал, но которые, как он думал теперь, были все же людьми искусства, были тем обществом, без какого невозможна была бы, как убеждала его Ольга, творческая связь поколений; и он, всегда в душе смеявшийся над этой ее фразой, теперь, в отдалении от Песчаногорья, глядя-вываясь в то прошлое и видя его уже не таким, как все было на самом деле, испытывал чувство, будто его не то чтобы обманули, но что по глупости и незнанию он обманул сам, долгое время называя оригинал копией и не признавая его. Он думал обо всем этом болезненно, не находя возможности соединить то, что было для него миром жены и миром интересов и дел, занимавших его; и он так ясно чувствовал это пространство между двумя мирами, в каком он был теперь, что ему казалось, что вокруг возвышались только голые стены этого раздвигавшегося пространства, куда он, так всегда ценивший семью, проваливался все глубже и глубже, не видя, за что можно было бы ухватиться ему.

И все же, как ни очевидна была эта безнадежность, он не допу-

скал мысли, что все было кончено между ним и Ольгой. Несмотря на ее нежелание говорить с ним, несмотря на записку, в которой она сообщила, что не считает возможным быть женою «птицекомбинатчика», как она назвала его, и что для нее смешно и унижительно это; и несмотря на еще и еще множество других поступков, ясно как будто говоривших, что она не хочет жить с ним, он видел, что она не делала главного — не подавала на развод, — и заключал из этого для себя, что все может еще перемениться и что нужно только время, чтобы все вошло в свои берега. Когда он, бывая в Пензе по вызову ли обкома, по иным ли каким своим делам, заходил домой, он обращал внимание на то, что в доме начиналось запустение, что в гостиной уже не собиралось столько народу по вечерам, как бывало прежде, и что те, кто все же приходил, были малоразговорчивы, были в том как будто дурном, вялом, безжизненном настроении, как пчелы в улье, лишенном матки; и, не зная истинной причины, отчего происходило все, то есть тех замыслов Ольги (уехать в Москву и соединиться с Тимофеевым), о которых она не говорила даже матери, полагал, что все было из-за него, и возвращался в Песчаногорье всякий раз с надеждой, что Ольга заметит это и позовет его.

Но время шло, а положение Дорогомилина по-прежнему оставалось неопределенным, и он только не хотел признать это и всячески старался поддержать и среди бывших своих обкомовских сотрудников и в кругу новых знакомых, с кем работал теперь в Песчаногорье, то привычное о себе мнение, что и в личной жизни у него все так же благополучно, как и в общественной. Для чего это надо было ему, он не знал, но он чувствовал, что это было надо, что в этом было что-то престижное, из чего люди заключают, насколько порядочен и основателен тот или иной человек.

### XXXV

В начале августа Дорогомилин должен был в составе делегации советских специалистов выехать в Венгрию, чтобы ознакомиться там с работой птицекомплексов Агард и Баболна, и поездка эта чем ближе подвигалось время отъезда, тем сильнее занимала его, но не столько своей деловой стороной, что он мог увидеть в Венгрии (что одна только Баболна давала сто пятьдесят миллионов готовой птицы в год!), сколько тем, что в Москве, пока будут оформляться выездные документы, он сможет уладить свои семейные и иные дела. Он знал, что Ольга уже больше месяца как была в Москве (по издательским, как она сказала дома, вопросам), и он рассчитывал найти ее и поговорить с ней.

Но, попав в Москву, он не то чтобы не смог выбрать время, чтобы встретиться с Ольгой, но вся та деловая сторона столичной жизни, как только Дорогомилин соприкоснулся с ней, произвела на него такое сильное впечатление, что своя семейная неурядица показалась делом настолько мелочным, ничтожным в сравнении со всем тем, что поразило его, что как только он начинал теперь думать об этом своем семейном деле, испытывал чувство, подобное тому, как если бы по рассеянности (или по старости, как это иногда случается с людьми) вышел к столу с незастегнутой ширинкой. Всего-то бы — провести рукой и застегнуть пуговицу, но делать это на людях было неудобно, надо было искать положение, чтобы выглядеть так же прилично, как все, и Дорогомилин именно искал это положение, чтобы не было никому заметно то мучительное, что занимало его. Выполнив все требовавшиеся формальности и получив паспорт с визой, билет и два свободных дня — субботу и воскресенье, — которые как раз и можно

было потратить на поиски Ольги, он, вместо того чтобы искать ее, сел в электричку и уехал в Одинцово, небольшой подмосковный городок, где жил его двоюродный брат, известный в московских кругах юрист Николай Николаевич Кошелев со своим редким по теперешним временам многочисленным и дружным семейством.

Семейство его состояло из девяти человек: он с женой, теща, пятеро детей, старший из которых, Матвей Николаевич, как теперь в шутку все в доме называли его, поступал в этом году в институт, а четверо других — две девочки и два мальчика — были еще школьниками, были теми как будто беззаботно росшими веселыми и шумными детьми, которые, как это бывает обычно, приносили пока больше хлопот, чем радостей; но ни сам Николай Николаевич, ни его жена Лора, ни старики, у которых имелась своя комната в доме, как ни трудно приходилось иногда им, не только не жаловались на эти связанные с детьми трудности, но не могли бы представить себе иной жизни, чем эта, какую жили теперь. Работал Николай Николаевич в Москве, и хотя не раз возникала у него возможность переехать туда, он не решился сделать этого сперва потому, что предлагавшиеся квартиры, он видел, были тесны для его все разраставшегося семейства (да и стариков нельзя было оставить, так как невозможно было бы Ларисе одной управиться с детьми), но потом, по мере того как увеличивалось в городе машин, как наполнялись гарью и шумом улицы, не переезжал уже потому, что чистый одинцовский воздух и тишина того окраинного переулка, где стоял приобретенный им уже после войны огромный каменный дом с участком леса и сада, представлялся ему тем единственно сохранившимся как будто среди асфальта, стекла и бетона островком живой (по его же выражению) жизни, где можно было еще дышать, ходить по траве, видеть росу, слышать пение птиц и знать, что есть день и есть ночь, а не только однообразный, холодный свет фонарей, с вечера и до утра заливавший проспекты и площади столицы. Он любил этот свой дом; любил точно так же, как любил жизнь с ее бесконечными сложностями, поиском истин и совершенства, без чего невозможно, как говорил он, никакое движение; как любил, уйдя в летний сад и покачиваясь в плетеном кресле, полистать воскресные выпуски газет, остановив взгляд на тех страницах, где печатались происшествия, фельетоны и всякого рода иная развлекательная как будто информация, по которой он, как юрист, при помощи различных своих умопостроений определял для себя современное нравственное состояние общества; как он любил сырники по утрам, готовившиеся и подававшиеся тещей, и любил ощущение дороги, когда, позавтракав, мчался по Минскому шоссе в своем бежевом «Москвиче» на работу; как он любил ходить по лесным полянам в шортах, открывавших его иссиня-белые по весне ноги в стоптанных сандалиях, столько раз намокавших и высохавших, что им, казалось, уже не грозило быть более сношенными, и в столь же древней соломенной шляпе, под которой все меньше и меньше оставалось на голове волос; он любил дом точно так же, как и все, что окружало его и было привычным, и, может быть, именно потому, как ни сложна была его адвокатская деятельность, требовавшая определенного напряжения сил, в свои пятьдесят два года он оставался таким же спокойным, уравновешенным и веселым человеком, каким был в двадцать, тридцать и сорок лет.

Известность же свою в юридических кругах он приобрел после одного из крупных и шумных (в начале пятидесятых годов) судебных процессов, на котором выступил в роли защитника. Вскоре после процесса он был избран членом Президиума коллегии адвокатов, положение его в обществе укрепились, и так как он, как и большинство

юристов, имел склонность к журналистской деятельности, он постепенно начал выступать в периодической печати со статьями на моральные и нравственно-этические темы. Статьи эти приносили ему и дополнительную известность и деньги, которые были необходимы, чтобы содержать в достатке многочисленное семейство, и хотя свою журналистскую деятельность он шутливо называл «мое хобби», на самом деле нравственные вопросы глубоко занимали его. И чем больше он вникал в них (чем больше публиковал статей, повторявших пока лишь известные положения), тем очевиднее становилось ему, что что-то главное, что надо было сказать людям, ускользало от него. Прислушавшись к тем раздававшимся (в те годы) из разных слоев общества голосам, что от людей нельзя скрывать всей правды, что умалчивание правды есть преступление, должное непременно (и нехорошо!) сказаться на будущих поколениях, но не уяснив, что же следует вкладывать в это понятие правды, он вдруг решительно выступил в одной из своих брошюр в защиту этого, в сущности, никогда и никем не опровергнутого тезиса, и ему сейчас же был печатно задан вопрос: о какой правде он ведет речь? О правде, размывающей историю, или правде, утверждающей ее? Правде, к примеру, Бородина или правде дворцовых интриг и планов разных пфуйей и бенигсенов, поставивших в свое время русское войско в самое невыгодное положение перед армиями Наполеона? Оскорбившись, что его не захотели понять, но затем поразмыслив, Кошелев пришел к выводу, что вопрос этот был вполне справедливо задан ему и что на него надо было отвечать; но он чувствовал, что однозначно ответить на него нельзя, и как раз в эти дни, когда мучительно обдумывал, как же все-таки он должен ответить своим публичным оппонентам, вдруг, выйдя августовским утром на крыльцо, увидел перед собой неуклюжую и долговязую фигуру Семена Дорогомилина.

— Кого вижу, вот так номер, кого вижу! — сейчас же воскликнул он, сверху, с крыльца, глядя на загоревшее (на стройке) и мрачное (от семейных неурядиц) лицо брата. — Один? Надолго? Ну рад, рад, хотя... мог бы и позвонить, — не давая ответить Дорогомилину и спускаясь к нему, чтобы обнять его, сказал Кошелев.

Он был в тех самых шортах, сандалиях и шляпе, как он любил ходить на прогулку, и был весел после хорошего сна и завтрака. Он намеревался, пройдясь по полянам, сесть за письменный стол и начать наконец эту свою ответную брошюру, которая никак пока не давалась ему, но теперь, при виде брата, не то чтобы сейчас же забыл о своем деле, но по известной поговорке, что на ловца и зверь бежит, мгновенно увидел в этом неожиданном появлении Дорогомилина ту для себя возможность уточнить свои мысли (то есть утвердиться в том, в чем он еще колебался и чего недоставало ему, чтобы начать брошюру), что можно было сделать только лишь в разговоре с братом, с которым можно было быть по-родственному откровенным и от которого в то же время можно было услышать вполне определенное как от знающего обкомовского работника мнение. «Как ты вовремя, как я рад», — продолжал еще восклицать Кошелев, не произнося вслух этих слов, но выражением глаз стараясь передать их брату.

— То-то Лора вчера говорит: забыл нас что-то Семен, а ты, ну, легок на помине, скажу, ну, легок, — еще держа руку на плече брата, сказал он. — Из Пензы? Один? Надолго? — И он опять спросил то, о чем минутою раньше уже спрашивал Дорогомилина и на что не дал возможности ответить ему. — На совещание? На семинар?

— Нет. Еду в Венгрию.

— Как в Венгрию? — удивился Кошелев, хорошо знавший, что по той должности, какую Дорогомилин занимал в обкоме, его не могли

как будто послать за границу.— Ну так и хорошо, так и прекрасно, и поезжай,— вместе с тем проговорил он.— Но что же мы стоим здесь, у порога? Давай в дом, ты не представляешь, как я рад видеть тебя, и у меня есть о чем поговорить и посоветоваться с тобой,— сказал он, в то время как уже заметил, что брат был как будто расстроен чем-то.— Завтракал? Нет?— еще спросил он, пропуская вперед брата.

### XXXVI

Очувтившись в той большой комнате, где Кошелевы обычно принимали гостей, поздоровавшись с Лорой и детьми, которым он дал по плитке шоколада, купленного им в последний момент на Белорусском вокзале, и сев затем в предложенное ему кресло (напротив брата и Лоры, успевших уже устроиться на стульях перед ним), Дорогомилин сейчас же ощутил ту как будто неуловимо из чего и как складывающуюся домашнюю атмосферу жизни, какой всегда недоставало ему у себя дома и какой он завидовал, бывая здесь, у брата. Ему казалось, что брат сумел поставить себя в семье, но что он, Семен, не сумел сделать этого; и в том состоянии ссоры с Ольгой, в каком он был все эти последние месяцы, особенно остро почувствовал теперь это различие между собой и братом Николаем. «Вот так, наверное, и надо жить: проще, проще»,— невольно и про себя произнес он то, что всякий раз говорил себе, бывая у брата и видя только эту внешнюю сторону его жизни, то есть то привлекательное, что было лишь результатом усилий, из чего складывается благополучие и счастье, но не сами те усилия, от которых зависит все. Он восторгался семейной жизнью Кошелевых точно так же, как прохожие восторгаются иногда красиво одетым и ухоженным ребенком, которого мать ведет за ручку по саду, забывая, что и за этим ребенком (как и за всяким другим) немало было стирано пеленок, немало было проведено у его кровати бессонных ночей, было разных тревог, огорчений, радостей и прочего и прочего, что остается невидимым за этой минутой торжества матери, когда она как бы выставляет (вольно или невольно) плоды своего труда на обозрение людям. Кошелевы как будто не выставляли этих плодов своего труда, но жавшиеся возле матери девочки, которыми любовался теперь Дорогомилин, проникаясь их веселым настроением и улыбаясь им, казались такими ухоженными, такими счастливыми (тем своим счастьем, что они любимы всеми), что на них нельзя было смотреть иначе чем так, как он смотрел на них.

Точно то же впечатление производили и мальчики, только что, до прихода Дорогомилина, занимавшиеся чем-то у окна и теперь смотревшие на своего дядю из Пензы, который отчего-то, что было непонятно им, редко бывал у них, но о котором (из разговоров родителей) они знали, что он там, у себя дома, большой человек! Оба мальчика — Владимир и Александр — были, как и отец, в шортах и светлых, разного оттенка рубашках, сшитых Лорой, как и платица, что были на девочках, и еще многое из того, что она носила сама и носил муж; она не была портнихой и ни у кого не училась этому мастерству, но была из тех любительниц этого дела, у которых благодаря их стараниям обычно получается не хуже, а иногда лучше, чем у мастериц; и хотя Лора хорошо знала о себе это, но все же теперь, перехватив взгляд Дорогомилина и по-своему поняв его (зная, что интересовало его в ее детях), торопливо взглянула на Владимира, Александра и девочек, так ли все было на них, и не проступала ли в их одежде ее домашняя самодеятельность. Ей хотелось посторонним взглядом посмотреть на них, но как она ни старалась увидеть то, что насторожило бы ее, она увидела только то, что видела всегда и что представлялось ей при-

личным и красиво сидевшим на них. Она снова обернулась к Дорогомилину и, уловив по выражению его глаз, что он любит ее детьми (и что ими действительно нельзя было не любоваться!), вдруг, как будто застеснявшись чего-то хорошего, что она хотела сделать незаметно, но что открылось и было теперь видно всем, краснея, притянула к себе девочек и, одинаково выказывая любовь к ним, поочередно поцеловала их в темные причесанные головки.

— Идите играть, идите,— сказала она, и лицо ее еще сильнее залилось тем светлым румянцем, какой происходил не столько от неловкости, что она была теперь в центре внимания, сколько от радости, поднимавшейся в ней от сознания того, что, несмотря на всю неожиданность появления Дорогомилина, она не только не была застигнута врасплох (как это бывает у ленивых и неряшливых хозяек), но что все выглядело у нее (все — было для нее ее дети) ничуть не хуже, чем если бы она знала о приезде деверя и готовилась к встрече с ним.

«Вот истинное назначение женщины,— подумал Дорогомилин, в то время как он смотрел уже не на девочек, а на то, как мать ласково целовала их.— Как они должны быть счастливы все!» И он сейчас же представил Ольгу и свой образ жизни с ней. «Да, да, вот истинное назначение»,— повторил он, чувствуя, что, несмотря на всю свою любовь к Ольге и то понимание, с каким теперь, не видя ее, относился к ней, был весь на стороне Лоры и точно так же, как и Лора, но только от этой своей мысли, что он как будто предавал жену, весь ото лба, от корешков волос до шеи залился тем же светлым румянцем смущения. Он знал, что красота Ольги давалась ей тем, что она постоянно следила за собой; она не позволяла себе есть то, от чего могла пополнеть, каждое утро взвешивалась на весах, которые она держала в спальне, и употребляла всевозможные кремы для укрепления волос (отчего, наверное, они как раз и выпадали) и белизны, если было модно, или смуглости кожи; он знал это за Ольгой и чувствовал всю искусственность ее красоты. Но то, что с таким трудом давалось Ольге, он видел, было как будто безо всяких усилий у Лоры, было как бы естественным состоянием ее жизни, и потому в красоте ее чувствовалось больше женственности, чем в красоте Ольги. Лора не то чтобы была худая, но просто не была так полна, чтобы нельзя было различить всех изгибов ее стройного и молодого еще тела; лицо ее было всегда смуглым, а волосы так густы, что, казалось, их трудно было собрать в пучок и заколоть на затылке; и все же они всегда были аккуратно подобраны и заколоты и придавали ее голове ту особенную, классическую форму, когда все в женщине представляется красиво соразмерным: и плечи, и шея, и грудь, и руки, которые Лора теперь, отпустив девочек, держала перед собой на коленях. «Да, назначение именно в этом»,— еще раз повторил он, отводя взгляд от Лоры и еще заметнее краснея, но уже не оттого, что близко и понятно было ему ее материнство, но от другого, что он всегда испытывал при виде ее: что и он, как и двоюродный брат Николай, мог бы быть вполне счастливым с ней.

### XXXVII

После коротких взаимных вопросов, как здоровье, как жизнь, как дела и т. п., Дорогомилин, несмотря на возражения, что уже завтракал в гостинице, был приглашен к столу, и мясной пирог, чай со сливками и варенье, поданные ему, веселая возбужденность Николая Николаевича, еще находившегося под тем своим впечатлением, что «на ловца и зверь бежит» (что вот этой-то встречи с братом и не хватало, чтобы засесть за брошюру!), стеснительная суетливость Ло-

ры, которая в отличие от мужа и заметила и догадалась, отчего так деверь смотрел на нее, и вся продолжала еще как бы светиться тем румянцем смущения, который только более молодил ее гладкое и красивое лицо, и основательность и серьезность стариков (тестя и тещи Николая Николаевича), выпедших посмотреть на гостя и перебраться словом с ним, лишь усилили в Дорогомилине то чувство теплоты, уюта и расположения, какое он с удовольствием теперь испытывал в семье брата. Он снова подумал, что здесь не было тех ложных гостиных отношений, какие создавала в его доме Ольга, а было, казалось, только то простое, естественное, что напоминало Дорогомилину родительский дом; и напоминало то крестьянское, от чего он, несмотря как будто на всю приближенность свою (по работе) к сельской жизни, был, в сущности, более отдален, чем его брат Николай. И дело заключалось не в ситцевых занавесках и тех скобленных ножках дубовых столах, некрашенных скамьях и табуретках, что одно только (по какой-то давней и странной традиции) может как будто характеризовать крестьянский быт и чего, разумеется, не было в доме Кошелевых, и не в коврах и картинах (как бы в противоположность крестьянскому), которых у Кошелевых было не меньше, чем у Дорогомилина, и не в фарфоре, хрустале и нарядах, что так выпирает иногда в обеспеченных семьях; все заключалось в другом — в той соразмерности всего, что можно было видеть и чувствовать, нельзя было объяснить и разложить на составные части. Николай Николаевич никогда не думал о себе, что он примерный семьянин (как не думали об этом Лора и все остальные члены семьи), и не делил свою жизнь на ту, которая была бы для себя, и ту, которая была бы для людей, то есть по которой могло бы складываться о нем общественное мнение; он не делал, как это принято говорить теперь, жизнь, а жил ею, глядя на все вокруг себя тем простым взглядом, что все разумное, справедливое надо поддерживать, а неразумное, злое пресекать, суть которого он никогда не пытался философски сформулировать для себя (тем более сформулировать это в своих брошюрах), но именно эта неписаная философия жизни как раз и делала его человеком мягким, открытым и доброжелательным к людям. То, что Дорогомилину представлялось чем-то особенным, что должно было как будто быть в брате, умевшем так поставить семью, было на самом деле так просто, так просто, что невозможно было поверить, чтобы все заключалось именно в этом; и Дорогомилин, как и брат, хорошо знавший эту философию жизни, не верил все же, чтобы вся мудрость состояла только в этом и чтобы не было чего-то более сложного, чем бы руководствовался брат в делах и поступках.

— Не могу понять: столько детей и так у тебя все складно,— как-то, не выдержав, сказал Дорогомилин брату.

— Детей народить — невелика хитрость.

— Нет, Николай, я удивляюсь тебе,— подтвердил Дорогомилин.

— А ты-то что отстаешь? Ольга не хочет?

— Но она же литератор,— сейчас же возразил он.

Николай Николаевич только пожал плечами, ничего не ответил, и Дорогомилин понял, что аргумент его не был принят; и он впервые после того разговора усомнился в правоте Ольги. «А не обкрадываем ли мы себя?» — подумал он, и сомнение то теперь, когда он так чувствовал семейную атмосферу брата, вновь беспокойно шевельнулось в нем. В то время как Лора вставала, чтобы подать что-то на стол или убрать с него, он смотрел на нее, но не на лицо, плечи и волосы, а на то, что было на уровне его глаз (было ниже ее груди), и сейчас же смущенно краснел от той мысли, какая приходила ему, что она пятых детей родила Николаю. И он тут же вспоминал Ольгу с ее сухо-

ватыми бедрами (и всей той предусмотрительностью, чтобы не зачать, как говорила она, словно чем-то ледяным окатывая его всякий раз перед супружеской близостью), и несмотря на то, что Дорогомилин сознавал, что нехорошо было думать так, как он думал теперь о своей жене и жене брата, он никак не мог отделаться от мысли, как бы он жил не с Ольгой, а с Лорой и как бы все раскрепощенно и естественно было у него с ней в этой жизни. Он слышал, что говорили ему Николай Николаевич, Лора, старики, но позднее, когда пытался припомнить, о чем шел разговор, не мог ничего воспроизвести в памяти; лишь когда Лора, а потом и старики вышли из кухни и Дорогомилин остался один с братом, к нему наконец вернулось то спокойствие, когда он, помрачнев и остыв лицом, стал рассудительно отвечать брату.

— Ну что Ольга?! Что Ольга?! — лишь на этот вопрос о жене вспыхливо проговорил Дорогомилин, и Николай Николаевич, догадываясь о семейных неурядицах брата, больше не спрашивал его о жене. — Живет, пишет, печатает. Ты вот обо мне спроси. — И с той насмешкою, с какой еще минуту назад Дорогомилин не думал говорить о себе, он рассказал, как из аппарата обкома был брошен на строительство птицекомбината, чтобы вытягивать его.

— Это что, повышение или понижение? — поинтересовался Николай Николаевич.

— А я, знаешь, как-то не думал об этом, — сейчас же ответил Дорогомилин, для которого вопрос этот и в самом деле существовал только в той связи, что еще прежде ему задала его Ольга. — По крайней мере у меня теперь конкретное дело, — вместо того, чтобы сказать, как он сказал Ольге, что так неправомерно и нельзя ставить вопрос, уклончиво проговорил он.

— Важно, разумеется, что пост. Это важно, — согласился Николай Николаевич. — Но вы-то там у себя, на конкретных делах, вы-то хоть следите за нашей нравственной перепалкой? — затем спросил он, подчеркнуто произнеся это «нравственной», чтобы начать ту самую беседу с братом, какую давно уже хотелось повести ему. — Читал, как всепублично отхлестали меня?

— Нет. За что же?

— За правду, — просто и спокойно сказал Николай Николаевич.

— За какую правду?

— Вот-вот, видишь, и ты говоришь: за какую? А разве есть правда, которую можно назвать неправдой? Или неправда, которую можно назвать правдой? Правда одна, только то, что есть правда, и тут невозможно никакое деление. Правда, высказанная наполовину, это ложь, — сказал Кошелев, сосредоточенно соединяя брови, как делал это, когда ему надо было на несколько ходов вперед продумать то, что он хотел сказать. Он сидел перед Дорогомилиным во всей той одежде — сандалиях, шортах и со шляпою, которую держал на голых коленях, в какой собирался пойти на прогулку; но при всем этом внешнем впечатлении, что он как будто и теперь торопился куда-то, по выражению лица его было видно, что он основательно намеревался поговорить с братом. — Как ты смотришь на эту проблему? — спросил он.

— То есть в каком смысле?

— В прямом, разумеется.

— Ну, прежде всего ты неправильно понял мой вопрос, — ответил Дорогомилин, охотно вступая в разговор, который, во-первых, отвлек его от неприятных дум, и, во-вторых, надо же было как-то провести время у брата, и этот ни к чему не обязывающий общий разговор вполне удовлетворял Дорогомилину. — Я имел в виду: значитель-

ная или незначительная правда, стояло или не стояло из-за нее копыа ломать?

— Нет, дело в принципе,— возразил Николай Николаевич.— Я, например, убежден, что людям всегда надо говорить правду всю как она есть: и в плане сегодняшнего дня и, разумеется, в историческом плане.

— А кто у нас запрещает это?

— Но мне публично задают вопрос, какую правду я имею в виду,— продолжал свое Николай Николаевич.— И теперь я уже сам себя спрашиваю: что же, выходит, что всякие исторические события подразделяются на ту правду, о которой следует говорить, и ту, о которой не следует, на ту, которая нужна народу, и ту, которая не нужна? А кто это должен определять? Народ? Как, позволительно узнать? Каким образом? Вот ты больше меня общаешься с народом, можно сказать, там у самых корней, так вот скажи, как народ смотрит на это дело? Как смотрят на все это простые люди?

— Народ? — с улыбкою переспросил Дорогомилин.— Народ работает, и если хочешь, никакого дела нет ему до ваших схоластических споров. Да ему и неинтересно это. Для народа правда только одна — жизнь! Или она хороша, или она плоха; или есть у человека достаток, или его нет, и тогда народ старается, чтобы достаток этот был. И если он удовлетворен жизнью, он готов сделать все, чтобы защитить ее.

— Но жизнь-то надо направлять, от чего-то отталкиваться, что-то принимать, что-то отрицать, а значит, знать и учитывать все. Все! — повторил Кошелев, в то время как на кухню снова вошла Лора, вся правда которой теперь, кажется, состояла только в том, чтобы как можно лучше приготовить обед для семьи и гостя.

### XXXVIII

Николай Николаевич с братом перешли в большую комнату, чтобы продолжить разговор. Но разговор их, в сущности, был уже нарушен той чувствовавшейся в доме суетой, как это бывает обычно в больших семьях при появлении гостя, которая происходила от возбужденного состояния и детей и взрослых, желавших угодить гостю и побыть с ним. В комнате то и дело оказывались то девочки, то мальчики, заходившие как будто за чем-то своим, но с очевидным намерением побыть с дядей и что-то смешное или доброе услышать от него. Лора же без конца совещалась с матерью, выбирая, что приготовить и подать к столу, чтобы деверь остался довольным, и несколько раз на этот свой совет вызывала Николая Николаевича, который, однако, говорил им только, что все, что они задумали, было хорошо и надо было делать (хорошо в том смысле, что сам он был огражден от участия в этом деле); в конце концов, чтобы не стеснять женщин и не стеснять себя их хозяйской суетою, он решил, что лучше всего было пригласить брата на прогулку.

— Ну так как? Не пожалеешь,— сказал он брату.

И спустя четверть часа Дорогомилин вслед за Николаем Николаевичем, размашисто шагавшим впереди, уже подходил к тем самым полянам — излюбленному месту прогулок брата,— которые и в самом деле выглядели так живописно со всеми своими свежесметанными стожками сена, что не только не напоминали о близости Москвы или вообще какого-либо большого или маленького города, но, напротив, создавали впечатление, будто весь тот современный суетный мир с его техникой, всевозможными унификациями и скоростями был лишь странно приснившимся нереальным сном, но что та крестьянская

жизнь, как она тысячелетиями протекала на этой земле, протекала и теперь, не меняясь и не утрачивая своей притягательной силы. И сила эта сейчас же заставила и Кошелева и Дорогомилина остановиться и посмотреть на стожки.

— Н-ну? — сказал Кошелев, довольный тем, что привел сюда брата. — Каково? — добавил он затем, как будто показывал результат своего труда.

— Ты чем хочешь удивить меня? — спросил Дорогомилин.

— Но... все же?

— Если бы мы на таком уровне — граблями да вилами — вели наше сельское хозяйство, мы давно бы уже по миру пошли, — сказал Дорогомилин, улыбаясь и чувствуя, что отвечает не на то, о чем спрашивают его. — Нас теперь радует другое.

— Я понимаю, — согласился Николай Николаевич. — Но обрати внимание: что там? — И он показал в сторону Москвы, лежавшей где-то за лесом. — И что здесь? И я не могу отказаться ни от того, что там, — он снова показал в сторону Москвы, — ни от этого, что здесь.

— Ну и что?

— Там — я работаю, здесь — отдыхаю душой.

— Для тебя так, а для другого наоборот — здесь работа, а там отдых. Естественно, объяснимо и просто, если хочешь.

— Просто, да и не просто, — сказал Николай Николаевич, как бы оставляя еще за собой право вернуться к этому разговору.

Они двинулись дальше, уже по открытому пространству, и справа и слева от них, то расступаясь перед ними, то будто опять сходясь, стоял в полуденном безветрии лес с орешником и подлеском. Все вокруг было залито теплым августовским солнцем, Николай Николаевич снял рубашку, чтобы немного позагорать, как пояснил он, и Дорогомилин, так как брат по-прежнему шел впереди, видел теперь его голую спину, сплошь покрытую крупными старческими веснушками. «Берут годы», — подумал Дорогомилин, в то время как брат Николай, приостановившись и обернувшись, вдруг и решительно опять заговорил о том своем деле, которое, как видно, во все время пути продолжало молча занимать его.

— Так ты все-таки скажи мне, — сказал он, — правомерно ли так ставить вопрос — о какой правде идет речь? — или неправомерно?

— Если бы ты попросил меня рассчитать котлован под фундамент, — ответил Дорогомилин с той уклончивостью, как если бы говорил не с близким себе человеком, а с кем-то посторонним, по служебным делам пришедшим к нему, — я бы не задумываясь сделал это. Но ты просишь такое, в чем я не компетентен помочь тебе.

— А кто же тогда компетентен? — возразил Николай Николаевич. — Давай порассуждаем. — Он свернул с тропинки и, пройдя шагов двадцать к лесу, сел в тени на поваленное сухое дерево и надел рубашку. — Садись, — предложил он Дорогомилину. — Так давай порассуждаем. Мне важно, как ты смотришь на это дело, — сказал он, нажимая на слово «ты» и как бы подчеркивая этим, что, во-первых, говорит все же с братом и, во-вторых, с человеком, так ли, иначе ли, но близко стоящим к партийному руководству.

— Как я смотрю... но как я могу смотреть? — в свою очередь возразил Дорогомилин. — Я знаю, что партия всегда учила и учит говорить людям правду, и я вижу, так оно и есть. А твои рассуждения — это седьмая вода на киселе. Ведь ничего конкретного у тебя нет, только понятия и фразы.

— Ну нет, изволь, пожалуйста, — сейчас же суетно начал Николай Николаевич и стал приводить тот самый пример, какой приводился в статье, критиковавшей его. — В чем, скажем так, правда восемьсот

двенадцатого года? В Бородинском сражении? Или в том, почему мы вынуждены были бежать до Бородина, чтобы наконец там дать сражение? Только ли в конечном результате или же и в причинах? — И в то время как Дорогомилин собрался было уже что-то ответить, Николай Николаевич вновь и запальчиво перебил его: — В этом ли нашем русском патриотизме, что мы сожгли Москву, как нас уверяют теперь (хотя я сомневаюсь, чтобы мы, именно мы сделали это!), или, наконец, в том, почему все же случилось так, что Наполеона допустили к Москве и позволили ему сжечь ее? Я знаю, что ты ответишь, — тут же сказал Николай Николаевич. — Что есть одна правда — правда Бородина. Но так ли, подумай, так ли только? — И, говоря это, он так напряженно смотрел на брата, что как будто готов был вот-вот вскочить и бежать куда-то.

— А что тебя так волнует двенадцатый год? — спросил Дорогомилин.

— Но ты же хотел конкретное.

— Не хитри, Николай. Передо мной-то не хитри, — сказал Дорогомилин с той улыбкою, что он наконец понял, чего хотел от него брат. — Тебе нужен не двенадцатый, а сорок первый и сорок пятый, так с этого бы и начинал и не морочил мне голову. А то: правда, правда... Чувствую, что что-то тут зашито, а что?.. Так вот что я скажу тебе на все твои зигзаги: правда одна, и не в том, что фашисты топтались у стен Москвы, а в том, что мы взяли рейхстаг и Гитлер был вынужден сжечь себя и пустить пепел по ветру. Нет, не перебивай, — предупредительно подняв руку, попросил Дорогомилин. — Я слушал тебя, теперь слушай ты. Ты хотел знать мое мнение? — с тем ощущением, что он говорит не только от себя, но выражает общенародный, общепартийный взгляд на все дело, продолжил он. — Пожалуйста. Я не одобряю ваш спор. Как фронтовику и как русскому человеку вообще мне непонятно, для чего и зачем возник этот спор. Для чего нам изображать войну так, будто мы только и делали что подсиживали друг друга (в большом ли, малом — все равно!), а не сражались с немцами? Да и так ли было все? Нет. Ты же знаешь, и враг был, что называется, и мы, несмотря ни на что, дошли до Берлина. А все наслоения, которые сейчас этак щекочут общественное мнение, — все эти наслоения уйдут, и в памяти народной, как и в истории, останется только одно — победа.

— А правильно ли и хорошо это?

— Правильно ли, хорошо ли, да от нас просто не зависит. Какой же народ позволит, чтобы усилия его были сведены на нет? Ты посмотри, что делается на Западе? Там так пишут о войне, что не только свои куцые и сомнительные победы, но и даже поражения пытаются представить в самом выгодном для них свете. А мы что же, победы наши должны обращать в поражения? Не понимаю и никогда не пойму этого. И народ не поймет. Так что конечная и главная правда — правда Бородина, правда народных усилий, а не дворцовых интриг и бездарных распоряжений. Схоластичен ваш спор, Николай, и он упадет, как сухой лист, и сгниет в почве.

— Что касается Запада, да, но у них там свои цели, — сказал Николай Николаевич, который не мог так сразу согласиться с братом, хотя и чувствовал в душе, что брат прав и что нельзя не согласиться с ним.

### XXXIX

Пора было идти домой, и Николай Николаевич сказал об этом. Но и сам он и Дорогомилин продолжали еще некоторое время сидеть, молчаливо поглядывая на поляну, лес и небо, открывавшиеся им.

На поляне то появлялись люди—одни шли от города к прудам, другие уже от прудов к городу,— то поляна опять пустела и только видны были на ней те самые стожки сена, которые столько чувств, как снова заметил Николай Николаевич, пробуждали в нем и на которые с совершенным спокойствием смотрел Дорогомилин.

— Нет, что бы там ни говорили, а природа — великое дело,— наконец растроганно заключил Кошелев.— И глазом и сердцем — всем отдыхаешь.

— Великое дело: и хлеб растить и спутник запустить. Да и что теперь не великое? Ты процессы еще ведешь? — спросил Дорогомилин.

— Как же, хлеб мой.

— И много? Дел-то?

— Нет, я бы не сказал. Нет, не очень.

К вопросу о правде уже не возвращались: Николай Николаевич — потому что не видел возможности спорить с братом и чувствовал, что надо было еще обдумать все (он только заметил про себя, что между статьей, критиковавшей его, и словами брата было что-то общее, к чему нельзя было не прислушаться); Дорогомилин же — потому что вопрос этот (вопрос о правде) ни теперь, ни прежде (так как все было для него ясно в нем) не занимал его; его занимало свое — Ольга, о которой он ни на минуту еще, казалось, не забывал во все это утро, пока был с братом.

Ему снова приходило в голову, что, может быть, все же надо было найти Ольгу и поговорить с ней, и он перебирал в памяти тех общих знакомых, у кого она могла остановиться в Москве. Впереди было еще воскресенье, и можно было успеть сделать это. Но на это надо было решиться, надо было преодолеть то препятствие, которого он не видел, но которое всякий раз, как только он готов был сказать себе: «Да, надо поехать», сейчас же возникало перед ним и останавливало его. Препятствием этим была обычная человеческая гордость, которая не давала унизиться ему (то есть сделать насильственно то, что должно было, как он полагал, разуметься само собой); и тем непреодолимее это препятствие казалось ему теперь, когда он все еще как бы видел перед собой просветленное лицо Лоры и чувствовал всю семейную атмосферу брата. «Или ему повезло, или он все же как-то сумел организовать в доме», — опять и невольно подумал Дорогомилин о брате. Ему захотелось спросить брата об этом, но все то же препятствие не позволило сделать и это, и он только продолжал (в согласии лишь со своей логикой) соединять и сравнивать то, что, в сущности, было несравнимо, несоединимо и имело совсем иные начала и корни.

Но, как это часто бывает, в то время как Дорогомилин был как будто всецело занят своими мыслями и с безразличием смотрел на стожки, лес, поляну и людей, проходивших по ней, он сейчас же и еще издали заметил, едва только молодой человек с мольбертом (и девушкой рядом) вступил на поляну, что было что-то знакомое в нем. «Кто?» — подумал Дорогомилин, вглядываясь и чувствуя (чем ближе подходил молодой человек), что ошибки не было и что, несмотря на всю невероятность, он все же видел теперь хорошо знакомого себе человека.

— Да это же Митя! Гаврилов! — не совсем еще различая лицо Мити, но уже ясно сознавая, что это он, воскликнул Дорогомилин и встал, чтобы пойти навстречу ему.— Митя! Митя! Дмитрий! — взмахивая рукою, крича и оставляя позади себя удивленно и озадаченно смотревшего на все брата, кинулся Дорогомилин навстречу Мите.—

Митя! Дмитрий! — И пока Митя, остановившись и повернув свое широкое, с белесоватыми бровями лицо, смотрел на Дорогомилина, тот продолжал торопливо приближаться к нему. — Ты как здесь? Откуда? Каким образом? — сейчас же обрушил он этот перечень вопросов с той своей отеческой интонацией, как он обычно разговаривал с Митей (и с тем ложным теперь чувством озабоченности, что был виноват перед ним за то, что за суетою дел и семейною неурядицей забыл о нем). — И Анна? И вы? — добавил Дорогомилин, узнав Лукашову, которую также хорошо помнил по Ольгиной гостинной.

Несколько мгновений все молча оглядывали друг друга, и Дорогомилин, к удивлению своему, заметил, что Митя был как будто не таким, каким был в Пензе, и что еще более другою, чем он помнил ее, была Лукашова. Митя казался повзрослевшим, но Лукашова, напротив, помолодевшею; и по выражению глаз их, как они посмотрели один на другого, Дорогомилин сейчас же догадался, что между ними должно было быть что-то порочное, что так сблизило теперь их. Он понял это по тому, что сразу же ощутил, что той прежней власти над Митею, какую всегда (по отеческой заботе) имел над ним, — власти той у него теперь не было, но что она была, он заметил, у Лукашовой. «Когда, как я просмотрел это?» — болезненно подумал Дорогомилин, сейчас же представив всю порочную сторону дела (по тем урывочным сведениям, что он знал о похождениях Лукашовой), и покраснел (и за Митю и за Лукашову), как будто и в самом деле застал их за тем занятием, за каким стыдно было ему застать их.

— Как ты здесь, Митя? Что вы здесь делаете? — снова и торопливо спросил он, стараясь выйти из этого своего состояния неловкости, в какое поставил себя. Отойти от них было уже нельзя ему, а молчание лишь усиливало это общее чувство неловкости. — Где остановились? Надолго? — Он смотрел уже только на Митю, ожидая ответа от него.

— Нет, — сказал Митя, все стеснение которого заключалось не в том, что Дорогомилин застал его с Анной. Стеснение его происходило оттого, что он, принимая от Дорогомилина попечительские заботы, никогда не считал его (по разности убеждений) соучастником своего главного дела — картины, над которой он теперь, вдохновляемый Лукашовой, работал еще с большим усилием, чем прежде; и в то время как он чувствовал себя обязанным Дорогомилину и не хотел огорчать его, еще сильнее (и именно от присутствия Анны, внимательно и поддерживающе смотревшей на него) испытывал желание проявить самостоятельность, то есть дать понять Дорогомилину, что он, Митя Гаврилов, уже не мальчик и что не будет отчитываться ни перед кем. — Нет, — повторил он. — Я тут кое-какие эскизы хочу сделать для своей картины. — И он покосился на мольберт, тяжело висевший на его плече.

— С этих левитановских стожков? — удивился Дорогомилин.

— Нет. Тут за лесом старая церковь...

— Опять мертвецы, кресты, могилы, кладбище?!

— Я делаю то, что мне нужно для картины, — сдержанно, но с той скрытой убежденностью, что он не позволит вмешиваться в свои дела, подтвердил Митя.

— Ты взял отпуск?

— Да.

— У кого остановился?

— Мы устроились в Одинцове у моей знакомой, — сказала Лукашова, выдвигаясь и желая заслонить Митю; и по той смелости, с какою сделала это, по выражению лица и тону голоса, как произнесла «мы», Дорогомилин еще яснее почувствовал, что предположение

его о порочной связи ее с Митей было не то чтобы верно, но было так очевидно, что он поморщился оттого, что никаких сомнений на этот счет уже не оставалось у него. Но Лукашова без какой-либо тени смущения, лишь еще больше поражая этим Дорогомилина, продолжала говорить ему: — Мы привезли Митины рисунки, и на той неделе их будет смотреть художник Сергеевский.

— Кто такой Сергеевский?

— Вы не знаете? Очень известный художник.

— Митя, — сказал Дорогомилин не в силах побороть в себе того неприятного чувства, что он не одобряет его связи с Лукашовой. — Я же обещал тебе устроить все, как же ты не подождал? — И он был так убежден в искренности своих слов (хотя минуту назад не помнил и не думал о Мите), что ему казалось, что он вправе был теперь упрекнуть Митю. — Как же ты не подождал? — повторил он, показывая этим свое отношение к Лукашовой.

— Семен Игнатьич, — возразила Анна без той робости (и той заискивающей заинтересованности), как она обычно вела себя в гостинной, но с той новой для нее наступательной интонацией, какая только еще сильнее утверждала Дорогомилина в его предположении. — Он бы еще год ждал, потом еще, еще, но он же талантлив! Ему нужен выход, он не может ждать.

— И вы в состоянии предоставить ему этот выход?

— Да.

— Каким образом, позвольте узнать? — спросил он, уже не скрывая своего недоброжелательного отношения к Лукашовой и неприятно видя в ней в эти секунды какое-то отдаленное и худшее повторение Ольги.

— Это не ваша забота.

— Аня! — Митя резко повернулся к ней, взглядом досказывая то, о чем просил ее.

— Почему?! — сейчас же возразила она. — Пусть Семен Игнатьич знает. Это уже наша с Митей забота, — подтвердила она, с новой и непривычной для себя гордостью глядя на Дорогомилина.

— Вы что же, поженились? — спросил он.

— Да.

— Митя, это правда?

Митя ответил не сразу; опустив глаза, он смотрел себе под ноги. Только когда Дорогомилин повторно спросил, он подтвердил:

— Да. Ну мы пошли, Семен Игнатьич, — тут же сказал он. — Извините нас, мы пошли. Пойдем, Аня. — И, сутулясь, как провинившийся мальчик, пошел по тропинке впереди Лукашовой, не оборачиваясь на Дорогомилина.

— Митя, Дмитрий, да ты погоди, — остановил его Дорогомилин. — Дай-ка твой адрес. Я дней через десять вернусь, и, если ты еще будешь в Москве, я найду тебя. Дай, дай адрес, — повторил он, вспомнив о Коростылеве (хотя это и не было приятно ему) и о том, что тот и обещал и мог помочь Мите. — Ну, говори, — сказал он Мите, раскрывая блокнот и готовя ручку.

## XI

— Кто это был? — спросил Николай Николаевич, подошедший к Дорогомилину, когда тот, уже записав адрес и отпустив Митю и Лукашову, стоял и смотрел, как удалялись они. — У тебя здесь знакомые?

— Нет. Наши, пензенские.

— Художник? — потому, что он заметил мольберт на плече молодого человека, спросил Николай Николаевич. — Сюда и московские

наезжают,— сказал он, все еще находясь в том растроганном состоянии от стожков сена, на которые он опять показал рукой.— Где в городе найдешь такое?

— Если бы это! — сказал Дорогомилин, оглядываясь на стожки, на которые показывал брат.— Он ищет кресты, могилы, мертвцов для натуры.

— Уж не тот ли это сирота-художник, о котором ты так расписал мне?

— Не расписал, а писал,— поправил Дорогомилин.— И я не думаю, чтобы можно было улыбаться по этому поводу.

— Да я и не улыбаюсь, с чего взял?— возразил Николай Николаевич.— Я просто подумал, что вот опять у нас повод вернуться к разговору о войне, и разговор, мне кажется, пойдет не в твою пользу,— сказал он, довольно улыбаясь.— Ты утверждаешь, что главное есть только общие усилия народа, а я вижу, что, кроме этих общих усилий, есть еще у каждого из нас своя, личная жизнь.— И он затем всю обратную дорогу, пока шли к дому, развивал перед Дорогомилиным свою излюбленную теорию о двух линиях жизни, суть которой была заключена в том, что общественная и личная линии (по всей логике вещей, как он говорил) должны бы смыкаться или, по крайней мере, двигаться параллельно, но что, несмотря на очевидность такой логики, линии эти большей частью не только не смыкаются в повседневной жизни, но идут вразрез одна к другой, и как пример, должный подтвердить его мысль, он приводил теперь судьбу Мити. И в ходе этих рассуждений он вдруг почувствовал, что тот мучивший его вопрос — что написать в ответной брошюре? — вопрос тот, в сущности, был прост и состоял не из крайностей, какие предлагалось принять или отвергнуть ему; суть была в сбалансированности всего, в срединности позиции, когда учитывалось о д н о и не отрицалось д р у г о е; и он, еще до прихода брата склонявшийся к этой срединной позиции, все более находил ее теперь не просто приемлемой, но единственно верной, когда, по существу, не надо было ни с кем спорить и все как будто было ясно, но на самом деле было бестелесно, нежизненно, бесплодно. Но Николай Николаевич как находке радовался этой позиции и был удовлетворен и весел; и, когда подходил к дому, уже говорил о грибах и грибном соусе, который, он знал, должен быть приготовлен и подан к обеду.— Может быть, ты и прав,— наконец сказал он брату, сощуренно и весело глядя на него.— Есть что-то схоластическое в наших спорах. Но ведь и без этих споров нельзя. Жизнь не может не воплощаться в определенные нравственные и философские понятия. Должен же в каких-то формах накапливаться духовный опыт народа, а? Да ты посмотри, нас ждут! О, и Матвея вижу на крыльце, сдал, наверное. Ну да сейчас узнаем.— И он прибавил шаг, всем своим настроением уже втягиваясь в привычную ему семейную атмосферу дома.

Спустя четверть часа все уже сидели за столом и обедали, и по разговору, проходившему между взрослыми и детьми, Дорогомилин чувствовал, что ни один из тех общих вопросов, какие брат выяснял с ним во время прогулки, нельзя было ни с какой стороны приложить к семейству Кошелевых; и что их нельзя было приложить и к себе; и всегда прежде не соглашавшийся с братом относительно двух линий жизни, он теперь по-иному думал об этом высказывании его. Но он только по-своему определял эти две линии, видя в одной из них тот схоластический спор по поводу всевозможных понятий, который всегда (и ложно!) воспринимается как общественный пульс жизни (или как интеллектуальная высота его!), и в другой — то, что как раз составляет суть жизни, или, говоря иначе, со-

ставляет повседневные заботы людей и приносит радость или огорчения им. «Он будет доказывать в своей новой брошюре, что надо считать правдой,— думал Дорогомилин, глядя на брата,— тогда как вся правда для него в том, что сын его Матвей поступает в Институт международных отношений. Он живет этою правдой и счастлив ею, но отчего-то полагает, что для всех других должна быть какая-то иная правда?» И он смотрел на брата тем непривычным для себя взглядом, как будто вновь открывал его для себя.

— Так, значит, туговато, говоришь, приходится вам, москвичам?— между тем весело (и как будто в подтверждение всех теперешних размышлений Дорогомилина) спрашивал Николай Николаевич у сына.

— Он его по-английски — пожалуйста! Он его по-французски — пожалуйста! Да как, папа, как! Без запинки,— восторженно отвечал Матвей, в третий уже раз пересказывая то, что поразило его, когда он сегодня сдавал вступительный экзамен по иностранному языку. Он говорил о Борисе Лукьянове, о котором знал только, что тот из деревни; и это-то, что из деревни и что так хорошо был подготовлен по иностранным языкам (и, главное, благодаря этому имел больше шансов пройти в институт, чем Матвей),— это-то и казалось поразительным и возбуждало теперь общий интерес.

— Вот вам и уровень преподавания: что в Москве, что в деревне. А ведь раньше было, если ты окончил московскую школу...— начал было Николай Николаевич.

Но Лора перебила его:

— Ты не прав, Коля, все учатся по одной программе.

— Учатся по одной, но учат — разные.

— Нет, ты не прав, нет, нет, Коля.

— Ну, может быть, в какой-то степени и да. Везде можно быть дураком и можно стать умным, смотря как сам возьмешься за дело,— согласился Николай Николаевич (по той самой срединной позиции, какую он принял для написания брошюры и какая так удобна и кстати оказалась теперь).— Так что же тебя ожидает, Матвей, дипломатическая карьера или международная журналистская деятельность? — задал он тот вопрос, который, в сущности, задавать было еще рано, но который занимал уже теперь все семейство Кошелевых, так как им казалось, что сын их в том ли, ином ли случае, но выдвигался в государственную сферу деятельности; и до конца обеда все уже только и говорили об этих открывавшихся возможностях перед Матвеем.

О Дорогомилине было как будто забыто. Но он не испытывал неловкости. К нему опять вернулось то чувство зависти к семейной жизни брата, какое еще утром заставляло краснеть и смущаться его, и он старался не смотреть на Лору; но он поминутно чувствовал, что она была за столом, и та мысль, как бы он (вместо брата) жил с ней,— мысль эта постепенно вытесняла в нем все другое, что могло занимать его; и хотя он, как и утром, вполне понимал, что нехорошо было думать так, как он думал (то есть желать того, чего он желал), он не в силах был остановить в себе это. Он видел жизнь, какой не было у него, и он чувствовал себя обделенным без этой жизни.

*Конец второй книги*



---

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ



## МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

Здесь август выглядит пригоже,  
Добротна осень —  
Границы области похожи  
На цифру восемь.  
У Шмидта падает пороша,  
На Оле солнышко, беспечность —  
Границы области похожи  
На бесконечность!

2

Неповторима область эта,  
Где возле каждого леска  
Сияет доблесть самоцвета  
И блещет золото песка,  
Неповторимы эти скалы,  
Где льется вечная вода,  
Где проживают минералы  
И спит беспечная руда.

### ЫГЫАТТА

1

Когда лютуют холода,  
Однообразны реки.  
На них лежат дороги льда  
Да тропы в белом снеге.  
Ыгыатта теперь не та,  
Река оврага вроде.  
Ее весенняя мечта  
В снегах чиста, но и пуста!  
Уныло все в природе.

2

Природа зимняя мертва,  
Однообразны острова,  
Померзла блеклая трава

Обширного болота.  
В тайге уснула красота.  
Ыгыатта и та не та!  
Мертва зимой природа!

## 3

Широк простор глухого края.  
Течет веселая вода —  
Ыгыатта, Ыгыатта.  
Люблю разливы Первомай!  
Ёрюс эбэ<sup>1</sup>, волну вздымая,  
Великолепно молода,  
Успешно гонит глыбы льда!

## 4

Среди синеющей тайги  
Ыгыатта течет, ликуя:  
Сияет зеркало реки  
От мелколесья до Вилюя.  
Ее сомненьям вопреки  
Вилюй в свое приемлет лоно  
Улыбчиво и благосклонно.

*Из космического цикла***ЦИОЛКОВСКИЙ**

## 1

Маяковский — это Циолковский,  
Слово конструирующий ново.  
Циолковский — это Маяковский,  
Футурист в хорошем смысле слова!

## 2

Было время мечтать  
Без заметной практической пользы,  
Ну а время летать  
Наступило значительно позже.

Было время считать —  
И в своей метрополии окской  
Межпланетную гать  
Измерял Константин Циолковский.

Было время творить  
Без заметной практической пользы,  
Ну а время парить  
Наступило, естественно, после.

До небесных краев  
Путь доступен ракете громоздкой.  
Что придет Королев,  
Понимал Константин Циолковский!

<sup>1</sup> Ё р ю с э б э — река-бабушка.

### НЕЖИН

Нежин — тихий город Украины,  
Незаметный и не величавый.  
Лишь бутылки нежинской рябины  
Пользовались всероссийской славой.

О нежнейшей нежинской сивухе  
На рябинах сладковато-горьких  
Рассказал писатель Солоухин  
Правду во «Владимирских проселках».

Та рябина оказалась липой,  
Ибо в нежинских садах успешно  
Более серьезного калибра  
Созревали вишни и черешни.

Зрелые черниговские вишни  
И черешни нежинские тоже  
Были удивительно нелишни,  
С точки зрения мальчика Сережи.

Мальчик Королев жил в доме деда  
И любил привольные просторы —  
Пролетало солнечное лето  
На зеленых берегах Остёра.

А зимою Нежин был заснежен,  
Но и в зимний неуютный холод —  
Лыжен, саночен и конькобежен —  
Городок привольнее, чем город!

\* \* \*

Конструктор главный сделал это диво.  
Хвала ему! Но буду справедлив:  
Что значил он один, без коллектива?  
А без него что значил коллектив?

Космическая скорость метеоров  
Была Сергею Павлычу близка —  
Как режиссер, расставил он актеров,  
Как полководец, воспитал войска!

Нацелил он на тайны мирозданья  
Ступенчатые замыслы свои —  
И по его конкретному заданью  
Трудились предприятия и НИИ.

Он понимал: без множества течений  
Большой не образуется реки —  
И принимал ручьи изобретений,  
И речки принимал, и родники!



---

БОРИС КУНЯЕВ



## ИЮНЬСКОЕ УТРО

Каждый год есть в июне такая пора,  
Пусть не слышно ни взрывов, ни свиста металла,—  
Я в поту просыпаюсь в четыре утра,  
Чтобы черная сила врасплох не застала.

За окном в гимнастерке с иголки клен,  
Но за стайкой берез, за платочком рябины  
Мне все чудятся первые крики и стон,  
Первый матери плач по убитому сыну.

Сколько лет, а той боли в груди не унять,  
Не забыть истекающей кровью ракеты...  
Как мне хочется мир по тревоге поднять,  
Сохранить тех, кто пал, не дожив до рассвета.

Пусть прожекторов мощных ударят ножи  
И чужой самолет над зенитками хрустнет.  
Пусть проснутся солдаты, займут рубежи  
И врага на родимую землю не пустят.

Сколько лет, а июнь, как и прежде, горяч.  
Обелиски хранят нашей славы дорогу...  
Где он был? Как погиб безымянный трубач?  
Как тогда протрубил боевую тревогу?

## ХУДОЖНИКУ

Напиши меня, кореш, в той пилоточке рыжей.  
В пыльных, рваных обмотках, с вещмешком на спине.  
С каждым годом все дальше, с каждым годом все ближе  
Наша горькая юность — василек на броне.  
Напиши ту дорогу — всю в воронках и дыме.  
Толпы беженцев, стоны, горечь первых утрат...  
Напиши тех мальчишек, что не будут седыми,  
Что упали в атаке лицом на закат...  
Как забыть матерей, почерневших от боли...  
Нам до смерти их помнить — душой не криви.  
Не снопы — горы трупов на выжженном поле  
И старик у парома, как Спас на крови.  
Не поднять тех в шинельках, тех в черных бушлатах.

Кто сказал, что их подвиг и скромн и мал?!  
Напиши генерала, что шагал с автоматом!  
Напиши рядового, что полк поднимал!  
Я дорогу отцов каждой жилкой приемлю.  
Как забыть мне то утро в крови и пыли..  
Напиши наш народ! Напиши нашу землю!  
Мы — стоим на земле. Мы — ничто без земли.

### ВОСПОМИНАНИЕ

Меняли все — от платьев до колец.  
Я утром шел на рынок, не учиться.  
За сапоги, что завещал отец,  
Один сапог насыпали пшеницы.

Как праздника ждала еда родня.  
На потолке седые космы инея.  
Я ту пшеницу кипятил три дня,  
Как капли, разливал водицу синюю.

Больная мама всех звала к столу.  
Колючий хлеб делила, как конфету.  
Любимые, нам легче, мы в тылу,  
А там, на фронте, даже крыши нету.

Портрет отца светился, где киот;  
Запомнился в пилотке, с шеей тонкой.  
Мела метель, шел сорок третий год.  
Была в пути с июня похоронка.



---

ЮЛИЙ КРЕЛИН



## НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ, ДОКТОР?\*

Повесть

XXVII

**Н**ачало десятого. Воскресенье. И Санин и Пирогов уже пришли. Выходной все-таки, поэтому начало десятого — «уже».

— Видишь, Николай, какой он тяжелый, а ты хотел переделывать.

— Я бы осторожноенько. Посмотреть бы. Попробовать. Нет так нет. Ничего бы не было.

— Ты меня удивляешь. Он же умрет, наверное, сегодня.

— Сейчас тяжелый, конечно.

— Они с ним всю ночь возились. Так и не поняли, что с ним. Чего только не лили. Даже загрузить не смогли. А кровь где взять?

— Кровь-то ему лили. По «скорой» вызывали.

Пришла Ира.

— Юрий Михайлович, простите, что я к вам и в воскресенье. Ой, Коля, и ты сегодня здесь. У меня к вам просьба, коллеги хирурги. Вы не посмотрите мою подругу? Осталась у меня вчера ночевать — и ночью приступ в животе.

— Конечно, Ирочка. Кстати, не забывайте, что мы пили с вами на брудершафт. Где она? Здесь?

— Ой, забыла, совсем забыла. Здесь она, здесь. Сейчас приведу. Внизу она. Между прочим, она тоже коллега — реаниматор.

— Тем лучше. И такая же красивая?

— Лучше.— Ира засмеялась и пошла к двери.

— А где работает, чтоб не спрашивать анамнез?

— В больнице. В реанимации, зав отделением.— Ира выбежала из кабинета.

— Как тебе нравится этот анамнез? Нет чтоб поподробнее. Да, Коля, неудачный у нас день, а... Входите, входите. О-о, наконец-то в нашем поле зрения появились брюнетки...

Юрий Михайлович не так уж пошел, как иногда хочет казаться. Иногда он хочет казаться доступнее, когда имеет дело с больными, но сейчас он был не прав — пришла коллега, подруга коллеги, — кругом не прав. Коллега отметила про себя, что он ошибся. Нельзя ошибаться. Пока она его простила. Он и сам понял, что ошибся.

Представляютяются:

— Санин.

— Елена.

— Пирогов Николай.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

— По виду не скажешь, что вы больны.

— Сейчас и не болит. Но ночью, Юрий Михайлович, сильные боли схватили. Места не могла найти, ни лежать, ни сидеть.

— Крутились?

— Жуть.

— Николай, как же так, реаниматор себе диагноз поставить не может? — Он опять ошибся и продолжил. — Лучше, конечно, ничего не делать, ничего не думать, чем ошибиться.

— Вот именно, пожалуй что, — с некоторой усмешкой сказала коллега.

— Так себя ж, Юр, не лечат.

— И ты прав. А если б не прошли боли, небось к себе б в больницу махнули? — И Санин говорил в ответ с усмешкой взрослого, разговаривающего с ребенком.

— Я и хотела, да Ирина уговорила. Вы же рядом.

— И то верно. Что, Пирогов, колика, наверное?

— По рассказу похоже.

Так и решили. Осмотр нового ничего не дал. Сейчас-то уже ничего не было, но похоже, что почечная колика. Боли такие первый раз. Дальше видно будет.

Санин всегда играет в какую-то игру, становится в какую-то позу, то ли от недоверия к себе, то ли вообще он неестественный. В основном это когда с больными дело имеет. Немножко небрежно, немножко пренебрежительно — некоторым (больным) это нравится, но многие из близких посмеивались и, кроме пошлости и банальности, ничего в этом не видели. А что было на самом деле — кто ж его знает, как подсчитать все его действия, все его помыслы? В чем-то он был человек ограниченный, а стало быть, железный, не шел на компромиссы. Если он решит, что какие-то вещи делать не должно, так очень трудно сбить его было. Да, это ограниченность, но для порядочности некоторая доля ограниченности нужна. Круг близких его расширился, он был общителен, но это приводило к тому, что и судило его больше людей. Судят-то чаще всего близкие. Но все-таки это близкие, это хорошо, это приятно, это жить легче — но ведь и больше потерь. Он много работал, говорили, что на износ, но это светский разговор, работал много для собственного удовольствия. Больше работы, больше возможностей для своей ограниченности — легче оставаться порядочным, а стало быть, и легче быть счастливее, а счастливые и живут дольше, так что работ на износ не бывает, если с удовольствием. Он любил нравиться, он старался понравиться, и вот появилась Ирина подруга, и он уже ей хочет понравиться, хотя и не совсем точно уловил необходимый тон. Впрочем, все это неосознанно, это мы за него можем думать и судить как близкие к нему люди.

Почему он захотел понравиться Ириной подруге?

Приблизительно так думал Пирогов, не совсем отдавая себе отчет, где тут его слова, где самого Санина — они очень давно вместе работают, привыкли друг к другу, мыслят часто одинаково, как это и бывает с людьми, постоянно живущими рядом. А они практически жили рядом. Вместе.

— А что вы здесь сегодня делаете? — спросила Ира. — Выходной день. Погода дивная.

— Вот нам сейчас только до погоды, — буркнул Николай.

— Больной у нас тяжелый. Не можем понять, что происходит. Отчего ухудшается. — Это Юра.

Ира: Моя помощь, надеюсь, не нужна?

Юра: Не бойсь, Ирынька. Кровь нужна. Отрицательная.

Лена: Какая отрицательная? У меня вторая отрицательная.

Юра: Уже привезли. А вот вы бы посмотрели его. Некоторым образом со стороны. Взгляд со стороны, а то мы присмотрелись, подустали.

Он как бы испытывал ее.

Николай искоса бросил взгляд на зава — явно зав хочет понравиться.

Коллега-реаниматор вызов приняла:

— Пожалуйста, только я не большой корифей.

Николай: А нам корифей и не нужны. Нам практический врач нужен, а там пусть даже и корифей.

Ира: Называется привела больную, а вы ее тут же в оборот.

Юра: На том стоим, тем и живем. Мы ему операцию — он нам аппарат починит. Я его в больницу — он мне инструмент построит.

Николай: А что ж? Я все время так. Сколько я полезного сделал для больницы.

Теперь Санин кинул косой и быстрый взгляд на Пирогова — не любит он «я» пироговское. Все-таки работа их требует больше «мы». Но ничего не поделаешь.

Лена: И мы так. Только у реаниматоров положение похуже. Они с больными дело имеют, когда тем все равно. И либо у нас умирают, либо, когда начинают соображать, их переводят, и там уже другие врачи. Им и блага все. Нет прямого контакта в лучшие периоды их жизни — подготовки или выздоровления.

Все засмеялись, хотя чего уж тут смешного нашли!

Юра: Вот я и говорю, что больных в отделении должны вести не хирурги, а реаниматоры-анестезиологи, а хирурги должны находиться в операционной и оперировать целыми днями. Тогда и квалификация их лучше будет, и у анестезиологов будет личный контакт с больными. И вам будут шампанское приносить... Гену жалко.

Лена: Какого Гену?

Юра: Ну Лену.

Лена: Почему?

Ира: Не обращай внимания, это у него поговорка такая.

Лена: Глупо.

Юра: Грубо.

Николай: Давайте действительно посмотрим Лапина.

Юра: Сейчас позвоню. Надо у Глеба спросить, иначе неудобно.

Николай: Подумаешь, какое дело!

Юра: Нет, нет. Респект соблюсти обязательно нужно.

Лена: Я без него и не пойду. Шутите!

Юра: Добрый день. Это Санин говорит. Можно Глеба Игнатьевича?.. Ушел уже. А кто дежурит? Не узнаю... Кто я?.. А-а, Ефим... Не узнал тебя. Ну как ты нашел Лапина?.. Не смотрел еще?.. Но Глеб все рассказал?..

Николай: Прямо не скажет, с подходом.

Ира: И правильно.

Юра: Слушай, Ефим, у меня здесь приятельница сидит, реаниматор, ты не возражаешь, если она взглянет своим, так сказать, непредвзятым глазом?.. Ну хорошо. Мы сейчас спустимся.

Лена долго слушала Лапина, потом стала выстукивать, опять слушала, долго сравнивала параллельные участки справа и слева и трубкой и пальцами, мерила давление, слушала сердце. Места операций — живот и ноги — не смотрела, это им, реаниматорам, не нужно, это пусть хирурги смотрят.

— Слева дыхание почти совсем не прослушивается, и, по-моему, звук туповат, во всяком случае сильно укорочен.

— Мы уже с нашим заведующим обсуждали это. Правда, при-

тупления слева почти не было. Намек только. Беда в том, что на него ничего не действует, что бы ни вводили. Кровь лили — ни давление, ни гемоглобин не реагируют.

— А вы знаете, у нас был случай. Также в подключичной вене стоял катетер. Во время наркоза. Мы вводим наркотические — никакого эффекта. А проверили — катетер вышел из вены и все капало в плевральную полость. Может, проверим? Легкое не дышит, тупость с этой стороны нарастает — не исключено, что льется туда.

— Давайте проверим.

Ефим отсоединил капельницу, взял шприц, соединил с катетером, потянул — пошла кровь, как и должно быть, катетер ведь в вене.

Вышли в коридор.

Лена: Да. Все в порядке. Непонятно.

Юра: Но ведь ему кровь лили. Если катетер в плевральной полости, то кровь тоже будет в шприце. Я не прав?

Ефим: И то верно. Может, пунктируем?

Николай: Может! Конечно, пунктировать надо.

Сколько ж можно на одного больного! Сколько же осложнений на одного. За что? Наваждение! И операция и после операции. Конечно, катетер был не в вене, и все, что хотели вводить в кровь, накапливалось в плевральной полости. И кровь, и глюкоза, и сода, и все лекарства — все было там. Потому не дышало легкое, потому было притупление, потому даже загрузить его не удавалось.

Ефим Ильич откачал всю жидкость из плевры. Легкое сразу же начало дышать хорошо, и трубкой и пальцами все получалось хорошо. Поставили новый катетер с другой стороны. Все то, что вводили и не доходило по адресу, стали вводить снова, или, как теперь часто говорят, по новой, состояние Лапина стало улучшаться на глазах. Поднялось давление, исчезла одышка, он стал живее, стал реагировать на окружающих, при нем уже нельзя было говорить, рассуждать, и охать, и ахать, все лекарства действовали, как им и положено было действовать, его удалось наконец загрузить — Лапин уснул.

Все перешли в ординаторскую реанимационного отделения, и там начались все охи и вздохи, охи и вздохи облегчения. Все говорили наперебой: вот то-то и не... потому-то и не... оттого-то и было... и не должен был он... Это длилось долго — обычные сетования, самобичевания, разглагольствования. Юра целовал руки Лены и называл ее Леночкой, говорил, что она, как ангел, спустилась, она, как ангел, отвела руку с ножом Авраама, она, как Жанна д'Арк, пришла, чтобы спасти, — много говорил благоглупостей то ли от радости, от радости-то безусловно, то ли от желания понравиться, впрочем и это безусловно. Они все так радовались, как будто были решены проблемы всех остальных осложнений, мучивших собравшуюся здесь с утра команду.

Но прошли первые восторги, Лапин спал, появилось время подумать и задуматься, пришло время понять, что справились пока только с реанимационными, общими бедами и есть еще хирургические, локальные неясности, которые в любой момент могут приобрести значение глобальное.

А положение с ногой по-прежнему неясное. Явных данных для реконструкции сосудов нет. А если бы и были, что же можно сделать еще?! Явных признаков начинающейся гангрены не было тоже.

Время задуматься пришло, но пока все ликовали. Это так естественно. Ну что нога, в конце концов? Впечатление, что он будет жить. Жизнь спасли. О ноге они еще подумают. Они наслаждались, наблюдая постепенное, но неуклонное улучшение.

А с ногой что б ни было, еще несколько часов ничего нельзя делать — улучшение должно стабилизироваться. Даже не несколько часов, а, наверное, до утра ждать надо. Мы так часто встречаемся с эфемерными улучшениями — надо ждать, ждать, ждать.

Никто не хотел уходить. Все сидели, болтали. Все были горды, довольны.

Хотя чем?

Но что нога!

Возбуждение было такое же, как и после первой операции Лапина. Требовалась разрядка.

Спокойна была Ира, она и не все понимала в происходящем. Спокойна была Лена, потому что, во-первых, она была виновницей гордости и торжества, во-вторых, она меньше и страданий перенесла предварительно, она не была участницей предыдущих мучений и метаний. И все-таки удача, успех, всеобщее внимание не могли и ее оставить абсолютно спокойной, сколь ни старалась она сохранить свой покой.

А зачем?!

Юра: Ну что, ребята? Надо где-то посидеть и обсудить, наверное?

Николай: Раз шеф говорит надо — перечить не смеем. Идем ко мне. И рядом и свободно.

Ира: А у тебя дома еда какая-нибудь есть?

Николай: Что-нибудь найдется.

Лапину стало чуть лучше, что будет, чем кончится — ничего не ясно, а жизнь им уже кажется прекрасной.

Лена: В конце концов, можно зайти в магазин напротив и купить что-нибудь. А вы на работе не пьете?

Николай: Никогда.

Лена: А если перед самым уходом, когда работа закончена, если у кого день рождения, например?

Юра: Стараемся без этого. С самого начала договорились. На работе — табу.

Лена: Молодцы. Это вы правы.

Юра: Есть предложение. Покурим, остынем и пойдем.

Лена посмотрела на Юру, провела по своей черной челочке ладонью, прикрыла ею глаза и сказала:

— Курите.— Подошла к зеркалу и стала подкрашивать губы.— Пожалуй, мы сходим с тобой в магазин. Да, Ириша?

Юра: Нет. Покурим. Минут через десять глянем еще раз на Лапина и пойдем вместе.

Николай: Идите-идите. Я взгляну.

Юра: Я взгляну.— Помолчал немного.— Вместе все взглянем. Лена, вы не курите?

Лена: Эпизодически. Ситуационно, так сказать.

Юрий Михайлович щелкнул зажигалкой. Искры нет.

— Черт возьми, камень кончился. Лена, вы не считаете, что поминать черта неинтеллигентно?

Николай: Хватит болтать. Прикуривай. Спички, они надежнее будут. Никогда не отказывают.

Юра: Все когда-нибудь отказывает. Даже Ира нам иногда отказывает в помощи.

Ира: Грех вам говорить. А потом, не всегда же есть все. Сейчас почему-то исчез гепарин. И то вам достала.

Юра: А почему? Производство налажено. Все стабильно — вдруг что-то исчезает. Для нестабильности, что ли?

Ира: Почему — не знаю. Нет, и все. А почему вдруг исчезли гортанные шприцы, тоже ведь налажено производство.

Юра: Знаете, много лет назад, когда у нас зажигалок не было в продаже, а кремни для них были всюду, я накопил их в расчете на будущую зажигалку. Экспериментально проверил — один камень на два месяца. На одиннадцать лет запас был. Думал, исчезнут камешки.

Ира: Исчезли?

Юра: Нет. Все время были.

Николай радостно захохотал. Долго смеялся, пожалуй даже зло-  
радно.

Лена: А на сколько хватило?

Юра: На одиннадцать и хватило.

Юра закрывал дверь кабинета, поэтому немного отстал от них. Он глядел сзади на Лену и думал, что вот таким, длинноногим, конечно, идут брюки; но таким длинноногим, наверное, и юбки идут, таким все идет, они ему нравятся. И Лена ему нравится, мозги у нее склад-  
ненькие, остренькие, хотя что такое складненькие мозги, неясно. И волосы красивые и рот большой. Нравятся ему люди с большими  
ртами.

Возбуждение успеха не прошло. Хотя какого успеха и чьего ус-  
пеха? И все равно. Лапин несколько стабилизировался и своим улуч-  
шением будоражил и усиливал возбуждение. Хотелось компании,  
людей, хотелось покуражиться, пображничать. Вот! Пображничать  
хотелось. Надо сбить возбуждение. Собственно, чего его сбивать, оно  
было положительное и причина достойная, но просто продолжаю-  
щееся возбуждение тяжело. Надо замкнуть его на чем-то и разря-  
диться.

## XXVIII

У Николая мужчины почувствовали себя феодалами, а проще  
говоря, обнаглели: развалились в кресле и на тахте, курили и пере-  
брасывались ничего не значащими словами. Дамы суетились на кухне.

Из кухни принесли стол, стулья. Невелика задача расставить  
четыре стула, но мужчины почувствовали себя в больших заботах  
и хлопотах.

Дамы притащили снедь, накрыли стол. Мужчины открыли бутыл-  
ки, банки. Еще немного суеты, и:

Юра: Сначала мы выпьем две рюмки подряд, чтобы снять на-  
пряжение, а потом ликвидируем обращение на вы. Возражения есть?  
Отсутствие реакции считаю за принятие предложения.

Лена: Давайте без диктатуры. Мы свободные люди. Пусть каж-  
дый пьет и ест по своему разумению и желанию.

Юра: Другой бы спорил. А я две рюмочки — они маленькие.

Санин исполнил обещанное — выпил две рюмки. Лена потянулась  
с ним чокнуться — он налил третью.

Выпили все.

Юра: А теперь срочно поесть.

Лена: Вы, я вижу, не гурман, а так, волк в свободном поиске.

Юра: Почему в свободном поиске?

Лена: Да так, идет он одиноко по земле, отстала олениха — за-  
дерет. Овца — так овца. Курица — курицу задерет. Лишь бы отстала...  
Не пойдет на вас олениха — ну и бог с ней. Кто-нибудь да споткнет-  
ся, набежит. А не набежит — так и не надо.

Юра: Леночка, доверительно сообщу вам, что страсть как не  
люблю ироническую манеру разговаривать.

Лена: Я и сама не люблю, но это не ирония, а размышление, вернее затравочка локального, никуда не идущего розыгрыша.

Юра наклонился и прошептал прямо в ухо:

— Ненавижу и розыгрыши. Их идея — доставить человеку пусть маленькую, но неприятность, а всем порадоваться.

Лена: Договорились. Тут у нас разногласий нет.

Ира: А как собака, Лена?

Лена: Чудо, а не собака.

Юра: Собака для женщины опасна — лучше детей заводить, а собака мешает.

Лена: Ну, проповедник в свободном поиске. Но эту проблему мы с вами обсудим еще. Не оставим втуне.

Юра: Конечно, не оставим. Я и сейчас могу. Надо, чтоб у нормального мужчины было несколько семей, но обязательно чтоб в каждой ребенок. Это хорошо. Хорошо.

Николай: А какая собака?

Лена: Эрдельтерьер. Питается сосисками, размножается почкованием.

Николай: Что-что?

Лена: Это я Ире.

Николай: Сепаратных разговоров не вести.

Юра прожевал и включился:

— Для сепаратных разговоров, по крайней мере, необходимо выпить на брудершафт.

Ира: У тебя это становится хобби.

Юра: Поскольку Лена уже говорит Кольке «ты», пить на брудершафт мне одному. Нас не собьешь.

Лена: Другой бы спорил...

Николай: А как же я без брудершафта?

Ира: Обойдешься.

Юра: Лена уже выкинула лозунг: за столом без диктатуры. И к тому же Кольку очень трудно сделать рабом. Основная черта раба и основа его статуса — беззаботность. Беззаботность и безмятежность. С этим у Кольки трудно.

Николай: Юра, оставь мои заботы. Они у нас общие.

Лена: Ты ведешь себя, Юрик, как прирожденный лидер. Все время площадку держишь.

Николай: Он лидер по должности.

Юра: Уступаю должность, но остаюсь лидером. Раз у нас некое сообщество, обязательно должны быть лидер, оппозиционер и, как говорят ангосаксы, мотормэн, сиречь работяга, движущая сила общества. Значит, в нашем сообществе лидер я.

Ира: А остальные кто?

Юра: Уже ясно, что Ира мотормэн. Это как в преферансе: кто спрашивает, чей ход, тот и идет.

Николай: А кто оппозиционер?

Юра: Ты спросил: чей ход? Он твой. Но Лена, кажется, тоже в твой клан тянется. Выпьем, выпьем, пока не поругались. Назревает революционная ситуация. Погасить! Коля, наливай.

Николай: Нет, давай сначала силы распределим.

Юра: Вот видишь. Мотормэн уже бы налил. А ты вопросы задаешь, условия ставишь — склочничаешь. Кстати, вы знаете, что такое оппозиционер? Это лидер, которого не слушает мотормэн. Так по науке, Лена, переходите в мотормэны — и выпьем.

Лена: Согласна. Но — переходи.

Юра: Я не прав. Тогда наливай, хоть это и не женское дело,

но раз ты перешла в мотормэны, половые различия стираются. Надо работать, работать.

Лена смеется и наливает.

Юра: Умница. Ты настоящий мотормэн, и я тебя люблю. Дозволь ручку поцеловать.

Лена: Потерпишь.

Юра: Правильно. Ёрись. Покажи, на что способны женщины.

Лена: Да вы, мужчины, просто распустились и забываете свое место. Мы, женщины, выкидываем флаг восстания и возобновляем извечную, единственно настоящую войну на нашей планете: борьбу мужчины и женщины.

Юра: Ура! В лидеры выходишь!

Лена: Это как раз к тем проблемам, к которым я обещала вернуться.

Юра: По-моему, ты горячишься. Еще посмотрим, как пойдет.

Лена: А как бы ни пошло — все равно в бой!

Николай: Поздно. Матриархат кончился, да неизвестно, были он...

Лена: Матриархат был. Он не мог не быть. Могу объяснить.

Юра: Леночка, тема важная, интересная, мы обязательно... под это выпьем, а сейчас я только позвоню в больницу.

Как говорится, пролетел тихий ангел или дурак родился.

— Ефим?.. Ну как?.. Ладно тебе острить — сорок восемь... Ну хорошо, ваше все нормально, а нога?.. Статус кво — это хорошо. Сейчас главное, чтоб не ухудшалось. Не жалуется на ногу?.. Тогда точно до завтра ничего делать не будем, а потом подумаем. А у ребят ничего в хирургии нового?.. Операций нет?.. Все. Спи спокойно, дорогой товарищ.— Положил трубку, повернулся к Лене, склонился к ней, развел руки и с двух сторон стал их сводить к плечам ее, но не довел, бросил вдоль тела, вздохнул.— Мы готовы к спору, борьбе, любви. Начинай!

Лена: Все. Неохота. Какого артиста обидели.

Николай: Лидер кончился, показав свою несостоятельность.

Лена: На слабо дураков ловят, но если серьезно хотите, я убеждена, что женщина создала цивилизацию.

Юра: Только не горячись. Спокойненько. Послушаем концепцию — выберем позицию.

Лена: Выберем! Это пока вам кажется, что вы нас выбираете и берете. Мы уже берем вас неявно, а скоро даже раздевать вас будем мы. Подождите.

Юра: Будущее — ладно, этого мы не знаем, его пока нет, а прошлое расскажи.

Николай: Как нет будущего? Прошлое есть, было, мы точно знаем, что было. Оно куда-то ушло. Настоящее ощущаем всем своим существованием — оно на глазах уходит. Значит, и будущее откуда-то приходит...

Юра: Короче, короче. Экономь время.

Николай: Как я прочел в книгах, любезнейший, время бесконечно. Поэтому экономить его бессмысленно.

Юра: Прочел! Читать все могут. Пусть лидер лучше расскажет про женщину, про прошлое. А у животных есть матриархат?

Лена: Еще какой бывает! Человек отличается от животного еще и тем, что он осмыслил время, периодичность, бренность, тленность. Не познал, а осмыслил. Первое осмысление человека.

Николай: Дело какое. День — ночь, день — ночь. Вся периодика. Бесконечно время — периодичность не важна.

Лена: Сначала надо осмыслить периодичность, потом бесконеч-

ность. Основа периодичности — солнце, луна. Так? Они не всегда видны. Но лунный календарь соответствует женским месячным, регулам; часы, которые всегда при нас, при людях. Даже в пещере, в темноте. Женщина была носителем времени. Женщина существом своим осмыслила время и стала носителем первого осмысления времени человечеством.

Юра: Такое мне в голову, естественно, не приходило. Но с этим я встречаюсь в основном в связи с болезнями.

Лена: Смеешься. Без времени никакого решения принять нельзя. Женщина, от природы получившая понятие о времени, освободила вас от принятия решения и дала вам возможность приносить в дом мясо. Женщина, как верховный жрец времени, стала руководителем общества.

Юра: Ну хорошо, а почему у вас пошло наперекосяк?

Лена: Да вы обманом захватили власть. И где ваше мясо?! Мы приносим в дом.

Николай: Юра, объединяемся! Пора защищаться.

Лена: Не поможет. Поздно объединяться. Все войны будут ликвидированы, и лишь война между мужчиной и женщиной будет вечна, как время. Дай закурить.

Юра: Прошу. Хотя боюсь.

Лена: И бойтесь. Первый раунд войны с вами начался в конце прошлого века: суфражистки заставили вас дать нам избирательное право.

Николай: Получили. Раскрепостились. Теперь работаете на нас и вовсе. Блестящий успех.

Лена: Вы даже не замечаете, как работаете на нас.

Юра: Знаем. Читали. Чего хочет женщина — хочет бог.

Лена: Ишь, грамотный. А я не читала. Нутром сообразила. Там, где положение женщины ухудшается, там, где женщина становится рабой, там вскоре поднимаются восстания, перевороты, мятежи, которые, можно подумать на первый взгляд, делаются мужчинами, а на самом деле...

Юра: Старый гусарский тост: за баб-с!

Лена: Это можно. Выпить можно. Но я не кончила. Все современные перевороты — это предтечи истинной, настоящей, естественной войны между нами. Рушатся основные оплоты мужского консерватизма. Лидер английских тори — женщина. Твердолобые консерваторы сдались.

Юра: Да, это, пожалуй, самый сильный довод. Да и у нас за столом, Коль, баба — лидер.

Лена: С вашими бездумными головами вы загоните мир, как лошадей загонял д'Артаньян. Наш приход может остановить ваш прогресс, не сочетающийся с тем, что нам надо рожать. Мы не столь подвижны интеллектом, говорите вы, но это и спасет мир.

Лена засмеялась залиvisto и зло. В ней светилось желание дожать мужиков. Ей было мало. Юра решил прорваться:

— Мстительница...

Но она не давала слова сказать. Она прочно заняла площадку:

— Вы ускоряете темп жизни — мы остановим его, мы обуздаем вас, мы загоним вас в клетку из наших тел, пока не образумитесь. Впрочем, в такой клетке вы уже сидите. Придумаем что-нибудь похлеще. Ну зачем, скажи мне, понадобилась вам сосудистая хирургия в обычной больнице, где мало врачей, штатов мало, где вам трудно до изнеможения?

Николай: Это современная хирургия

Юра: Ну, ты совсем не туда пошла. Нам же это интересно. Мы получаем удовольствие.

Лена: Вам интересно! О своем только удовольствии и думаете. А о своем коллективе вы думаете? Ты создаешь гонку, непосильную для простой больницы. Не хватает ни лекарств — алаверды к Ире, — ни белья, ни сил. Вы умрете.

Юра: Все умрут... Но наш темп соответствует современности, мы гармоничны с окружающим миром, стало быть, и проживем долго.

Лена: Вы гармоничны, но мир не очень. От вашей гармонии вы быстрее разрушите мир людей, которые вас окружают и вам помогают. Нет, нет, решено — мы вас остановим, остановим и изолируем от роста. Мы приходим к власти, чтобы вас же и спасти. Стихийно, но неизбежно.

Ира: Ты их перепугаешь, и они сбегут, а с убежавшими как поборешься?

Лена: Да они и убежать-то не смогут. Им для этого нужен новый лидер, а его еще надо найти или создать. Мы лишим их представления о себе как о демиургах — и они не смогут создать себе нового лидера, другого кумира. Мы останемся вашими кумирами.

Лена засмеялась и, раскрасневшаяся, возбужденная совсем по-иному, чем в больнице, повернулась к Юре:

— Но я милостива. Живите. Как говорится: что есть высшее совершенство? Высшее совершенство есть милующее сердце.— Взяла его за уши, притянула и поцеловала.

Юра тотчас же поцеловал тоже, как машина.

Николай: А говоришь — борьба. Вот она!

Ораторским, указующим перстом он ткнул в их сторону.

Лена: Это только начало, юноша.— Она демонстративно по-двинулась к Юре и обняла его, но тут же отпустила.

Ира: Молодец, Ленка, так им и надо. Ребята, к сожалению, мне надо уехать, привезти сына домой от тетки. Уже вечер на носу.

Юра: С детьми не поспоришь.

Лена: Сейчас уберем только, посуду помоем.

Ира: Мне уже надо, Лена. Не могу!

Николай: Я поеду провожу тебя. Можно вместе поехать?

Ира: Ты ж хозяин!

Лена: Значит, на меня посуду кинули.

Николай: Ребята, вы побудете одни? Ключ, Юра, в почтовый ящик кинешь, если не дождетесь. Если в больницу зайду, позвоню. А посуду не мойте. Я сам.

Юра: Я за. Я допью и доем все.

Лена: А после проводишь меня.

— ...Да-а. Так я и думала. Чувств ни на грош.

Он молчит.

— Вернее, не думала.

— Лен...

— Ты ж не слышишь ничего. Глухой.

Он поцеловал ее.

— Отстань. И меня не слышишь и сам не скажешь.

— Лен, повернись.

— Отстань. Мы не годимся для верхних дел! А ты для никаких.

Он опять поцеловал ее.

— Конечно, как говорится, еще можешь человеком стать.

— Научи.

— А раньше ты был где? Современная хирургия ему понадобится! О чем ты говоришь!

— Я не говорю.

— Вот именно. У тебя время в голове. Выкинь. Утрать!

— Хватит убивать меня.

— Я тебя к жизни возвращаю. Дурачок. С тобой так интересно было, глядишь и думаешь: «Господи! Какой мужик прекрасный». А ты, оказывается, скучен, молчалив, глух.

— Плохой мужик?

— Может, и хороший, да необученный, невоспитанный.

Он опять стал ее целовать, но это не спасало ни его, ни ее. Она говорила только: «Отстань, отстань!» Говорила горько.

— Темп, темп и быстролетность. Торопитесь! Я за тобой не успеваю.

— О господи! Укрепи и наставь.

— Это ты себя лучше проси.

А она опять отбивалась.

— Перестань думать!

— Я не думаю, Лен.

— Выкинь голову к черту. Не думай.

— Я не думаю.

— И не чувствуешь.

— Этим обделен, наверное.

— От тебя рожать только, а не радости получать.

— Лен!

— Да помолчи! Надоело.

— Да-а. Наверное, как поет поэт, ты женщина не из моего ребра. Радости не было.

Но еще не вечер, как говорится.

### XXIX

Он ехал в такси домой, проводив Лену.

Он думал о своем, о, так сказать, возвышенном. Думал о сегодняшнем, о завтрашнем. Стал вспоминать: а мечтал ли он когда-нибудь? Вот уже за сорок, а о чем мечтал? Мечты не было. Чего-то хотел — это да. Стал думать о детстве: его воспитывали делателем, мыслителем, порядочным, честным, сильным... Почему-то считалось, что аскетизм и есть высший пилотаж существования. «Высший пилотаж» тогда было модное понятие. Конечно, если радости жизни сводить к радостям Торквемады, оно, может, и так. А вот радости Рабле считались неприличными, нечистыми. Но ведь раблезианство Рабле не мешало ему быть великим врачом, который лет за сто до великого Гарвея сформулировал закон кровообращения. Может, Рабле потому и великий врач, что не чужд был, а наоборот даже, был поклонник жизни во всех ее ипостасях. Не воспитано в нем, в Санине Юрии Михайловиче, жизнелюбия — наверно, плохо это. Готовность к подвигу и неподготовленность к радости. Подвиг всегда граничит с гибелью — и это тоже нужно. Гармония нужна. Вот Игорь радовался еде, одежде, деревьям, цветам, а Санин любил всегда что-то другое, он любил город и боялся природы, красоты. Даже в словах был скован, хоть и болтун. Хотел, чтобы каждое слово было выстрелено по цели, для дела. Слова без воды! А так не бывает, потому и болтун. Даже в словах нет места для чувств. Плохо без воды, плохо без чувства. Говорил, считал: нуль информации — плохо. А нуль чувств — хорошо?! И вот наказание. Еще не наказание, но первый звонок, суета предъявляет счет. Почему-то бояться суеты, но она часть жизни, и без нее мир, наверное, негармоничен. Иногда

умирают молодыми — тогда начинаешь думать и смотреть, что случилось, а оказывается, по каким-то причинам человек вдруг отошел от обычной суеты, даже суетности, перестал стремиться к книге, к еде, к телу, к радостям, к дружбе, к работе. Ушло стремление к суете — ушла и жизнь вслед.

Утром он шел до троллейбуса медленно, гуляючи. И правильно. Уставать начинаешь с утра, с дороги, когда всё бегом, все бегом, толкаются, подгоняют сами себя. Санин сделал вывод и нашел естественный выход: он вставал пораньше, выходил пораньше и шел утром не спеша — заряжался бодростью. Если троллейбус был заполнен и сидеть в нем негде было, он ждал следующего, чтобы можно было почитать. В дороге он не уставал и приходил в больницу полный сил и подготовившись даже интеллектуально. Но это уже зависело от того, что он читал.

А вот сегодня он не читал. Вроде бы и не думал ни о чем. Но ведь так не бывает. Наверное, думал, но не настолько, чтобы мысли эти можно было изложить последовательно, слово за словом на бумаге.

Чем ближе к больнице, тем больше мысли его принимали оформленность и концентрировались вокруг отделения, операционной, вокруг больных и наконец остановились на Лапине. Можно заранее было сказать — так и будет. В этом нет ничего необычного. Конечно, прежде всего: не умер ли? Потом нога!

Мысли Санина закрутились вокруг смерти. Пойди-ка, скажи родным, что он умер, подумал Санин с ужасом и переключился на разные другие смерти в отделении, о которых вспоминать было легче, и тем самым он отвлекался от реальности. Он вспомнил, как торговались в отделении Пирогов со своим интерном, когда надо было выйти к родственникам одного умершего больного. «Пойди скажи». — «Да я его не знаю совсем». — «А что тебе знать его? Он умер. Ну сходи, что тебе стоит, ты ж не знаешь его». — «Но я совсем не знаю». — «Кто-то должен же сказать!» Пошли, сказали, и совершенно не важно кто. Санин ехал на работу и думал, что отдыхает, набирается сил, потому что едет спокойно, медленно, не торопясь.

В кабинете, надев халат, Юрий Михайлович подошел к телефону:

— Алло, Лена?

— Вы не тогда попали.

— Не туда? Лена! Это ж ты!

— Не тогда, не тогда.

— Не тогда? У тебя кто-то есть? Уже работаете?

— Да.

— Позвонить позже?

— Да.

Трубка частыми ударчиками била в ухо.

### XXX

— Николай Иванович, ну как Алексей?

— Сегодня еще не видал его. А вчера был лучше.

— Он записку передал нам, чтоб сказали на работе спасибо за кровь, и дочку поздравляет с днем рождения. Все помнит.

— Ну вот видите, значит, лучше ему.

— Николай Иванович, он у меня хороший. Он ведь когда с фронта пришел, а мать думала, что погиб. В плену был. Намучился. Пока еще жизнь наладилась. Мы с ним потом в Москву переехали к матери... Вы простите, простите, Николай Иванович. Вы скажите ему, что мы здесь и дочка здесь, в раздевалке сидит.

— Скажу, скажу.

Пирогов направился в реанимацию. Навстречу Санин с сестрой-хозяйкой.

— Вы должны с утра, в восемь часов уже сделать с санитарками обход всего отделения. С вашего обхода начинается у нас день. Вы посмотрите, больные вчера еще домой ушли, а белье не сменено, лежит на кроватях.

— Юрий Михайлович, так не было же белья, не привезли. Я нарочно оставила грязное, чтобы хоть вид приличный был.

— Вы ж хозяйка, вы должны все предусмотреть. В уборной лампочки перегорели — к нашему приходу их сменить уже надо, а они уж сколько как перегорели.

— Я скажу электрикам.

— Давно надо было сказать. И зачем электрик? Держите в запасе лампочки и сами можете сменить, больных попросите, меня, дежурных.

— Вам легко говорить, а лампочки только электрикам дают.

— У вас на все есть ответ, но должна быть сделана хоть половина из того, что положено делать. Как только больные выдерживают? Чудо, что выздоровливают.

— Могу и уйти.

Юрий Михайлович повернулся и пошел вслед за Пироговым в сторону реанимации. «Что делать! В кои веки решил ее отругать, а она не виновата. Она, конечно, лодырь... Но и я начальник никудышный. Нет, надо требовать — и что-то будет, что-то получится».

После конференции его вызвал главный врач. Ночной сестринский рейд по отделениям обнаружил грязь в уборной его хозяйства, и Санин должен был идти и оправдываться всеми теми резонами, которые он уже сегодня получил в ответ. Так что он был вооружен.

У главного врача старшая сестра больницы докладывала результаты ночного рейда.

Если плохое было бы обнаружено только в отделении у Санина — оправдание быстрое и расправа короткая. Но было много заведующих отделениями, и в результате стихийно возникло собрание. Юрий Михайлович оценил обстановку и выступил первым, чтобы задать тон. Он был краток: виноват, молод, исправлюсь. Но некоторые из заведующих отделениями отнеслись ко всему очень серьезно. Они предъявили встречные претензии к администрации. Получалось как на качелях. То коршунами падали на администрацию заведующие и тут же назад — администрация наступала на заведующих; потом опять оправдывались то администрация, то заведующие.

Юрий Михайлович не мог сказать как хотел: кончайте, мы все сделаем, надо работать, — это было бы предательством по отношению к коллегам заведующим. К тому же он не знал, насколько проштрафилась другие отделения. Может быть, действительно им нужно было оправдываться и наступать. Надо быть дипломатом. Чтоб работать, надо быть дипломатом. А дипломатия не должна быть пристрастна, как и медицина. Мы должны стремиться вылечить в любом случае, а дипломаты в любой ситуации в наше время должны стремиться, чтоб не было войны. А эти воюют на пустом месте...

— Разрешите мне уйти. Я все понял. Больной уже на столе.

— А что у вас некому больше оперировать? Хорошенькая позиция у наших дорогих хирургов: чуть доходит до дела — они прикрываются операциями. Легкую жизнь себе выбрали, Юрий Михайлович. Хватит бездельничать — все операции, операции. Превеликое удобство — вы и сами это распрекрасно понимаете. Заведующий отделением не дол-

жен спокойненько взирать на безобразия. У нас заведующий — это не врач, не только врач, а прежде всего организатор.

Еще желающие включились:

— Правильно, Максим Семенович. У хирургов наших появилась позиция усталости. Они перерабатывают, видите ли. Между тем мы подсчитали: за год получается всего две операции в день. Устали. Переработались. При этом сами же и говорят, что оперируют мало. Видите ли...

— Нет, нет. Так нельзя считать.— Подобный поворот разговора никак не входил в расчеты Максима Семеновича.— Например, сосудистая операция длится больше, чем рабочий день, а вы считаете на штуки. Мы не можем стать с вами на такую позицию. Но, Юрий Михайлович, если вас нет в отделении, жизнь не должна замирать. Должны оперировать без вас.

— Да и могут оперировать без меня. Но тогда, прошу вас, измените мне штаты. Мне еще анестезиолога дайте, пусть они ведут больных, а хирурги пусть уходят в...

— При чем тут это, Юрий Михайлович? Это некорректный разговор.

— Я не прав, Максим Семенович. Разрешите идти?

— Можете, в конце концов...

Санин побежал прямо в операционную. В принципе, вернее, не в принципе, а по ситуации Максим Семенович был прав. Но оперировать тоже надо. И главное: каждый должен заниматься своим делом: хирург — оперировать, хозяин — хозяйствовать, бухгалтер — деньги считать. И тогда наступит всеобщее благоденствие.

Но на этих мыслях далеко не уйти. Он и дошел только до операционной.

Во время операции прибежал дежурный реаниматор из палаты. Он хотел было что-то сказать, но Ефим Ильич, который давал наркоз, дернул его за халат, они пошептались, и никто ничего не сказал.

Когда Санин закончил основное и хотел зашивать, Ефим Ильич забубнил:

— Юрий Михайлович, вас просили спуститься в реанимацию, вроде бы Лапин опять заглошал.

— Ненавижу ваш птичий язык. Зашивайте сами.— И он вмиг исчез из операционной — как слизнули.

По коридору оперблока Санин шел еще медленно. Надо было пройти пятьдесят метров этажа, а затем еще семь этажей пробежать вниз. Постепенно он убыстрял ход, так что по лестнице побежал, как когда-то они бегали в школе. Жалко, конечно, что неудобно съехать на перилах.

«Опять плохо. Надо Лену звать. Пусть она причину ищет. Она резко мыслит. А Николай как раз и не может без своей точки зрения. И навязывает, навязывает. У Лены кругозор. Он думает, что больше всех знает. Он уже с утра... Что-то было не то, непонятно что. Надо Лене позвонить. Может, опять катетер выскочил? Что еще? Но сколько же можно на одного! Нечестно. Может, не страшно? Ну да! Беда. Что делать?»

Лапин лежал с изменившимся цветом лица. Дышал опять чаще.

— Больно. В груди.

— Лежи, лежи спокойно.

На шее была видна резкая граница между синюшной верхней половиной и бледной нижней ее частью. Воротник.

— Как минимум инфаркт легкого. Эмболия. А, Глеб?

— Без сомнения. А что делать будем? Консервативно или оперировать? Сколько же на одного человека!

— Вообще он ухудшается. Может, и оперировать, но тогда совсем мало шансов.

— И у нас, Юрий Михайлович, шансов не много. Значит консервативно?

— Можно попробовать. Назначим сейчас фибринолизин, гепарин.

— А есть фибринолизин? У нас в реанимации нет.

— У меня в записке есть, Ире позвоню в аптеку. Достанем.

— Значит, поведем консервативно, Юрий Михайлович. А станет ухудшаться — возьмем на стол. Только совсем мало шансов.

— Угу.

### XXXI

В ординаторской.

— Коля, ты знаешь?

— Был.

— Попробуем консервативно, а если начнет ухудшаться, тогда возьмем.

— Я бы взял сразу.

— Умрет.

— И так умрет.

— Может, вытянет. Давление держит хорошо.

— Плох.

— Пифия. Я ногу-то не посмотрел. Ты видел?

— Плохая.

— Гангрена?

— Пока нет, но кровотока нет.

— Уверен?

— Вообще да. Почти.

— Потянем немножко. Может улучшеет. И нога улучшеет.

— Не думаю.

— На ноге отек, там вены пострадали. Закупорка. Тромбофлебит. Трудно судить о состоянии ноги. Наверное, оттуда и стрельнуло в легочную.

— Уверен?

— Уверены бывают только дураки да женщины. — Юра усмехнулся.

Оба молчат.

Николай полез в ящик, чего-то ищет там, копается, а может, лицо спрятал. Кто его знает.

— Что это у тебя в ящике, Коль?

— Блокнотик.

— Это я вижу. Зачем? Откуда такой дурацкий?

— А больная одна выписывалась, принесла. Неудобно отказаться было. Кинул сюда.

Санин подошел к телефону:

— Ира? Ты?

— Я. Что, есть идея, Юра?

— Какая идея! У тебя стрептаза есть?

— Да ты что?

— Стрептаза! Откуда у нее стрептаза?! — забурчал Николай.

Юра прикрыл трубку рукой и прошептал Николаю:

— Это я для торговли. Борьба, брат.

— Что ты говоришь, Юра? Не слышу.

— У тебя бананы в ушах. Может быть, фибринолизин есть?

— Фибринолизин? Немного, но есть.

— Дай все.

— Не знаешь, сколько есть, а просишь все. А с кем еще у вас плохо?

— Опять Лапин.

— Лапин!

— Придется Лену звать, Ир.

— Потому и Лапину плохо?

— Да нет. Я смеюсь. Смеюсь. Сегодня как раз время для смеха. Так я пришлю за фибринолизином.

Пока Санин разговаривал, Николаю Ивановичу привели больного из терапии на консультацию. Юрий Михайлович наблюдал за Пироговым со спины. Он видел, как по мере разговора у этого мирного консультанта багровеют уши и шея. Шумит на больного. К концу разговора Санина закончилась и консультация. Больного увели.

— Ты что шумел на него?

— Консультация. Он едет на юг — так может ли случиться у него там аппендицит?

— А он при чем? Шумел бы на терапевта, который прислал.

Замолчали.

— Да, Коль, эти операции на сосудах голени можно делать в наших больницах только за дополнительную плату. Дела! Да еще говорят — не класть. Да гори все... И работники они после неполноценные. Зачем нам все это надо? Пусть кладут, что само набегает.

— Сам говорил, интересно.

— Так в том-то и дело. Но пятый десяток уже — хватит с меня интересу. Что? Не прав я? А, Николай?

— А я бы взял. Помрет ведь.

— Уверен?

— Уверены только дураки.

— Да. Усвоил. Что же нам делать?

Вошел Бубнов. Санин ему:

— Петя, пойдй посмотри Лапина. Эмболия вроде. Инфаркт легкого.

Бубнов пошел.

— Чего ты его погнал? Ты смотрел, я смотрел. Чего гонять?

— А я не знаю, что делать.

— А я тебе говорю.

— Мало что ты говоришь. Ты слишком уверен в своих знаниях.

— Книги для этого читаю.

— На, закури. Игорь любил эти сигареты.

— Откуда?

— Принесли.

Николай взял сигарету. Закурили. Молчат.

— Позвонить Лене, может?

— Уверенности хочешь? А как же твое — уверены только дураки да женщины?

— Ну и что? Значит, их уверенность принимается естественно мною. А уверенность дурака раздражает.

Петр Аркадьевич шел вниз спокойно. Он видел, что зав и Николай сидят раздраженные, и обрадовался, что Юрий Михайлович его спровадил. Он не думал, что Лапин так уж плох, он решил, что просто они ругаются и хотят эту баталию закончить без него. Но когда он вошел в зал и увидел Лапина, стало ясно, что его командировка не была дипломатическим актом, что их раздражение было просто растерянностью и неясностью.

Лапин смотрел на него. Петр Аркадьевич взял его за руку и стал щупать пульс. Пульс был.

Вдруг Лапин стал издавать какой-то хрипящий звук. Пульс исчез прямо под рукой. Бубнов посмотрел на Лапина — зрачки резко расширились.

Петя закричал:

— Остановка сердца! — Выдернул подушку из-под головы и, сложив вместе кисти, отрывистыми толчками, почти ударами, стал нажимать на переднюю стенку груди посередине. — Эй! — крикнул он еще раз, но уже прибежала сестра с дыхательной трубкой, подбежал уже и реаниматор к кровати.

Бубнов делал массаж сердца.

Сестра, прижав свой рот ко рту Лапина, вдвухала в него воздух из своих легких.

Набежавший реаниматор открыл Лапину рот, завел туда инструмент, по нему трубку в дыхательное горло. Искусственное дыхание стали проводить более совершенными аппаратами, чем рот и легкие сестры.

— Пульс есть.

— Продолжаю, — сказал Петя.

— Конечно. Сейчас зрачки посмотрю.

— Петька, следи за дыханием. Каждые три удара останавливайся.

— А я что делаю?

— Зрачки сужаются.

— Давление?

Народу уже набежало! Есть и кому давление померить, и кому указания и советы давать, и помощь предлагать — все категории сочувствующих.

— Давление девяносто на пятьдесят.

— Попробуйте кончить, Петя.

Массаж прекратили. Искусственное дыхание — вентиляцию легких продолжают. В капельницу напустили еще всяких растворов. Давление еще поднялось. Пульс стал лучше.

А в это время в ординаторской наверху в отделении уже набралось много народу. Санин с Пироговым прекратили напряженную полемику. Пошел общий разговор про все.

Один интерн с восхищением рассказывает другому, как он ходил на обход с Титовым. Больная отказывается от операции. У нее холецистит.

— Нет, говорит, доктор, повременю. Я еще так полечусь, говорит. А Василий Борисович спрашивает: вы на учете не состоите нигде? А она: на каком учете? А он ей: ну, у врачей ни на каком учете не состоите? Она говорит, что терапевт ее в поликлинике наблюдает. Тут он построил лицо: а у психиатра? Испугалась: что вы, доктор? Странно, говорит, странно, что же вы отказываетесь? У вас же холецистит, говорит, гнойный. И палец поднял, посмотрел на нее сверху и пошел.

Интерны смеются.

Санин посмотрел на них и сказал:

— Ну чистые враги общества. — И повернулся к Титову.

— Как же вы, Юрий Михайлович, — не слушая, что говорят вокруг, захлебывался Титов, — не смотрели вчера? Когда выступали Роднина с Зайцевым, музыка прекратилась, и они...

Пирогов рассказывал врачу с другого этажа про детектив, который он на днях читал:

— ...и все это в резиновом мешке кинул...

И в это время позвонил телефон. Трубку снял врач из другого отделения.

— Там вашему больному реанимация идет. Остановка вроде.

У Юрия Михайловича резко заболело в животе справа, но он вскочил и кинулся из ординаторской и дальше вниз по лестнице.

В одно мгновение выкатились и все остальные.

— Сейчас лучше уже, Юрий Михайлович. Остановка была. Запустили сердце. Быстро удалось. С первых ударов.

— Я же говорил, Юра.— Николай стоял с удовлетворенным видом правильного человека.

Очень опасная поза.

— Что ты говорил! Ладно... Говорил!

Тоже опасная.

— Как хочешь.

— Сердце-то запустили. Работает. Говорил!

**Юрий Михайлович.** Игорь часов в одиннадцать позвонил мне на работу и игриво сообщил, что у него вроде с сердцем что-то не так. И я в том же легкомысленном стиле пренебрежения к болезням, который был принят между нами, потребовал объяснений, чтобы говорил как врач, а не как инженер или как балерина, и пояснил бы, что он имеет в виду, применяя термин «что-то не так» к сердцу, и еще спросил, где он находится. И Игорь объяснил в том же духе, как говорится, в том же стилистическом ключе: что «не так» значит давит до боли в груди, что сидит он у себя в кабинете и, как я могу догадаться, у телефона, что сейчас он пойдет к терапевтам, а я, если в обозримое время закончу работу, постарался бы да подъехал к нему.

Уж эта просьба была необычной. Он мог просить приехать, чтобы погулять, поговорить, выпить, но так необычно было: я болен — приезжай.

Когда я приехал, Игорь уже лежал в палате, но у себя в отделении. В палате он лежал один, и дверь была открыта, чтобы сестра могла его видеть. Я вошел и закрыл дверь. И после, когда уходил, тоже закрыл дверь.

И спросил я, что у него, тем же наигранным, давно уж осточертевшим нам тоном. И в той же далекой от естественности, полуернической манере он предположил, что это стенокардия, а терапевты не могут отвергнуть и инфаркта. Извиняясь, он сказал, что просто цитирует терапевта, а я, все еще находясь в старой жизни, говорил, что он просто хвостун и карьерист и инфаркт ему еще не по чину и не по возрасту.

А потом мы стали говорить про отвлеченное. Я посетовал, что заколотили дыру у них в заборе близко к корпусу и теперь приходится обходить около километра и что в нашей больнице на территории протоптали более удобные тропинки, чем предусматривал официальный асфальтовый путь, но хозяйственная часть и недавно созданная по чьей-то странной воле комиссия по эстетике, которые больше всего следят за порядком и видом в больнице, протянули проволочки между деревьями, по-видимому, для пущей эстетики, и, когда наш председатель месткома предположил возможные травмы в темноте, а в темноте, кстати, и мы часто бежим при каком-нибудь чепе, блюстители наши сказали, что так и надо тем, которые не соблюдают и нарушают предусмотренный порядок и эстетический вид газонов. Я не знал, во всяком случае не думал, что Игорь боль превозмогал, потому что он, развивая тему забитой дыры в заборе, вспомнил, как на днях таксист нарочно обрызгал женщину, проехав по луже быстро и

близко от нее, и объяснил, что иначе пешеходов не научишь ходить по подземному переходу. И мы вместе с Игорем посетовали на то, что все стали думать государственно и глобально, больше заботясь о порядке и виде, чем об удобстве и здоровье.

И все-таки, хоть и страшно было, но я спросил, есть ли у него боли в настоящий момент. Как глупо и нехорошо я спросил. «Момент»! И он сказал:

— Побаливает.

А когда я, как и все обыватели, спросил, что дала кардиограмма, он, как врач, мне ответил вполне правильно, что кардиограмма сейчас еще ничего не может сказать, еще на ней, наверно, ничего нет, что болит пока всего лишь около пяти часов, что вот и сейчас болело и он только что принял нитроглицерин, но из этой пробирочки высыпалось сразу несколько штук, и он всю пригоршню отправил в рот, и стало ему в результате легче, чуть-чуть легче. И я понял, что болело у него очень здорово, но для этой догадки совсем не нужно ни медицинского образования, ни длительной врачебной практики. И все же я не выдержал:

— Зачем же пригоршню? Ты прямо не как врач.

Бездушный я кретин. Ведь это значит — сильно болело. А я! Как вспомню! Мы говорили из двух разных миров. И он мне ответил, что все равно все боли не снялись.

Эту, как мне тогда казалось, плавную и спокойную, неизъяснимо непонятную беседу, неисповедимыми путями уводящую нас обоих в иное совсем качественное состояние (хоть и совсем по-разному), сестра прервала, пиявки принесла. Игорь так не хотел их ставить. Он говорил, что не любит их, не верит им, что грудь брить будут и глюкозой липкой мазать будут; а я говорил, что с ним согласен, но раз терапевты настаивают, надо сделать, потому что мы и понимаем меньше и вообще мы оба сейчас не врачи, а больной и близкий больного, и наша точка зрения и наши воззрения не имеют никакого значения. И мы оба не согласившись подчинились. Это, наверно, единственно правильное, что нами было сказано и сделано тогда. Кто знает. Кто знает. Правильно сделали! Как это глупо и смешно сейчас звучит. Правильно, неправильно. Хороший, плохой. Знающий, не знающий. Бледный, красный, толстый, набухший — весь этот аппарат определений, прилагательных, эпитетов, оценок нам нужен только тогда, когда мы плохо знаем предмет разговора. Глупо же говорить — арбуз круглый, это и так все знают, или мяч, как арбуз, в этих определениях ничего нового, нуль информации, а тогда зачем слова? А мы с Игорем рассуждали о правильности действий терапевтов. Но Игорь, наверно, совсем с иных позиций оценивал. А я...

Побрили, глюкозой напачкали, пиявки присосались и стали набухать. Из маленьких черненьких червячков они становились большими, зелеными, с алым отливом сосисками.

Что-то надо было говорить, и я предположил, что терапевты это делают из перестраховки, и тупо повторил, что не может быть у него инфаркта, а Игорь, глядя на присосавшийся ужас, сказал:

— Вот так и там, в земле, они будут...

А меня не собьешь, я опять сказал, что он расхвстался, и он повинился.

Пиявки, насытившись, отваливались одна за другой, а я боюсь — позвал сестру. Она подхватила их пинцетам, покидала в банки и унесла. Куда? Оказывается, в уборную выкидывают. А может, пошутила.

Из мест, где пиявки кусали, текла кровь и не сворачивалась. Так и должно быть — для того и ставятся пиявки, чтоб кровь не сво-

рачивалась. Опять пришла сестра и перевязала Игорю грудь. Кровь стала сочиться в повязку. На груди был большой горб из салфеток, ваты, бинта.

И я непростительно подумал (ох, сколько же я позволял себе думать, никогда не смогу себе простить) — я подумал, что если вдруг массаж сердца делать, то горб этот будет мешать.

— А домой пока не звони,— сказал Игорь.— Рабочий день кончится, тогда и позвонишь.

Рабочий день! Он думал еще категориями рабочих дней. Его рабочий день, его рабочее время, его рабочий век уже кончались. Я обещал позвонить.

Все время приходили коллеги. То хирурги, то терапевты и сестры, все время. Кто спрашивал про дела... А какие дела — известное дело!.. Кто советы давал, указания, как вести себя, объясняли. Как всегда с больными коллегами, врачи были в своих бессмысленных растерянных репликах банальны и пошлы. Они продолжали думать, что кто-то от них ждет нечто мудрое, вечное, единственно правильное. И они несут. Боже, что мы несем! И отвечать им приходится на том же уровне. Нам отвечать. На их уровне. Как и всегда с жадными ты жаднее, с глупыми ты глупее, с... С хорошим игроком ты играешь лучше. С хорошим собеседником ты даже молчишь лучше.

Вот и приходят, беседуют:

— Лежишь? Лежи, лежи.

— Уж полежу.

Следующий:

— Может, выпить принести?

— И до этого дело дойдет.

— А то я могу.

— Известно, можешь. Ловлю на слове: придет время — призову к ответу.

«Призовет к ответу». И всем было стыдно за свои шутки, и никто не видел выхода. Выход — молчать, наверно. Выход!

Идут.

— Болит?

— Немножко.

— Болеть — это тебе не лечить.

— Точно.

Еще один:

— Ну что, отец, девочек прислать?

— Сами придут. Это в молодости мы за ними бегали, а с годами начали понимать, что они сами приходят.

Опять всем смешно.

И тем не менее от всех этих мудростей Игорю становилось легче. Он лежал спокойнее. Боли вроде бы прошли. Он стал рассуждать, вспоминая учебники и свой собственный опыт. При инфаркте, вспоминал он, один из характерных симптомов — страх смерти, а он у себя этого не замечал. Отсюда мы с ним делали вывод, что это не инфаркт. Мы занялись не своим делом, и я предложил пойти поговорить с терапевтами, может быть, они сочтут возможным отпустить его домой. Игорь не возражал против разговора с терапевтом, но домой не захотел, потому что, считал он, дома спокойнее и скучнее, а здесь спокойнее и народ все время ходить будет. (Будет!) А лежать одному весь день и думать — это слишком тяжелая работа. Думай да решай что-то. И мы с ним спланировали дальнейшее ближайшее время: я иду к терапевту, разговариваю с ним, потом возвращаюсь, звоню Игорю домой, посижу еще немножко, потом еду к себе домой, а завтра после работы опять сюда. Игорь, как вежливый и деликатный человек даже по отно-

шению к самым близким, что, известно, и есть наименее трудное, не настаивал на завтрашнем приезде, а думал, что сумеет мне утром позволить. Я же в ответ объяснил ему правила необходимого поведения, связанного с невозможностью встать, что приеду я к нему не для него, а для себя. Для тебя это, говорил я, может, и не нужно, но как приятно чувствовать себя хорошим человеком, возвышаешься в собственных глазах, становишься значительнее и даже выше ростом и светлее лицом. Мы оба обрадовались такому переходу темы, и Игорь даже начал философствовать в нашем обычном стиле, еще раз подтвердив, что тем и хороша наша работа, что у нас постоянно есть основания думать, что мы нужны людям, забывая, что лучше бы наша работа не нужна была совсем, лучше она давно бы отмерла. Игорю явно стало лучше. Он стал немного иронизировать надо мной, а стало быть, и над собой:

— Ты потому-то и хирургию любишь, что жить легче.

Я было заспорил от обиды, поверхностности и собственного несовершенства, но вскоре одумался и предложил закончить полемику вдругорядь. Но Игорь, видно, торопился, хотел меня начинить своим и подготовить к жизни без него. Да, хорошие мысли на лестнице. Игорь немного посмеялся надо мной, над моим желанием сохранить себе иллюзии и сознание собственной значительности:

— Хирургия, Юрка, легче прежде всего тем, что выбора нет. Выбирать не надо — жить легче. Ты и не выбираешь: привезли аппендицит — делай. Можешь рак убрать — убираешь. У тебя нет свободы выбора.

И я знал, и он знал, что не так уж это абсолютно, и выбирать все же нам приходится, может меньше, чем другим. Не знаю. Я так и сказал. А он мне сказал в ответ, чтоб я не был прямолинейным. Он был не прав, так я думал тогда, и спросил, как он себе мыслит диагностику нынешнего уровня без выбора. Но он и тут меня поставил на место: диагностика — это выбор без решения. Диагноз есть — и дуй по канонам. Конечно, Игорь подчеркнул относительность своих слов. Не дурак же он был. И еще он упрекнул меня в желании держаться за свободу выбора, он иронически показал куда-то в сторону, на окно, и сказал, что свобода и беспечность обеспечиваются отсутствием свободы выбора. Зачем, спросил он, ты этого не хочешь? Беспечность нас отдалает от забот человека разумного. Мы еще словесно покуражились, поблудили мыслью, совместно пришли к выводу, что эволюция должна нас опять увести от статуса человека разумного по спирали развития, ибо все возвращается на круги своя. С тем я и пошел к терапевту, придвинув по его просьбе поближе к нему нитроглицерин для способствования безмятежности духа, что, он предположил, необходимо нам обоим.

Безмятежность.

И я безмятежно ушел.

А он остался.

Терапевт сказала, что сердце явно больное, что точно сказать степень поражения сейчас трудно, что стенокардия без сомнения, а инфаркт сомнителен, но к лечению, пока не прояснится, надо подходить с точки зрения инфаркта, то есть строгий постельный режим и ни в коем случае не вставать. Дней десять полежать, полечиться, и если на кардиограмме не будет отрицательной динамики, сказала она, мы его отпустим домой.

И с терапевтом мы все распланировали. Она обещала сейчас еще раз подойти, еще раз посмотреть, еще раз сделать электрокардиограмму и дать назначения на ночь.

Когда я вернулся, около палаты суеилось много народу. Вбегали и выбегали люди. Реаниматоры везли свою аппаратуру. Игорь лежал

на полу на матраце. Повязки на груди не было. Реаниматоры проводили массаж сердца. Искусственное дыхание проводилось уже с аппаратом, а не рот в рот. Присоединены были электрокардиограф, дефибриллятор.

Эффекта не было. Сердце не запускалось. Я метался около палаты. Какое метался! Я не помню точно, что я делал. Может, сидел. Может, ходил. Может, тоже делал массаж. Но я метался — а что я еще мог сделать?

Дальнейшая реанимация была бессмысленна, но врачи не знали, как прекратить ее на моих глазах. Теперь я их понимаю. Да и я делал массаж.

Так и не запустили.

Через несколько часов искусственного дыхания, переливаний, наблюдения, разных исследований у Лапина извлекли трубку из дыхательного горла, он пришел в сознание и, конечно, так и не узнал, что у него было, да и не знал, что такое клиническая смерть. Нам легче думать, что больные не знают, что такое клиническая смерть.

Он лежал живой, в сознании, дыхание у него стало лучше, одышка уменьшилась, синева уменьшилась. Может быть, во время массажа сгусток крови, закрывавший легочный сосуд, проскочил дальше, проскочил периферийнее. Каких только чудес не бывает. Ему и стало легче.

И все снова.

Они опять все собрались около него.

— Смотри-ка, опять получше.

— Да-а. Не будем оперировать.

— Конечно. Сейчас-то ясно, что не будем.

— А Петька молодец какой. Вот повезло ему. В самый момент подошел. Он вообще везунчик.

— А как нога?

Лапин, наверно, устал. Они разговаривали громко, рядом шумели аппараты, сестры носились по залу...

Лапин безмятежно спал.

А Юрий Михайлович пошел по своим лечебным и административным делам. Пошел принимать решения.

Ну хорошо, пусть хирургу жить легче, чем другим, продолжал он вспоминать свою жизнь с Игорем, у него меньше свободы выбора, но ведь меньше, когда уже выберешь. Конечно, суровая необходимость всегда легче.

С этими мыслями он забежал в кабинет и набрал телефон подружки-реаниматора.

— Сейчас я тогда попал?

— Посмотрим.

— У нас с Лапиным опять плохо было...

Пошел длинный рассказ про Лапина. Наверное, Лена что-то отвечала.

— Я перед уходом позвоню тебе еще. Договорились?

Он планировал совсем другой разговор. Но получилось так. А как это повернулось и почему так получилось, он и не заметил и не понял. Юрий Михайлович вдруг испугался...

С этими же мыслями о решениях и суровой необходимости он пошел к главному врачу; с этими же мыслями он пришел почему-то в местком. Все, что он делал, делать было необязательно и, уж во всяком случае, можно было делать не ему и не сегодня.

Надо было что-то решать. И с Лапиным ничего не решено.

«Хорошо,— подумал он про Николая,— хорошо ему. Он знает, что делать. Он всегда знает. Слишком много знает. Он верит в себя. Игорь бы мог жить и сейчас. Я бы ему позвонил, поговорил. Он, конечно, не от работы умер. От жизни. От работы еще никто не умирал, от своей работы, чистой работы. Игорь и говорил — он любил философствовать, когда расслабленно сидишь с ним в креслах, или один валяется, другой сидит, или когда лениво тянул сухое вино, он любил сухое вино и вкусную еду, вкусный харч, говорил он,— так вот Игорь про работу, дай бог памяти, говорил, что в молодости надо работать, чтобы дело научиться делать, получить дело для интереса в жизни, чтобы, наконец, человеком стать, и работать, наконец, по привычке, по-обломовски, так же спокойно, и обязательно, и с любовью, и с такой же порядочностью, как тот делал то, что можно было делать людям их круга тогда. Лет в сорок — сорок пять надо работать, чтобы есть, чтобы жить и потому, что привычка уже есть, интерес к этому есть, интерес уже от брюха и от головы. Но это уже была умозрительная болтовня — этот период ему не был известен. А в старости, вальяжно планировал он, должны работать, потому что привычка такая уже въелась, тут уж работать впрямую, чтобы жить, а не умереть раньше своего физиологического предела. Вот и вся жизнь».

По дороге в отделение Юрий Михайлович встретил Лидию Сергеевну. Она шла из аптеки и несла тяжелую корзину с лекарствами. Санин подхватил корзину и помог донести. «Зачем я это делаю? Тут были и другие, могли бы и они... Надо что-то решать... Хоть бы понять, что с ногой происходит...»

Лидия Сергеевна посмотрела вслед и обратилась к сестре на посту:

— Железный человек, чудо просто. И сам устал, сам еле ходит, и всех загонял, а помогает.

В коридоре он издали увидел Николая и в раздражении резко свернул в палату.

В палате Чупахин. Его можно было бы и не смотреть.

Он долго смотрел его, щупал, разговаривал.

Кончилась и эта работа.

Что делать, все же придется решить.

Пошел в перевязочную.

— Юрий Михайлович, мы без вас перевяжем.

Но он решил сам перевязать больного.

Опять, в который уже раз, появились боли в животе справа. Вообще-то боли держались с утра, но отчет себе в этом он отдал только сейчас. «Конечно, это холецистит. По болям ясно, что это камни. У меня уже было так. Точно, камни. Я еще тогда для себя решил: первый приступ — операция. Нечего терпеть. Ведь камни все равно не вылечишь».

Перевязывал он около получаса: промывал свищи сначала перекисью водорода, потом фурацилином; сначала один свищ, потом другой; затем вводил дренажи, сначала в один свищ, потом в другой; потом тщательно мыл вокруг эфиром — отмывал слои засохшего клея.

— Да идите, Юрий Михайлович, мы сами заклеим.

Они вообще все могли сделать сами. А больной был доволен. Много ли человеку надо?

Вроде в перевязочной ему делать нечего уже, но он поглядел, как здесь же накладывает гипс Василий Борисович, и не мог пройти мимо. Помог ногу поддержать. А потом глубокомысленно сказал:

— Надо пользоваться надувными пластмассовыми шинками, съёмными. Их много раз можно и разным больным. Я видел лет десять назад образцы. Что-то до сих пор нет их.

— И гипс хорошо.

— Гипс-то хорошо, но сколько воды уходит, долго все это, не видно ничего сквозь повязку... И вообще... Думать надо.

«Болтун и демагог»,— мог подумать и, наверное, подумал Василий Борисович. Откуда ему знать, что его заведующий просто убежал от решений? Хотя сейчас и решать уже нечего — Лапину легче, оперировать эмболию не надо, все остальное трогать невозможно. А нога!..

Юрий Михайлович ушел из перевязочной.

— Вот человек,— сказала сестра,— все сам, все сам. Вот молодец. Большой тоже одобрительно отнесся к действиям заведующего.

Титов промолчал.

Боли усиливались, и Санин пошел в кабинет, сел, согнулся. Как и всем больным, ему казалось, что эта поза дает некоторое облегчение. «С другой стороны, операцию делать тоже не дело. Может, подождать еще».

В дверь постучали, и вошла жена Лапина.

Санин подробно рассказал ей про состояние здоровья его Лапина и ее Алексея; говорили об опасности, которую он миновал; не говорили о смерти, которая уже один раз у него была.

Жену интересовала судьба ноги, но время от времени она говорила:

— Лишь бы жил. Лишь бы жил.

И она была права. Сейчас это было на первом месте.

Сейчас! Всегда!

— А Николай Иванович говорит, что, может, придется его еще оперировать?

Санин покраснел: «Тянет его быть вершителем. Все решил уже».

— Посмотрим, посмотрим. Не знаю пока еще.

Жена Лапина ушла, и он вызвал сестру сделать ему укол. «Был бы Игорь, подложил бы ему свинью. Пусть бы оперировал меня».

Пришли Пирогов и Бубнов.

— Что случилось, Михальч? Я как услышал, тебе но-шпу делают, ну, смех меня разобрал. Доигрался, Михальч. Ну смех, железный человек.

— Что с тобой, Юра? Острый холецистит, говорят?

— Уже говорят? Наверное. Посмотрите.

Оба посмотрели, пощупали.

Им, видно, все ясно, но начали задавать вопросы, вопреки всем правилам и установлениям — с вопросов надо начинать.

Все ясно. Настоящий приступ холецистита. Надо решать.

Они и стали задавать вопросы.

— А температура есть?

— Не мерил, но чувствую — есть.

Николай пощупал руки.

— Да. Есть, наверное.

А чего щупал? Он до этого живот щупал.

— Рвота была?

— Нет. Но тошнит.

— Покажи глаза. Нет, желтухи нет.

— Конечно, нет. Там в пузыре камешек. Уверен на девяносто процентов,— Санин подмигнул им.

— Не будь уверен,— мрачно сказал Николай.

Петя тоже подтвердил:

— Как можно быть уверенным? Хотя приступ был раньше, кажется.

— Положи лед, Юра. Начнем капать, лить. Как обычно. Тем более ты говорил, что боишься более и операций.

— Конечно, боюсь.

— Они у тебя накопились, Михалыч, чужие боли.— Петя засмеялся.

— Позвони Ире, она тебе достанет всяких лекарств наисовременнейших,

— Ты знаешь лекарства от камней?

Боли были сильные, но терпеть можно было. Они даже приятны были — отвлекали от главного. Но насколько хватит ему этого отвлечения?

Пришел Глеб Игнатьевич и, не подумав, что Санин лежит из-за собственных болей, стал говорить что-то о Лапине.

Петя махнул рукой:

— Подожди. Все знаем. Потом.

— Ладно, ребята. Все ясно. Камень у меня — стопроцентно. Давайте оперировать.

— Ты что! Сошел с ума. Мы ж еще ничего не делали даже. Давай полечим сначала.

— Не надо, Михалыч. Давай капельницу поставим. Можно же ждать. Что ты!

— Что за срочность, Юр! Перитонита нет. Первый день только.

— Ладно вам. Первый день. Камень же есть — ясно, по-моему. Не сейчас, так потом все равно придется. Спросите у Титова, он вам сразу скажет, что вы, наверное, на учете у психиатра.

— Ты ж боли боишься.

— Наркоз дадите. Глупости какие говоришь.

— Глеб, дашь?

— Если надо, дам, а что, сегодня будем делать?

— А раз дашь, иди готовься. Начинай.

— погоди, Михалыч. Полечим еще, а?

— Нет, нет. Я сказал нет. Дайте мне покой. Вам что, трудно? Вы ж хирурги. А у меня камень. Холецистит.

У Глеба нет лишних эмоций:

— А кто оперировать будет?

Оба хирурга со страхом смотрят на зава.

— Оба. А кто справа, на правой руке — решайте жребием. Железные же вы ребята.

— Домой-то позвонил?

— Когда все будет готово, тогда и позвоню. Чтоб не успели поднять паники. Позвонить, приехать и... Идите готовьтесь.

Все ушли.

Свалившаяся болезнь разливалась по телу, напряжение этих дней расплывалось, таяло, смягчалось. Так отогревается человек, прислонившись, уйдя с морозца, к теплым изразцам печки, отдавшись безмятежности и покою.

Юрий Михайлович лежал тихо, как будто болей и не было. Лицо его стало спокойным. Он принял решение. Он ушел от проблем.

В успехе он был уверен.



---

---

ЮРИЙ БЕЛАШ



## РАКЕТА

*Памяти старшего лейтенанта  
Михаила Акулова, ярославца.*

Человек на фронте — как ракета:  
вспыхнет на минуту — и умрет.  
Но ее мерцающего света  
хватит,  
чтоб фланкирующий дзот  
брызнул торопливо вдоль траншей  
трассами кинжального огня —  
и фашисты, втягивая шеи,  
бросились в сугробы, гомоня.  
Хватит,  
чтоб сержант, вбежав в землянку,  
исступленно выкрикнул: «В ружье!» —  
и бойцы метнулись от времянки,  
похватав оружие свое.  
Хватит,  
чтобы первую гранату,  
выхватив из ниши второпях,  
бросить наобум вперед куда-то,  
чтоб прогнать растерянность и страх.  
Хватит,  
чтоб на всем переднем крае  
стало от стрельбы светло, как днем.

...А в снегу ракета догорает  
навсегда стихающим огнем...

## РЖАНОЕ ПОЛЕ

Осядет бруствер от дождей.  
Весною трактор поле вспашет.  
И от воронок и траншей  
не сыщешь и намека даже.  
Взойдут хлеба...  
И рожь наклонит  
колосья колкие свои,  
и ничего уж не напомнит,  
что здесь когда-то шли бои.

И разрывные пули щелкали  
в густых нескошенных хлебах,  
и рожь со сбитыми метелками  
едва стояла на ногах  
и, дымным пламенем объятая,  
трещала, выстрелы глуша.

И мы когда-то здесь солдатами  
у огневого рубежа,  
глаза рукой от жара пряча,  
держались из последних сил —  
и ветер резкий и горячий  
чужие крики доносил.

И, озверев, осатанело  
они ломались напролом,  
а мы их лежа и с колена  
рубил залповым огнем;  
и падал гад фашистский, падал  
лицом в горящую стерню.  
И кровью пахнул и металлом  
тот хлеб, убитый на корню.



---

ИВАН КИУРУ



## В СИБИРИ

Синий воздух чьи крики пронзили?  
И на землю слетают с небес...  
И на Волге и в дальней Сибири  
Им откликнулись поле и лес.

Отозвались высокие скалы,  
И дремучие топи болот,  
И просторы озер одичалых;  
И заброшенный в дебри завод —

Знак надежды, обличьем лишь новый,—  
Вторит им величавой трубой,  
Молодой и еще бестолковый,  
С просьбой взять его в небо с собой.

В этот миг вся земля наклонилась.  
То был странный, но видимый миг!  
И сентябрьскому лесу приснилось,  
Что он счастье в печали постиг.

В неизбежной прекрасной печали!..  
Перед музыкой дальних дорог  
Высоко над моими плечами  
Тихо падает месяца рог.

Стал простор весь летуч, весь озвучен...  
Над лесами, горами земли,  
К жарким звездам и ласковым тучам  
Словно ищут свой путь журавли.

Кинув беды и радости буден,  
Мхов зеленых покинув уют,  
То стучат они в небо, как в бубен,  
То серебряной флейтой поют.

И сердца своей жалобой зыблют  
(Велика их тоска высоты!),  
И на трав увядание сыплют  
Разноликую песню листы...

...С желтой хвоей на землю слетая,  
Журавлиной трубой рождена,  
Темно-синяя и золотая,  
Над страную плывет тишина...



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН



## СУДЬБА ПРОСВЕТИТЕЛЯ

**Е**ще совсем недавно здесь был шлагбаум — у перехода через железную дорогу. Вверх по склону горы карабкался каменный забор старинной кладки. Чуть дальше — узкие внутренние дворы пристроенных друг к другу домов в стиле отжившего свой век европейского модерна. Сочетание серо-пепельного и красного — цветов штукатурки и черепицы. Этот вид, открывавшийся из окна поезда, вызывал в памяти старинные открытки и городские пейзажи импрессионистов; глаз невольно искал на узких, крытых шлифованной брусчаткой улицах конные экипажи, франтов с тросточками, дам в шляпках с высокой тульей и мальчишек — продавцов газет.

Теперь вместо шлагбаума подземный переход. Небольшая, но свободная и светлая площадь. Но это как раз тот случай, когда не следует грустить по поводу ушедшего. Площадь была создана для того, чтобы открыть вид на монастырь святого Онуфрия с его простой и строгой колокольней, с раздвоенной лестницей, что ведет к массивной двери главного входа. Во дворе монастыря, у церкви три монументальные фигуры: Иван Федоров со своими помощниками Петром Мстиславцем и Гринем Ивановичем. А сам монастырь отныне музей Ивана Федорова. Это логично. Онуфриевский монастырь — единственное сохранившееся здание, в котором Федоров жил и работал. В одной из келий монастыря, как считают многие исследователи, пытался он организовать последнюю в своей жизни типографию. Наконец, Федоров здесь похоронен. Правда, сама могила Ивана Федорова по сей день не найдена. И во дворе церкви сейчас сооружено лишь символическое надгробие.

Открытия музея пришлось ждать почти четыре века. И на то были особые причины.

Вряд ли в нашей истории есть фигура столь же загадочная и неожиданная, как Иван Федоров. Мы не знаем ни года, ни места его рождения. Неизвестно и другое: где он учился инженерным наукам и типографскому ремеслу. Из единственного найденного письма И. Федорова (оно писано по-латыни и хранится в одном из архивов ГДР) и некоторых других архивных материалов стало ясно, что, кроме книгопечатания, он был весьма искусен в военном деле, изобрел сложную разборную бомбарду и новый тип мушкета...

Пока что доподлинно неизвестны причины, по которым Федоров, основав в Москве Государев печатный двор и издав «Апостола», затем уехал в Литву и русские земли польской короны (нынешняя Западная Украина). Федоров особо оговаривал, что царь, то есть Иван Грозный, его никак не притеснял и гонения он испытывал от высшего духовенства. Это звучит странно и неправдоподобно. Мог ли решиться кто бы то ни было в то время травить государева печатника вопреки воле самого грозного Ивана? Отсюда и сомнения: точно ли описаны И. Федоровым обстоятельства его отъезда из Москвы? Не были ли реверансы в сторону царя тактическим ходом? Ведь в ту пору не исключалось, что сам Грозный или же его сын может занять вакантный польский престол и Федоров вместе со своей типографией вновь окажется во власти царя.

Но не выдерживает критики и версия о тайном побеге И. Федорова из Москвы. Ведь он уехал с обозом и увез с собой значительную часть типографского имущества... В Литве его любезно приняли польский король Сигизмунд II Август и гетман Григорий

Ходкевич. Позднее Ходкевич помог ему организовать в Заблудове типографию, пытался наделить землей. Но московский печатник повел себя строптиво. Он отказался от покровительства, заявив, что не пристало ему талант, данный от бога, зарывать в землю, а надлежит семена духовные по миру сеять.

Напомним, что последние годы жизни И. Федоров провел во Львове и Остроге. Выпустил в свет несколько изданий (львовского «Апостола», острожские Библию, «Новый завет», «Хронологию» Андрея Рымши, «Книжку, собрание вещей нужнейших»). Но главное (и об этом мы узнали не так уж давно) — во Львове и Остроге И. Федоров издал первый восточнославянский Букварь (иногда его именуют Азбукой). Букварь был столь удачен, что на столетия стал основой для такого рода учебников не только у нас, но и в Валахии и Болгарии.

Теперь уже можно уверенно говорить и о том, что прежние представления об И. Федорове как о постоянно бедствующем, гонимом судьбой простом мастеровом неверны. Это был один из образованнейших людей своего времени. Талантливая, свободная и мощная натура — поистине возрожденческая. Он многое знал и многое умел. Можно не сомневаться уже, что он был блестящим собеседником, владел несколькими языками. Его принимали при дворах в Кракове и Вене. Он состоял в переписке с курфюрстом саксонским. Ему покровительствовал один из могущественных в ту пору феодалов Европы — князь Константин Острожский. Но во всех случаях «друкарь москвитин» решительно отводит попытки его опекать, ведет себя крайне независимо и не оставляет мечту создать собственную типографию.

Утверждение некоторых историков, будто речь шла об обычном коммерческом предприятии («свое дело»), представляются весьма сомнительными. Ведь достаток и даже земли И. Федоров мог получить и от гетмана Григория Ходкевича, и от князя Острожского, а возможно, и от кого-либо из венценосцев. Но в том-то и дело, что за богатством он не гнался и, как сам говорил, не пожелал собственный талант зарывать в землю. А целью жизни считал — научение грамоте всех детей русских. Не только боярских или княжеских, а именно всех.

Русскими в ту пору называли не только подданных Московского государства, но и жителей русских земель польской короны. Наконец, на западнорусском диалекте говорило большинство жителей Великого княжества Литовского. А призыв к научению всех их грамоте — не позиция ли это человека, духовно опередившего свое время?

Думается, И. Федоров был неугоден всем феодальным правителям. Ни для кого из них он не пожелал быть слугой или фаворитом. Он боролся за широко просвещенную Русь и занимал совершенно самостоятельную позицию, которая в ту пору мало кем была понята и оценена. Лишь теперь мы начинаем осознавать масштаб деятельности и смелость замыслов этого человека.

Мы не знаем, какие книги он собирался издать в собственной большой типографии, средства для которой пытался добыть, продав кому-либо из монархов идею уникальной бомбарды. Возвратившись во Львов из поездок в Вену, Краков и, может быть, еще и Дрезден, он тяжело заболел. Умер он во Львове 5 или 6 декабря (мнения ученых здесь не совпадают) и был похоронен на кладбище при Онуфриевском монастыре. Через год после смерти отца сын Федорова Иван Друкаревич (так его называли во Львове) вместе с друзьями положил на могиле каменную плиту, на которой был вырезан типографский знак печатника. Надпись гласила: «Иоан Федорович друкарь москвитин который своим тщанием друкование занедбалое обновил преставился Львове року 1583 декабря 6 [5?]. Вверху доски над книжным знаком Федорова была еще одна надпись: «Успокоения и воскресения из мертвых чаю». А под самим знаком: «Друкарь книг пред тым невиданных».

Могилы Федорова долгие годы была для львовян местом паломничества, а его имя, память о нем лишний раз возвращали к мысли о том, что сами львовяне в такой же мере наследники Киевской Руси, как и те, кто жил в Новгороде и Москве.

Но междоусобицы в Польше постепенно привели к общему упадку городской жизни. За кладбищем при Онуфриевском монастыре уже не присматривали так тщательно, как в минувшие времена. Например, Ф. Папе в своей «Истории Львова», изданной на польском языке в 1894 году, утверждал, что в начале XVIII века при взятии войсками Карла XII города и крепости на кладбище монастыря святого Онуфрия шел

жаркий бой. Не исключено, что многие надгробия были еще тогда повреждены. А когда через восемьдесят лет после этих событий Львов подпал под власть австрийских Габсбургов, кладбище при монастыре закрыли. Можно предположить, что именно тогда плиту с уже заброшенной могилы И. Федорова перенесли в церковь монастыря. В том, что эта плита какое-то время находилась в церкви, нет никаких сомнений. В 1817 году ее по просьбе польского историка И. Лелевеля зарисовал М. Гриневицкий. Через пять лет был сделан еще один рисунок — ученым П. И. Кепшеном. Он был опубликован в одном из номеров «Вестника Европы» за 1822 год. Эту публикацию наверняка видели Пушкин и Рылеев, Баратынский и семейство Карамзиных. Но она не стала сенсационной. Нам представляется, что объяснение тому может быть единственное — в самой России слишком мало в ту пору знали об Иване Федорове. Правда, Н. Карамзин считал его выдающимся печатником, издавшим «Апостола», который «красотою букв достоин». Но никто еще не догадывался о том, что Федоров издал и первую русскую светскую книгу — учебник Букварь.

Впрочем, справедливости ради надо все же упомянуть о письме известного московского историка и публициста М. П. Погодина, датированном 12 октября 1837 года, в котором тот умолял игумена монастыря В. Компаневича вынуть эту плиту из пола и сохранить невредимой. Письмо было оставлено без внимания. Нужного резонанса оно не получило. Но это позволяет сделать вывод, что уже в 30-е годы минувшего столетия плита была использована как стройматериал при ремонте церкви, о чем стало известно в России. Во всяком случае, М. П. Погодин об этом знал...

В 1875 году во Львове побывал ученый и археолог, любитель русской старины граф А. С. Уваров. Он как будто заказал слепок с надгробной плиты Ивана Федорова и привез его в Москву. Но, как ни странно, слепка этого нет. В руки наших исследователей он не попал. Время от времени в различных популярных статьях упоминается, что второй слепок или копия (что, заметим, вещи разные) хранится во Львове. Но во Львове известна только плита, которую, строго говоря, никак нельзя именовать ни слепком, ни копией. Ее, как считают ученые, изготовили по рисунку М. Гриневицкого. Исследователям она ни в чем помочь не может. (Кстати, мне довелось видеть еще несколько надгробных плит Ивана Федорова, изготовленных уже в наше время по зарисовкам с подлинной.) Пожалуй, лучше ограничиться минимумом достоверного. А именно: плита существовала, ее видели, о ней писали многие. Свидетельства о ее положении в пол притвора церкви святого Онуфрия, о тексте, выбитом на ней, совпадают.

Теперь об исчезновении плиты. Здесь тоже много нечеткого, неясного, позволяющего трактовать факты в ту или иную сторону. И потому правильнее всего будет просто изложить то, что известно доподлинно.

Накануне трехсотой годовщины смерти Ивана Федорова та самая плита, о которой столько раз писали, которую зарисовывали польские и русские историки, внезапно исчезла. Кто первый это заметил и ударил в набат, сейчас уже выяснить трудно. Известно лишь, что по городу распространились слухи об уничтожении плиты. Публицист О. А. Мончаловский гневно писал об этом во львовской газете «Слово» (от 1 декабря 1883 года). Вслед за «Словом» об этом печальном событии сообщили многие московские и петербургские газеты, в частности суворинское «Новое время», синодальное «Православное обозрение». Резкие высказывания в адрес игумена монастыря Климента Сарницкого можно было прочитать в ту пору в прогрессивной польской прессе. Суть обвинений сводилась к тому, что орден василиан (наследовавший роль иезуитов во Львове и владевший в ту пору монастырем святого Онуфрия) вел борьбу со всем, что напоминало о связях львовян с Русью и «схизмой». Потому было нежелательно сохранять надгробие «русского пастыря». Оно и было уничтожено в канун трехсотлетия со дня смерти И. Федорова.

Климент Сарницкий призывал свидетелей. Составлял акты. Один из актов даже был опубликован в варшавском еженедельнике «Клосы». Причем (ирония судьбы, совпадение или же сознательное глумление над памятью друкаря) этот акт датирован предполагаемым днем похорон Федорова — 9 декабря. Страсти разгорались. Тем более что Климент Сарницкий оправдывался как-то слишком настойчиво, даже назойливо. По словам Сарницкого получалось, что рабочие во время ремонта церкви поддели ло-

мом плиту. Она и раскололась надвое. По другим сведениям, рассыпалась на мелкие куски. Безусловно лишь одно: после 1883 года никто плиту не видел.

Много лет спустя Сарницкий, уже выехав из Львова, вновь возвратился к этой теме и постарался обелить себя в глазах потомков. Он доказывал, что плита, уже вполовину уменьшенная, будто бы была вделана в стену церкви у алтаря. А в 1903 году архитектор Иван Левинский, производя в церкви пристройки, закрыл плиту новой стеной. Все это выглядело странно. Зачем вмуровывать в стену плиту, которая несколько десятков лет лежала на полу? Почему Сарницкий не назвал сразу все факты, а «выдавал» их по частям, с перерывами в годы и даже в десятилетия? Говоря юридическим языком, вынести вердикт виновности по «делу Сарницкого» было бы трудно. Но с точки зрения обычной логики оправдаться он все же не смог.

Когда после Брусиловского прорыва русские войска взяли Львов, туда сейчас же помчал московский археолог А. Ходоровский. Он будто бы обследовал монастырь и лично видел у двери монастырской часовни надгробную плиту И. Федорова. Обо всем этом А. Ходоровский вполне официально доложил на заседании Московского археологического общества. Тут же начали собирать деньги для того, чтобы перевезти плиту в Москву. Надеялись отыскать и могилу Федорова. Что случилось с А. Ходоровским, трудно сказать. Не мог он видеть плиту. Это исключалось. Но говорил о ней так убедительно, что ему поверили на слово.

Страсти охладил известный русский искусствовед В. А. Верещагин. Он посетил Онуфриевский монастырь, тщательно его обследовал и написал в 1915 году в журнале «Старые годы» следующее: «Время этой плиты не пощадило. От нее осталась только слепок. Точно неизвестно и самое место, где лежит его прах». Тут, правда, опять мелькает слово «слепок», хотя, как уже было сказано выше, нет оснований полагать, что такой слепок когда-либо существовал. Но это могло быть оговоркой. Неточностью. Правильнее было бы сказать — воссозданная по рисунку копия. В целом же свидетельству В. А. Верещагина следует верить. Писал он обычно точно, не позволяя себе домыслов.

В 20-х и 30-х годах расследовать историю с плитой пробовала специально созданная комиссия научного общества имени Т. Г. Шевченко. И опять безрезультатно. Ничего выяснить не удалось. Да и монастырские власти мешали объективному расследованию дела.

Но и это еще не все. Уже в наше время в конце 50-х годов львовские археологи сделали попытку вскрыть стену в месте, некогда указанном на плане К. Сарницким. Никакой плиты там не оказалось.

Какие выводы можно сделать из всего этого? Надо думать, что плиту еще в 1883 году сознательно или по недосмотру разбили на куски, а К. Сарницкий, испугавшись бури, поднявшейся по поводу содеянного, придумал версию, будто она частично сохранилась и вмурована в стену.

Надо думать, что память о «русском пастыре» долгие годы не давала покоя тем, кому не на руку было любое упоминание о том, что Львов — город, основанный русскими, что в нем издревле жили русские, те самые упрямые «схизматики», которые некогда не признавали ни отторжения от родины окраинных русских земель, ни принятия унии, ни позднейших попыток окатоличить местное население. Вот почему практически можно не сомневаться, что если могилу и плиту и не уничтожили сознательно, то, уж во всяком случае, не берегли и не охраняли.

Есть ли надежда отыскать их? Львовский археолог доктор исторических наук Игорь Кириллович Свешников в свое время обращался к известному ученому-антропологу скульптору М. М. Герасимову с просьбой помочь в этом деле. М. М. Герасимов тогда вполне резонно ответил, что он может восстановить по черепу скульптурный портрет, но как потом узнать, Федоров ли это? Ведь не сохранилось (во всяком случае, пока не найдено) ни одного портрета великого просветителя? Предположим, будет проделана огромная работа — созданы скульптурные портреты всех похороненных на бывшем монастырском кладбище людей. Что же дальше? С чем их сверить? С чем сравнить? Ведь мы пока не располагаем даже словесным описанием внешности И. Федорова. Выходит, что задача не просто невероятно сложна, но и теоретически невыполнима... Правда, кроме прямых доказательств сходства бывают и косвенные. Так,

например, одно время высказывали предположение, что в гроб И. Федорова согласно тогдашним обычаям могли положить орудия труда печатников той поры: резцы, шрифт, модели матриц, не исключено, что даже экземпляры изданных им книг. Такое, естественно, во многом помогло бы делу. Но пока это не более чем предположение.

Несколько лет назад в самой церкви было обнаружено два захоронения второй половины XVI века. Специально проведенный анализ показал, что в костях — повышенное содержание именно того металла, который употребляли во времена Федорова в типографском деле. Но доказательство ли это того, что здесь был похоронен печатник? Ни в коем случае. Ладанка, которую по местному обычаю клали в гроб, обычно состояла из сложных сплавов с участием как раз тех элементов, которые и были найдены при анализах в костях. И. К. Свешников считает, что помочь отыскать могилу Федорова может единственное — найденный в захоронении крестик. Дело в том, что в ту пору поданных Московского государства хоронили с нательным крестом, с которым человек, как правило, не расставался всю жизнь. На территории нынешней Украины существовал другой обряд — в гроб клали только ладанку. (Кстати, И. Е. Репин в своей знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» ошибочно изобразил крест на груди запорожца. Запорожцы их не носили, о чем, впрочем, Репин в ту пору мог и не знать. Даже на месте знаменитой битвы Богдана Хмельницкого с поляками под Берестечком в 1651 году не было найдено на костяках запорожских казаков ни одного креста. Зато археологам попало в руки несколько крестиков донской работы, из чего можно сделать вывод, что какое-то число донских казаков сражалось в составе войск Хмельницкого.)

Но возвратимся к теме. Иван Федоров мог быть похоронен с нательным крестом. Но как исключить вероятность того, что хоронили его по местным обычаям? На том же кладбище могли похоронить с нательным крестом и другого человека московского происхождения...

Отыскать надгробную плиту (а тем более могилу Ивана Федорова) будет чрезвычайно сложно. И мы пока не располагаем никакими фактами или документами, которые помогли бы выйти на правильный путь. Впрочем, отчаиваться не следует: как часто бывало, что к историческим загадкам, даже за семью замками, все же со временем находились нужные ключи...

А пока Львовский горисполком поддержал единственно верное решение — в здании бывшего Онуфриевского монастыря открыт музей Ивана Федорова. У входа сооружено символическое надгробие, восстановленное по рисункам минувшего века. Любопытна экспозиция музея. Хоть собирать ее начали совсем недавно, в ней уже немало редких книг, в том числе и федоровских изданий, орудия труда средневековых печатников. Среди иконографического материала — картины, рисунки, посвященные И. Федорову. Отдельный стенд — работы народных умельцев из России, Украины, Армении, в которых так или иначе звучат федоровские мотивы. Шелковый платок с друкарской маркой печатника, выполненный в керамике портрет (как сумел представить Федорова художник), гравюры на бересте, резьба по дереву. Все эти материалы были собраны за последние годы сотрудниками Львовской картинной галереи (музей считается ее филиалом), многое передали в дар московские, ленинградские, украинские ученые, художники, библиофилы.

В музее стали традицией Федоровские чтения.

В недалеком будущем начнутся раскопки на территории, прилегающей к бывшему монастырю, будут продолжены работы по архитектурной перепланировке площади возле музея.

Так положено начало большому делу. Можно верить, что со временем музей Ивана Федорова во Львове станет столь же славен, как Михайловское, Клин, Тарханы, Ясная Поляна. Сюда будут приходить, приезжать сотни тысяч людей, чтобы поклониться памяти человека, совершившего подвиг, подобный подвигу Прометея. Прометей нес человеку огонь, Иван Федоров — просвещение родному народу.



---

РАФАИЛ ХИГЕРОВИЧ



## БОЙЦОВ НЕ ОПЛАКИВАЮТ

«(О)н мыслил ради всех, он говорил со всеми и страдал за всех». Эти емкие и взволнованные слова о жизни Антонио Грамши принадлежат Пальмиро Тольятти, единомышленнику, соратнику Грамши, имевшему как никто неоспоримое право на такое обобщающее суждение: начало дружбы двух выдающихся политических борцов восходит к 1911 году, когда под портиком Туринского университета, славного своими интеллектуальными традициями, встретились юноша с острова Сардиния и молодой уроженец Генуи — Антонио и Пальмиро.

Через пятнадцать лет за Грамши захлопнутся ворота фашистской тюрьмы. Навсегда. Десять с половиной лет заключения, из них почти восемь лет в одиночке, и смерть в сорок шесть лет. Но то, что после себя оставил Грамши, хватило бы на много человеческих жизней:

он оставил созданную и воспитанную им Итальянскую коммунистическую партию, без участия которой сегодня, по существу, не может быть решен ни один крупный вопрос жизни государства;

оставил глубокий след в мировом коммунистическом и рабочем движении;

оставил сотни блистательных работ по вопросам политики, истории, искусства;

оставил «Тюремные тетради» — раздумья о стратегии революционного преобразования общества.

В десятую годовщину со дня смерти Грамши в Италии вышло в свет первое издание его «Писем из тюрьмы», позднее — полное, шеститомное, переведенное на многие языки издание «Тюремных тетрадей». В Советском Союзе вышли сочинения Грамши, материалы научных сессий, посвященных ему, ряд книг биографического и исследовательского характера.

О судьбе Грамши написана книга Рафаила Хигеровича «Бойцов не оплакивают», главы из которой публикуются ниже. Полностью книга выйдет в серии «Пламенные революционеры» Политиздата. Автор вводит в свою повесть малоизвестные и совсем неизвестные материалы, главным образом связанные с семьей старого русского революционера Аполлона Александровича Шухта. Младшая дочь Шухта Юлия Аполлоновна стала женой Грамши.

Один из руководящих деятелей ИКП, Джорджо Амендола, сказал: «Грамши, к счастью, был живым человеком со своим гневом и своими симпатиями». Новые материалы расширяют наше представление о Грамши, о некоторых сторонах его духовного мира, проливают свет на трагическую обстановку последних тюремных лет. Регулярно навещать заключенного долгое время имела возможность только свояченица Грамши Татьяна Аполлоновна Шухт. Ее письма родным, хранящиеся в семейном архиве, — это неприкрашенная хроника последних лет жизни Грамши, свидетельство его огромной нравственной силы. Письма Татьяны Шухт одновременно и своеобразные отчеты о борьбе заключенного с физическими недугами, о его медленном умирании. Естественно, они могут быть широко использованы лишь в выдержках, что и сделал автор повести с разрешения семьи Грамши.

## ЮЛИЯ

Из окна палаты Грамши увидел Аброджи, своего помощника по представительству Коммунистической партии Италии в Коминтерне. Аброджи торопился, почти бежал, но начался послеобеденный мертвый час и одноногий санитар Антоньч по приказу главного врача, конечно, уже запер входную дверь. Распоряжения главного отставной кавалерист выполнял свято. Говорили, что они старые знакомые. Будто бы в боях где-то на юге России лихой боец спас красного доктора от белогвардейского клинка, затем, когда бойца тяжело ранило и считался он безнадежным, доктор спас ему жизнь. Ногу все же пришлось отнять. И безногий кавалерист тот — Антоньч, а доктор — строгий главный подмосковного санатория «Серебряный бор», куда разбитая санитарная машина привозила истощенных и больных с тусклым, безразличным взглядом, а через месяц-другой те же люди выходили из ворот санатория на собственных ногах, и глаза у них были другие, живые. Кормили в санатории скудно (шел еще голодный 1922 год), лекарств, даже самых обиходных, не хватало, а больные поправлялись. Этот медицинский феномен в кулуарах санатория объясняли по-разному. Кто опытно и вниманием медицинского персонала, кто целебным воздухом, настоящим на хвое и приречном разнотравье, кто санаторным режимом, одним из элементов которого и был пресловутый мертвый час.

Ничего не поделаешь, нужно выручать Аброджи. Грамши накинул на плечи байковый санаторный халат и спустился в вестибюль, непривычно пустой, полутемный даже в солнечный полдень ранней осени. Свет проникал в помещение через небольшие полукруглые окна и застекленную входную дверь. По эту сторону двери стоял Антоньч в белом халате и неизменной буденовке, которую снимал только в присутствии главного врача. По ту сторону — Аброджи.

— Завтра приходи! — Антоньч зловеще шептал, боясь не совладать со своим трубным голосом. — Завтра... Как это по-вашему будет?

— Домани? — сообразил за стеклом Аброджи. — Домани, домани...

— Догадливый, — одобрил Антоньч. — Вот и приходи завтра хоть до Мани, хоть до Маши.

— Маши! Маши! — обрадованно закивал за стеклом Аброджи.

Грамши чуть не расхохотался. Он любил забавные *qui pro quo*<sup>1</sup>. Маши — одна из его партийных кличек; разумеется, Антоньчу это неизвестно. Пора вмешаться.

С суровым санитаром у Грамши сложились добрые отношения. Как-то в часы ночного дежурства Антоньч разрешил страдающему бессонницей Грамши покурить в коридоре. И сам не заметил, как, слово за слово, рассказал больному-итальянцу всю свою незадачливую жизнь. «Ты что? Он же по-русски ни в зуб ногой!» — удивился другой санитар, утром сменивший отставного кавалериста. «Понимает, — убежденно ответил Антоньч. — Слов, может, и не знает, а душой все понимает».

Эту историю передала случайно слышавшая разговор товарищ Евгения — так Грамши называл лечившуюся в санатории молодую женщину Евгению Аполлоновну Шухт. Дочь русского политического эмигранта, она долго жила и училась в Риме, неплохо знала и любила Италию, даже бывала на Сардинии — родине Грамши. Суровая красота острова восхитила русскую девушку, и хотя она увидела не более того, что показывают туристам, ее наивный восторг был Грамши приятен. «А вы действительно не знаете по-русски?» — спросила вдруг Евгения. «Знаю и уже выведал все ваши секреты!» — рассмеялся Грамши. «Нет, правда?» — «Увы, товарищ Евгения!» — «Значит, у вас особое умение слушать. Больше, чем умение, — талант. И довольно редкий. Люди предпочитают говорить, а не слушать...»

...Антоньч сердито повернулся на шум шагов. Но, узнав Грамши, только укоризненно покачал головой и отпер дверь.

— Я тебя с утра ждал, — недовольно сказал Грамши помощнику. — Самое неподходящее время.

— Не сердись, Антонио. Раньше никак не мог. Привез письма и газеты из Италии. Новостей много. Невеселые новости.

<sup>1</sup> Буквально — одно вместо другого; путаница, недоразумение (лат.).

— Сейчас говорить не будем. В следующий раз приезжай в приемные часы. Список медикаментов отослал?

— Отослал.

— Напиши еще раз. Мне было бы приятно вручить посылку до своей выписки. Впрочем, это не столь важно.

Получив от Аброджи довольно объемистый пакет, Грамши спрятал его под халат и потуже завязал пояс. Антоныч нарочно смотрел в сторону, но в санатории существовала и другая «цензура». Кроме малярии, болезни достаточно неприятной, но поддающейся лечению, у Грамши нашли еще сильнее нервное истощение. «У вас, дорогой мой, временное функциональное нарушение нервной системы, обусловленное перенапряжением, — сорбшил Грамши профессор, консультант по нервным болезням, предварительно постучав по колену пациента специальным молоточком и проделав перед его глазами несколько энергических пассивных пассов правой рукой. — Не берегли, уважаемый, нервную систему, не берегли. Как так можно! Ведь еще молодой человек!» — вдруг рассердился профессор. Грамши согласился, что не берег, и обещал в будущем беречь нервную систему «в той мере, в какой позволят обстоятельства», дипломатично добавил он. Профессор ничего не сказал, укоризненно покачал головой, а персоналу санатория оставил предписание оберегать больного от «раздражителей».

После мертвого часа и до ужина больные были свободны. На берегу Москвы-реки Грамши как-то нашел большой плоский валун. Подтащил к нему второй пониже, получил стол и стул. С тех пор Грамши часто уединялся в свой «кабинет». Прекрасные минуты тишины и раздумий у реки. Издавна он питал к текучей воде особое чувство. Вода — труженик, вода, несущая жизнь выжженным солнцем полям. Так было в Сардинии, земле его детства и юности.

Сегодня едва дождался минуты, когда сможет сесть за работу в своем «кабинете». Привезенные Аброджи материалы жгли, как раскаленное железо.

Тишина. Спокойно течет река. А на берегах другой реки гремят выстрелы. (Та, другая река спускается со склонов Западных Альп и, прежде чем разрезать надвое Ломбардскую низменность, утоляет жажду Турина, города заводов и рабочего класса.) За два года фашизм превратился в вооруженную организованную силу.

Тишина. И кажется, что в этой тишине кричат, вопиют строки газетных сообщений. Бои между фашистами и вооружившимися рабочими в Равенне. Кровавые столкновения в Генуе. В Бари. В Анконе. В Милане. В стране новый правительственный кризис. Причина кризиса, вернее повод (любопытно, весьма любопытно!): фашисты учинили погром в квартирах депутатов Мильоли (члена Народной партии) и Гариботти (социалиста). Народная партия поставила на обсуждение парламента вопрос о неспособности правительства обеспечить в стране гражданские права и безопасность. К резолюции присоединились социалисты, коммунисты и... фашисты. Дважды внимательно прочитал сообщение. Что это — отступление, вызванное инстинктивным ощущением опасности, или заранее рассчитанный демагогический ход? Представим ситуацию с точки зрения Муссолини. Захват единоличной власти — логическое завершение двухлетней эволюции фашизма. По-видимому, Муссолини маневрирует, решая вопрос, каким путем лучше прийти к власти, то есть участвовать в правительстве или нет... Как дальше разовьются события? Ясно одно: итальянскому пролетариату предстоит труднейшие бои. Ленин предупреждал об этом еще более года назад... Но какая нелепость — приехать в Москву и свалиться...

Тишина. Спокойно течет река. Куст орешника с чуть побуревшей листвой. Огороды. Женщины копают картошку. Когда шел к реке, поздоровался по-русски, женщины ответили, улыбаясь; вероятно, он смешно выговорил слова приветствия.

Говорят, в Подмоскowie в этом году хороший урожай. Судя по настроению женщин, это так... Кажется, голод побежден по всей советской России. Но сколько понадобится усилий, чтобы справиться с его экономическими — и может быть, еще более глубокими — физиологическими и психическими последствиями: болезнями, детской дистрофией, страхом человека, перенесшего голод, перед завтрашним днем.

Осеннее солнце словно невзначай коснулось листвы плакучих ив, склонившихся над самой водой, позолотило светло-коричневые стволы могучих сосен. Почему этот бор близ Москвы Серебряный? Скорее золотой. Надо спросить товарища Евгению.

— Где вы родились, Женя? — спросил он однажды. — В Москве?

— Нет, далеко-далеко от Москвы. В Томске.

— Томск? Это в Сибири? Покажите по карте, пожалуйста.

— Если хотите. В красном уголке есть карта.

По дороге Евгения Аполлоновна спросила:

— Вы уже сидели в тюрьме, Антонио?

— Уже сидел, — усмехнулся Грамши. — В Турине. Три года назад. Только совсем недолго.

— Страшно в тюрьме? В детстве я спрашивала папу, он в восьмидесятых годах сидел, в Петербурге. Папа пожимал плечами и отвечал: не страшно, а сыро и грязно.

— Я тоже пожму плечами и отвечу: жарко, нестерпимо жарко и грязно. Ночью нельзя спать из-за жары. И мириады насекомых.

— Жара еще хуже, чем сырость.

— Как мудро утверждали средневековые схоласты, *de gustibus non est disputandum*<sup>2</sup>. Оставим это.

Евгения Аполлоновна пристально взглянула на Грамши.

— Последнее время вы возбуждены, Антонио. Я знаю, в Италии все так сложно. Что, Муссолини очень плохой человек?.. Не улыбайтесь. Вопрос звучит наивно, да?

— Для политика, пожалуй, наивно. Вас интересует Бенито Муссолини? Извольте. Начнем с внешности. Он ниже среднего роста, но старается казаться высоким. У него довольно ординарное лицо с тяжелой нижней челюстью, он ее старательно выпячивает, считая, что это придает ему выражение силы. Впрочем, действительно придает; когда он забывает про челюсть, лицо кажется слабым. Перейдем к существу. Он опытный оратор, ловкий журналист, вообще человек, отнюдь не лишенный дарований. Но все меркнет перед честолюбием и беспринципностью. В сочетании с неукротимой энергией эти качества делают его человеком, опасным для общества. Но хватит о Муссолини, тем более мы пришли... Какое звонкое название у вашего города: Томск!

В красном уголке висела старая географическая карта Российской империи с многоцветными пятнами губерний. Евгения Аполлоновна повела по карте пальцем. Палец пересек европейскую территорию России, часть Сибири и уперся в черный кружочек.

— Вот.

Проследив за долгим путем пальца, Грамши с уважением перевел взгляд на Евгению Аполлоновну.

— Вы молодец, Женя.

— Чем же я молодец? — засмеялась Евгения Аполлоновна. — Родилась, и все. В большой семье. Да и какая я сибирячка! Болею без конца.

— Вы поправитесь, скоро поправитесь. У вас уже совсем здоровые глаза. Будья врачом, прежде всего смотрел бы пациенту в глаза. Пульс и прочее потом. Ваши братья и сестры тоже родились в Сибири?

— Нет, только я. Надя родилась в Царском Селе под Петербургом, Таня в Самаре на Волге, потом я в Томске, Ася в Царском Селе, а Юля и Витя в Женеве.

— Юля и Витя — мальчики?

Евгения Аполлоновна засмеялась:

— Витя — да. А Юля вовсе даже не мальчик, а, представьте себе, очень милая девушка. Я вас познакомлю. Может быть, даже завтра.

...Он шел по дорожке санаторного парка. В удивительно многоцветном уборе стояли клены. Надо спросить у Жени, почему осенью у подмосковных кленов листья бывают стольких цветов и оттенков. Зеленого, желтого, красного и какого-то очень солнечного, золотисто-оранжевого.

Навстречу шли, оживленно беседа, две девушки. Еще издали в одной из них он узнал Женю и хотел свернуть, чтобы не мешать их беседе, но Женя его заметила и, ускорив шаг, приветливо помахала рукой.

— Подождите, Антонио!.. Познакомьтесь. Моя сестра Юлия.. Товарищ из Италии Антонио Грамши.

— Говорит ли ваша сестра по-итальянски? — спросил Грамши.

<sup>2</sup> О вкусах не спорят (лат.).

— Спросите у нее сами,— засмеялась Женя.— Не беспокойтесь, поймет. Между прочим, Юля окончила в Риме музыкальный лицей.

Грамши вопросительно посмотрел на младшую Шухт. Юлия Аполлоновна молча кивнула.

— Мы пойдем ко мне в комнату,— сказала Евгения Аполлоновна.— Милости просим, Антонио. Будем рады.

Грамши сказал, что зайдет чуть позднее, и... не зашел, хотя ему очень хотелось зайти.

Он прогуливался по аллее, пока снова из-за деревьев не показались две девичьи фигуры. Взявшись за руки, сестры шли к выходу. «Наверное, в детстве старшая Женя не раз водила гулять маленькую Юлю,— подумал Грамши,— в ее отношении к сестре есть что-то материнское».

— Что не зашли?— укоризненно спросила Евгения Аполлоновна.— А сейчас Юля торопится.

Юлия Аполлоновна действительно очень спешила, она протянула Грамши руку, сказала, что ей было приятно познакомиться, и пошла. Евгения Аполлоновна проводила сестру до ворот и вернулась. Назад она шла медленной, неуверенной походкой.

— Устали, Женя?

— Не хотят ноги ходить — сил моих нет! — по-русски вырвалось у Евгении Аполлоновны.

Не дословно, но Грамши понял:

— Больно?

— Больно. Бодрилась при Юльке.

— И отлично.

— Что отлично? Что не могу ходить, как нормальные люди?

— Не злитесь, Женя. Вы отлично знаете, что я хотел сказать. Вы сумели преодолеть слабость, вам было больно, но никто этого не заметил. Вы волевой человек, Женя, и скоро забудете обо всех своих болезнях. А сейчас, если разрешите, я возьму вас под руку... Какое удивительное лицо у вашей сестры,— сказал Грамши задумчиво, когда они уже подходили к санаторию.

— Что-то византийское, правда?

— Может быть. Удивительное лицо. Особенно взгляд.

— Нам пора в корпус,— помолчав, сказала Евгения Аполлоновна. И добавила без связи с предыдущим:— В следующий раз Юля принесет мне одну книгу.

..И опять Юлия Аполлоновна торопилась; вся семья Шухт, оказывается, жила в Иваново-Вознесенске, нужно было успеть на поезд. На этот раз гостью провожали за ворота санатория вдвоем. Вернулись в дом, прошли в красный уголок. Там Евгения Аполлоновна показала Грамши книгу, о которой шла речь в прошлый раз.

— Взгляните, Антонио. Это повесть Де Амичиса «Школьные товарищи», переведенная с итальянского Анной Ильиничной Ульяновой, старшей сестрой Ленина. Вот надпись: «Наде, Тане, Жене и Асе Шухт от переводчицы».

— Почему же здесь нет имени Юлии?

Евгения Аполлоновна засмеялась:

— Юля еще была неграмотной. Ей только исполнился год. Мы жили тогда в Швейцарии, высоко в горах. Мария Александровна и Анна Ильинична приехали нас навесить. Хорошо помню, как мы все — папа, мама и девочки — обрадовались гостям. Кажется, тогда-то Анна Ильинична и подарила эту книгу.

— Все это очень интересно, Женя. Я давно хотел попросить рассказать о ваших родных.

Евгения Аполлоновна отрицательно покачала головой:

— У нас хорошая семья, а я плохой рассказчик. Все испорчу.

— Это не просто любопытство. То, что вы мне уже сказали... Понимаете, Женя, ваша семья, ее история — целая эпоха в жизни русского общества.

— Очень торжественно, но, пожалуй, вы правы. Дед — боевой кавалерийский генерал русской армии. Отец...

— Подождите, Женя, не торопитесь. Итак, дедушка — боевой генерал...

— Во время русско-турецкой войны тысяча восемьсот семьдесят седьмого—семь-

десять восьмого годов он командовал кавалерийской бригадой, скончался пятнадцатого мая семьдесят восьмого года в чине генерал-майора и похоронен в Константинополе. Не скрою, в детстве дед занимал мое воображение. Я подолгу стояла у его большого портрета со всеми регалиями, портрет этот и сейчас хранится в семье, часами могла слушать рассказы бабушки. Скромная фигура отца для меня оставалась как бы в тени. Но потом я поняла, какое мужество надо иметь, чтобы распорядиться своей судьбой так, как это сделал отец. Николаевское кавалерийское училище, служба в армии, карьера. И вдруг молодой человек решительно рвет все нити и уходит в революцию. Далее как у сотен идейных людей восьмидесятых годов: арест, тюрьма, ссылка, возвращение под надзор полиции. Вам не кажется странным, что целые периоды человеческой жизни, самые трудные и мучительные, укладываются в несколько фраз?

— Не кажется. Горести, как и подвиги, немногословны.

— Да. В Самару мы приехали в девяностом году. Папа, мама, сестры — Надя, Тania и я. Наде было пять лет, мне год, посредине Тания. Представляете, каково было маме с тремя крохами! И у мамы еще хватило решимости поехать с нами в Петербург, хлопотать о праве жительства отца в Царском Селе у его матери, нашей бабушки. К счастью, в пути маме помог очень хороший человек... Владимир Ульянов.

— Ленин.

— Он ехал в Петербург сдавать экзамены при университете, из-за нас задержал отъезд на неделю. Мама по сей день вспоминает: «Вы были несносны, девочки, просто несносны. Бедный Володя Ульянов!..» На этом испытание многотерпения Владимира Ильича не закончилось. Осенью девяносто третьего года мы собрались эмигрировать за границу. В последнюю минуту спохватились, что Ася у нас некрещеная. Хотя оставляя ее у бабушки. Решили срочно крестить, крестным отцом согласился стать приехавший в Петербург Владимир Ильич. Мы уехали. Потом встречались в Швейцарии. И с Марией Александровной, и со всеми членами чудесной семьи Ульяновых. Более двадцати лет мы жили в эмиграции.

— Более двадцати лет! Это трудное испытание, Женя!

— Дома мы говорили только по-русски. Спорили по-русски. Читали русские книги. Первой в Россию уехала я, это было в девятьсот тринадцатом году, в том же году Ася, во время войны морским путем вернулась Юля. Мы за нее очень волновались, немецкие подводные лодки любили топить пассажирские пароходы. На родине Юля сразу вступила в партию большевиков. Мечтала сделать «что-нибудь настоящее», огорчалась, когда ее приглашали на митинги как скрипачку. Однажды по поручению Московского комитета партии ей пришлось выступать перед восьмидесятичной аудиторией. Это была встреча первого Нового года после Октябрьской революции. В зале находился писатель Серафимович, он написал о митинге в газету. Юля же с перепугу помнит только, что ей помогли подняться на эстраду и седой председатель митинга объявил «Легенду» Венявского — Юля очень любит эту вещь...

Из коридора, куда выходила дверь красного уголка, донесся мерный перестук: Антоныч, энергично вышагивая деревянной ногой и помогая себе палкой, совершал вечерний обход перед отбоем. Грамши приложил палец к губам:

— Тс-с-с!

Перестук усилился — Антоныч поравнялся с дверью, — шаги стали удаляться и затихли. Грамши подмигнул собеседнице:

— Маленькая военная хитрость. На обратном пути он заглянет проверить, не горит ли свет. Досказывайте скорее. Я не уйду, пока не узнаю, что произошло после того, как седой председатель...

— Все узнаете из газеты.

Евгения Аполлоновна вынула вложенную в книгу вырезку.

— Перевожу на итальянский. Не посетуйте, если буду спотыкаться. «...«Известия», номер четвертый от восемнадцатого года. «А. Серафимович. Впечатления. Море». «К краю эстрады скромно подходит девушка в белом с черным, со скрипкой, с милым девичьим, спрашивающим у жизни лицом: что ты есть? и что ты таишь? Она прижимает скрипку и медленно, легко и странно изгибая руку в сквозном рукаве, подымает смычок, а я опускаю глаза. «Эх, напрасно она «Легенду»... Надо считаться с публикой — не поймут: начнется сморканье, кашель... Напрасно...» Я стоял

хмуру, опустив глаза, и в ту же секунду от эстрады к человеческому морю медленно, звеняще потянулась левучая, не обрывающаяся нить, похожая и непохожая на человеческий голос, то едва уловимая, готовая погаснуть, то густо свертывавшаяся грудной жалобой низкого контральто, потянулась и погасила все звуки, царствуя. И я поднял глаза... Видали ль вы остеклевшее море? И в нем забытые повисли облака, и отразились горы, и берег, и дальний полет белой чайки. Слышали ль вы, как перестают дышать восемь тысяч человек?.. Так, так вот о чем поет эта черноволосая девушка, вот о чем поет она из-под длинного нескончаемого смычка. О чем? И о том, что есть счастье и печаль, и есть прошлое, и подернуто волокнистой синевой неведомое будущее... Пропали облака, берег, горы, чайка, и проступило синее людское море. Все дрожало, и от края до края неумолчно мелькали руки, блистали глаза. Девушка принесла свое чудесное искусство, свое творчество; его бережно приняли и теперь благодарили. А я радостно смотрел на возбужденные лица».

Грамши выписался из санатория. Перед отъездом попрощался с Антонычем и передал главному врачу присланную из Италии посылку. В ней были йод, касторка, карболка, хинин.

— У меня к вам просьба, Женя,— сказал он, прощаясь.— Не могли бы вы подарить мне на память вырезку из газеты «Известия» с очерком этого писателя?

— Серафимовича? Если хотите... Пожалуйста.

— Спасибо. Как он сказал? Девушка с милым, спрашивающим у жизни лицом. Поразительно точно...

Приближался IV конгресс Коммунистического Интернационала. Работы было вероятно много. Приходилось наверстывать упущенное в дни болезни.

Прибывали первые делегаты. Некоторые из них по уже установившейся традиции выезжали в промышленные центры страны. Об этом давно мечтал Грамши. Не хватало времени. Времени всегда не хватает. Решил ехать. Выбрал Иваново-Вознесенск. Не без задней мысли: в Иваново-Вознесенске с родителями и сестрой Анной жила Юлия Шухт.

Последняя встреча с Юлией в санатории была короткой и какой-то холодноватой. По чьей вине? Юлия торопилась по своим делам, а Грамши считал минуты, когда закончится сонная санаторная жизнь. Тревожили вести, приходившие с родины. На прощание он сказал: «Я никогда не был в Иваново-Вознесенске, а это город рабочий, город промышленный. Его называют русским Манчестером, правда? Впрочем, в английском Манчестере я тоже не был». «К нам ближе,— смеясь, сказала Юлия.— Приезжайте». «Приеду».

Он помнил о своем обещании, но дни следовали за днями, в безмерном напряжении. 2 октября после болезни вернулся в Москву и приступил к работе В. И. Ленин. Грамши предупредили, что в конце месяца Владимир Ильич постарается встретиться с представителем итальянской партии в Коминтерне. Если ехать в Иваново-Вознесенск, то ехать немедленно.

— Хорошая мысль,— поддержал товарищ, которому Грамши сообщил о своем решении,— подберем сопровождающего, и поезжайте.

— Зачем отрывать людей от работы? Я уже произношу кое-какие обиходные слова по-русски.

— Вас понимают? — любезно осведомился товарищ.

— Редко,— признался Грамши.— И все же я превосходно доеду один.

— Как хотите. Я распоряжусь, чтобы вас посадили в поезд. И прошу не отказываться. Это не такая простая операция, как вам кажется...

В дороге Грамши принял за захваченную с собой сегодняшнюю почту.

Сложенное треугольником письмо из маленького русского городка от Примо Джибелли, недавнего механика «Фиата», ныне курсанта советской авиационной школы. Перед отъездом из Турина мать Джибелли попросила присмотреть в России за ее мальчиком. Грамши не забыл немислимые выражения, которые закладывал «мальчик» на гоночной машине, развозя оружие отрядам туринских краснотвардейцев в сентябре 1920 года, не забыл дерзкий побег «мальчика» из крепости-тюрьмы Экзиль и сказал,

что ее сын вряд ли нуждается в присмотре, но повидаться с Примо попытается. Написал Джибелли, пригласил его в Москву. И вот ответ. Приехать пока по службе не может. Летает. Счастлив. Военный летчик — лучшая профессия в мире! Он еще считается с фашистами за все!..

Что ж, высокого и дальнего полета тебе, молодой туринский механик, потомственный рабочий и внук гарибальдийца.

На обороте приписка: привет Эрнани Чиваллери, Джино Де Марки и всем туринцам. «Передам, дорогой Джибелли, обязательно передам...» Он любил Примо, Эрнани, Джино и других туринских рабочих парней, ринувшихся в революцию со всем пылом молодости, любил за душевную чистоту, за их горячие неисторченные сердца, за ясность идеалов, любил даже за тот свойственный молодости элемент игры, который они вносили в самые серьезные и опасные дела. Об одном просил перед их отъездом в Россию: не теряйте, друзья, времени зря, учитесь, учитесь, учитесь! В жизни столько дел впереди!..

Два других письма, из Италии, тревожно сообщали, что фашизм активизируется, лозунгом «общих национальных интересов» пытается объединить вокруг себя различные силы, в том числе церковь и монархию.

Огарок, светивший в закопченном фонаре неверным колеблющимся светом, мигнул и погас. Темнота надвинулась плотной массой; казалось, ее можно пощупать. Темнота не мешала думать.

Хватит ли у фашизма сил, чтобы осуществить свои замыслы? И сумеет ли противостоять фашизму рабочий класс Италии? Буквально на днях произошел раскол в Итальянской социалистической партии. Очевидно, ИСП пришлет делегацию на IV конгресс Коминтерна. Предстоят нелегкие переговоры. И еще какую позицию займет Амадео Бордига?.. Недавно один из деятелей международного коммунистического движения спросил Грамши в лоб: не думает ли он, что назрела пора стать во главе партии вместо Бордиги? Так же прямо ответил, что не считает себя подходящей кандидатурой. Чтобы заменить Бордигу в итальянских условиях, нужен не один, а несколько человек: по работоспособности Бордига стоит троих. И добавил, что сделает все от него зависящее для исправления нынешней линии партии. Товарищ был явно недоволен ответом. Как, впрочем, не был доволен и сам Грамши.

К Амадео Бордиге он испытывал уважение и личную симпатию. Несомненно, Амадео был мужественным и энергичным человеком, прекрасным оратором, может быть, лишь несколько многословным, и, конечно, хорошим товарищем. Но так же несомненно, что именно Бордига утвердил в партии мнение: установление фашистской или военной диктатуры Италии не грозит. Сегодня даже заголовки газетных статей кричат — грозит!.. Это не случайный политический просчет. В делах Бордиги всегда присутствует логика, а не диалектика. Логике, часто применяемой формально, он пытается подчинить явления жизни. Но жизнь не подчиняется, и тогда Амадео видит только то, что хочет видеть... Грамши понимал, что в его отношениях с Бордигой самое сложное еще впереди, и думал об этом не без грусти.

Всю ночь в темном вагоне Грамши не спал, прислушиваясь к неровному перестуку колес.

По новому расписанию поезд должен был прибыть к месту назначения в 7.40 утра. Пассажиры гадали: на сколько опоздает? К общему удивлению, поезд не опоздал и даже пришел в Иваново-Вознесенск на час раньше срока.

Едва серело. Один из попутчиков Грамши, которому он еще в вагоне показал бумажку с адресом, вывел его на привокзальную площадь, махнул рукой в темноту. Грамши пошел в указанном направлении.

Он любил улицы еще не проснувшихся городов. Сколько воспоминаний было связано с прогулками по Турину после окончания работы в редакции... Обычно это бывало в два часа ночи, после того как из типографии приносили пахнущие краской первые отпечатанные номера «Ордине нуово». Чудесная пора. В редакции все молодые: Пальмиро Тольятти двадцать шесть, Марио Монтаньяне двадцать четыре, Феличе Платоне двадцать два, другие и того моложе. Прогулки-беседы с друзьями продолжались до четырех-пяти утра, когда открывались двери первых молочных, где можно было

выпить чашку кофе... Неплохо было бы и сейчас выпить кофе. Может быть, здесь есть какая-нибудь ранняя трактир или — как это по-русски — чайна-я? Посидеть там час-полтора, чтобы не являться в незнакомый дом на рассвете, да еще в воскресный день... Вот какая-то вывеска... Нет, нарисован сапог, явно не то, что нужно.

Он не торопясь шел по улице, подумывая, не вернуться ли на вокзал, где можно дожидаться начала дня. Вдруг издали донесся все нарастающий шум. Через минуту мимо Грамши со звоном, грохоча и подпрыгивая на выбоинах булыжной мостовой, промчалась пожарная линейка, облепленная пожарными в касках. За первой линейкой промчалась вторая, проскакали парные упряжки с большими деревянными бочками. Пожарный обоз скрылся за поворотом. Грамши прибавил шагу. Свернув за угол, он увидел пожар.

Горел большой дом, самый большой на улице, как он узнал позднее — здание Дворца труда, где помещался губпрофсовет. В отсвете пламени мелькали только что прибывшие пожарные. В опасной близости от огня они установили выдвижную лестницу. С натужным визгом тросов и блоков — эти механические звуки прорывались сквозь гул голосов и треск пламени — она ползла все выше и выше, напоминая издали детскую игрушку. По ступенькам еще выдвигавшейся лестницы карабкались фигурки пожарных. В пламя с шумом устремились тугие струи воды.

Цепочка людей протянулась к подъезду горящего здания. Из рук в руки передавали связки папок, книги, музыкальные инструменты — нехитрое имущество губпрофсовета. Цепочка двигалась; очевидно, внутри, где бушевало, люди менялись. Не раздумывая Грамши принял из рук последнего в цепочке связку и передал ее человеку, который уже стоял за ним.

Цепочка двигалась. Грамши оказался внутри здания, на лестнице, на втором этаже. От дыма спирало дыхание, кружилась голова. Он принимал, передавал, принимал, передавал... Казалось, этому не будет конца. Но вдруг сосед, рослый парень без шапки, в расстегнутой красноармейской шинели, надетой прямо на нижнее белье — очевидно, вскочил прямо с постели, — повернулся лицом к Грамши:

— Шабаш! Команда была, понимаешь?

Что такое «шабаш», Грамши, конечно, не понял, но было ясно, что работа окончена. Пошатываясь, побрел вниз по лестнице.

На улице уже было светло. У входа в здание стоял человек в кожаной куртке и каждому выходящему пожимал руку:

— Спасибо, товарищ!

Грамши ощутил крепкое пожатие, и у него непроизвольно ответно вырвалось:

— Грацие, компаньо.

— «Компаньо»?.. Постой-постой, а ты кто будешь?

Человек в кожанке внимательно взглядел в протянутое ему удостоверение члена президиума исполкома Коммунистического Интернационала, удивленно посмотрел на Грамши, еще раз на удостоверение, и лицо его расплылось в улыбке:

— Вот так гости! Сейчас мы вас, товарищ из Коминтерна, определим в гостиницу. Умоетесь, отдохнете.

Грамши кое-как объяснил, что гостиница потом, а сейчас он торопится вот по этому адресу. И протянул спасительную бумажку.

— Шухт. Знаю. Достойный человек, с Владимиром Ильичем Лениным встречался. Дочки у него активистки, Юлия и Анна.

Смысл сказанного Грамши понял. Шухт... Владимир Ильич Ленин... Юлия... «Активистки», вероятно, что-то близкое итальянскому «аттивиста». А человек в кожаной куртке уже подозвал к себе парня, к удивлению Грамши того самого, что стоял рядом с ним в цепочке:

— Знаешь, где Шухт живет? С бородой, на Маркса похожий, что у нас лекцию читал. Знаешь. Вот отведешь товарища.

— Так я не одетый, — смутился парень.

— Ничего. Девоч на улицах еще нет. Рано. Шинель только застегни.

В доме Шухтов уже встали. Гостя встретили с любопытством и искренним радующимся, Сели завтракать. Кипел самовар, чуть попахивало дымком. Грамши извинился

за то, что причинил лишние хлопоты. Вот самовар, например... Аполлон Александрович улыбнулся и объяснил, что за границей они действительно от самовара отвыкли, но дома снова привыкли. Вкусно, удобно, дешево... Разговор шел на итальянском языке, но несколько слов Аполлон Александрович произнес по-русски.

— Подзабывать стал итальянский, нет уж той легкости,— пожаловался он.

И стал расспрашивать собеседника о Риме. Грамши отвечал, время от времени тревожно поглядывая на дверь в комнату, куда, выпив стакан чая, ушла Юлия. Грамши казалось, что Юлия недовольна его приездом, он с трудом заставлял себя поддерживать разговор.

Дверь открылась, вошла Юлия в теплом пальто и накинутом на голову темном шерстяном платке.

— Ты куда, дочка? — остановился на полуслове Аполлон Александрович. — Гость у нас. И день воскресный. Я вот рассказывал Антонио о нашей последней семейной прогулке по Риму. Символическая прогулка, помнишь?

Юлия ответила, что очень хорошо помнит эту прогулку и просит ее извинить: ей нужно срочно ехать в уезд, решение было принято вчера, отменить поздно. Следующие два дня постарается высвободить и будет целиком в распоряжении товарища Антонио. Разговаривая, повязала голову и плечи платком, как делают русские крестьянки. Грамши смотрел на нее с удивлением, потому что Юлия вдруг стала похожа на женщину его родной Сардинии, где принято в любую погоду покрывать голову темным платком.

В дверях Юлия задержалась и попросила Грамши не сердиться на нее, к вечеру она обязательно вернется, а пока папа покажет ему город.

— Вот, видали? — вздохнул Аполлон Александрович. — Дорога — душу вытрясет. Если еще на укомовской бричке, там хоть рессоры, а то на телеге... Инструктор уездного комитета партии, ничего не попишешь... Так что делать будем? Отдохнуть желаете? Диван у нас фирменный, располагает. Или же по городу пройдемся? Конечно, Иваново-Вознесенск не Рим, отнюдь не Рим, но в каждом городе имеются свои достопримечательности. Как решаете: диван или город?

— Город.

— Айда! — по-русски произнес Аполлон Александрович, выходя из-за стола.

— Айда! — улыбаясь, повторил Грамши.

...По хлюпающим дощатым тротуарам, мимо деревянных домиков с палисадниками они выпли на площадь.

— Здесь экскурсия наша заканчивается,— сказал Аполлон Александрович. — На городской площади в августе девятьсот пятнадцатого года собралось тысяч тридцать рабочих, не меньше, требуя прекращения войны и освобождения из тюрьмы арестованных товарищей. После митинга пошли к тюрьме. Организовано, без всяких эксцессов. Перед тюрьмой стояли шеренги солдат. Солдаты не решались стрелять, рабочие вступили с ними в переговоры. И вдруг грянул залп. Это в засаде — вот там — демонстрантов ждали полицейские и стражники. Подлость какая!.. Около ста человек здесь подобрали убитыми и ранеными. Среди раненых, между прочим, был и тот товарищ, с которым вы познакомились на пожаре... Очень энергичный товарищ,— усмехнулся Аполлон Александрович. — А председатель губпрофсовета товарищ Деготь еще энергичнее. Человек он весьма любопытный. Часть своей жизни провел в эмиграции во Франции в ту пору, когда там находился Ленин. В парижской группе большевиков Деготь выполнял разные практические задания. В девятнадцатом году был одним из организаторов знаменитой подпольной Иностранной коллегии, захваченной интервентами в Одессе.

— Я знаю этого товарища, мы с ним встречались в Италии.

— Да?. Кстати, вот он самолично. Легок на помине... Не знаю, удастся ли нам еще спокойно поговорить... К вам большая просьба, можно? Где-то в Риме затерялась наша Таня, Татьяна Аполлоновна. Если не затруднит...

— Разыщу, обещаю.

— Заранее благодарю... Не вас ли высматривает Владимир Александрович? Вас. Ну все, приготовьтесь не есть, не спать...

Владимир Александрович Деготь приблизился стремительной походкой, неожиданной у большого и грузного человека, и долго тряс руку гостя:

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ Грамши. Приветствую вас на иваново-вознесенской пролетарской земле!.. — Не отпуская руку Грамши, Деготь взглянул на часы и охнул: — Опаздываем!.. Пора, пора!..

Аполлон Александрович подмигнул Грамши: я же говорил!

Предсказание сбылось, хотя и не полностью: все же Грамши немного ел, немного спал, охотно отзывался на все приглашения и только сожалел, что в сутках всего двадцать четыре часа. Текстильные фабрики, профсоюзные конференции, беседы с рабочими. Переводила Юлия, и он почти не чувствовал языкового барьера.

Последний день провели на фабрике Кохмы. Возвращались в Иваново-Вознесенск на пароконной линейке (машина сломалась, хозяева уговаривали остаться до утра, но Грамши уже торопился в Москву). Хотя выехали засветло, скоро легли густые осенние сумерки. А через некоторое время не было видно ни зги.

Уполномоченный губпрофсовета устроился впереди. Сперва переговаривался с ездовым, потом привалился к его спине и заснул. Грамши и Юлия сидели сзади рядом, свесив с линейки ноги. На ухабах линейку встряхивало, Грамши тревожно поглядывал на соседа. Юлия сидела уверенно, сказывалась опыт укомовских командировок.

Линейка съехала на проселок. Стало слышно пофыркивание невидимых в темноте лошадей, храп уполномоченного, скрип плохо смазанного колеса. Настойчиво-нудный звук отвлекал, мешал думать.

— О чем вы думаете, Антонио? — вдруг спросила Юлия.

Грамши вздрогнул. Неужто догадалась?.. Все эти дни он думал о ней. Ожидая ласкового (или это только ему казалось?) приветствия «с добрым утром» и усталого пожелания спокойной ночи, когда губпрофсоветская бричка подвозила ее к дому. Думал, когда она переводила его быструю речь и чистый белый лоб, обрамленный двумя волнами темных волос, прорезывала напряженная морщинка. Но в этот миг он просто прислушивался к колесному скрипу и, не покрывив душой, ответил:

— О колесе.

— О колесе! Какое колесе?

— В том-то и сложность — не могу определить о каком. Слышите, скрипит?

— Слышу.

— Какое? По-моему, заднее правое.

Юлия прислушалась.

— А по-моему, левое.

— Что вы, правое...

— Подождите, действительно правое.. Нет, левое.. И вообще скрипит переднее..

Правое... Нет, левое... Ой не могу!.. — Юлия приснула.

Засмеялся и Грамши. Уполномоченный перестал храпеть, что-то бормотал. Сдерживая смех, Юлия шепнула:

— Тише, человек спит.

Фраза «человек спит» вызвала новый приступ смеха.

— Феномен с колесами объясняется просто, — сказал Грамши. — Дорога неровная, давление увеличивается то на одно, то на другое колесо. И самовнушение, особенно ночью... Я это заметил в детстве, когда возвращался на стареньком дилижансе из Санту Луссурджу.

— Санту Луссурджу? Где это?

— В Сардинии. В восемнадцати километрах от Гиларцы. А Гиларца в восемнадцати километрах от Санту Луссурджу, — усмехнулся Грамши.

— Я ничего не знаю о вашем детстве, Антонио, — после паузы сказала Юлия.

— И хотите знать? — быстро спросил Грамши.

— Хочу... Если только воспоминания не причиняют вам боли.

— Не причиняют, хотя чаще я видел жизнь с самой жесткой ее стороны. Даже мать не знала о невзгодах, которые испытал ее Нино... Нет, не знала. Но только благодаря матери, благодаря ее любви и настойчивости Нино сумел сделать первый шаг

в большой мир. А находился этот мир, как я вам уже сказал, в восемнадцати километрах от Гиларцы. Там, в Санту Луссурджу, была гимназия.

— А что было в Гиларце?

— Если по порядку, до Гиларцы был еще Алес, большая семья конторского служащего Франческо Грамши. Еще были книги; в больших и бедных семьях они, как одежда, переходят от старших к младшим. Прекрасные книги: «Робинзон Крузо», «Таинственный остров», романы Эмилио Сальгари, итальянского Жюль Верна,— об отважных мореходах и дерзких корсарах, о морских сражениях и далеких сказочных странах... Детская фантазия легко переносила действия этих романов в Сардинию, превращая ее в чудесную страну, где можно совершать путешествия, полные удивительных приключений.

Юлия Аполлоновна сидела неподвижно, чтобы неосторожным движением не спугнуть рассказчика. Интуитивно она понимала, как трудно раскрываются люди со сложной внутренней жизнью и как быстро вновь замыкаются.

— Мальчик рос,— медленно продолжал Грамши,— и вскоре понял, что обоженная солнцем каменистая Сардиния прекраснее любой сказки... Как ему нравилась долина реки Тирсо у Сан-Серафино! Часами как зачарованный он сидел на скале, восхищаясь своеобразным озером, которое река образовала напротив самой церкви, и с любопытством глядел на водяных курочек, вышльавших из прибрежных камышей на середину реки, на выскакивавших из воды рыб, охотившихся за комарами... Так что же все-таки было в Гиларце? Была начальная четырехклассная школа, был отдел регистрации налогов, где мальчик два года работал курьером... Вам не надоело?

— Нет, нет, но я немножко замерзла,— призналась Юлия Аполлоновна.

— Вы простудитесь! — взволновался Грамши.— Наденьте мое пальто, под ним теплый пиджак, не беспокойтесь. Ну пожалуйста,— просил он, быстро расстегивая пальто, нечто вроде бекеша, добытого стараниями Аброджи.

— Застегнитесь, сию минуту застегнитесь! Мы сейчас согреемся по российскому способу.

— Водка? — заинтересованно спросил Грамши.

— Есть и другой способ,— рассмеялась Юлия Аполлоновна.

Она что-то сказала ездому. Линейка остановилась. Юлия прыгнула на землю, Грамши за ней. Линейка тронулась, стала удаляться.

— Догоняйте, Антонио, догоняйте! — крикнула Юлия и побежала за линейкой.

Грамши бросился вдогонку. Метров через двести — триста ездовой придержал лошадей.

— Вы остановились на отделе налогов,— напомнила Юлия Аполлоновна, когда они стыдишались.

— А представителю товарища Деготя не надо побегать? — спросил Грамши, укаывая на уполномоченного.

— Не надо. На нем ко ж у х,— по-русски произнесла Юлия.— Ну, шуба овчинная... Виновата, что прервала ваш рассказ, но, честное слово, я очень замерзла,— жалобно протянула она.— Итак, курьер...

— Оставим курьера бегать по Гиларце и переберемся наконец в Санту Луссурджу. Там была гимназия. Скромная, провинциальная, но все-таки гимназия. Мать сняла для сына угол: мальчик имел кров и пищу за пять лир в месяц. Воскресенье маленький гимназист проводил дома, в понедельник утром садился в дилижанс, я уже говорил, и возвращался в Санту Луссурджу. Иногда мальчик шел пешком — деньги за проезд можно было потратить на книги.

Воспоминания увлекли Грамши. Казалось, он с любопытством со стороны присматривался к нескладной, смешной и грустной жизни провинциального подростка.

— Была одна забавная история,— продолжал Грамши,— история об очень бедном мальчишке, которому сшили отличные панталоны из зонтичной материи. Эту материкю и сейчас употребляют сардинские крестьяне. Пламенный цвет штанов привлекал внимание, зеваки следовали за мальчиком и кричали ему: «Маленький зонтик!» Не правда ли, из этого можно сделать маленькую новеллу, полную юмора и горечи?

Юлия Аполлоновна не ответила. Впрочем, Грамши и не ждал ответа.

— После окончания гимназии он приехал в Кальяри и поступил в лицей «Карло

Деттори». Подросток из Гиларцы редко появлялся на виа Манно или корсо Витторио Эммануэля среди товарищей, сыновей богатых родителей. Он предпочитал жить уединенно в маленьком пансионе, расположенном на холме, куда вела темная крутая лестница... Ежедневно приходилось решать две проблемы — пропитания и чтения. В Кальери выходило три газеты. Одна из них радикального направления — «Иль паззе». Чтобы купить газету, он не обедал. Или откладывал на ужин несколько ломтиков салами и сыра, которые его товарищ Ренатто Фигаро предлагал на школьной перемене. С Ренатто Фигаро и другими лицеистами он основал кружок. Кружок назывался «Мученики свободной мысли».

Юлия Аполлоновна тихо засмеялась.

— Нам название казалось превосходным. «Мученика свободной мысли» заинтересовали идеи социализма. Он начал читать Маркса, сперва из интеллектуального любопытства, потом увлеченно. Старший брат Дженнаро некоторое время жил в Кальери, потом перебрался в Турин и посылал в Кальери «Аванти», уже читанные номера. Иногда газета приходила измятая, в масляных пятнах. Дженнаро вкладывал в газету записку, извинялся за пятна, объяснял, что второпях завернул в «Аванти» свой завтрак. Больше это не повторится, клялся Дженнаро. Разумеется, повторялось. «Мученик свободной мысли» не был в обиде... Во время собраний и дискуссий он выступал редко. Но писал много заметок в местную газету. Свою политическую деятельность начал девятнадцатого февраля одиннадцатого года, подготовив митинг на площади в память Джордано Бруно. Митинг окончился мирно. Разбили только несколько десятков стекол... Всего лишь несколько десятков стекол... — повторил Грамши. — Кажется, мы подъезжаем к городу? Сократим рассказ. В Туринский университет является юноша с небольшим запасом знаний, томиком Данте и большими надеждами. Не будем слишком строги к юноше из Сардинии. Кроме множества недостатков, у него есть одно достоинство: он умеет относиться к самому себе с легкой иронией. Он втрое или даже больше провинциал; это звучит неуклюже, но зато полностью соответствует истине. Ему предстоит преодолеть привычки жителя глухого и сонного городка, отсталый образ жизни и мышления, присущий уроженцу Сардинии, наконец, те исторически сложившиеся особенности и черты характера, которые делают итальянского гражданина провинциальным по сравнению, допустим, с французом или англичанином. Но юноше повезло, трижды или четырежды повезло. По конкурсу он получил стипендию имени Карла Альберта, короля сардинских провинций, — семьдесят лир в течение десяти месяцев в году. Когда из дому к праздникам приходит посылка — головка овечьего сыра и panischedda, хлеб из кукурузной муки, который пекут только в Сардинии, — студент бывает сыт. В университете он находит внимательных учителей, которые не ленятся возиться с пытливым, но невежественным провинциалом. Еще в дни экзаменов под портиком университета он встречает юношу, почти ровесника, который становится его другом. Юношу зовут Пальмиро Тольятти, это имя вы еще услышите. Наконец, в Турине, городе фабрик и заводов, Петрограде итальянского революционного движения, он узнал рабочий класс и — не будем бояться громких слов — полюбил его на всю жизнь.

— Вся жизнь, — медленно повторила Юлия Аполлоновна. — Как это много и... как мало.

Линейка захлопотала по неровным булыжникам мостовой.

— Вот и конец нашему путешествию.

Грамши послышалась в ее голосе нотка сожаления.

— Можно напоследок задать бестактный вопрос?

— Можно.

— Куда везти? — спросил кучер.

Проснулся уполномоченный.

— В губпрофсовет. Товарищ Деготь ждет.

Это не нуждалось в переводе. Грамши вздохнул:

— Скажите ему, Юлия, сперва пусть вас отвезет. Иначе я забастую. Так и переводите... Что же бестактный вопрос?

— Потом.

— Как хотите... На прощание скажу кое-что.

Линейка остановилась.

— Вот и мой дом.

— Помните, впервые я увидел вас в «Серебряном бору», обещал чуть позднее зайти в комнату и не зашел. Не зашел потому, что вы напугали меня, право же, напугали...

— Чем же? Не понимаю.

— Жаль...

Деготь действительно ждал. Грамши попросил поблагодарить всех, оказавших ему гостеприимство, и сказал, что посещение фабрик и профсоюзных клубов, встречи и беседы с рабочими очеловечили для него страницу истории. Книги и журналы дают лишь общее представление о тех или иных явлениях, лишь в общих чертах — в более или менее удачной форме — отражают основные направления развития общественной жизни, но не могут заменить непосредственного, прямого, живого впечатления о том, как живут Петро, Паоло, Джованни, — то есть реально существующие люди... Эти прямые, живые впечатления от Советской страны он получил в Иваново-Вознесенске. Подвиг российского пролетариата стал более зримым. Он воочию увидел силу международного братства. И хотя, казалось, между жизнью ивановских ткачей и туринских металлургов не было прямой связи, он всем сердцем ощутил эту связь.

Прощались сердечно.

— Надеюсь, до конгресса вы повидаетесь с товарищем Лениным. Имейте в виду, он вас знает. По статьям в «Ордине нуово» и по моему рассказу, между прочим...

Юлия с сестрой Анной Аполлоновной проводили Грамши до вагона. Прозвучал третий звонок.

— Вы не забыли свой бестактный вопрос?

— Не забыла... Вы вернетесь в Италию, Антонио. Что там будет с вами?

— Со мною? Кто знает!..

— Действительно, кто знает!.. Извините.

— Старики на моем острове — а это мудрые старики — говорят: «Не бывает дороги без пыли и острых камней».

*...Они готовились снова двинуться в путь; карабинеры уже надели на них кангалы и цепи. Его заковали новым образом: косточка запястья оставалась вне обруча и больно ударялась о железо. Со стены грозно выпячивал губы Муссолини, мундир гуче был в пятнах от копти паяльных ламп и табачного дыма. Вошел начальник конвоя, бригадир огромного роста, и спросил арестанта, не родственник ли он «знаменитого депутата Грамши». Услышав, что он и есть Грамши, бригадир вышел, сочувственно бормоча что-то невнятное. На всех остановках до места назначения бригадир разговаривал о нем с собиравшимися вокруг тюремного вагона людьми, неизменно называя его знаменитым депутатом...*

### «СВЕТИ, КАК ПЛАМЯ»

Утром 25 октября позвонили:

— Владимир Ильич просит быть у него ровно в шесть часов вечера.

Он давно ждал этого. Собственно, все месяцы пребывания в Москве и подмосковном санатории, когда болезнь свалила его с ног, он готовился к встрече с Лениным. Ленин тоже был болен, встреча не могла состояться. Он очень жалел об этом и теперь жалеет, но сегодня готов к этой встрече, пожалуй, больше, чем раньше. Положение в Италии, до этого неясное и смутное с точки зрения некоторых товарищей, сейчас почти определилось. Бордига смеялся над страхами «молодежи». Если бы только страхи!

...Без пяти шесть. Вошел в приемную. Поздоровался с дежурным секретарем — маленькой черноволосой женщиной с живыми черными глазами.

— По распоряжению врачей сегодня у Ленина день отдыха, — сказала женщина по-французски, тщательно подбирая слова. — Ах, эти дни отдыха, они так похожи на обычные. Сегодня вечером Владимир Ильич настаивал на трех встречах. Постарайтесь не очень долго, товарищ Грамши, хорошо?

Да, конечно. Но как же быть?.. Грамши вынул из кармана листок с намеченными вопросами и начал его торопливо проглядывать.

— Владимир Ильич просит вас.

Он вошел в кабинет. Навстречу поднялся Ленин.

— Здравствуйте, товарищ Грамши,— произнес Ленин по-итальянски.— Заочно мы старые знакомые, не правда ли?

Он хотел сказать о том, как Ленин вошел в его жизнь. Но ответил только:

— Правда.

— Итальянский язык я знаю слабо,— продолжал Ленин.— Мы можем беседовать по французски? Да? Впрочем, приглашен и переводчик.

В открытую форточку потянуло холодным осенним ветром. Грамши поежился. Ленин заметил это.

— Простите, товарищ, сейчас прикрою.

— Не нужно, Владимир Ильич. Я привык.

— Все же лучше прикроем. Ведь вы южанин?.. Уроженец Сардинии?— спросил Ленин, захлопывая форточку и возвращаясь к письменному столу.

Грамши утвердительно кивнул.

— Садитесь, пожалуйста.— Ленин подвинул гостю стул.— Если не ошибаюсь, вы хорошо знаете специфику итальянского юга. Действительно: аграрная проблема в Италии исторически конкретна и приняла своеобразные, характерные для страны формы. Попрошу вас развить эту мысль.

Просьба Ленина была для Грамши неожиданностью. Но проблема аграрного итальянского юга, где жили миллионы темных, невежественных бедняков, давно жгла его сердце. Еще в детстве на родном острове услышал он поговорку: «Ты, друг-мотыжник, беден потому, что сардинец». Потом он собственными глазами увидел, что «друзья-мотыжники» — это нищее большинство всего юга...

Он говорил и чувствовал — уходит смущение, скованность. Он рассказал о борьбе партии за то, чтобы главным действующим лицом южного вопроса стал революционный рабочий Турина и Милана. Это уже дало свои плоды; сардинский пастух, старик, сказал ему: «Станешь травой — даже козы съедят тебя». Беднякам надоело быть травой.

Ленин засмеялся. Лукавые морщинки веером побежали от прищуренных глаз.

— Этот старик куда разумнее ваших реформистов. И дальновиднее. «Станешь травой — даже козы съедят тебя» — отлично сказано.— И, сразу потушив улыбку, спросил: — А что думают рабочий Турина и сардинский пастух о фашистах? И что думаете вы сами?

Грамши поделился с Лениным своей глубокой тревогой. На политическую арену вышла новая сила, грубая, жестокая, беспринципная. Обстановку последних месяцев он знает по рассказам товарищей, по газетам и редким письмам из Италии, но за первыми шагами фашизма наблюдал пристально, и во многих районах страны. При отдельных различиях в приемах и поведении членов местных фашо можно установить единообразие в тактике. Сперва сколачивается группа из приезжих и местных празднующихся. Им выплачивают (неизвестно, из каких средств) небольшое вознаграждение, приправленное щедрыми посулами на будущее. Театральная церемония освящения фашистского знамени привлекает внимание к новой организации. В фашо вступают другие местные жители: землевладельцы, крупные торговцы, чиновники, обиженные нынешней администрацией. Фашо существует и готово к действию. Полтора-два десятка вооруженных молодчиков прогуливаются по местечку, провоцируя различные инциденты. Инциденты на первых порах мелкие, бескровные, но они создают определенную атмосферу безнаказанной наглости и насилия.

Ленин слушал внимательно, лицо его хмурилось.

— Эта атмосфера,— продолжал Грамши,— нужна фашистам для последующих действий. Мэру и муниципальным советникам вручают требование в течение сорока восьми часов подать прошение об отставке. Причем просят обязательно присутствовать на заседании, на котором будет решаться этот вопрос. Во всех переговорах не только в переносном смысле, а буквально фигурирует дубинка. Дубинка — их доводы и доказательство. Дубинка — их закон. Дубинка опускается на плечи, на головы. Они хорошо умеют бить, особенно хорошо, когда не ждут сопротивления... Люди замкнулись

в ожидании, что режиму террора наступит конец. Но конец сам по себе не наступит! Только силой можно ответить на силу. А старый лидер итальянских социалистов Филиппо Турати написал рабочим Андрии и Апулии, просившим его совета: «Будьте совершенны, будьте святы, будьте смиренны».

Ленин близко наклонился к Грамши, брови насупились, губы гневно сжались.

Теперь Грамши нужно было упомянуть о Бордиге. Он замялся и сказал, что Бордига видел в фашизме обычное, в меру либеральное течение буржуазии, но события могли изменить позицию Бордиги, которую он сам вскоре изложит конгрессу. Ленин покачал головой.

Раздалось тихое жужжание телефона, над столом загорелась маленькая электрическая лампочка. Ленин поморщился, но быстро снял трубку и стал внимательно слушать, изредка вставляя короткие фразы по-русски. Произошло что-то хорошее, это Грамши почувствовал, не поняв ни слова, и порадовался за Ленина. На губах Владимира Ильича заиграла улыбка, насупленные брови разгладились, глаза стали большими и ясными. Он положил трубку на рычаг и несколько секунд молчал.

— Только что сообщили, — сказал Ленин, — что освобожден Владивосток. Остатки интервентов бежали. Дальний Восток стал советским. Гражданская война закончилась. Пять лет существует советская власть, и пять лет рабочие и крестьяне не выпускали из рук винтовки!.

Ленин крепко сжал край стола. Вся его сильная, коренастая фигура напряглась.

Вошла черноглазая женщина-секретарь и положила перед Владимиром Ильичем какую-то бумагу. Ленин взглянул в нее, кивнул:

— Спасибо, Марья Игнатьевна.

Она вышла. Ленин указал на принесенную бумагу и улыбнулся:

— Торгуем помаленьку. Вот наторговали больше двадцати миллионов золотых рублей. Мы их немедленно вложим в тяжелую индустрию. Двадцать миллионов. Много это или мало? Знаете, сколько истратила одна лишь Англия на интервенцию против нас? Сто с лишним миллионов фунтов стерлингов, то есть более одного миллиарда золотых рублей. А всего Антанта — что-то около трех миллиардов, по официальным источникам, заметьте. Каково? Нам бы долю этих миллиардов... — Ленин засмеялся и махнул рукой. — Мы немного отвлеклись. Да, фашизм — враг жестокий, беспринципный, со своеобразной тактикой. Все идет к тому, что в Италии встанут друг против друга две главные силы: фашисты и коммунисты. Сейчас важно, архиважно единство рабочего класса, единство всех, кому дорого будущее нации. Полагаю, вы знаете, что внутри Итальянской социалистической партии произошел раскол. Большинство начало понимать, что бороться нужно вместе. Как вы, товарищ Грамши, смотрите на дальнейшие тактические и организационные перспективы, в частности на объединение коммунистической и социалистической партий Италии? Попрошу вас говорить нелицеприятно и откровенно, не скрывая сомнений и возражений. Предупреждаю: если вы еще раз взглянете на часы, мы с вами поссоримся. Объединение — задача в высшей степени деликатная, тут и естественное недоверие, и самолюбие, и многое другое. Надо обдумать все возможные осложнения... Кажется, мы понимаем друг друга без переводчика. Извинимся перед товарищем за беспокойство и продолжим. Главный разговор у нас еще впереди..

Неделю спустя, в следующую среду, Грамши встречал приехавшую на конгресс Камиллу Раверу. Он высоко ценил и уважал эту умную, энергичную женщину, не терявшую присутствия духа в самых трудных и опасных ситуациях. Вместе с ней и другими товарищами выпускал еженедельник «Ордине нуово», создавал коммунистическую группу под тем же названием внутри социалистической партии, вместе с ней участвовал в боях туринского пролетариата — всеобщей апрельской забастовке девятнадцатого года, захвате фабрик и заводов в сентябре двадцатого.

Заранее позаботился, чтобы Камилле приготовили в люксе удобную комнату, затребовал пишущую машинку, дождался, пока комендант ее принес и водрузил на стол, затем стал расспрашивать о **новостях**.

— У меня тоже есть о чем сообщить, — сказал Грамши, когда Равера «водрузила» все новости. — Я был у Ленина.

— Что же ты молчишь!

— Мы к этому еще вернемся, и не раз. Коротко: Ленин знает наши дела гораздо больше, нежели мы предполагаем. Его суждения о наших товарищах и других итальянских политических деятелях опираются на широкую информацию и абсолютно точны. Он сказал, что никогда не отказывался от намерения вновь завоевать Серрати и социалистов, искренне связанных с Коммунистическим Интернационалом. Потом спросил мое мнение о Бордиге. Я ответил, что не разделяю позиции Бордиги, но в прошлом году в Ливорно при возникновении Коммунистической партии Италии, создании ее организационной сети и формировании революционных нравов Бордига играл важную роль. Это способствовало росту его престижа в партии. Поэтому смена руководства требует сочетания дискуссий и убеждения отдельных товарищей, начиная с наиболее квалифицированных,— так следует идти к созданию новой руководящей группы, нового политического направления... Ленин посмотрел на меня, прищурившись, в его глазах я прочитал вопрос: «А уверены вы, товарищ Грамши, что обстановка в Италии предоставит коммунистам время для неторопливых дискуссий и для убеждения?» Если бы он спросил, я бы честно ответил: не уверен. Вероятно, это тоже было ясно по моим глазам, потому что Ленин чуть усмехнулся и сказал, что попробует непосредственно узнать суждения Бордиги о новой ситуации в Италии, ситуации, которая, повторил Ленин, кажется ему грозной<sup>3</sup>.

Октябрь уже был на исходе, когда из Италии пришло известие: фашисты совершили «поход на Рим», король назначил Муссолини премьер-министром. В зарубежной прессе появились подробности событий, снабженные сенсационными снимками. Со смешанным чувством презрения и гнева рассматривал Грамши фотографии различных эпизодов этого похода: размахивая оружием, мчатся на грузовиках чернорубашечники, а на перекрестке шоссе позирует Муссолини, театральным жестом указывая своим свадристам на Рим.

«На Рим!..» Сам дуче совершил этот «поход» в комфортабельном спальном вагоне скорого поезда.

«На Рим!.. На Рим!..» Открылась первая страница позорной летописи черного двадцатилетия истории Италии.

В газетах были и другие фотографии. Разгромленные, оскверненные рабочие клубы, редакции левых газет. На одном снимке Грамши узнал типографию «Ордине нуово». Вернее, то, что до этого дня было типографией. Линотипы, ротационная машина — все искореженное, изуродованное. На другом снимке горящая, подожженная фашистами туринская Палата труда, туринцы всегда с гордостью называли это прекрасное здание Дворцом труда.

Но здания, машины — это, как выражаются в быту, дело наживное. А люди, люди!.. Грамши буквально не находил себе места, пытаясь выяснить, что с его товарищами в Турине, в Риме. Редкие слухи были неясны и противоречивы. Один из прибывших на конгресс французских делегатов, не знавший Грамши в лицо, сообщил ему, что читал об избииении и аресте в Турине известного журналиста-коммуниста Антонио Грамши. Французский товарищ рассмеялся, когда узнал, что сообщил эту новость... Антонио Грамши. Но самому Антонио было не до смеха. Первая мысль — о брате Дженнаро. Успокаивал себя тем, что Дженнаро лишь технический сотрудник редакции, администратор, если его арестовали, то скорее всего по ошибке, приняв за младшего брата. Слухи из Рима казались более угрожающими: передавали, что в руки фашистов попал Тольятти, до последней минуты редактировавший газету «Коммунист». В последние месяцы Тольятти на страницах газеты «Коммунист» вел принципиальную и планомерную борьбу с фашистами и сумел крепко насолить им. Когда в мае рабочие римского квартала Сан-Лоренцо ответили огнем на вооруженное нападение фашистов, Тольятти посвятил этому и аналогичному эпизоду народного сопротивления в Пьемонте

<sup>3</sup> Дневник дежурных секретарей В. И. Ленина зафиксировал факт встречи Ленина и Грамши (в среду, 25 октября 1922 года, от 6 до 8 часов вечера). О содержании беседы можно было лишь догадываться по другим документам. В письме из Рима от 20 декабря 1972 года сыну Антонио Грамши Джулиано Камилла Равера подробно излагает содержание этой беседы, известное ей со слов Грамши.

боевую статью, требуя защиты жизни и интересов рабочих и крестьян теперь же, и не парламентскими запросами, а оружием, на улицах и площадях, где они подвергаются нападениям вооруженных банд.

Муссолини не раз истерически грозил «заткнуть глотку коммунистической печати». По части «затыкания глоток» у него был уже опыт, вряд ли он не воспользуется случаем расправиться с «Коммунистом». Грамши, хорошо зная характер Гольятти, не сомневался: друг не покинет поля боя до конца. Все же теплилась надежда, что хладнокровие и опыт Пальмиро помогут ему выпутаться из беды.

В Москву продолжали съезжаться делегаты IV конгресса Коммунистического Интернационала. Грамши вошел в состав мандатной комиссии. Сухие статистические данные говорили о многом. Многоязычный, многоплеменный отряд выросшей за последние годы могущественной силы. 58 стран прислали своих представителей на IV конгресс Коммунистического Интернационала. Особенно радостны были встречи со знакомыми. К Грамши, сидящему за столом мандатной комиссии, подошел широкоплечий мужчина с растрепанными рыжими усами.

— Кашен! — радостно воскликнул Грамши.

— Мой дорогой старик! — И, заметив мимолетную тень на лице Грамши, Кашен смущенно спросил: — Обиделся за «старика»? Знаю, скверная привычка.

— Нет, нет, прекрасное слово: ста-а-арик. Емкое и многозначное. Но не всякому из моего поколения удастся действительно стать стариком. Мне, например, не удастся.

Кашен шутливо погрозил ему пальцем.

7 ноября Грамши вместе с другими делегатами пришел на Красную площадь. Всю неделю шли дожди, но в этот день словно по заказу дождь перестал, выглянуло солнце. Многочисленные гости заполнили специально воздвигнутую деревянную трибуну. На фоне старых кремлевских стен выделялась большая, в две сажени, скульптура рабочего у наковальни. Гостям вручали праздничный номер «Правды» на 16 страницах, с иллюстрированным приложением на 12 страницах. Статьям и очеркам, призывавшим к новым успехам в мирном труде, редакция предпослала набранное крупным шрифтом обращение к читателю: «Мы не старики, черт возьми! Мы только начинаем жить. Прорывом, ударом — вперед!»

9 ноября конгресс продолжил свою работу. Приехали опоздавшие итальянские делегаты. Некоторые из них уже приняли участие в стычках с фашистами. 13 ноября с докладом «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» выступил Ленин. Все присутствующие — делегаты и гости — приветствовали его стоя...

— Я беседовал с некоторыми прибывшими сюда делегатами, — сказал Ленин, — и надеюсь в дальнейшем ходе конгресса хотя и не лично участвовать в нем — это, к сожалению, для меня невозможно, — но подробно поговорить с большим числом делегатов из различных стран.

Последнюю часть своей речи Ленин посвятил проблеме использования русского опыта иностранными товарищами.

— Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии тем, что разъяряют итальянцам, что они еще недостаточно просвещены и что их страна не гарантирована от черной сотни.

Параллельно с пленарными заседаниями конгресса работали комиссии, в том числе малая комиссия по итальянскому вопросу. Прения проходили нервно и напряженно.

Для Грамши наступили крайне трудные дни. Приход фашистов к власти резко изменил соотношение сил и общую ситуацию в Италии. На одном из заседаний комиссии он прибег к образному сравнению: слить две партии — все равно что женить Джандую (одна из традиционных масок итальянской народной комедии, вроде русского Петрушки) на дочери перуанского короля. Но в Перу нет короля, нет, следовательно, и королевской дочери. Кое-кто воспринял это как шутку, которой оратор хотел разрядить обстановку. Грамши не шутил: он был убежден, что после «похода на Рим» Итальянская социалистическая партия фактически перестала существовать. Но люди, входившие в эту партию, а среди них было немало честных рабочих, остались. Их надо

принять в КПИ. Против индивидуального приема многие возражали, предлагали коллективно принять социалистов в КПИ с последующим индивидуальным отбором. Шли страстные споры. Бордига накалил атмосферу дискуссии, отказавшись войти в межпартийную комиссию по слиянию. Человек, еще остававшийся главой Коммунистической партии Италии, уже оказался в оппозиции.

Несколько позднее в письме к Тольятти и Скоччимарро Грамши с горечью скажет, что в эти памятные полтора-два месяца ему пришлось «извиваться ужом», чтобы избежать раскола и кризиса партии, вдали от самой партии.

После утомительного заседания чистый морозный воздух казался особенно вкусным. Грамши неторопливо пересек двор Кремля, направляясь к выходу.

— Товарищ Антонио, здравствуйте! — окликнул его женский голос по-итальянски.

Голос показался знакомым. Неужели Юлия? Он резко обернулся. Нет, это была не Юлия.

— Не узнаете меня? Неудивительно. Ведь нас было очень много,— засмеялась женщина.

Но он уже узнал ее:

— Анна Аполлоновна, каким чудом?

— Ну, не преувеличивайте. Будто мы в вашем любимом Турине на виа Двадцатого сентября. Вот это было бы чудом.

— Почему на виа Двадцатого сентября?

— А что, в Турине нет такой улицы?

— Есть.

— Именно потому. Во всех итальянских городах есть виа Двадцатого сентября<sup>4</sup>.

— Скажем, почти во всех... Все же почему вы здесь, если не секрет?

— Секрет, страшный секрет, но вам как доброму знакомому откроюсь. Группа московских артистов готовит для делегатов конгресса представление, что-то вроде политического обозрения.

— А вы?..

— Скромный помощник по музыкальному оформлению. Но вот идет вдохновитель спектакля. Разрешите, я вас познакомлю... Виктор Яковлевич, на минуту!

Стремительной походкой, развернув плечи, к воротам впереди небольшой группы людей шагал невысокий человек в кожаной куртке и кожаной фуражке. На голос Анны Аполлоновны он обернулся и так же стремительно приблизился.

— Виктор Яковлевич Типот, наш режиссер и конферансье... Антонио Грамши...

— Можете не продолжать, Анна Аполлоновна, я знаю, кто такой Антонио Грамши! — воскликнул Типот.

— Но вы можете не знать, что Антонио Грамши несколько лет был профессиональным театральным критиком.

— Да? — оживился режиссер.— Тогда,— он перешел на неважный французский язык,— позвольте вас задержать на несколько мгновений. Надя!..

Красивая стриженная блондинка со светлыми прозрачными глазами отделилась от группы.

— Моя жена Надежда Германовна. Она поможет нам объясниться.

— Мне вы не доверяете? — улыбнулась Анна Аполлоновна.

— Анна Аполлоновна, Ася!.. — укоризненно воскликнул энергичный «кожаный режиссер», как его мысленно окрестил Грамши.— Нам еще понадобится Ильинский. Игорь Владимирович!..

Подшел молодой человек.

— Наш Ллойд Джордж,— представил его режиссер.

Молодой человек улыбнулся открытой, обаятельной улыбкой. Грамши, тоже смеясь, развел руками:

— Мое замечание, может быть, неуместно, но Ллойд Джордж... чуть постарше. Ему, пожалуй, за шестьдесят!..

<sup>4</sup> 20 сентября 1870 года свержением в Риме светской власти пап завершилась длительная борьба за объединение Италии.

— Пятьдесят девять,— уточнил режиссер.— Это не имеет значения. Правда, Игорь Владимирович?

Молодой человек кивнул. Лицо его мгновенно изменилось. Перед Грамши стоял пожилой человек, даже без грима чем-то похожий на Ллойд Джорджа.

— Удивительно!— воскликнул Грамши.— Я видел и даже немного изучал технику перевоплощения Руджеро Руджери. И писал о нем. Впрочем, имя это вам ничего не говорит.

— Мне пришлось читать о труппе Руджеро Руджери,— вежливо заметила Надежда Германовна.

— Вот видите! Значит, не я его выдумал.— Грамши шутливо поклонился Надежде Германовне.— Как вам все-таки это удалось? — спросил он молодого актера.

— Тренаж, фотография Ллойд Джорджа и снова тренаж,— вмешался режиссер.— Но манеры, речь, походка... Ведь мы никогда не видели Ллойд Джорджа. Если бы вы помогли...

— Видел я его только раз, на открытии Генуэзской конференции. Но сперва расскажите о замысле.

— Да-да, вот брошюра. Текст переведен на немецкий, английский, французский. На итальянский не успели, извините.

Грамши с любопытством перелистывал тоненькую брошюру на серой бумаге.

«Дорогие товарищи! Мы хотим перед спектаклем сказать вам несколько слов, но на репетиции так охрипли, что вынуждены прибегнуть к великому рупору — печатному станку, для того чтобы кое-что напомнить, кое-что обещать и кое-что разъяснить...»

Обозрение называлось «Милые разговоры» и забавно пародировало политические события в Европе. Фамилии молодых актеров — Ильинский, Гаркави, Рина Зеленая, Вера Инбер, которая выступала как соавтор обозрения и исполняла роль девочки,— ничего Грамши не говорили. Но энтузиазм и задор участников подкупал. Улыбаясь, вернул брошюру.

— Чем же я могу быть полезен?.. Некоторые детали... Говорит Ллойд Джордж плавно, даже медленно, но обладает молниеносной реакцией на реплики. Ответы его обычно вызывают смех, оратор тут же становится серьезным... Что еще? Есть у него, я бы сказал, сознательная агрессивность речи, оттенок, несвойственный английским дипломатам. Может грохнуть кулаком по столу или кафедре, затем сразу перейти к шутке. Пожалуй, все... Нет, однажды я прочитал у какого-то английского дипломата, что Ллойд Джордж слишком непостоянен, чтоб быть надежным товарищем в охоте на тигра. Впрочем, замечает дипломат, поведение Ллойд Джорджа на охоте будет зависеть от ценности добычи. Если ему покажется, что тигр стоящий, то вряд ли найдется более ловкий и страстный охотник. Но если Ллойд Джордж почему-либо вообразит, что преследуемый тигр смахивает скорее на дворняжку, то никакой добычи не будет, а товарищу по охоте не поздоровится... Одним словом, постарайтесь сыграть остро и умно, чтобы тигры были тиграми, а дворняжки дворняжками. Желаю успеха.

— Спасибо, огромное спасибо.

Актеры, предводительствуемые режиссером, ушли. Анна Аполлоновна порылась в сумочке и извлекла газетную вырезку.

— Из нашего «Рабочего края». Юля просила передать. Перевести вам?

— Нет. Может быть, отдельные слова. Прочтите вслух, только не спешите.

— Хорошо. Заголовок: «Впечатления с Четвертого конгресса Коминтерна». Текст: «...Грамши советует им (делегатам конгресса) поехать в Иваново. «Там вы увидите,— говорил он,— рабочих-коммунистов, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Это... интернационалисты. Я никогда не забуду партийного собрания на фабрике Куваева. Впечатление от него останется на всю жизнь...» Подпись: «В. Деготь — ивановский рабкор».

— Неутомимый Владимир Деготь! — улыбнулся Грамши.— Благодаря ему я становлюсь знаменитым. Поблагодарите вашу сестру за вырезку.

Анна Аполлоновна положила руку на плечо Грамши.

— Приезжайте в Иваново-Вознесенск, Антонио. Мы все вас ждем.

**На заключительном заседании конгресса Грамши был избран членом исполкома Коммунистического Интернационала.**

Сотрясая своды Андреевского зала Кремля, гремит «Интернационал». Допета последняя строфа, делегаты не хотят расходиться. У каждой страны есть еще и свои песни, зовущие в бой. Громче всех на многих языках звучит популярная итальянская «Бандьера россa»:

Аванти пополо, а ля рискосса,  
Бандьера россa, бандьера россa!  
(Ты, знамя красное, свети, как пламя,  
Свободы знамя, свободы знамя!)

Москва. Грамши — Юлии Шухт:

«Дорогой мой товарищ, через несколько дней я выеду из Москвы в Италию вместе с Комиссией по слиянию коммунистической и социалистической партий... Я рад, что смогу возобновить революционную работу в такой трудный и трагический для пролетариата момент — момент, своеобразный с точки зрения тактики и взаимоотношений между различными пролетарскими течениями и между отдельными лицами...»

До отъезда я отправлюсь в «Серебряный бор» — провести денек с товарищем Евгенией. Твердо надеюсь, что все мы увидимся в Италии. Товарищ Евгения поправится, и вы сможете сопровождать ее в Италию; будем работать вместе. Или же все это окажется лишь маленьким воздушным замком, искусственно построенным в дни вынужденного бездействия?.. Кто знает, мир велик и грозен — может быть, мы встретимся в Пекине, в Лхасе, в Нью-Йорке, в Сиднее?..»

Тишину комнаты разорвал протяжный скрежещущий звук — собирались бить большие напольные часы, наследие старого гостиничного уюта. Первое время часы раздражали Грамши, даже будили среди ночи, потом привык. Друзей Грамши шуточно уверял, что каждые часы имеют свою индивидуальность. Например, его часы — тугодумы, но раз приняв решение, действуют очертя голову... Скрежет перешел в пыхтение, короткая пауза — и часы начали бить торопливо, захлебывающейся скороговоркой. Двенадцать ударов. Полночь... В Иваново-Вознесенске, наверное, уже спят: там рано ложатся, рано встают... Через несколько дней утром почтальон принесет письмо. Юлия вскроет конверт, вынет этот листок бумаги, и морщинка прочертит ее чистый лоб. Морщинка, которая может быть и раздумчивой и насмешливой. Что и говорить, Лхаса — город на макушке высокогорного Тибета, куда и не во всякое время года можно забраться, — просто идеальное место для встречи двух сердец!.. Как трудно снять с себя привычную броню иронии...

«Хотел бы написать вам кучу всяких вещей. Не решаюсь; одну вы, может быть, угадаете. Сказать было бы легче...

Открываю в себе, которого считал совершенно черствым и высохшим, маленький родничок (маленький-маленький)... меланхолии и лунного сияния в темно-голубом венце.

Дружески жму руку.

Грамши».

В один из ближайших дней, как обещал, поехал в «Серебряный бор». Накануне шел снег и толстой белой пеленой покрыл все окрест. Антонио пробирался к зданию санатория, осторожно нащупывая ногами невидимую под снегом дорожку.

— Антонио!..

Вздрыгнул от неожиданности. Неужели свершилось маленькое чудо—Юля здесь? Порывисто кинулся вперед и... провалился в снег по пояс. Раздался веселый женский смех:

— Держитесь, Антонио, сейчас мы снарядим за вами спасательную экспедицию!

Нет, не Юлин голос. Смеялись Женя и ее соседка по палате, большеглазая, совсем еще девчонка, чем-то напоминавшая Антонио его младшую сестру Терезину.

«Спасательная экспедиция», вооружившись деревянными лопатами, действительно готовилась спасать утопающего в снегу. Этого допустить было нельзя. Грамши ринулся вперед, разрывая руками и грудью мягкий пушистый снег, и через минуту очутился на расчищенной площадке перед входом в санаторий.

— Ну что мне с вами делать? — укоризненно говорила Женя, стряхивая снег с пальто Грамши.— Так и простыть недолго. Придется пожаловаться Юльке.

— Женя, неужели вы способны ябедничать? Нет, не верю.

— В дом, в дом... Нужно обсохнуть. Куда лучше? В красный уголок. Там тепло. Не забыли дорогу?

— Не забыл,— усмехнулся Грамши и, когда они вошли и сели, сказал: — Я ведь пришел попроситься.

— Едете? В Италию? Рада за вас, Антонио. Наверное, вы счастливы?

— Счастлив ли я? Да, счастлив. Хотя впереди трудные дни. Но сегодня, не знаю почему, мне кажется — я все могу.

— Вы полюбили, Антонио, вот в чем причина,— тихо сказала Евгения Аполлоновна.— Пойдемте гулять, хорошо?

— А вам можно?

— Сегодня мне все можно.

В заснеженном подмосковном лесу было необычайно красиво. Но Евгения Аполлоновна двигалась с большим трудом, и Грамши предложил далеко не ходить, а вылепить снежную бабу.

— Вы умеете, Антонио?

— Я знаю, как это делается,— уклончиво ответил Грамши.

Прихватило легким морозцем, и баба не хотела лепиться. Тогда Грамши развел на бугре костер — «чтобы подогреть снег», объяснил он. Образовалась небольшая проталина, вокруг костра снег потемнел и уплотнился.

— Ура, весна! Мы поторопим весну!.. Может быть, вы волшебник, Антонио?

— Почему бы и нет?

Грамши бросил в костер корягу. Посыпались искры. С бугра медленно заструилась ручеек талой воды.

— Когда вы едете, Антонио?

— Скоро, очень скоро.

Даже волшебники ошибаются. Отъезд по ряду политических причин откладывался. Прощальное письмо, посланное Юлии Аполлоновне 10 января, оказалось не последним и не прощальным: были еще встречи, были письма.

«Москва, 13. II. 1923 г.

Дорогая,

я не уверен, смогу ли я в воскресенье приехать к вам. Нас то и дело созывают в самые немислимые часы, и мне было бы очень неприятно пропустить собрание, не имея возможности оправдать свое отсутствие. Очень хочу приехать. Хотелось бы столько сказать вам. Но сумею ли? Часто спрашиваю себя об этом, обдумываю планы длинных речей. Но когда я подле вас, забываю все. А между тем это должно бы быть так просто. Просто, как просты мы сами или как я, во всяком случае. Вы ошибаетесь, когда ищете в моих словах что-то сложное, какой-то особый смысл. Нет, нет, слова правильно отражают очень спокойное, умиротворенное душевное состояние. Я люблю вас и убежден, что вы меня любите. Правда, уже много-много лет я приучил себя думать, что не могу быть любим никем, что это абсолютно, почти фатально невозможно. Слишком долго это убеждение было средством самозащиты, желанием избежать новых обид и огорчений. Десятилетним ребенком я начал думать так... Мне приходилось терпеть такие лишения, а здоровье у меня было такое слабое, что я убедил себя в том, будто я подкидыш, непрощенный гость в собственной семье. Такие вещи не забываются легко, они оставляют более глубокий след, чем можно предполагать. Все мои чувства точно отравлены глубоко укоренившейся привычкой так думать. Но сейчас я почти не узнаю себя, настолько я изменился, и поэтому мне странно, что вы замечаете и придаете значение нервным жестам и маленьким вспышкам, которые не зависят от меня и носят, может быть, чисто физический характер. Я люблю вас. Почему вы говорите: «Слишком скоро»? Почему вы говорите, что моя любовь — это нечто существующее вне вас, не касающееся вас? Что за путаница, что за чепуха? Я не мистик, а вы не византийская мадонна. Советую вам считать до десяти тысяч всякий раз, когда вондебится очищать свои мысли от подобной чепухи и абракадабры.

Мы сильны и любим друг друга. И мы просты, и все в нас естественно. И прежде всего мы хотим быть сильными и не хотим тонуть в сладчайших психологических интригах в духе Матильды Серао. Мы хотим быть духовно сильными, и простыми, и здоровыми, и просто любить друг друга именно потому, что любим, а это самый прекрасный, и самый большой, и самый сильный довод на свете».

«Москва, август 1923 г.

...Скоро ли вы приедете? Смогу ли я еще увидеть вас? Помнится, вы возьмете отпуск в сентябре, не так ли? Я жду... может быть, пробуду в Москве еще неделю, может быть, месяц, может быть, мы сможем поболтать несколько часов и даже совершить вместе несколько долгих прогулок...»

Под косыми лучами еще по-летнему жаркого солнца отликает золотом пожелтевшая листва лип Нескучного сада. Обычно они бродили по Москве вдвоем. Но в поездке на выставку к ним присоединился и Аполлон Александрович. По пути он объяснял, что одно из древнерусских названий сентября (руен) связано с желтым цветом осени, другое (хмурень) — с ранним наступлением сумерек. По приметам осени, сказал Аполлон Александрович, в народе судят о зиме. Вот этот дуб, например. Народная примета: много желудей на дубу — к лютой зиме.

Теплый день был янтарно чист, в «лютую зиму» как-то не верилось.

Первая сельскохозяйственная и кустарно-промысловая выставка СССР! Менее чем за год на территории, охватившей площадь огородов у Крымского моста. Нескучный сад и часть Воробьевых гор, возникло чудо: около 200 павильонов, десятки агротехнических опытных участков, действующая гидроэлектростанция — кусочек ленинского плана ГОЭЛРО, и еще многое, о чем три-четыре года назад можно было только мечтать. И люди, сотни людей в национальных костюмах: в полосатых халатах и черкесках с газырями, в тубетейках и папахах — представители чуть ли не всех народов Советского Союза, перенесшие на выставку принадлежности и обстановку своего быта, двугорбых верблюдов, быков, упряжных собак, юрты, арбы, кибитки, нарты... А над всем этим пестрым табором кружился маленький аэроплан на поплавках; он то садился на уже по-осеннему потемневшую реку, то снова взмывал в воздух.

Покинули выставку огуленные увиденным.

— Великое дело! Старая и новая Россия! Великое дело! — твердил Аполлон Александрович. — Вы, дети, еще погуляйте, а я, пожалуй, поеду домой.

...Они выбирали интересные маршруты, чаще не выбирали, а просто шли. И это было самое интересное...

Московской осенью 1923 года Антонио Грамши и Юлия Шухт стали мужем и женой.

В июле 1923 года в Риме начался первый (за ним последуют и другие) процесс над деятелями Коммунистической партии Италии. Одним из обвиняемых по процессу заочно — Грамши. Его это не очень беспокоит. Несравненно тревожнее то, что фашизм из итальянской проблемы становится вопросом международным, затрагивающим судьбу ряда стран.

Путь на родину пока закрыт. Товарищи просят Грамши перебраться поближе к Италии. «Нам нужно, чтобы твое руководство вновь сильно дало себя почувствовать», — пишет другу Тольятти.

В конце ноября 1923 года Грамши выезжает в Вену.

Еще в Москве из газет он узнал о фашистском путче в Мюнхене. Путч провалился, главари — некий Адольф Гитлер и другие — будут преданы суду. Казалось, инцидент исчерпан. Однако эта фашистская демонстрация в столице Баварии произвела на Грамши сильное впечатление, в Вене он надеялся узнать подробности. К его удивлению, австрийские товарищи отнеслись к мюнхенским событиям иронично, называя их опереточными. В веселом музыкальном жанре венцы знали толк, но жизнь не театр. В Вену приехал известный немецкий адвокат и социал-демократический деятель, Грамши поинтересовался его мнением о путче. Адвокат, пожав плечами, ответил, что Адольф Гитлер с его бандой недооценили силу немецкой демократии и

понесут ответ по параграфу 81 германского уложения о наказаниях, предусматривающему пожизненное заключение за попытку насильственным путем изменить конституцию германского государства.

— Не забывайте, Германия не Италия! — заключил адвокат.

Грамши промолчал.

Процесс в Мюнхене действительно состоялся. Странный процесс. Когда в зал входил обвиняемый генерал Людендорф, один из главарей путча, часовые брали на караул. «Мировая история оправдает меня», — заявил Гитлер в своем последнем слове. Не было нужды беспокоить мировую историю: суд оправдал Людендорфа, остальных обвиняемых приговорил к заключению от года до пяти лет условно.

...Веселая Вена встречала рождественские праздники. Заем, полученный от Антанты, принес временное оживление экономики, стоило ли думать о том, что уже в будущем году кризис и сопутствующая ему безработица неизбежно вспыхнут с новой силой? И даже гадалки — профессия в послевоенной Вене популярная и уважаемая — не могли предвидеть: всего через полтора десятилетия произойдет аншлюс — Гитлер насильственно включит Австрию в состав фашистской Германии.

Дел у Грамши было невпроворот. В таких случаях говорят: и скучать некогда. Но он скучал по жене. Очень скучал. Юлия Аполлоновна пока осталась в Москве.

«Вена, 1. I. 1924 г.

Дорогая моя,

что принесет нам новый год? Сможем ли мы побыть немного вместе, наслаждаясь встречей, смеясь над всем и вся (за исключением, разумеется, серьезных вещей, которых, однако, в этом большом и грозном мире совсем немного)?

Получил твое письмо. Здесь тоже наступила зима, на улицах лежит снег. Пейзаж — наметенные ветром сугробы — напоминает мне солеварни Кальяри и тамошних людей, занятых каторжным трудом. Но насколько Вена скучнее и печальнее Москвы. Здесь нет саней, которые весело и звонко бороздят белизну улиц, — одни лишь трамваи гремят... Работаю довольно много: вновь привыкаю работать методически, долгие часы просиживаю за письменным столом.

...Обнимаю тебя нежно-нежно».

Холодным январским утром Грамши, как обычно, отправился по делам. У газетного киоска выстроилась очередь, картина для Вены невероятная. Люди совали киоскеру мелочь, брали газету и, торопливо разворачивая свежие типографские листы, отходили в сторону.

— Что случилось? — спросил Грамши у стоявшего перед ним старика в маленькой тирольской шляпе, из-под которой свисали седые пряди.

Старик получил у киоскера газету, отошел в сторону и снял свою кургузую шляпу. Холодный ветер шевелил его седые волосы.

— В Москве умер Ленин, — ответил кто-то из очереди.

Умер Ленин! Да, газетное сообщение не оставляло никаких сомнений. Ленина нет в живых. Нет в живых человека, в имени которого для широких масс воплотилась Революция.

Первый номер возобновляемого журнала «Ордине нуово» будет посвящен Ленину, тут нет двух мнений. Грамши набрасывает план номера. Передовая статья. Краткая биография. Обзор книг и брошюр Ленина, опубликованных на итальянском, — это сделает Пальмиро. Высказывания Ленина об Италии. Времени в обрез. Грамши садится за работу.

...Ленин об Италии. Ограничим материал 1920 годом, для журнала иначе нельзя. Да, но лето 1921 года, III конгресс Коминтерна! Как ждал он тогда в Турине материалов конгресса! «Мы никогда не хотели, чтобы Серрати в Италии подражал русской революции. Это было бы глупо», — сказал Ленин. «Выбирайте, товарищи, выбирайте, итальянские рабочие, между Коммунистическим Интернационалом, который никогда не потребует, чтобы вы рабки подражали русским, и между меньшевиками...»

Мыслями о работе, о Ленине Грамши делится с самым близким человеком — с дорогой, милой, любимой Юлькой. В письме рассказывает ей случай, который произо-

шел в одной итальянской деревне: «...для широких масс революция воплощается в нескольких именах, которые словно выражают все надежды и всю боль угнетенных рабочих. В одной итальянской деревне произошел такой случай: через три дня после смерти Ленина умер сельскохозяйственный рабочий, коммунист, который вместе со своими товарищами по работе вынужден был записаться в фашистский синдикат. Он завещал похоронить себя в красной одежде и положить на гроб надпись: «Да здравствует Ленин!» Ленин умер, и он хотел быть похороненным таким образом. Товарищи по работе проводили его ночью на кладбище и спели над его могилой «Интернационал». Могильщик донес об этом факте, и фашисты распустили здесь все свои организации, которые в большинстве состояли из бедных, революционно настроенных крестьян, изолированных и запуганных дубинками». История эта, считает Грамши, несет большой смысл.

В следующем письме он спрашивает жену: «Можешь ли прислать мне вырезки — лучшие страницы, посвященные смерти Ленина? Видишь, я считаю тебя сильной, раз прошу работать для меня».

Вырезки нужны для работы. Но ему дорого и то, что материалы он получит от нее, от Юльки. Он уговаривает молодую жену быть сильной, в каждой строке его письма — горечь разлуки.

«6. III. 1924 г.

Моя любимая,

мне хотелось бы поцелуями осушить твои слезы, которые я, кажется, вижу, кажется, чувствую на своих губах, как бывало порой, когда мой несносный характер заставлял тебя плакать. Вся эта взаимная боль, взаимные мучения происходят оттого, что мы далеко друг от друга и не можем так жить. Но ты слишком отчаиваешься. Почему? Ты столько раз обещала мне быть сильной-сильной, и я верил тебе и сейчас тоже верю, что ты сильна, — больше, чем сама думаешь. Часто ты бываешь сильнее меня, только я с детских лет жил замкнуто и приучился прятать свои переживания под маской грубости или иронической усмешки — вот и вся разница. Долгое время это причиняло мне боль, долгое время мои отношения с другими людьми были невероятно сложными: каждое подлинное чувство я преувеличивал или преуменьшал в семь раз, чтобы другие не угадали, что я на самом деле чувствую. Что же спасло меня и не дало окончательно превратиться в накрахмаленную тряпку? Инстинктивное чувство возмущения, которое у меня вызывали богачи, потому что я не мог продолжать учения — я, получавший самые высокие баллы по всем предметам в средней школе, — а перед сыновьями мясника, антекаря, владельца мануфактурной лавки были открыты все двери. Это чувство возмущения я распространил потом на всех богачей, которые угнетали крестьян в Сардинии, и тогда я начал думать, что надо бороться за национальное освобождение острова. «Сбросить в море всех, кто с континента!» — сколько раз повторял я эти слова. Позднее в одном промышленном городе я узнал, что такое рабочий класс, и понял истинный смысл произведений Маркса, которые прежде читал из любопытства. И тогда я страстно привязался к жизни, к борьбе, к рабочему классу... Ты вошла в мою жизнь и дала мне то, чего мне всегда недоставало и без чего я так часто бывал недобрым и упрямым...

Я получаю сейчас массу писем от итальянских товарищей. Как много они требуют от меня! Им кажется, что я неисчерпаемый источник веры, энтузиазма, воли, силы. А они в Италии, в самом огне борьбы, и — деморализованы, растеряны... От меня слишком многого требуют, слишком многого ждут, и это угнетает меня. За последние месяцы положение в партии резко ухудшилось. Бордига удалился на Авентин, и его позиция вызвала разлад в партийной жизни. Кое-кого мне удалось вовремя спасти от таких настроений, но достаточно ли этого?..

В нашей партии все молоды, и годы реакции расшатали всем нервы. А я сам столько времени болел и сейчас еще не вполне поправился. Ведь и моя жизнь два года висела на волоске, и когда я приехал в Москву и почувствовал себя спокойным и вне опасности — я немедленно свалился. Сейчас мне надо быть исключительно сильным, но что делать, когда мне так не хватает тебя: ведь ты часть меня самого. Приезжай, приезжай, Юлька, хотя бы ненадолго, только бы я опять почувствовал тебя рядом — тогда я смогу работать с огромным подъемом, лучше, чем мне до сих пор удавалось...  
Г.»

Юго-западный ветер приносит дыхание его родины. Но Италия все еще недосягаема, и он работает, работает «с огромным подъемом, лучше, чем... до сих пор удавалось».

1 марта 1924 года возобновляется издание журнала «Ордине нуово». Передовую статью Грамши назвал коротко и выразительно — «Вождь». «Международный пролетариат имел и имеет живой пример революционной партии, которая осуществляет диктатуру класса; он имел, но, к несчастью, теперь уже не имеет самого характерного и выразительного живого примера того, каким должен быть революционный вождь, — товарища Ленина».

Главная мысль первого номера возобновленного «Ордине нуово»: ленинизм включает в себе собственную концепцию мира, без которой сегодня уже нельзя понять Маркса! Жизненность марксизма — в его творческой сущности, в непрерывности развития. В мире происходят мощные общественные социальные и экономические сдвиги, наука открывает невиданные горизонты, но творческий марксизм остается безошибочным методом, инструментом высшей точности, который позволяет проникать в будущее. Во втором номере напечатана статья Грамши «Против пессимизма». Сделать партию «великой армией будущих битв», требует автор. Он часто приводит слова «пессимизм разума, оптимизм воли». Он по-прежнему тоскует по своему «дорогому товарищу». Неужели Юлия не может приехать в Вену? «Если бы речь шла только о нашей любви, я не стал бы так настаивать. Но наша любовь должна быть чем-то большим, она должна быть сотрудничеством, объединением духовных сил для борьбы, а быть может, счастье именно в этом и состоит...»

Юлия действительно не может приехать. Против этого возражают врачи: молодая женщина ждет ребенка.

«13.IV.1924 г.

Дорогая,

...теперь больше, чем когда бы то ни было, я хочу быть сильным, потому что хочу быть достойным твоей любви, и это стремление отражается на всей моей деятельности... Мы хотим, чтобы наши дети жили в свободном и прекрасном мире, и будем бороться за это так, как мы еще никогда не боролись, с изобретательностью, какой у нас еще не было, с упорством, с энергией, которая опрокинет все препятствия. Пиши мне много. Если бы я мог быть с тобой через месяц... Может быть, однако, так и будет...»

*...Под Москвой, в Серебряном бору он подобрал и сунул в карман еловую шишку. Крепкая, глянцевиная, она всю зиму пролежала на письменном столе в Вене, напоминая о лесе. Однажды он заметил на столе несколько маленьких семечек. Двумя пальцами осторожно приподнял шишку, из нее посыпались прозрачные лепестки с коричневым семечком на конце каждого. Достаточно было слегка взмахнуть рукой — и по комнате полплыли прозрачные крылышки.*

### УБИЙСТВО ДЕПУТАТА МАТТЕОТИ

Ночью он просыпался словно от толчка, с мыслью: «Надо ехать».

Но ехать в Италию значило обречь себя на тюремное заключение: еще год назад фашистские власти выдали ордер на арест коммунистического лидера.

Пробраться на родину под чужой фамилией? Для Грамши с его характерной внешностью перевоплощение было невозможно. Он мог наклеить усы, бороду, изменить цвет волос, сделать все что угодно, и тем не менее каждый встречный обязательно скажет: «Это Антонио Грамши».

Выхода не было. Но выход нашелся.

Итальянцы — свободолюбивая нация. Ворцы против тирании, за общественную справедливость издавна пользуются в народе глубоким уважением. И когда они изгонялись правительством за пределы страны или заключались в тюрьмы, народ оказывал этим людям высокое уважение, избирая их в парламент. Так повелось еще в XIX веке. Благородная традиция, к счастью подтвержденная законом. Избрание давало свободу и неприкосновенность.

Коммунистическая партия выдвинула своих депутатов в парламент. Грамши — по округу Венето.

6 апреля Грамши был избран. Политический изгнанник, подлежащий немедленному аресту и тюремному заключению, стал онореволе<sup>5</sup>, то есть достопочтеннейшим.

12 мая 1924 года после двухлетнего отсутствия Грамши ступил на итальянскую землю. В начале июня прибыл в Рим.

Вновь избранный парламент уже начал свою работу. Надо было устраиваться прочно, не на неделю-другую, как в прошлом. Друзья нашли меблированную комнату, как уверяли они — удобную во всех отношениях. Ехали на неторопливом римском извозчике долго — по широкой виа XX сентября, пересекли Порта Пиа, покатали по бесконечной виа Номентана. Грамши начал проявлять нетерпение, но извозчик проехал два квартала по виа Номентана, свернул направо и остановился у дома номер 25 на виа Марганья, небольшой, тихой. Хозяева квартиры супруги Пассарж, немцы по происхождению, сдавали комнату «спокойным жильцам». Грамши представили как профессора университета. Быстро договорились об условиях. Супруги Пассарж заверили квартиранта: ничто не будет помехой его научным занятиям. Синьор профессор может быть спокоен. Вот только внучка, ей четыре года, но она хорошо воспитана и не нарушит покой синьора профессора. Пожелав счастья на новом месте, хозяева удалились. Не разбирая чемодан — это можно сделать и потом, — Грамши присел за письменный стол.

После возвращения в Италию он жил в непрерывном круговороте встреч с товарищами, в атмосфере напряженных дискуссий: во второй половине мая в горах у озера Комо удалось провести первую в условиях фашизма нелегальную конференцию итальянских коммунистов. За пятнадцать — двадцать дней он фактически ни на минуту не оставался один. И это было прекрасно, особенно после венского «заточения». Но думать он все же предпочитал наедине с белым листом бумаги.

Коммунистические партии всего мира готовились к очередному, V конгрессу Коминтерна. Всего полтора года прошло после IV конгресса, но за этот короткий срок произошли огромные перемены в международных отношениях, в жизни и борьбе коммунистических партий. В 1923 году потерпели поражение революционные выступления пролетариата в Германии, Болгарии, Польше. Неудача прямого штурма буржуазных режимов со всей очевидностью показала, что революционный подъем первых послевоенных лет закончился, что в условиях частичной стабилизации капитализма необходима новая тактика коммунистических партий.

Лишь несколько дней назад Грамши прощался с товарищами — членами итальянской делегации конгресса, отплывшими в Россию из Генуи на советском пароходе «Роза Люксембург». Прощался, правда, ненадолго; в Москву он должен был выехать поездом. Дискутировался вопрос: можно ли утверждать, что правящая буржуазия на Западе обнаружила тенденции к эволюции лейбористского типа? Действительно, в Англии впервые к власти пришла лейбористская партия, во Франции — «блок левых» радикально-социалистического толка. Некоторые деятели Коминтерна считали, что эта тенденция носит всеобщий характер. Так думали и Бордига и находящийся в Москве Террачини. Но Грамши был убежден, что ключ к оценке европейской ситуации следует по-прежнему искать в характере обстановки в Германии.

Размышления прервал неожиданный приход Феличе Платоне, соратника по «Ордине нуово», корреспондента газеты «Унита». Уже с порога он закричал:

— Антонио, что ты думаешь о его речи?

— Говори потише, Феличе, не пугай хозяев. Чьей речи?

— Еще не знаешь? Сегодня в парламенте выступил с двухчасовой речью Джакомо Маттеотти. Что там было! Рассказать?

— Разумеется.

— Я набросал кое-что для отчета. Прочитать?

— Еще лучше.

— Понимаешь, это недоработанные черновые записи.

— Читай.

— Читаю... «Палаццо Монтечitorio, где заседала палата депутатов, сегодня было

<sup>5</sup> Оноревале — обращение к депутату парламента; сохраняется пожизненно.

переполнено. Депутаты, журналисты, гости — все с нетерпением ожидали выступления Джакомо Маттеотти, секретаря Унитарной социалистической партии и лидера ее парламентской фракции. На трибуну поднялся человек лет сорока, худощавый, с нервным лицом, на котором отражались обуревавшие оратора чувства гнева и презрения. Но голос его был спокоен и тверд, хотя говорил он страшные вещи. Обвинение за обвинением следовало в адрес правительства. Оргия хищений, фальсификация финансовых отчетов, взятки! Он брал то один, то другой документ из лежащей перед ним груды бумаг и оглашал его таким же спокойным голосом, но каждое слово падало в беснующийся зал, как дымящаяся граната в пороховой погреб. Вот отдельные фрагменты его речи, которые удалось записать вашему корреспонденту: «Маттеотти: «Уважаемые коллеги! Мы заявляем, что выборы, состоявшиеся в Италии в апреле сего года, не имеют ни малейшей законной силы». Выкрики: «Это провокация!.. Гоните его с трибуны!.. Тихо! Тихо!». «...список правительственного большинства, который якобы собрал более четырех миллионов голосов избирателей...» Голоса: «Долой! Заткните ему глотку! Ко всем чертям!». «...получил их вовсе не в результате свободного и фактического волеизъявления народа». Выкрики со скамей оппозиции: «Вы, фашисты, губите Италию!». «...по нашему мнению, результаты выборов недействительны! Ни один итальянский избиратель не имел свободной возможности решать и выбирать в соответствии со своими желаниями...» Председатель Рокко: «Депутат Маттеотти, придерживайтесь темы выступления». «Выборы превратились в испытание на мужество, в образец безоружного сопротивления физическому насилию!» Председатель: «Депутат Маттеотти, если вы хотите говорить, можете продолжать, но осмотрительно». Маттеотти: «Я не прошу, чтобы мне дали возможность выступать осмотрительно или неосмотрительно, я хочу говорить парламентарно, говорить правду... Вы хотите отбросить нас назад, в средневековье! Мы защищаем свободу и суверенитет итальянского народа и требуем аннулировать результаты выборов, опозоренных применением насилия!» Фашистские депутаты — а их было около двух третей палаты — выкрикивали угрозы, оскорбления и проклятия. Многие отчетливо слышали голос Муссолина, который крикнул с места: «Этому человеку не сносить головы!» Два часа говорил Маттеотти, два часа продолжался фашистский шабаш. Передают, что, выходя из здания парламента, бледный, но внешне спокойный Маттеотти сказал своим друзьям: «Ну, теперь можете готовить для меня надгробную речь...»

Платоне сложил свои листки и с некоторым опасением взглянул на Грамши. Платоне не забыл историю с одним своим репортажем. Это было еще до отъезда Грамши в Москву. В Турине произошло уголовное убийство, о котором говорил весь город. Платоне с воодушевлением взялся за дело, раскопал кое-какие детали, добился нескольких интервью и, довольный собой, сдал в «Ордине нуово», как ему казалось, удачный материал, оснащенный весьма красочными подробностями. Придя назавтра в редакцию, он с удивлением узнал, что материал в номер не пошел. Огорченный и злой, Платоне направился к Грамши объясняться. В комнатке редактора, в которой троим уже было тесно, но при необходимости помещался весь состав редакции и частые гости — рабочие туринских заводов (друзья шутливо утверждали, что комнатка обладает чудесным свойством раздвигать свои стены), кроме хояина, были еще двое: у стола стоял Монтаньяна, в углу из-за груды рукописей выглядывала кудрявая головка секретаря-стенографистки Пиа Карены.

— А-а, сэр Конан Дойль пришел, — иронически приветствовал Платоне Монтаньяна. — С твоей фантазией, дорогой Феличе, я бы не занимался нашим скучным делом, а писал рассказы. Ну, например, Шерлок Холмс в Италии.

— Неплохая идея, — огрызнулся Платоне. — Конечно, привычнее писать, чтобы мухи дохли.

— Все-таки польза для человечества — меньше мух останется, — незлобиво отозвался Монтаньяна.

Грамши поднял глаза от рукописи:

— Вы мне мешаете, друзья. Я хотел, Феличе, поговорить по поводу твоего материала. Только позднее. Но раз ты зашел... В двух словах: бесспорно, репортаж написан интересно.

Окрыленный похвалой, Платоне перешел в наступление:

— Не откажешь ли ты читателю в праве на здоровый человеческий интерес?

— Не откажу. Но существует также и нездоровое человеческое любопытство. Между этими двумя категориями грань подчас малозаметна, но она существует. И литератор не имеет права переступить эту границу. Особенно литератор, пишущий для коммунистической газеты. В каждом напечатанном слове он должен оставаться коммунистом. Зайди попозже, мы вместе с тобой посмотрим репортаж.

«Попозже» наступило глубокой ночью. Позади был длинный утомительный день. Но Грамши не торопясь абзац за абзацем разобрал злополучный репортаж. С тех пор прошло около трех лет, но Платоне не забыл данный ему предметный урок...

Грамши молчал. Паузу нарушил Платоне:

— Я же предупреждал — черновые записи. Нужно обработать.

— Нужно, но не очень. Постарайся сохранить стиль торопливой экспрессивной записи.

— А как быть с последней фразой Маттеотти? Сам я ее не слышал.

— Маттеотти — человек большого мужества, он понимал, на что шел и что ему грозит. Но понимают ли его коллеги по партии?

— Ты думаешь, Муссолини способен?

— Способен на все... Попробуй поговорить с товарищами Маттеотти. Скажи, что мы беспокоимся.

На следующее утро возбужденный Платоне пришел к Грамши с ворохом газет.

— Вся Италия говорит о речи Маттеотти. Прочитать?

— Только заголовки. Освобожусь — прочитаю сам.

— Хорошо. Названия газет и заголовки. «Джустития»: «Мужественное выступление депутата Маттеотти. Вот как были избраны фашистские депутаты!» «Стампа»: «Бурный день в палате депутатов». «Аванти»: «Первый блин — и большим комом! Требование признать абсолютно незаконными результаты выборов 6 апреля. Бурные сцены в парламенте. Левые партии покидают зал заседания. Обвинительная речь Маттеотти». «Пополо д'Италия»: «Мятеж. Маттеотти в роли Крыленко».

— В роли кого? — переспросил Грамши.

— В роли Крыленко.

— Да, «Пополо д'Италии» не откажешь в творческой фантазии.

— Я разговаривал с товарищами Маттеотти. Они объяснили, что полиция установила постоянную охрану у его дома.

— Полиция! Какая чепуха! К сожалению, я не имею права ни на чем настаивать. Это только предположение. Но на их месте я бы не спускал глаз с Маттеотти.

От Грамши Платоне направился в маленькую trattoria неподалеку от Монтеччаторио, где собирались журналисты, чтобы перекусить и обменяться новостями. Обсуждали подробности этого события. Один из журналистов предложил пари: Маттеотти, утверждал он, осталось жить не более недели. Предложение звучало цинично, но многие считали, что журналист несколько не преувеличивает опасность. В «Пополо д'Италии» появились совсем прозрачные намеки на необходимость расправы с оппозицией. Газета напечатала статью, принадлежащую перу Муссолини: «Депутат Маттеотти выступил с чудовищно провокационной речью, которая заслуживает куда более ощутимых и веских ответов, чем ласковые эпитеты, брошенные вчера в лицо этому мерзавцу...»

10 июня Маттеотти исчез.

Уже на следующий день Рим огласили пронзительные крики газетчиков: «Исчез депутат Маттеотти!», «Депутат-социалист Маттеотти исчез!..», «Случай политического бандитизма!..», «Огромное беспокойство по всей Италии!», «Маттеотти вышел из дома в четыре часа и пошел в палату депутатов. Больше его никто не видел. Жена плачет, предполагает самое худшее, умоляет коллег Маттеотти предпринять что-нибудь...»

Испуганный всенародным возмущением, Муссолини выступил с речью в парламенте:

— Довожу до сведения депутатов, что едва лишь органы полиции были поставлены в известность о продолжительном отсутствии депутата Маттеотти, я лично отдал приказ усилить розыски в Риме, вне Рима и в прочих городах... Выражаю надежду, что депутат Маттеотти сможет скоро вернуться в парламент.

Поднялся огромный Амендола, философ, ставший политиком ради воплощения своих либеральных идей:

— Вы же председатель совета министров, министр внутренних дел, министр иностранных дел — короче, вы всё! Вы лично, собственной персоной отвечаете за жизнь депутата Маттеогти!

Преследование члена парламента только за то, что он открыто сказал правду о фашистах, вызвало в стране сильное возмущение. Стихийно возникали митинги, вспыхивали забастовки. Представители оппозиционных фашизму групп в парламенте покинули его заседания и создали Авентинскую оппозицию, получившую название по аналогии с древним преданием: на Авентин, один из семи холмов Рима, в V веке до нашей эры удалились плебеи, боровшиеся с патрициями.

27 июня в здании парламента совещанием оппозиционных партий, названным Авентинской ассамблеей, была принята декларация о том, что оппозиционные партии не будут участвовать в работе парламента до тех пор, пока не будет упразднена фашистская милиция и восстановлена законность.

В Москве открылся V конгресс Коминтерна. Грамши предполагал присоединиться к итальянской делегации уже на месте.

События в Италии развертывались так, что он сперва отложил свой выезд, а потом не поехал вовсе. Встреча с женой, ожидавшей ребенка, отсрочилась на неопределенное время.

«Рим. 22.VI.1924 г.

Моя дорогая Юлька,

я все надеялся, что вот-вот выеду, но отъезд мой откладывался со дня на день, поэтому я не писал, думая, что сам приеду раньше, чем дойдет письмо. Выеду ли, то есть смогу ли выехать на этих днях, не знаю и поэтому хочу написать тебе, чтобы ты чувствовала, что я рядом с тобой, дорогая, чувствовала мою любовь и мои крепкие-крепкие объятия.

Я переживал незабываемые дни, и они еще продолжают. По газетам невозможно составить себе точное представление о том, что происходит в Италии. Мы ходили у кратера действующего вулкана. Внезапно, когда никто этого не ожидал, а в особенности фашисты, архиубежденные в своем бесконечном могуществе, вулкан начал извергать огромный поток кипящей лавы, которая обрушилась на всю страну, разрушая все, связанное с фашизмом...

Положение все еще чрезвычайно острое. Была уже попытка государственного переворота со стороны фашистов-экстремистов, которых разогнали с помощью больших соединений и карабинеров. Циркулируют самые невероятные слухи. Вероятно, на этих днях что-то произойдет. Может быть, даже военный переворот... Поэтому я в ближайшие дни еще не могу думать об отъезде. Но моя поездка все равно состоится, потому что в Москве должны узнать о реальном положении вещей.

Дорогая, сколько преград на пути нашего счастья, но мы преодолеем все и в то же время будем выполнять до конца наш долг. Как я был бы рад, если бы в эти дни ты была со мной...»

«VII. 1924 г.

...моя жизнь протекает довольно спокойно, несмотря на исключительно напряженное общее положение... Могу свободно передвигаться по городу и встречаться с товарищами, находящимися на нелегальном положении, потому что полиция не функционирует, так же как и все органы фашистского государства,— все чиновники саботируют. Не знаю, сколько может продолжаться такое положение вещей. После трех лет нелегального положения, когда все были заняты лишь тем, чтобы сохранить организацию, события ввергли теперь партию в очень тяжелые испытания. Надо действовать, вести агитацию, выходить из подполья; товарищи, не подготовленные к этому неожиданному скачку, оказались не вполне уверенными в себе. За те два года, что я находился вне Италии, я очень многому научился, приобрел большой опыт, необходимый для того, чтобы работать уверенно...

Г.»

«21. VII. 1924 г.

...Дорогая Юлька, даже мысль о тебе помогает мне быть сильнее. Но пока мы в разлуке, у меня не будет нормальной жизни: любовь к тебе — такая неотъемлемая часть моего существа, что я не могу чувствовать себя хорошо, когда тебя нет. Может быть, здесь играют известную роль усталость и воспоминания о той гармонии, которую я ощущал в дни нашего счастья. Но мне кажется все же, что невозможно делить себя на части и быть активным лишь в каком-то одном смысле; жизнь есть нечто целостное, и каждый вид деятельности усиливает все остальные проявления личности. А любовь делает всю жизнь интенсивнее, правда? Она создает равновесие, большое напряжение других страстей и других чувств. Но я не хочу быть доктринером. Хотелось бы рассказать тебе о стольких эпизодах, о стольких мелочах, которые дали бы представление об атмосфере, о моменте, переживаемом сейчас Италией... В ту ночь, когда все узнали, что партия призывает к всеобщей забастовке, я возвращался домой и весь квартал Порта Пиа, который я пересекал, кишел рабочими с красной гвоздикой на груди; они царили на улицах, на городских окраинах, там чувствовалась атмосфера восстания, в то время как в центре фашисты со своими стилетами и ножами, запряганными в трости, пытались создать панику. Впрочем, их стилеты исчезали, едва появлялся отряд солдат, готовых открыть огонь. Но... мне было немного грустно, что я вернулся в Италию, когда положение значительно улучшилось; я только слушаю рассказы о терроре, пережитом в самые острые моменты фашистского разгула, знаю от других, как фашисты, думавшие, что я в Турине, охотились за моей тенью и вместо меня избili и изранили моего брата. Я уверен, что они не схватили бы меня, но хотел бы испытать это ощущение: чувствовать, как за тобой яростно охотятся, и уйти от их бессильной ярости...

Как много я хотел бы рассказать тебе, но лучше отложим это до встречи, правда?..»

В зарослях кустарника неподалеку от Рима местный житель (находящийся в отпуске бригадир карабинеров) нашел труп Маттеотти. Труп лежал под тонким — не более тридцати сантиметров — слоем земли, всего в пятидесяти метрах от дороги Фламиния.

Страшная находка вызвала новый взрыв возмущения.

Похороны Маттеотти превратились во всенародную демонстрацию.

Никогда еще итальянский фашизм не стоял так близко к поражению, к полному краху. Нужен был решительный удар. Но, увы, только коммунисты требовали нанести этот удар немедленно. Остальные партии и группы колебались и дали возможность фашизму оправиться. Позднее эта же ошибка в иной обстановке повторилась в Германии.

Проходит время, народы исправляют свои ошибки. Но проходит время!. Почему все-таки не развилось движение, способное смести дрогнувший фашизм? Ответ на этот вопрос дает сам Грамши: «Рабочий класс еще не в состоянии взять на себя инициативу, чтобы вполне использовать создавшееся положение. Дезорганизация его рядов в результате трехлетнего господства реакции мешает рабочему классу сделаться теперь же решающим фактором».

Мешала сектантская позиция Бордиги, продолжавшего возражать против тактики единого фронта,—ведь до августа 1924-го Бордига оставался генеральным секретарем ЦК.

За считанные месяцы Грамши успевает проделать огромную работу по реорганизации партии. Еще во втором номере журнала «Ордине нуово» в статье «Против пессимизма» он писал, что необходимо сделать партию «великой армией будущих боев». Будущих боев! В этом крылся глубокий смысл. Грамши выдвигает новый политический и тактический план: привлечение широких масс, которые можно и необходимо завоевать, как основы будущей крупной коммунистической партии и одновременно подготовка партии к уходу в подполье, ибо неизбежна «промежуточная фаза», вызванная ожесточенным наступлением фашизма. Он выдвигает новую организационную структуру партии на основе первичных ячеек. Областные конференции обсуждают и принимают эту структуру. Грамши колесит по всей стране. В конце октября он

присутствует на конференции близ главного города Сардинии Кальяри, одной из многих, прошедших осенью 1924 года. Грамши называл эти конференции смотром сил перед новыми схватками.

Из Кальяри решает заехать в Гиларцу, где по-прежнему живут родители, брат Карло и сестры. Последний раз Грамши был дома четыре года назад, сейчас он приехал женатым человеком. И депутатом, чем очень гордилась его мать Беппина Марчиас.

«Рим, 10.XI.1924 г.

...Вот уже три дня как я вернулся из Сардинии; застал здесь два твоих письма. Мне пришлось бы написать целый том, чтобы рассказать обо всех впечатлениях этих дней. События развиваются молниеносно, причем в таких причудливых формах, что для того, чтобы дать им оценку, понятную тем, кто не живет в Италии, не варится в самой гуще, понадобилось бы систематизированное исследование психологии фашизма, знаменующего острую фазу стремительно быстрого распада буржуазного общества, который происходит в момент, когда пролетариат еще недостаточно организован для захвата власти. Деморализация, подлость, коррупция, преступность приняли неслыханные размеры; мальчишки и дураки оказываются хозяевами политического положения и плачут или сходят с ума под грузом исторической ответственности, которая внезапно легла на плечи этих честолюбивых, безответственных дилетантов, трагедия и фарс чередуются на сцене без всякой взаимосвязи, хаос достиг пределов, казавшихся немислимыми даже для самой разнузданной фантазии. Иногда у меня создается такое впечатление, что и я сам — словно тростинка в этом историческом урагане, но у меня достаточно энергии, чтобы сохранять насколько возможно хладнокровие и делать то, что я считаю нужным...

Г.»

Несмотря на жестокие преследования, осенью 1924 года численность коммунистической партии достигла 25 тысяч человек. Из них 15 тысяч жили и работали на севере, пять — в центре страны, пять — на юге и островах.

Тираж «Униты» превысил 40 тысяч экземпляров. 19 ноября на заседании палаты депутатов коммунисты зачитали антифашистскую декларацию.

«26.XI.1924 г.

Дорогая,

уже почти месяц не имею вестей от тебя. Мне пришлось снова выехать из Рима как раз в дни отправки почты, и поэтому я пропустил одно письмо. Через несколько дней уеду снова и пробуду в Милане по меньшей мере дней пятнадцать. Работаем не переводя дыхания. Политическое положение сложилось так, что мы вынуждены вести кропотливую, но в целом гигантскую работу. Пролетариат пробуждается и вновь обретает сознание своей силы; еще явственнее пробуждение крестьян, экономическое положение которых ужасно. Но организовать массы еще трудно, и партия в целом — ее ячейки и деревенские группы — тяжела на подъем и медленно работает. Центр партии должен постоянно бывать на местах, стимулировать и контролировать работу, помогать товарищам, направлять их, работать вместе с ними. Мы стали очень сильны. Нам удастся проводить открытые митинги и прямо на предприятиях, в присутствии 4000 рабочих, которые рукоплещут партии и Интернационалу...»

«4.XII.1924 г.

Дорогая Юлька,

в первых числах февраля состоится расширенный исполком, и не исключено, что я буду участвовать в нем как делегат. Эта новость и вероятность (или возможность) поездки немного взволновали меня. Нет уверенности, что я смогу легально выехать из Италии: правительство неохотно выдает нам паспорта; перебраться через Альпы в феврале — нелегкая вещь для меня, хоть я и имею некоторый навык в путешествиях по снегу и в ночевках в снегу для отдыха. Поэтому я нервничаю: мне хотелось бы на несколько недель выйти из состояния изоляции от внешнего мира, в которой все мы находимся в Италии, соприкоснуться с живыми течениями революционного

движения, проверить некоторые впечатления и мнения, составленные по обрывкам сообщений или по впечатлениям и мнениям других товарищей по работе, которая проведена в Италии и не кажется мне малоценной или недостойной того, чтобы о ней узнали более широко...»

«12.I.1925 г.

Дорогая Юлька,

два слова наспех. Несколько недель я не получаю вестей от тебя и не знаю, объясняется ли это причинами общего порядка или состоянием твоего здоровья... Я живу интенсивнейшей жизнью, подстегиваемой стремительно развивающимися событиями. Нельзя, однако, предвидеть в ближайшем будущем крах фашизма как режима — разве только как фашистского правительства... Мы в Италии переживаем фазу, какой, мне кажется, не знала ни одна другая страна — фазу, полную неожиданностей...

Г.».

3 января 1925 года Муссолини перешел в наступление. «Я принимаю на себя всю моральную, политическую и историческую ответственность за все, что случилось», — заявил он с трибуны парламента. Как выяснилось впоследствии, Муссолини явился в парламент, имея в кармане королевский указ о его роспуске. Нужно было только поставить дату. А ведь оппозиция продолжала надеяться на вмешательство Виктора-Эммануила. Бывший премьер-министр, лидер левого крыла либеральной партии Франческо Нитти, после прихода фашистов к власти нашедший себе убежище в Швейцарии, написал королю письмо: «Если бы можно было голосовать свободно, то девять десятых итальянцев выразили бы не только недоверие, но и ненависть нынешнему режиму, основанному на насилии... Весной истекшего года состоялись выборы и правительство получило большинство. Но, возможно, ни у кого не хватило смелости рассказать вашему величеству, что это были за выборы... Совершилось одно из самых отвратительных мошенничеств в современной истории».

Обращение Франческо Нитти осталось без ответа. Тогда Джованни Амендола, вождь конституционной оппозиции, справился у короля: «...намерена ли савойская династия рассматривать настоящее положение, противоречащее конституции, как окончательное? Это дало бы повод думать, что савойская династия считала временным конституционный режим, существовавший с 1848 по 1925 год». Виктор-Эммануил счел себя оскорбленным.

*...Спустя три месяца и пять дней — 20 июля — Джованни Амендола попадет в фашистскую засаду. Рослый, широкоплечий, в расцвете сил — ему еще не было и сорока, — Амендола пытался оказать сопротивление, ответить ударами на удары, то есть инстинктивно сделать то, от чего — в ином плане борьбы — он отказался год назад, когда Грамши и другие депутаты-коммунисты предложили поднять против фашистов народные массы.*

*Что может сделать один человек против банды профессиональных убийц?.. После избиения он проживет только восемь месяцев и, во всем разочарованный, умрет во Франции.*

*Дело убийц Маттеотти слушалось в 1926 году в городе Кьети. Защищал их Фариначчи, секретарь фашистской партии, отъявленный негодяй, что уже тогда было широко известно, и трус, что стало известно позднее. Фариначчи: «Это не суд над режимом и над партией, это — суд над оппозицией». Менее чем через два года после преступления убийцы будут разгуливать на свободе.*

### СЧАСТЬЕ СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЫ

В Риме шел снег. Он падал на проезжую часть улицы, на стоящие по краям тротуаров тележки торговцев фруктами, на пирамиды оранжевых апельсинов. Крупными пушистыми хлопьями он покрыл крыши и ветки деревьев, согнувшиеся под непривычной тяжестью. Редкое для Рима зрелище. «Совсем как в России», — подумала Татьяна Аполлоновна и сама улыбнулась своему сравнению. Ведь Россию она почти не помнила. Четырех лет от роду увезли ее из Самары в Царское Село, а на шестом

году жизни Таня Шухт навсегда покинула родину. Царское Село совсем стерлось из памяти, а Самара, как ни странно, нет-нет да и возникнет. Иногда по ночам снится большая река, пестрая толпа на берегу. Один эпизод удивил всех близких. Однажды — ей тогда было лет десять, и жили они в Женеве на улице Маланью — Таня помогла маленькой Юле наряжать куклу. В новом платьице игрушка выглядела очень нарядно. Внимательно осматривая куклу и прикидывая, что бы еще надеть на нее, Таня вдруг заунывно запела:

Когда будешь большая, отдадут тебя замуж  
 В деревню глухую, в деревню чужую.  
 Мужики там все злые, а собаки цепные...  
 Там бьются, дерутся, топорами секутся...

— Боже мой, Танечка, что ты поешь? — удивленно спросила мама.  
 — Песенку.  
 — Но откуда она у тебя?  
 — Не знаю, — нерешительно ответила девочка.  
 — Это пела тебе няня в Самаре. Ты была совсем крошкой. Неужели запомнила?  
 — Не знаю, — повторила Таня. И после паузы добавила: — Я еще много-много чего помню. И ярмарку, как лошадей продавали. И как мы по льду катались. И еще помню, к папе полицейский приходил.  
 — Это ты знаешь по рассказам, а песню действительно каким-то чудом запомнила.

— Я много-много запомнила, — твердо повторила Таня.

Сейчас взрослая Татьяна Аполлоновна сказала бы, что маленькая Таня все же преувеличивала. Воспоминания ранних детских лет были смутны и отрывочны. Но они несомненно существовали.

В памяти настойчиво возникал зимний лес. Длинная-длинная просека. Идет снег. По обеим сторонам просеки могучие сосны, раскидистые ели, между ними молодые стройные елочки и совсем еще маленькие, чуть выглядывающие своими зелеными макушками из-под пушистых сугробов. Таня хочет потрогать елочку и проваливается в сугроб. Кто-то большой берет ее за плечи и вытаскивает всю облепленную снегом. Это папа. Он потряхивает Таню и укоризненно выговаривает ей, но Таня видит, что он совсем не сердится, и она смеется счастливым смехом...

— Апельсины, синьора, прекрасные апельсины. Купите...

Оборванный, посиневший от холода мальчишка с надеждой смотрел на нее. Татьяна Аполлоновна вздохнула, купила несколько апельсинов, кое-как поместила их в туго набитую ученическими тетрадами сумку (Татьяна Аполлоновна преподавала естественные науки и математику) и пошла дальше.

У небольшого ресторана вынесенные на улицу столики, в хорошую погоду занятые посетителями, сейчас были покрыты снегом как белыми скатертями. Задержалась на мосту Умберто. Недавно прошли дожди, уровень Тибра поднялся. Исчезли отмели, река свободно несла свои желтые воды.

Она стояла долго, машинально чертя что-то на снежной пелене, покрывающей балюстраду. Время шло. Так же машинально взглянула на белую поверхность балюстрады и удивилась. Она написала «Татанька». Нужно же! Не Таня, не Татьяна, а Татанька, как ее звали в детстве... Виноват снег... И одиночество.

Последнее время она стала его остро чувствовать. Отец, мать, сестры... Надя умерла — об этом ей сообщили, кажется, в 1920 году. Ася замужем, у нее, кажется, сын... Юлька, маленькая Юлька, наверное, совсем взрослая... «Наверное», «кажется»... Ничего она не знает о самых близких. Переписка прекратилась по ее вине... Боялась выдать в письмах свою тоску... Отцу уже шестьдесят пять... Боже мой, и маме шестьдесят пять. Ведь они ровесники. Старенькая мамочка! Почему-то возраст магери Татьяна Аполлоновна ощутила острее. Отец всегда казался ей молодым, даже борода его не старила. Неистощимый на выдумки, для них, детей, он был другом и товарищем.

Татьяна Аполлоновна стояла на мосту Умберто, смотрела на непрерывно текущие мутные воды. Даже Тибр, старый сонный Тибр в этот день не похож на себя.

Татьяна Аполлоновна снимала меблированную комнату «с услугами». Это значи-

ло, что служанка — толстая, но невероятно энергичная Роза — в один из дней недели производила в комнате генеральную уборку. Остальные шесть дней Татьяна Аполлоновна с тихой злостью «решала шарады», как она про себя называла поиски записанных Розой вещей.

После очередного нашествия Розы прошло только два дня. Еще не все «шарады» были решены. Поэтому Татьяна Аполлоновна очень удивилась и даже огорчилась, когда, подходя к дому, увидела Розу, остервенело выбивающую длинную ковровую дорожку, украшавшую коридор и ее, Татьяны Аполлоновны, комнату. Роза прервала свою работу, концом передника стерла с лица крупные капли пота и сказала:

— Убираю вашу комнату, синьора. Хозяйка велела. Приедет онореволе.

— Кто?

— Онореволе. Синьор депутат. Он уже приходил, спрашивал вас. Хозяйка не хотела отвечать на вопросы: мало ли что, знаете, какое время? Тогда он показал визитную карточку. Так и написано: депутат. Синьор просил передать, что зайдет попозже.

Онореволе? Депутат? К ней? Наверное, ошибка. А Роза с удовольствием — как-никак событие! — заключила:

— Торопитесь, синьора. Он вот-вот может прийти.

Сама хозяйка синьора Онория решительно орудовала в коридоре тряпкой и щетками.

— Синьора Онория, Роза мне сказала...

— Да-да, он подошел к дому, вынул бумажку, проверил адрес и позвонил. Я смотрела в окошко и потому все видела. А звонок у нас не работает, вы же знаете. Сколько раз я говорила Филиппо — надо починить звонок, но разве его допросишься? А маленький синьор нажал кнопку и ждет, когда ему откроют. Я высунулась из окна и говорю: «Синьор, звонок не работает, входите, если вам нужно именно сюда». «Мне нужно именно сюда», — ответил маленький синьор и вошел. Я встретила его на площадке: «А что вам угодно?» «Мне угодно синьору Татьяну Шухт, если позволите, — сказал он, вежливо так сказал. — У меня для нее есть письмо». И вручил мне свою визитную карточку. Вот она.

Татьяна Аполлоновна взглянула на карточку: «Айтонио Грамши, палата депутатов». Синьора Онория ревниво следила за ее взглядом.

— Можно мне, дорогая синьора, взять эту карточку на память?

— Пожалуйста. Я буду дома. Если придет...

— О, конечно, конечно. Я сама проведу синьора депутата.

«Странный визит», — размышляла Татьяна Аполлоновна, автоматически выполняя то, что сотни раз делала, возвращаясь с работы: вынула из сумки тетради учеников и аккуратной стопкой сложила их на тумбочку, долила в кофейник воды и поставила его на спиртовку, посмотрела, есть ли сахар в сахарнице, и в ожидании, пока закипит кофе, раскрыла начатый вчера перевод с французского на редкость скучной медицинской статьи (кроме диплома педагога, у Татьяны Аполлоновны было еще незаконченное врачебное образование). Работа не шла, люди, привыкшие к одиночеству, острее других воспринимают неожиданности. И когда раздался стук в дверь, с тревожным любопытством ответила:

— Войдите.

Дверь распахнулась, в комнату как-то бочком протиснулась хозяйка.

— Пожалуйста, синьор депутат, — произнесла она, придерживая дверь и пропускающая в комнату гостя.

Вошедший был маленького роста, в пальто, но без шляпы, высокий лоб был увенчан шапкой густых пышных волос. Он поклонился Татьяне Аполлоновне и повернулся к хозяйке:

— Спасибо, синьора Онория.

Ох, как хотелось синьоре Онории поговорить, но под спокойно-твердым взглядом гостя она осеклась и вышла, затворив за собой дверь. «Ого, — подумала Татьяна Аполлоновна, — маленький синьор с характером».

А «маленький синьор», с улыбкой покосившись на дверь, уже протягивал ей руку:  
— Меня зовут Антонио Грамши. Я принес вам письмо от родных.

Татьяна Аполлоновна опешила:

— Из Москвы? Не может быть!

— Письмо — из Москвы. Правда, я его получил по почте. Вот оно... Не буду мешать. — Он бросил взгляд на книжные полки. — Разрешите посмотреть?

— Да-да, разумеется.

Татьяна Аполлоновна читала письмо, и удивлению ее не было границ.

Неожиданный гость оказался... мужем младшей сестры Юльки, маленькой Юльки! Письмо было от мамы. Юля только приписала несколько слов, просила быть доброй к ее Антонио. «Ее Антонио!»... Грамши?... Антонио Грамши. Где она слышала эту фамилию?

— Вы журналист, синьор Грамши?

Грамши обернулся. В руке он держал снятую с полки книгу. Татьяна Аполлоновна узнала по корешку томик Шопенгауэра.

— Да, журналист.

Он подождал новых вопросов, но Татьяна Аполлоновна молчала. Ей, стеснительной и мнительной в отношениях с людьми, показалось, что встреча с новой «римской» родственницей неприятна Грамши, что она самовольно врывается в круг его семейных привязанностей. И Татьяне Аполлоновне стало вдруг неуютно в собственной комнате.

Очевидно, Грамши понял ее состояние и по привычке обратился за помощью к книге. Он раскрыл титульный лист, поморщился — «помощник» явно не пришелся ему по вкусу.

— Артур Шопенгауэр, «Мир как воля и представление». Вы это читаете?... Даже отчеркнуто... Можно?

— Пожалуйста.

— «Каждая жизнь есть история страдания...» Что же, Шопенгауэру нельзя отказать в последовательности. «Неразумная и ненасытная в своих желаниях воля порождает противоположность материи и сознания, объекта и субъекта». Отсюда доктрина, что жизнь есть зло. Неужели вы согласны с Шопенгауэром?

— В жизни много страдания, — уклончиво ответила Татьяна Аполлоновна, с удивлением приглядываясь к изменчивому, одухотворенному лицу своего собеседника.

В свою очередь Грамши внимательно посмотрел на Татьяну. «Какие у него поразительные глаза, — подумала она. — Голубизна обычно бывает холодной, а у него они теплые и бездонные».

— Еще поговорим об этом и о разном другом, ведь мы теперь будем часто встречаться. — Грамши поставил книгу на место и повернулся к Татьяне Аполлоновне. — А сейчас, если вы пригласите меня сесть...

— Садитесь, ради бога, садитесь, — смутилась Татьяна Аполлоновна. — Я плохая хозяйка... Боже, кофейник!.. Да, ведь у меня есть апельсины, я их сегодня купила у мальчишки-продавца, бедняжка, он совсем замерз...

— Прошу вас, не хлопчите, мне не терпится рассказать вам московские новости. Сам я уже полтора года там не был, но в ближайшее время должен поехать — ненадолго, правда. Может быть, удастся забрать Юльку и Делько с собой.

— Делько?

— Да, Делио. У нас есть сын, — сказал он с гордостью. — Большой сын. Ему уже полгода.

— Что вы говорите! Подумать только, Юля, маленькая Юлька — мама. Поздравляю вас... Антонио. От всей души. Сын — это прекрасно. А можно такого кроху везти за тридевять земель? Да еще зимой?

— Вы думаете, нельзя? — с тревогой спросил Грамши. — Мы посоветуемся с врачами.

В середине марта Грамши, как и предполагал, направился в Москву на V расширенный пленум ИККИ. Ехал легальным путем — поездом через Вену. Время в дороге использовал для подготовки информации о положении в Италии. Важно было осмыслить новые факты и сделать из них выводы.

Во время длинной дороги Грамши снова и снова мысленно возвращался к задаче, выдвинутой им перед руководящими органами партии: «Мы должны поставить в повестку дня проблему подготовки восстания (не в качестве немедленного решения, а в плане конкретной подготовки). Последние политические события знаменуют начало фазы, на которой восстание становится единственным средством выражения политической воли масс, у которых отняты другие средства самовыражения».

Фашизм усиливается. Но Бордига и некоторые его единомышленники продолжали усматривать в фашизме несуществующие тенденции к компромиссу с демократическими силами. Как мешает партии эта догматическая, предвзятая позиция. Мешает прежде всего борьбе рабочего класса с фашизмом в едином фронте народных сил, дальнейшему созданию фабрично-заводских советов, удачно найденной и оправдавшей себя форме прямой органической связи с рабочим классом.

Предыдущий год был трудным. Текущий, видимо, окажется еще трудней. И что ждет партию в обозримом будущем? Политика не гадание на кофейной гуще. Но без ощущения завтрашнего дня нет и дня сегодняшнего.

...Поезд подходил к Москве. Делегатов пленума встречали представители Коминтерна. В толпе он увидел родную темноволосую головку. Не дождавшись остановки вагона, соскочил с подножки.

— Юлька! Любимая!.. А где же Делио? — спросил он, оглядываясь, словно ребенок мог спрятаться за чьей-то спиной.

— В это время он спит, — нравоучительно объяснила Юлия.

В ее голосе он почувствовал новую интонацию, интонацию женщины-матери.

Как много нужно сказать друг другу, как мало времени... Очень обрадовало Юлию письмо Татьяны.

— Хорошо бы она приехала.

— Сперва ты приедешь в Рим, потом вместе в Москву.

— А Делио?

— Вместе с Делио, разумеется. Как же иначе?

Заседания пленума шли каждый день. Обсуждались тезисы «Большевизация партий Коммунистического Интернационала». Менялась структура партий, центр тяжести переносился на работу в производственных ячейках. Тактика единого фронта определялась как присущий ленинизму метод вовлечения масс в революционную борьбу. Кроме пленарных заседаний, работали еще секции. Не оставалось времени даже на встречи с семьей. Грамши решил использовать перерыв на обед, объявляемый после утренних заседаний, и условился с Юлией, что днем гулять с ребенком она будет в маленьком скверике у Садовой-Триумфальной, напротив кинотеатра Ханжонкова, который недавно получил имя «Горн». Юлия Аполлоновна выходила из своего дома на 4-й Тверской-Ямской, усаживала десятимесячного Делио в колясочку и не торопясь направлялась к скверу. Там она брала ребенка на руки и садилась на скамейку. В это время Грамши быстро, иногда на машине, иногда на трамвае, добирался до Садовой-Триумфальной.

Они сидели рядом на скамейке московского сквера, перед ними в колясочке безмятежно спал ребенок, их сын, по дорожке, просохшей под весенним солнцем, бегали дети... Не раз впоследствии вспомнят они эти минуты...

— Пора, — с сожалением сказал Грамши, посмотрев на часы. — Не знаю, смогу ли я освободиться вечером. Если нет, завтра здесь же.

— На садовой скамейке?

— Не ворчи, любимая. Ты приедешь ко мне в Рим, и мы заживем как добропорядочные бюргеры. Не веришь в мою добропорядочность? Зря. До свидания, малыш, до свидания, маленькая мама.

На выходе из сквера к Грамши подошел мужчина лет сорока на вид, в больших роговых очках. Они поздоровались, потом Грамши указал на жену, мужчина снял шляпу и низко поклонился. У него была буйная черная шевелюра. Юлия Аполлоновна даже удивилась, как на такой шевелюре держится шляпа. Грамши тоже снял шляпу и взмахнул ею. Юлия, улыбаясь, помахала рукой.

На следующий день она спросила у Грамши, кто это был. Грамши ответил: Франческо Мизиано, старый товарищ по партии, участник Ливорнского съезда и член первого ЦК, вынужденный эмигрировать из Италии, один из руководителей Межрабпома, пред-

седатель Российского отделения этой организации. Юлия спросила: почему же он вынужден был эмигрировать? Грамши коротко объяснил, что именно на Мизиано пришелся первый удар по итальянской демократии. И, предупреждая другие вопросы, начал рассказывать, как в конце 1918 года Мизиано ехал в Россию через Берлин. В Берлин он попал в самый разгар германской революции, вступил в ряды спартаковцев, защищал здание газеты «Форвертс», отстреливаясь, ушел последним по крышам домов, все же был схвачен солдатами кровавого Носке, едва не попал под расстрел, был заключен в тюрьму и приговорен к десяти годам. Юлия слушала с большим интересом. Однако что в рассказе мужа ее успокоило. Всегда очень внимательный и обязательный, Грамши на этот раз фактически на вопрос не ответил. И она еще раз настойчиво спросила: в чем выразался удар, который пришелся по Мизиано, и как ему удалось освободиться из немецкой тюрьмы? С большой неохотой Грамши сообщил, что Мизиано был избран депутатом итальянского парламента, после десятилетнего заключения немцы были вынуждены его выпустить. В мае 1921 года Мизиано вторично избрали в парламент, на первом же заседании он подвергся нападению группы фашистов. После этого возмутительного случая партия поручила Луиджи Лонго и другим товарищам охранять своего депутата. Юлия Аполлоновна встревожилась: значит, на депутатскую неприкосновенность нельзя надеяться? Грамши отшучивался: и мы и противник стали взрослее, период уличных потасовок с фашистами кончился. Юлия не приняла шутивый тон, потребовала ответа. Но проснулся Делио, да и Грамши пора было возвращаться на вечернее заседание. Разговор пришлось отложить.

Он произошел перед отъездом. Грамши не смягчал сложность политической ситуации в Италии, но высказал убеждение, что наступление фашизма и ликвидация основ буржуазно-конституционного строя будут постепенными, в ближайшие год-два Муссолини попытается сохранить видимость законности. Прямой опасности лично для него, Грамши, нет. Он очень тяжело переносит разлуку с семьей, поэтому просит Юлю с сыном и сестрой приехать в Рим, на какое время — будет видно. Как советская гражданка Юлия, во-первых, будет гарантирована от всяких случайностей, во-вторых, с ее опытом и знанием языков она сможет, конечно, найти интересную работу в полпредстве или торгпредстве. С ребенком поможет Евгений. Заметив, что при упоминании о всяких случайностях Юлия насторожилась, Грамши повторил: прямой опасности для себя он не видит.

Посоветовались с родителями. Юлия Григорьевна упомянула было о предстоящих трудностях и сложностях, но Аполлон Александрович напомнил жене, что она не думала о трудностях и сложностях, когда поехала за ним в Сибирь с двухлетней Надей и с еще грудной Таней. Юлия Григорьевна согласилась, что не думала.

— А Рим не Сибирь, — заключил Аполлон Александрович.

Решение о поездке в Италию было принято единогласно.

На родину Грамши возвращался в хорошем настроении. Результатами работы пленума ИККИ он был доволен. При обсуждении деятельности Коммунистической партии Италии были отмечены «значительные успехи в деле внутреннего укрепления партии и связей с рабочими массами». Пленум одобрил намеченный КПИ тактический план единого антифашистского фронта.

И семейные дела как будто устроялись.

В Рим Грамши приехал 21 апреля. С вокзала отправился к себе на виа Марганья. У подъезда дома заметил знакомую тучную фигуру полицейского агента в штатском, с неизменной сигаретой, словно приклеенной к губам. Пост был установлен после убийства Маттеотти. Официально — для охраны синьора депутата, на деле агенты следили за каждым шагом своего подопечного. Толстяк вежливо приподнял котелок, Грамши ответил легким кивком и вошел в подъезд. Притворяя дверь, он чуть придержал ее и заметил, как толстяк рысцой перебежал на другую сторону улицы и нырнул в телефонную будку.

Супруги Пассарж встретили постояльца с искренней радостью и откровенным любопытством. Свои семейные дела Грамши не скрывал от хозяев, известие о том, что синьор профессор едет, и не куда-нибудь — в Россию, повидаться с женой и сыном, внесло в устоявшуюся будничность их мещанского быта романтическую ноту. И сейчас

супруги Пассарж с нетерпением ждали рассказов. Коротко удовлетворив их любопытство, посещав вечером еще вернуться к этой теме, Грамши наконец остался один и приступил к разбору накопившейся почты; супруги Пассарж с немецкой аккуратностью складывали ее на рабочий стол постояльца.

Новости безрадостные. За короткий срок его отсутствия гонение на коммунистов усилилось, фашистская печать охотно сообщала об этом чуть ли не в каждом номере. Профашистская газета «Коррере д'Италия» от 3 апреля... С гневным возгласом грохнул кулаком по столу, газета упала на пол. Обеспокоенная необычным шумом, хозяйка постучала в дверь:

- Простите, синьор профессор, вы звали?
- Нет, нет.
- Может быть, кофе?
- Благодарю, синьора Пассарж, не нужно.

Поднял газету, прочитал еще раз:

«С некоторых пор полиция общественной безопасности усиленно разыскивала родившегося в 1893 году в Генуе публициста, члена коммунистического Центрального Комитета, адвоката Пальмиро Тольятти... Это один из наиболее активных и опасных руководителей коммунистической партии. Как в Риме, так и в других городах Италии были произведены интенсивные поиски, чтобы передать в руки правосудия отступника от отечества. Производство розыска кавалер Беллони поручил известному кавалеру Квальотти из команды политической полиции. Последнему с помощью вице-бригадира Галантино Джованни удалось сегодня в результате ловкой слежки арестовать Тольятти в то время, когда он совершенно спокойно проходил по виа Кампо Марцио. После короткой остановки в помещении центральной полиции, где Тольятти подвергся длительному допросу, он был препровожден в тюрьму в распоряжение судебных властей».

Кавалеры, кавалеры, вице-бригадиры... черт бы их побрал. Пальмиро в тюрьме. Это большая беда! Беда всегда, особенно сейчас. Именно с Пальмиро, старым другом, смелым и осторожным, обладающим безошибочным тактическим чутьем, Грамши надеялся обсудить правомерность хода, который намеревался сделать в резко ухудшившейся политической ситуации. Ежедневно со страниц газет и журналов на итальянцев низвергался поток фашистской демагогии. Единственная возможность громко, во всеулышание сказать народу правду — парламентская трибуна. Уже давно обдумывал возможность такого выступления. Возник реальный повод: правительство Муссолини готовило новый «закон против тайных обществ» — первый из намеченных фашистами проектов конституционных реформ. Повод сам по себе достаточно серьезный. Формально направленный «на упорядочение деятельности ассоциаций, институтов и организаций, а также участия в них государственных служащих», этот закон наносил удар по самому принципу добровольных ассоциаций. Нетрудно было предвидеть, какой разнузданный террор последует после принятия этого закона. Стало известно, что в июне намечен съезд фашистской партии, на съезде Муссолини выступит с программной речью. В этой речи дуче намерен развить тезис о фашизации нации. Грамши отнюдь не тешил себя надеждой, что его выступление с парламентской трибуны помешает Муссолини реализовать планы. Но дебаты в Монтечиторио печатались газетами — люди прочитают, задумаются, то есть сделают то, что им всеми способами мешают делать фашисты.

Трибуна, на которой год назад стоял Маттеотти. Маттеотти говорил превосходно, с высоких нравственных позиций человека, которому ненавистна грязная, аморальная политика фашистских лидеров. Но сегодня Грамши будет говорить иначе. Сегодня нужно сказать народу, что фашистский режим бессилён решить кардинальные проблемы итальянского общества и поэтому обречен на крах. Но как это сказать, чтобы тебе не зажали рот?

(Окончание следует)



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ХРАПЧЕНКО



## ПУТИ ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

I

**И**деи, практика социализма широко осветили реальные перспективы социального и духовного освобождения народов мира. Благодаря революционным изменениям общества, его структуры, многие из ранее отсталых народов и народностей сформировались в социалистические нации, достигли в своем экономическом и культурном развитии поразительных успехов. Найдя горячую поддержку у миллионов трудящихся, социализм вызвал к жизни мощные деятельные силы в среде народов, прошедших значительный путь социально-исторического развития, обладавших сформировавшимся национальным самосознанием, сложившейся культурой, силы, которые оказали решающее влияние на дальнейшие судьбы этих народов. Социалистическое строительство преобразовало весь уклад их жизни, предопределило возникновение новых, социалистических наций, стало источником и стимулом роста социалистических культур.

Процессы формирования, роста социалистических наций, новых самобытных национальных культур протекали и протекают в тесном взаимодействии с расширением их активного сотрудничества, укреплением их единства. Впервые процессы эти рельефно выявились в практике строительства социализма в Советском Союзе. Но они характерны и для других социалистических государств, для развития отношений между народами, культурами стран социалистического содружества. При несомненной родственности этих явлений во взаимосвязях культур различных социалистических стран существуют и свои специфические черты. Однако это не меняет

того обстоятельства, что социалистическим культурам присуще определенное внутреннее единство, которое раскрывается как в близком сотрудничестве между ними, так и в их отношении к буржуазной культуре.

В докладе «Великий Октябрь и прогресс человечества» Л. И. Брежнев отметил: «Октябрьская революция, естественно, решала прежде всего проблемы нашей страны, проблемы, поставленные ее историей, ее конкретными условиями. Однако в своей основе это были проблемы не локальные, а общие, выдвинутые ходом общественного развития перед всем человечеством. И всемирно-историческое значение Октябрьской революции как раз в том и состоит, что она открыла путь к решению этих проблем и тем самым — созданию на земле нового типа цивилизации». Цивилизация эта, в утверждении и обогащении которой в наши дни принимают активное участие народы Советского Союза и народы других социалистических стран, включает в себя и иные, чем в прежних общественных укладах, отношения между людьми, и иной образ жизни, и иную духовную культуру.

Характерную черту духовной культуры социализма составляет в первую очередь глубокое выражение творческой энергии народов по созиданию нового общества, раскрытие в процессе этого созидания как специфических особенностей и возможностей социалистических наций, так и их общности. Духовная культура социализма неотделима от богатства и разнообразия национальных культур, связанных между собой внутренним единством, которое обусловлено их социальной природой. Следует подчеркнуть, что социалистическая культура — это не просто комплекс явлений, по преимуществу пассивно отражающих про-

цессы действительности, а активная сила, оказывающая мощное влияние на общественную жизнь, внутренний мир человека.

Коммунистические и рабочие партии стран социалистического содружества уделяют большое внимание развитию социалистических культур, оказывают постоянную помощь и поддержку их всестороннему росту. Важное значение партии придают тому, чтобы связи деятелей культуры, их творчества с многогранной жизнью народов, с трудом народов по переустройству общества были бы непрерывными и плодотворными. Под руководством коммунистических и рабочих партий осуществляется широкая популяризация лучших достижений социалистической культуры, так же как и прогрессивной культуры прошлого. Живейшую заботу партий проявляют об укреплении содружества социалистических культур.

В теории и практике культурного строительства встречается еще недооценка как общих начал социалистических культур, их тесных связей, так и значения их своеобразия. Деятели культуры, теоретики, умаляющие или даже отрицающие положительную роль единства социалистических культур, заявляют, что общие начала в их развитии отрицывают самобытность отдельных национальных культур, обедняют их. Подлинный расцвет культуры каждой социалистической нации, по мнению этих теоретиков и «практиков», предполагает ее совершенно независимый от других национальных культур творческий рост. Очевидно, что взгляды эти несостоятельны, они не выдерживают критики с позиций реальных фактов.

История свидетельствует, что обеднение и упадок отдельных национальных культур происходит не в результате их живого общения с культурами других народов, не в результате восприятия накопленных ими ценностей, а вследствие обособления от этих ценностей, от опыта созидания культуры в передовых странах, вследствие изоляции от признанных завоеваний в этой области. Именно обособление и изоляция ведут национальную культуру к утрате ею многих творческих импульсов, в то время как межнациональное общение усиливает и обогащает ее.

Очевидно, что общие черты и начала социалистических культур, их единство складываются вопреки мнениям и прогнозам разного рода скептиков. Начала эти обусловлены прежде всего единством мировоз-

зрения строителей социализма, их общими целями, а затем родственностью процессов, совершающихся в жизни социалистических государств. Общие закономерности строительства социалистического общества в сочетании со специфическими путями развития различных стран находят свое отражение и в росте национальных культур.

Одновременно с тем специфическое, особенное в культуре отдельных социалистических государств и народов временами рассматривается как нечто устаревшее, отживающее, как явление, которое отделяет социалистические культуры друг от друга, затрудняет их подлинное единение. С особой настойчивостью на национальное своеобразие социалистических культур нападают современные буржуазные теоретики. Они заявляют, что основная тенденция развития культуры в наше время состоит в ее универсализации, в стирании и исчезновении национальных особенностей. Унификация культур, утверждают буржуазные теоретики,— непреложный закон современной эпохи. Все, что противоречит ему, следует признать отсталым, реакционным. В то же самое время, желая дискредитировать завоевания социалистических наций, они лицемерно сокрушаются по поводу исчезновения национальной экзотики, всякого рода архаики.

Бесспорно, что в наши дни происходят определенные процессы унификации культур. Но они, однако, не имеют всеобщего характера. Процессы эти происходят отнюдь не во всем мире, а лишь в капиталистических странах и нередко тесно связаны с глубочайшими кризисными явлениями. Унификация культур сама по себе вовсе не благодеяние, не завоевание новых высот, а как раз наоборот — она часто означает решительное их обеднение, духовный распад. Главное заключается в том, что универсализация духовной жизни капиталистических стран отражает сущность буржуазного общества с его обезличиванием человека, целых наций, народов. Универсализация эта нередко совершается на основе господства массовой коммерческой культуры, характерными чертами которой являются воспевание темных инстинктов, проповедь насилия, жестокости, пренебрежение к нравственным нормам человеческого общежития.

Унификационные начала в буржуазной культуре, духовному разложению социа-

лизм противопоставляет многообразию, богатство национальных социалистических культур, проникнутых гуманизмом, высокими идеями, культур, которые не противопоставляют друг другу, а находятся в глубоких связях между собой. Социализм всячески содействует развитию творческих сил каждой нации, раскрытию ее духовного потенциала. Развитие это приносит благо всем народам и нациям. Поэтому многообразие культур в социалистическом обществе, в странах социалистического содружества означает, что каждый народ вносит свой вклад в общую сокровищницу социалистической культуры, создает духовные ценности широкого значения, которые нередко являются подлинными завоеваниями мировой, общечеловеческой культуры.

Опасения, что многообразие культур само по себе может привести к известному противопоставлению их друг другу, лишены серьезных оснований. Но в то же время отсюда никак не следует, что в отдельных социалистических культурах невозможны проявления национализма, которые затрудняют и их собственный рост и отношения с культурами других народов. Такие явления иногда возникают, но они преодолеваются мощным движением общесоциалистической солидарности. Специфические черты и свойства отдельных национальных культур, если они формируются под благотворным воздействием социалистического интернационализма, представляют собой не источник противоречий, а реальный фактор укрепления дружбы между народами.

Некоторые буржуазные теоретики многообразия культур народов Советского Союза рассматривают под углом зрения политического плюрализма, видят в культурном многообразии своего рода зародыш плюралистических тенденций. Нет необходимости сколько-нибудь подробно опровергать эти несостоятельные идеи. Политический плюрализм предполагает различия — и притом обычно довольно резкие — во взглядах, в общественных позициях тех или иных групп, слоев населения, он означает социальное противоборство. Морально-политическое единство народов СССР исключает политический плюрализм. И в своем культурном строительстве социалистические нации нашей страны исходят из общих идейных позиций. Многообразие социалистических культур и политический плюрализм — явления, никак не связанные между собой. Совершенно неправомерно разрывать или

противопоставлять друг другу единство и многообразие социалистических культур. То и другое составляет неотъемлемую особенность общего процесса их развития.

Проблема эта имеет существенное значение и для культурного строительства стран социалистического содружества в целом. В национальных особенностях различных культур братских стран буржуазные теоретики также стремятся отыскать прежде всего идейные, политические расхождения. Однако эти фальсифицирующие действительность попытки, естественно, не могут быть успешными. Культуры стран социалистического содружества прочно опираются на общие идейные основания. В их развитии находит свое выражение диалектика национального и интернационального, которая проявляется, однако, каждый раз по-своему, специфически.

## II

На нынешнем этапе роста духовной культуры стран социализма невозможно ограничиться изучением только различного рода взаимосвязей отдельных культур. Признавая важность творческих контактов, необходимо особое внимание уделить процессам взаимообогащения социалистических культур. Это новое явление. Оно отличается от творческих контактов возникновением более глубоких и тесных связей между культурами. Явление это неоднородно и не всегда выступает наглядно, зримо. Но воздействие его на развитие социалистических культур несомненно. Вероятно, в большей степени, чем в других областях, оно раскрывается в сфере литературы и искусства. Поэтому некоторые наблюдения и выводы о характере, сущности этого явления представляется целесообразным сделать на основе материалов, относящихся к социалистической художественной культуре.

При этом необходимо отметить, что речь идет не просто о воздействии тех или иных более развитых художественных культур на другие или же о восприятии и переработке идейных, эстетических ценностей культурами, находящимися в процессе своего формирования, а именно о взаимообогащении различных художественных культур, при котором разные нации и народы обмениваются творческими завоеваниями, обладающими широкой межнациональной значимостью.

Процессы эти имеют своим необходимым

условием известный общий, и притом высокий, уровень развития социалистических культур, который и делает возможным такого рода творческие взаимодействия. Несомненно, что лишь создание идейных, художественных ценностей, имеющих не только внутринациональное, но и межнациональное значение, включает национальную культуру в процессы творческого взаимодействия. Реально складывающееся, растущее взаимообогащение социалистических культур свидетельствует о том, что они в своем подавляющем большинстве достигли той зрелости, когда мастерами той или иной национальной культуры создаются художественные произведения, вызывающие глубокий интерес других народов и наций.

В этом отношении большое, принципиальное значение имеет опыт культурного строительства в Советском Союзе. Обратимся к фактам, характеризующим развитие многонациональной советской литературы. В настоящее время в нашей стране насчитывается свыше 70 самостоятельных национальных литератур. Они возникли не одновременно. Среди них есть немало совсем молодых литератур, которые сформировались лишь в последние два-три десятилетия.

Большинство литератур Советского Союза, в том числе и так называемых новописьменных, появившихся вскоре после Октября, добились огромных творческих успехов. Многие новописьменные литературы по своим реальным завоеваниям не уступают литературам, опирающимся на давние, нередко многовековые традиции. То выравнивание уровней социально-экономического развития различных народов нашей страны, которое особенно интенсивно происходит в послевоенный период, известным образом специфически сказывается и на росте социалистических литератур, их общем уровне, хотя, разумеется, процессы эти отнюдь не идентичны. В то же время очевидно, что сформировавшиеся сравнительно недавно, лишь в последние десятилетия, литературы нашей страны не могли в столь короткий срок достичь той полноты содержания, богатства форм, которые свойственны литературам, начавшим свой путь раньше. Но и эти молодые литературы развиваются в том же направлении.

Опыт Советского Союза убедительно подтверждает то положение, что любой народ, любая нация вне зависимости от их численности могут создавать произведения

литературы и искусства большого, международного значения.

Характерную особенность литературного развития в нашей стране составляет все более широкое выдвижение на всесоюзную арену писателей братских республик. Особенно примечательным является общесоюзное признание творчества ряда писателей, представляющих новописьменные литературы.

Такие же мастера, как М. Ауэзов, Ч. Айтматов, К. Кулиев, Д. Кугультинов и другие яркие художники слова, пользуются заслуженной любовью не только читателей различных наций Советского Союза, но и читателей различных стран мира. Художественные произведения, созданные этими писателями, их творческие обобщения стали активным фактором взаимодействия и взаимообогащения социалистических культур.

В становлении и подъеме социалистических культур, так же как в развитии современной мировой литературы, крупную роль сыграли выдающиеся художники слова — М. Горький и В. Маяковский. Широкое признание у нас в стране и за рубежом приобрели многие советские писатели, принадлежащие к старописьменным литературам. Вместе с М. Шолоховым, А. Леоновым, А. Фадеевым, К. Фединым, А. Твардовским, Н. Тихоновым, К. Симоновым, Г. Марковым здесь необходимо назвать имена М. Рыльского, П. Тычины, М. Бажана, О. Гончара, Янки Купалы, Якуба Коласа, Петруся Бровки, Максима Танка, Й. Авижюса, Э. Межелайтиса, А. Упита, Ю. Смуула, Самеда Вургуна, Г. Табидзе, С. Чиковани, Е. Чаренца, А. Исаакяна, Г. Гуляма, С. Аини, Мирзо Турсунзаде. Этими именами, конечно, никак не ограничивается славная когорта писателей, чьи произведения стали достоянием миллионов читателей. Называю лишь некоторые, учитывая то, что любой перечень будет в том или ином отношении неполным.

Большим вкладом в социалистическую художественную культуру являются творческие создания несхожих по своему облику, по своей индивидуальности советских композиторов, художников, деятелей театра и киноискусства — Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Кара Караева, Б. Лятошинского, А. Баланчивадзе, Э. Капца, С. Коненкова, В. Мухиной, Е. Вучетича, Н. Томского, М. Сарьяна, Кукрыниксов, П. Кончаловского, А. Дейнеки, Т. Салахова, К. Станиславского, С. Эйзенштейна,

В. Пудовкина, А. Довженко, С. Герасимова. Сюда же входят работы многих других режиссеров и актеров театрального и киноискусства, отличающиеся замечательными творческими достижениями.

Произведения крупных мастеров советской литературы и искусства пользуются большой популярностью у читателей, слушателей, зрителей социалистических стран. Творчество выдающихся писателей, композиторов, художников, режиссеров и актеров получило мировое признание. Одновременно с этим лучшие произведения деятелей литературы и искусства стран социализма завоевали горячие симпатии и любовь массовой аудитории в Советском Союзе, равно как и во многих других частях света.

Художественная культура чаще всего развивается неравномерно. В определенный период времени одни виды литературы и искусства развиваются успешнее, чем другие, смежные. Позже эти отстававшие ранее виды искусств нередко выдвигаются на первый план, завоевывая новые художественные высоты. Известная неравномерность свойственна и нынешнему этапу роста художественной культуры как в отдельных республиках Советского Союза, так и в некоторых странах социалистического содружества. В настоящее время, как и раньше, не все виды социалистической литературы и искусства находятся на одинаковом уровне. Но, как уже отмечено, именно высокий уровень художественного творчества является важнейшим фактором взаимобогащения социалистических художественных культур. Это и обуславливает различную степень участия во взаимобогащении в определенный промежуток времени отдельных видов искусства различных социалистических стран. Очевидно, что тот или иной общий уровень развития какого-либо вида, жанра искусства вовсе не исключает появления в них отдельных выдающихся произведений, становящихся межнациональным достоянием.

Среди деятелей литературы и искусства стран социалистического содружества можно назвать значительное число мастеров, чье творчество стало неотъемлемой частью художественной культуры социалистического мира в целом. Приведу несколько примеров. Изданы на многих языках, пользуются большой известностью произведения польских писателей — Я. Ивашкевича, М. Домбровской, Л. Кручковского. Ю. Тувима, В. Броневского. В. Жукровского,

Т. Ружевича, С. Лема и других. Крупных творческих завоеваний достигла польская кинематография. Фильмы, созданные такими выдающимися кинорежиссерами, как А. Вайда, Е. Кавалерович, К. Занусси, А. Мунк, с неизменным успехом демонстрируются в разных странах мира. Высоким мастерством отмечены работы ряда ведущих польских театров. Пристальное внимание привлекают к себе достижения польской графики.

Видное место в художественной культуре социализма занимают литература и искусство Германской Демократической Республики. Творческие создания таких замечательных художников слова, как Б. Брехт, И. Бехер, А. Зегерс, В. Бредель, Э. Штриттматтер, Г. Кант, вошли в культурный обиход читателей многих наций. Значительную популярность в социалистических странах приобрела музыка талантливых немецких композиторов Г. Эйслера и П. Дессау. Интенсивными творческими исканиями и большими достижениями характеризуется театральное искусство ГДР, в развитии которого важную роль сыграл театр, созданный Брехтом в Берлине. Высоко оценивается зрителями и критиками работа видных немецких скульпторов Ф. Кремера и В. Ламмерта.

Венгерскую социалистическую литературу украшают имена Белы Иллеша, Лайоша Надя, Ласло Немета, Дьюлы Ййеша, Ференца Юхаса, А. Гидаша, Йожефа Дарваша, чье творчество пользуется известностью и признанием далеко за пределами республики. Музыкальное искусство социалистической Венгрии достойно представляет на мировой арене творчество выдающегося композитора Золтана Кодая. Значительные творческие успехи достигнуты венгерским изобразительным искусством, и прежде всего скульптурой. Работы скульпторов Ж. Кишфалуди Штробла, Иштвана Киша особенно наглядно свидетельствуют об этом.

Художественная культура Социалистической Республики Румынии, как и некоторых других стран социалистического содружества, свое наиболее яркое выражение получила в литературе, которая отличается богатством содержания и форм, динамическим ростом. Самые крупные завоевания румынской литературы послевоенного периода связаны с именами М. Саловяну, Т. Аргежи, З. Станку, К. Петреску, А. Филиппиде, М. Бенюка. Высокого уров-

ня развития в Румынии достигло театральное искусство. Среди художников живейший интерес вызывает творчество К. Бабы, выставки произведений которого за пределами республики пользуются значительным успехом.

Свой весомый вклад не только в культуру Народной Республики Болгария, но и в социалистическую культуру, взятую в целом, внесли болгарские писатели Н. Вапцаров, Д. Димов, Л. Стоянов, Г. Караславов, Е. Станев, Е. Багряна, П. Вежинов, М. Исаев и другие; их произведения, характеризующиеся большими идейными и художественными достоинствами, вызывают глубокий интерес и у себя на родине и в других странах. Серьезные успехи болгарского музыкального искусства получили свое рельефное воплощение в творчестве Л. Пишкова, П. Стайнова, Ф. Кутева. Общеизвестными являются выдающиеся достижения болгарских архитекторов.

Аналогичные явления и процессы свойственны также культурам других социалистических стран.

Приведенные примеры, естественно, могут дать лишь некоторое представление об исходных началах, предпосылках взаимообогащения социалистических художественных культур. Сами по себе тесные взаимодействия и взаимообогащение социалистических культур стали возможными потому, что отдельные национальные культуры обладают своими особенными, оригинальными завоеваниями, отличающимися от того, что достигнуто в других странах, представляющими значительный интерес для других социалистических культур. Без этих самобытных качеств, при уравнивании и осреднении творческого опыта различных культур процесс их взаимообогащения становится гипотетическим.

Очевидно, что своеобразие национальной художественной культуры не является свойством, которое, так сказать, по самой своей природе присуще ей, вытекает из одних лишь особенностей национального характера. Оно, это своеобразие, результат развития и неотделимо прежде всего от тех реальных достижений крупных мастеров литературы и искусства, которые основаны на глубоком осмыслении и образном претворении исторического, духовного опыта народа. Поэтому самобытность национальной художественной культуры не абстрактная величина, а живое, динамическое социальное явление.

В то же время никак нельзя мириться с фетишизацией самобытности, с которой временами приходится встречаться. Непомерный культ, фетишизация самобытности любой национальной культуры неизбежно ведет к обособлению ее от культуры других народов, а это и означает ее собственное оскудение.

Взаимообмен идеями, творческими завоеваниями представляет собой не нечто второстепенное, побочное для каждой национальной культуры, а органическую потребность, связанную с глубокими, насущными интересами ее развития. Вместе с другими факторами взаимообмен делает национальную социалистическую культуру более разносторонней, совершенной, более действенной.

При любых условиях взаимообогащение культур не имеет универсального характера, универсального в том смысле, что все культуры во всех их составных частях, и притом в более или менее одинаковой мере, воздействуют друг на друга. Реально процессы взаимообогащения протекают таким образом, что нередко они захватывают отнюдь не все, а лишь некоторые страны и касаются, скажем, не всех видов литературы и искусства, а только отдельных явлений художественной культуры. А так как при разных обстоятельствах речь может идти не об одних и тех же национальных культурах и их отношениях или взаимодействиях между их элементами, то общая картина внутренних связей предстает достаточно сложной, внутренне дифференцированной. Все это не исключает и более широких, более общих процессов взаимодействий.

### III

Каковы же основные способы и средства взаимообогащения в области художественной культуры? Жизнь, практика показывают, что необходимо, во-первых, иметь в виду использование творческого опыта писателей, художников различных социалистических стран представителями других братских культур, использование, которое выступает в разных формах. Затем нужно указать на активное освоение «потребителями» культуры — читателями, слушателями, зрителями — наиболее значительных художественных ценностей, созданных мастерами литературы и искусства отдельных стран. Освоение это вызвано потребностями различных слоев народа расширить

свой духовный горизонт, стремлением удовлетворить свои эстетические запросы. Очевидно, что эти две стороны процесса взаимообогащения социалистических культур не отделены одна от другой, а составляют единое целое.

Наиболее ясную и одновременно не столь уже распространенную форму взаимодействия художественных культур составляет прямое влияние крупных мастеров одной или нескольких социалистических стран на творческую деятельность писателей, художников других республик. При этом встречаются и одностороннее и перекрестное воздействия. Известно, что Горький, Маяковский оказали значительное влияние на творчество видных художников слова различных народов не только Советского Союза, но и многих зарубежных стран. В силу глубокого своеобразия этих писателей их воздействие на современную литературу было и остается неодинаковым. В то же время они определенным образом соприкасаются между собой, предопределяя углубление и обогащение принципов социалистического искусства.

Действенное восприятие творческого опыта выдающегося мастера не тождественно простой учебе и тем более подражанию. Поверхностная учеба чаще всего и заканчивается подражательным творчеством, которое, в сущности, никому не нужно, оно балласт для искусства. Активное же использование опыта других художников у талантливого писателя всегда соединяется с собственными целеустремленными творческими поисками, собственным пониманием мира, оно ведет к созданию оригинальных, глубоких произведений. Именно так сложились, например, творческие связи М. Садовяну, Л. Стоянова, М. Пуймановой, П. Илемницкого с Горьким, Гео Милева, Х. Радевского, В. Броневского, С. К. Неймана, И. Бехера, Назыма Хижмета, Луи Арагона с Маяковским. Можно указать и на другие факты действенного восприятия и развития творческого опыта крупных художников. Таким было, например, влияние Станиславского на театр социалистических стран, на мировой театр.

Выразительным примером воздействия искусства братских зарубежных республик на развитие художественной культуры многих социалистических стран является творчество Бертольта Брехта. Его влияние, проявившееся прежде всего в драматургии и театре, следует охарактеризовать как широ-

кое и сильное. Б. Брехт принес в драматургию новые способы непрямого, аллегорического изображения действительности, изображения, в то же время глубоко насыщенного острыми социальными проблемами, конфликтами, пронизанного боевой идейной устремленностью. Пьесы Б. Брехта обусловили появление и новых средств сценического воплощения драматургических произведений. Все это увеличило возможности и силу социалистического искусства.

Примечательна сама жизненная и художественная логика творческих взаимодействий. Она нередко соединяет весьма несхожих мастеров. Б. Брехт и Горький — разные по своему творческому облику художники. И тем не менее немецкий писатель отмечал, что и он оказался в сфере воздействия Горького. «Высокая художественная и политическая ценность Горького в русской и мировой литературе,— писал Б. Брехт,— не подлежит сомнению и вряд ли нуждается в особых доказательствах. Особенно интересно исследовать самому его влияние на литературу. Я сам инсценировал его роман «Мать» и могу служить, таким образом, одним из примеров его воздействия. Я думаю так: бывают писатели, чья повествовательная техника оказывает на других писателей большое влияние совершенно независимо от того, о чем они повествуют»<sup>1</sup>.

Восприятие творческого опыта Горького не только не помешало, но содействовало формированию Б. Брехта, выдающегося художника, обогатившего социалистическую культуру ценнейшими творческими завоеваниями.

Не умножая числа примеров «обратного», или перекрестного, воздействия, касающегося социалистических культур, хочу сказать, что более широкий характер имеет тот обмен творческим опытом между нами, который находит свое выражение не в прямом, непосредственном влиянии отдельных мастеров литературы и искусства той или иной национальной культуры на представителей других культур, а в освоении новых путей, в обогащении средств образного раскрытия жизни, познания мира и человека.

Ведущая роль в социалистической художественной культуре принадлежит методу социалистического реализма. Крупные ху-

<sup>1</sup> Б. Брехт. О литературе. М., «Художественная литература». 1977, стр. 266.

дожники, опираясь на общие принципы социалистического искусства, принципы социалистического реализма, находят свои пути творческого освоения и обобщения непознанного, существенного, интересного для людей. Одновременно с тем художники неизменно стремятся отыскать, и если угодно — изобрести, те средства и формы, посредством которых они смогут глубоко и впечатляюще передать увиденное, открытое ими в действительности. Все это расширяет и обогащает возможности литературы и искусства. Такого рода завоевания, если они по-настоящему весомы, не только осваиваются родной для художника национальной культурой, но в условиях интенсивных творческих контактов становятся — иногда с течением времени — межнациональным достоянием.

Не знаю, можно ли говорить о прямом влиянии на творчество мастеров изобразительного искусства разных социалистических стран таких выдающихся художников, как Ж. К. Штробл, С. Коненков, В. Мухина, Ф. Кремер, М. Сарьян, но представляется несомненным, что творческий опыт каждого из них оказал и оказывает ощутимое воздействие на развитие социалистического изобразительного искусства, стал его составной частью. Действенное значение этого опыта сказывается не столько в прямом продолжении художественных начал, традиций, характерных для названных мастеров, сколько в живейшем стимулировании новых, и притом часто неоднородных, поисков и открытий, в расширении творческого арсенала социалистического искусства в целом.

Мысль о стимулировании многообразных творческих исканий крупными художниками социалистических стран, об умножении ими способов и средств эстетического освоения мира, естественно, относится к мастерам различных видов литературы и искусства. Многие из них — каждый по-своему — обогащают художественную культуру социализма.

Помимо индивидуальных завоеваний в этом взаимообогащении существенную роль играет коллективный творческий опыт. Определенное представление об этом феномене могут дать такие явления, как польская кинематография послевоенных лет, о которой уже шла речь, современный литовский роман (Й. Авижюс, А. Беляускас, М. Слущис), болгарская лирика (М. Исаев, Е. Бар-

ряна, В. Петров, Н. Фурнаджиев, К. Пенев и другие). Достижения польской кинематографии, так же как и литовского романа, болгарской лирики, — результат творческих усилий отдельных крупных мастеров, ярких индивидуальностей. И вместе с тем завоевания каждого из них вследствие некоторых важных общих устремлений и тенденций образуют нечто единое, особое явление в художественной культуре. И в этом своем качестве оно часто обогащает не только культуру своей страны, но и культуру других народов, оказывает воздействие на творчество различных художников.

Носителем коллективного творческого опыта выступают сообщества, разные по своему характеру и по своей широте. Сообществом такого рода может быть и отдельный вид национальной художественной культуры, как это выясняется при рассмотрении, например, польской кинематографии. Все зависит от глубины родственных начал, сказывающихся в произведениях художников определенного направления, от значительности их творческих обобщений. Следует сказать, что процессы эти вовсе не являются исключением. При взаимодействии с инациональными культурами достаточно развитые литература и искусство той или иной социалистической страны всегда так или иначе выявляют себя как носители своеобразного творческого опыта.

Но существуют художественные сообщества и иного склада. Это и творческие течения, объединяющие мастеров, близких друг другу по своим жизненным и эстетическим позициям, это и непроизвольно возникающие сообщества в рамках тех или иных жанров, это и художественные союзы, к которым тяготеют мастера разных видов искусства. И если все эти объединения добиваются крупных творческих завоеваний, они становятся весомой величиной во взаимосвязях и взаимообогащении социалистических культур.

Коллективный творческий опыт в его различных видах, разумеется, ни в малейшей мере не исключает самостоятельного действенного функционирования произведений отдельных мастеров литературы и искусства, их влияния на художественный процесс. И это совершенно естественно — ведь речь идет о творческих созданиях талантливых, оригинальных художников. Вне этого не существует никакого коллективного творческого опыта, он не может появиться из сое-

динения даже очень большого числа серых, малоинтересных произведений. Вместе с тем представляется очевидным значительное влияние на развитие художественных культур (в плане их взаимообогащения) творческих сообществ, возникающих чаще всего непроизвольно, но нередко являющихся неотъемлемой частью различных социалистических культур. Временами определенные творческие тенденции рельефнее выступают в художественном опыте родственных друг другу мастеров. Сила влияния каждого из сообществ вовсе не равна простой сумме художественных достижений отдельных его участников. Она значительно выше этой суммы. Творческое содружество существенно увеличивает энергию эстетического воздействия.

Характеризуя различные аспекты взаимообогащения социалистических культур, необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что внутренние возможности отдельных культур в этом плане зачастую выступают далеко не сразу. Помимо того, что в процессе взаимодействия выявляется в них в данный период времени, у каждой из культур существует свой скрытый творческий потенциал, который обнаруживает себя при определенных благоприятных условиях. Известно, что творчество ряда крупных мастеров в разных областях литературы и искусства получило подлинное признание как у себя на родине, так и за ее пределами лишь с течением времени. Это явление наблюдалось в прошлом, оно имеет место и в современную эпоху. Вспомним в этой связи, например, историю признания творчества Гашека и Есенина. Определенную роль тут играет не столько чья-то субъективная предвзятость, сколько сложные связи между развитием художественного творчества и духовными потребностями общества.

В процессе исторического функционирования крупные художественные произведения раскрывают разнообразные свойства и стороны воплощенных в них идейно-эстетических обобщений. Вступая в соприкосновение с новыми явлениями действительности, явлениями духовной жизни общества, творческие обобщения нередко загораются новым, и притом более ярким, чем прежде, светом. Художественная энергия, ранее как бы дремавшая, вырывается наружу и оказывает свое влияние на общество и на само искусство. Несмотря на то, что скрытый творческий потенциал

культуры трудно поддается конкретному анализу, он представляет собой реально существующую величину, которую нельзя не учитывать при рассмотрении взаимодействий художественных культур.

До сих пор шла речь о том, как происходит взаимообогащение собственно в сфере литературы и искусства, взятой сама по себе и потому в известной мере обособленно от других важных явлений и процессов. Однако художественная культура — это не просто совокупность или даже определенная система произведений литературы и искусства в определенный период времени, а и многообразное воздействие их на различные общественные слои, социально-эстетическая функция творческих созданий. Художественная культура — это и уровень понимания литературы и искусства читателями, зрителями, слушателями, и неоднородное восприятие различных художественных явлений, и характер их оценок.

Читатели, зрители, слушатели в социалистическом обществе не являются пассивными «потребителями» искусства, они активно воспринимают процессы, происходящие в этой области, высказывают свои мнения, высоко оценивают реальные творческие успехи, но зачастую заявляют и о своей неудовлетворенности тем, что они читают, видят в драматических, оперных театрах и кинотеатрах, в передачах телевидения или слушают в концертных залах. И если литература и искусство оказывают мощное воздействие на огромную, многомиллионную аудиторию, то, в свою очередь, и духовные запросы «потребителей» искусства, их мнения, оценки существенно влияют на его рост. Развитые эстетические вкусы читателей, зрителей, слушателей, обостренность, чуткость их восприятия явлений искусства благотворно сказываются на качестве художественной культуры. Динамика отношений между художниками и читательской, зрительской аудиторией отнюдь не проста и никак не укладывается в прямолинейные схемы, что вовсе не уменьшает их реально-го значения.

Но это лишь одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что «потребители» литературы и искусства выступают активными участниками взаимообогащения социалистических культур. Творческий взаимообмен не только расширяет идейный, эстетический горизонт мастеров искусства, открывает перед ними новые пути, помогает им в их исканиях и завоеваниях — и

также обогащает духовно, нравственно читателей, зрителей, слушателей, делает их участниками освоения художественных ценностей, созданных литературой и искусством братских социалистических стран. И как раз в том, что художественные завоевания одних народов становятся достоянием широких слоев населения других стран, наций, раскрываются в полной мере процессы взаимообогащения художественных культур. И так же как развитие литературы и искусства любой социалистической нации невозможно вне их постоянных и тесных связей с читателями, зрителями, слушателями, так и взаимообогащение культур включает в себя в виде своей неотъемлемой части приобщение «потребителей» искусства к новым художественным ценностям.

Здесь необходимо, хотя бы и очень кратко, отметить особенности и значение самих художественных ценностей, в которых в единое целое сливаются познавательные, идейные, эстетические и эмоционально-нормативные начала. В своих наиболее общих «приметах» художественные ценности характеризуют качество творческих созданий, которое обуславливает длительность и своеобразие их функционирования. Поэтому художественные ценности следует рассматривать не как отвлеченную категорию, не как нечто обособленное от самих произведений литературы и искусства, а как их важнейшие свойства. Можно сказать, что художественные ценности равнозначны силе и глубине образного проникновения в процессы жизни, внутренний мир людей, равнозначны объемности творческих обобщений, они неотделимы от мастерства воплощения существенных черт действительности, они получают свое выражение в эстетически значимом предметном мире, созданном мастерами искусства.

Нетрудно видеть, что художественные ценности и творческие обобщения — понятия, тесно связанные между собой и в то же время не тождественные друг другу. Творческие обобщения в искусстве составляют неотъемлемое свойство многих видов и жанров художественного творчества, в том числе литературы, изобразительного искусства, музыки, театра, киноискусства. Само это понятие предполагает образное претворение реальных явлений действительности, духовной жизни людей, черты художественного анализа и синтеза. Но, как известно, существуют и иные способы, фор-

мы раскрытия эстетических отношений к действительности: это созидание, творчество предметной среды — зданий, вещей, в которых эстетическое и утилитарное соединяются вместе, образуя новое качество (архитектура, прикладное искусство).

Помимо всего этого категория «художественные ценности» содержит оценку результатов образного постижения мира. Отсюда ясно выраженное в этом широком понятии признание идеала, нормы как свойства, присущего эстетическому освоению жизни.

Признавая весьма важной особенностью эстетических ценностей высокую меру раскрытия общезначимого, меру совершенства его воплощения, никак нельзя забывать о содержании, которое в них выражено. В социалистическом искусстве внутреннее содержание художественных ценностей характеризуется тем, что оно сильно, концентрированно, ярко передает богатство, многообразие социалистической действительности, созидательный труд и борьбу за коренное переустройство общества, самоотверженную защиту завоеваний революции, рост человека социалистической формации, страстное отрицание социального зла, творчество новой красоты.

Верное жизненной правде, социалистическое искусство раскрывает и защищает новые отношения равенства между людьми, нациями и народами. Оно развенчивает эксплуатацию человека человеком, социальное и национальное угнетение, существующие в капиталистическом обществе. В произведениях социалистического искусства широко воплощаются, находят активную поддержку идеи и принципы коллективизма, товарищеской взаимопомощи, претворяемые в жизни миллионов людей, и подвергаются критике, осуждению индивидуализм, эгоизм, хищничество, эгоистическое равнодушие к другим людям, к тревогам мира, забвение общественных целей и интересов. Художники социалистического искусства изображают труд как истинную потребность и норму человеческой жизни, воспевают его преобразующую силу и радость. В своих творческих созданиях они обнажают неприглядную сущность социального паразитизма, самых различных его проявлений, развенчивают потребительское отношение к жизни. Идеи гуманизма, интернационализма, защиты мира и дружбы между народами составляют живительный источник замыслов и творческих свершений мастеров социали-

стического искусства. Их гневное осуждение вызывает разжигание вражды между странами и народами, пропаганда войны, милитаристские устремления реакционных кругов капиталистического общества.

Новые явления действительности, новые идеи и принципы, ставшие плотью самой жизни, освещение с позиций социализма процессов, происходящих в старом мире, в развивающихся странах,— все это, получив свое претворение в ярких, значительных образах, и составляет первооснову и содержание в широком смысле этого слова социалистических художественных ценностей. Их эстетическое воздействие многообразно. Оно затрагивает различные стороны человеческой психики. Объективность содержания, внутренняя объемность ценностей социалистического искусства помогают сотням миллионов людей во всем мире осознать историческую необходимость, величие дела социализма и коммунизма, укрепляют убежденность в его правоте и силе.

Художественные ценности социализма отнюдь не обособлены от ценностей, накопленных литературой и искусством прошлого, так же как и от завоеваний многих передовых мастеров современной эпохи. Значение этих ценностей определяется прежде всего тем, сколь глубоко и сильно в них выражены лучшие надежды человечества, его стремление изменить мир, создать более совершенные, разумные отношения между людьми. И именно поэтому органичными и крепкими оказываются связи социалистического искусства с классическим художественным наследием. Литература и искусство социалистических стран действительно наследуют прогрессивные традиции мастеров искусства прошлого и развивают их, вносят весьма важные новые начала в мировую художественную культуру.

Именно социалистические принципы культурного строительства предопределили более глубокое восприятие ценностей классической литературы и искусства, более масштабное их понимание, чем оно существовало и существует в капиталистических странах. Совершенно несомненным представляется то обстоятельство, что классическое художественное наследие — и не только свое, национальное, но и других народов — неизмеримо шире, фундаментальнее, чем раньше, входит в духовную жизнь каждой из социалистических стран. Социализм чрезвычайно обогатил духовное общение

между народами, в том числе и их взаимобмен ценностями, созданными в прошлом. В отличие от социалистического мира в странах капитализма люди труда самими условиями своего существования лишены возможности реального приобщения ко многим ценностям культуры, художественной в том числе.

Творческие завоевания социалистических художественных культур не являются чем-то неподвижным, раз навсегда установленным. Они не только умножаются вместе с развитием литературы и искусства, но и часто получают различное осмысление как в тот или иной период времени, так и на протяжении своего длительного существования. Очевидно, что для людей разных духовных, эстетических запросов одни и те же художественные явления могут иметь, и часто имеют, неодинаковое значение. Нередко в этих художественных явлениях различные слои читателей, слушателей, зрителей привлекает все не одно и то же. Кроме того, повышение общего уровня национальной литературы и искусства, появление новых крупных творческих созданий временами влечет за собой уменьшение социальной, идейной, эстетической роли некоторых прежних завоеваний. Они отодвигаются на второй или даже на третий план. Иерархия эстетических ценностей постепенно меняется, но это вовсе не значит, что они имеют лишь относительный характер. Не обладая абсолютными качествами, чертами временной неизменяемости, выдающиеся творческие достижения, крупные эстетические ценности обладают свойством поразительного долговлетия. Они оказывают мощное воздействие на духовную жизнь людей в течение столетий и тысячелетий.

Имея в виду взаимобогащение социалистических художественных культур, необходимо отметить следующий важный процесс: культура, воспринимающая завоевания литературы и искусства братских народов и стран, далеко не всегда считается с тем, как они, эти завоевания, оцениваются на их родине, какое место они занимают в родной культуре. Нередко художественные явления, которые по тем или иным причинам признаются у себя дома менее значительными, менее важными, чем иные явления данной культуры, вызывают сильнейший интерес у читателей, зрителей, слушателей некоторых других социалистических стран. Чаще всего это объясняют

тем, что каждая культура будто бы стремится освоить лишь то, чего нет в ней самой. Бывает и так, но нередко происходит и по-другому. Временами та или иная культура активно воспринимает у других культур в известной мере родственные явления, так или иначе близкие по своему характеру эстетические ценности. Тем самым, во-первых, укрепляются определенные тенденции в развитии данной культуры, а затем — и это очень существенно — расширяется своего рода гамма художественного освоения мира, достигается его подлинное богатство, та полнота, к которой тяготеет всякая развитая художественная культура, стремящаяся возможно шире удовлетворить духовные потребности своего народа.

#### IV

Необходимым условием и постоянным источником взаимообогащения социалистических художественных культур является непрерывное взаимное ознакомление деятелей литературы и искусства, читателей, зрителей, слушателей каждой из социалистических стран с творческими достижениями других республик и народов. На нынешнем этапе культурного строительства это взаимное ознакомление протекает с большой интенсивностью, и происходит оно в самых различных формах.

«В общении между народами,— отмечает Андре Стиль,— литература занимает особое место. Читать книги другого народа — это значит в какой-то мере заглянуть в его глаза». В Советском Союзе средством взаимного общения между народами нашей страны и ознакомления их с культурными ценностями друг друга, как известно, является русский язык. Все художественно значимые произведения, созданные в братских республиках, систематически переводятся на русский язык и благодаря этому становятся доступными читателям многих национальностей Советского Союза и других стран. «На калмыцком языке,— пишет, например, известный поэт Давид Кугультинов,— меня читает сто тысяч, а на русском — миллионы советских людей разных национальностей. И не только советских... Благодаря русскому языку происходит то благотворное взаимовлияние культур народов СССР, которое поднимает уровень социалистического, интернационального содержания всей многонациональной культуры, самой гуманной, передовой культуры мира».

С широким размахом осуществляются переводы на русский язык и другие языки народов СССР произведений писателей социалистических стран. Помимо многочисленных изданий отдельных книг, публикаций в журналах, в том числе таких, как «Иностранная литература», в Советском Союзе на русском языке выпускаются в свет большие серии (в 15 томах) избранных произведений современной болгарской, польской, венгерской, румынской, чешской и словацкой литератур, литературы Германской Демократической Республики. Примечательными представляются факты, характеризующие живой интерес читателей республик Советского Союза к литературе зарубежных социалистических стран. Так, в одной Литве за последние годы издано на литовском языке свыше 500 сочинений писателей этих братских народов.

В свою очередь, в различных странах социалистического содружества широко публикуются произведения советской многонациональной литературы, книги писателей других социалистических республик. Главенствующим началом здесь является принцип глубокой заинтересованности во взаимном творческом обмене всех социалистических наций, создающих реальные художественные ценности. Нельзя в этой связи не отметить стремление братских стран в полной мере освоить достижения отдельных национальных литератур. За последние годы, например, свыше 150 книг литовских писателей опубликовано издательствами зарубежных социалистических стран. О размахе культурных связей между отдельными странами красноречиво свидетельствуют такие данные: за четыре года после вступления в силу межправительственного соглашения между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой о взаимной охране авторских прав были заключены контракты на перевод и издание 3500 произведений советских авторов и авторов ГДР.

Наряду с разнообразными изданиями иноязычной художественной литературы, осуществляемыми в каждой из республик социалистического содружества, издательства этих стран выпускают на различных языках общую международную серию «Библиотека Победы». Она включает в себя лучшие произведения писателей социалистических литератур, произведения, рассказывающие о борьбе с фашизмом, об освободительной войне 1941—1945 годов, о после-

военном строительстве в братских республиках. Среди других в эту серию входят книги А. Фадеева, К. Симонова, Ю. Фучика, М. Пуймановой, Д. Димова, А. Зегерс, Я. Ивашкевича, Й. Дарваша. Целеустремленно, последовательно серия знакомит своих читателей со значительными художественными обобщениями важнейших явлений жизни социалистического мира.

Крупную роль во взаимном ознакомлении стран социалистического содружества с завоеваниями в области культурного строительства выполняют Дни культуры отдельных республик, проводимые в других братских государствах. В последние годы в СССР с большим успехом прошли Дни культуры Венгерской Народной Республики, народной Польши, социалистической Чехословакии, Социалистической Республики Румынии, Монгольской Народной Республики, Народной Республики Болгарии. В тот же период времени Дни советской культуры были успешно проведены в различных братских государствах. Существенную часть Дней культуры составляет ознакомление зрителей, слушателей страны, в которой проходят эти дни, с художественной жизнью других народов. Помимо общесоюзных Дней культуры, республики Советского Союза самостоятельно организуют свои встречи с деятелями культуры других стран. Аналогичные выступления мастеров культуры советских национальных республик происходят в различных зарубежных социалистических государствах. В период проведения Дней культуры различных видов перед широкой аудиторией, помимо отдельных крупных исполнителей, выступают большие творческие коллективы — театры, ансамбли, часто устраиваются представительные художественные выставки. Все это приносит свои значительные положительные результаты.

Но этим отнюдь не исчерпываются основные формы взаимознакомления социалистических культур. Известно, что в духовной жизни современного общества очень важную роль играют киноискусство и телевидение. Значение телевидения в деле сближения культур трудно переоценить, и оно, разумеется, никак не сводится к показу достижений культуры братских народов в «особые» дни, в период декад. И в своих повседневных программах телевидение уделяет большое внимание литературе и искусству стран социалистического мира, активно содействуя освоению того лучшего,

что создано мастерами искусства различных национальностей.

Серьезный интерес вызывают к себе международные кинофестивали, в которых участвуют деятели кинематографии социалистических стран. Кинофестивали позволяют увидеть развитие киноискусства той или иной социалистической страны в некоторой общей перспективе.

Значительную популярность приобрели перекрестные фестивали драматургии и театра. Их основная задача заключается в осуществлении постановок по пьесам драматургов братских республик, пьесам как современных авторов, так и писателей прошлого. Целью фестивалей является также обмен творческим опытом. Фестивали театра и драматургии вовлекают, таким образом, в процессы общения, взаимодействия культур и самих деятелей театрального искусства и достаточно широкие круги зрителей.

Видное место в ознакомлении с достижениями художественной культуры социалистических стран занимает обмен театральными, музыкальными коллективами. В Советском Союзе в последние годы выступали многие известные театры братских зарубежных республик, в том числе оперные труппы — софийская, будапештская, пражская, варшавская, берлинская, — национальный балет Кубы, коллективы многих драматических театров. На гастроли в социалистические страны выезжали театры и музыкальные коллективы Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Молдавии. Аналогичный процесс ознакомления с театральным, музыкальным искусством братских стран происходил и в других зарубежных социалистических республиках.

Приметной формой творческого общения является содружество отдельных театральных коллективов различных стран. Так, например, Московский Малый театр установил тесные творческие связи с Ханойским драматическим театром, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко — с берлинским театром «Комише опер», Харьковский драматический театр — с Познанским театром и т. д. Между театрами различных стран нередко происходит обмен режиссерами и артистами.

Но особенно интересным явлением в этом плане следует признать коллективную

работу мастеров искусства разных национальностей над созданием художественных произведений, темы которых живо интересуют аудитории их стран. Советские кинематографисты вместе с коллегами из различных зарубежных социалистических республик создали известные киноленты: «Будь счастлива, Ани», «Туннель», «Первый курьер», «Исход», «Олеко Дундич», «Попутный ветер», «Гойя», «Урок истории», «Песни моря», «Освобождение» и многие другие.

Можно указать и на некоторые другие формы взаимодействия художественных культур, в том числе на совместные художественные выставки, деятельность творческих союзов, на исследовательскую работу литературоведов и искусствоведов. Однако и без того представляется очевидным как разнообразие форм общения, действительных связей, так и масштабы развивающегося взаимодействия.

Углубление взаимодействия и взаимообогащения социалистических культур породило у некоторых наших теоретиков идеи, заключающиеся в том, что в настоящее время происходят процессы их интеграции. Однако идеи эти нельзя признать верными. На первый взгляд они получают поддержку в той экономической интеграции, которая сейчас развивается в странах социалистического содружества. Однако закономерности развития экономики и культуры — при тесных связях между последними — вовсе не тождественны друг другу.

В хозяйственном строительстве социалистических стран определяющую роль играют планирование, всемерное освоение новой техники, непрерывный рост производительности труда, углубление и укрепление новых производственных, социальных отношений. Национальные проблемы всегда внимательно учитываются при планировании роста экономики, но главенствующее влияние здесь оказывают другие факторы и явления. В то же самое время в области культуры, художественной в частности, вопросы национального развития имеют первостепенное значение. Это необходимо постоянно учитывать при рассмотрении связей и отношений между народами и государствами социалистического содружества.

В сфере художественной культуры значительно большее место, чем в других областях духовной жизни общества, занимает восприятие и воздействие творческих традиций. Культура каждого народа, отражая

его исторический путь, содержит в себе много начала, особенности, которые формировались и развивались в течение длительного времени. В своем ином качестве они вошли и в социалистическую национальную художественную культуру. Всемирное содействие росту новых явлений, созданию новых ценностей в национальной культуре, возникающих в связи с социалистической действительностью, предполагает также бережное отношение к традиционным ее особенностям. Поэтому с полным основанием можно говорить о взаимообогащении социалистических культур, их растущем сближении, а не об интеграции их в единое целое.

Действенные связи социалистических культур, весьма важные общие свойства, присущие им, — это отнюдь не нечто застывшее, неподвижное. В процессе взаимообогащения социалистических культур происходит их сближение, рост интернационалистических начал. В современном мире культура социализма предстает как определенная историческая общность и в силу своих внутренних качеств и вследствие своего развития. Провозглашая новое отношение к миру, к людям, создавая и утверждая новые художественные ценности, культура социалистического общества при огромном своем разнообразии выявляет себя как известное социально-эстетическое единство, как сила, преобразующая человека, отношения между людьми в духе принципов социализма и коммунизма.

Однако вряд ли целесообразно при этом оценивать культуру стран социалистического содружества, как это иногда делается, в качестве сложившейся идейно-эстетической системы. Всякое явление нужно оценивать, исходя из реальных свойств его существования и развития, а не из предвзятых схем. Взаимообогащение социалистических культур, помимо всего иного, и означает, что нами характеризуются самостоятельные, всесторонне развитые культуры, находящиеся в живом единстве.

Рассматриваемые как в отдельности, так и в своей общности социалистические художественные культуры выполняют различные функции. Это прежде всего удовлетворение духовных, эстетических потребностей трудящихся. Их непрерывный рост, их широкий, всесторонний характер являются мощным фактором, который оказывает свое влияние и на процессы взаимообогащения культур. **Родствен-**

ность идейных стремлений художественных культур и в то же время неоднородность творческих завоеваний обуславливают то, что они известным образом дополняют друг друга в своих «откликах» на духовные запросы граждан социалистического общества.

Социалистические художественные культуры, как известно, играют важную роль в воспитании нового человека. И здесь они выступают не только каждая самостоятельно, но часто многие из них действуют совместно. Существенное значение в формировании личности, в ее нравственном развитии имеет и свой, близкий жизненный опыт и опыт друзей. Художественные обобщения, ярко передающие тот и другой опыт, обобщения, пронизанные большой силой эмоциональным зарядом, производят глубокое впечатление на читателей, зрителей, слушателей, и прежде всего на молодое поколение. Особый смысл и значение имеет сотрудничество социалистических культур в воспитании интернационалистских взглядов, интернационалистского отношения к людям разных наций, к сложным проблемам жизни.

Одна из высших целей социалистических культур заключается в укреплении дружбы между народами. Представляя собой рельефное выражение национальных особенностей и свойств, социалистическая литература и искусство в то же самое время глубоко раскрывают интернационалистские идеи, устремления, присущие людям социалистического общества, идеи равноправия и достоинства всех народов мира. Националь-

ное и интернациональное в лучших произведениях социалистических художников нераздельно соединяются между собой.

Утверждение передовых форм жизни, новых отношений между людьми, реального гуманизма происходит в острой борьбе социалистической культуры в целом, художественной в том числе, с буржуазной идеологией и культурой, главными принципами которой являются защита социального и национального неравенства, проповедь милитаризма, жестокости, культ индивидуалистического своеволия. В этом проявляется не только столкновение идей, но и борьба мировоззрений, жизненных критериев, нравственных принципов, разных отношений к миру, людям.

Образные обобщения социалистической литературы и искусства в этой борьбе выполняют значительную функцию. Крупнейшие из них сохраняют свою действенную силу вне зависимости от тех изменений, которые происходят в капиталистическом мире на протяжении десятилетий. Они направлены против самой сущности капитализма, основ буржуазной идеологии.

Формы борьбы социалистической и буржуазной культур меняются, но ее источники, ее общая направленность остаются неизменными. Вместе с тем время все яснее и ощутимее показывает огромные и неоспоримые преимущества культуры социализма, предстающей перед всем человечеством гласатаем переустройства общества на основах социальной справедливости, выразителем идей прогресса и мира на земле.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Скорино. Тяжелый труд войны.— И. Соловьева. Без особых происшествий.— Виктор Кочетков. Алексей Кулаковский — поэт и просветитель.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Нуйнин. Серая проказа кича.—В. Перцов. К познанию души человеческой.

## Литература и искусство

### ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД ВОЙНЫ

Константин Симонов. Мы не увидимся с тобой... (Из записок Лопатина). Повесть. «Знамя», 1978, №№ 2, 3.

События новой повести Константина Симонова охватывают точно очерченный отрезок времени как исторического, так и в развитии конкретных судеб героев. Лето 1944 года — «четвертое лето войны». Недолгий период затишья на фронтах, грозного затишья перед началом мощного наступления советских армий, которые вскоре, перешагнув отечественные рубежи, двинутся на запад, неся освобождение народам Европы, поработанному германским фашизмом. Герои повести, участники грандиозных событий нашего времени, обрисованы в напряженный момент предгрозя, когда приблизился канун решающих сражений.

Военный корреспондент Лопатин предстает в повести «Мы не увидимся с тобой...» в дни, которые пролегли между двумя важными вехами в его жизни. После взятия Тарнополя он получил тяжелое ранение. Рана оказалась «удачная... навылет», и Лопатин, отлежавшись в госпиталях, почувствовал, что «вполне жилец на этом свете». И заканчивается повесть, когда герой, выполняя задание своей газеты, прибывает на тот участок фронта, где передовые части вышли уже к границе, а «одна рота сама, на подручных средствах без приказа и без сопротивления переправилась на тот берег». На этот пяточок, первый плацдарм на зем-

ле врага, и отправляется Лопатин. Писать корреспонденцию он хотел «не с чужих слов, а сам, своими подошвами пощупать эту первую версту Восточной Пруссии».

Константин Симонов подчеркнуто, убежденно, даже программно избирает именно прозаический период военного затишья, период, когда нет крупных сражений, не разыгрываются драматические события, избирает потому, что стремится показать тяжелый повседневный труд войны, то, что и обеспечивает победу.

Самые разные люди во всех концах страны, на фронте и в тылу, упорно, неуклонно, отчетливо понимая цель своих усилий, приближают победу. Рабочие люди — так можно было бы охарактеризовать основных героев повести, и в первую очередь военного журналиста Василия Лопатина. Искожено им было немало фронтовых дорог; не раз смотрел он в глаза смерти — «во время вторичного захвата немцами Харькова чуть не отдал богу душу, потом, в третий раз за войну выходя из окружения, несколько суток месил весеннюю грязь...». Разъезжал Лопатин на редакционном «виллисе», летал самолетами, участвовал в десантах. И всегда судьба газетчика бросала его в самую гущу событий. «Разные телеграммы получал он за три года войны от

своего редактора. Чаще всего они начинались словом «немедленно»: «немедленно высылайте», «немедленно выезжайте», «немедленно возвращайтесь». Раза три начинались словами «выношу благодарность», раз десять словом «требую».

Рядом с Лопатиным на страницах повести люди, близкие ему по духу, по каждодневному труду. Это его друзья и соратники журналисты Гурский, Белянкин, и опытный редакционный шофер Василий Иванович, и вернувшаяся с фронта после выступлений народная артистка Зинаида Антоновна, и решительный, смелый капитан Велихов, и «золотой механик» танкист Чижов, и юная регулировщица, увиденная героем на перекрестке военных дорог, до боли напоминавшая ему его собственную дочь. Дельно, умело выполняет девушка свою «дорожную службу»: «...с сержантскими лычками на погонах шинели и с винтовкой за плечом» она на вид была «из тех, кто себя в обиду не дает: рослая, со строгим лицом и вызовом в глазах — мол, попробуй только обратиться ко мне не так, как положено, сразу отбрею!». Много в ней, однако, внутренней душевности, и хотя от постоянного напряжения и усталости выглядит она старше своих лет, все же в редкую улыбку минуту вдруг сразу становится «тем, кем и была: одетой в шинель с погонами девятнадцатилетней девчонкой». Каждодневный упорный труд всех этих людей, неотрывный от тяжких забот родной страны, сплавляет их всех, духовно объединяет, умножает их силы.

Как бы, казалось, ни был прост и обычен тот или иной герой повести, он неизменно предстает у К. Симонова активным звеном исторического процесса. В повседневных делах его персонажей обнаруживается душа человеческая.

Главным героям повести противостоят люди пустые, без корней, живущие мелкими заботами и устремлениями. Такова Ксения, жена Лопатина, оставившая его в начале войны. Она, пожалуй, и неплохой человек, и «не так уж она корыстна», думает о ней Лопатин, но занята бытовой суетой, к примеру выгодным разменом квартиры с бывшим мужем.

Расходится Лопатин с Ксенией, расходится и с давними друзьями, добрыми и милыми, но «легкими людьми». Приятель его, литератор, «и в разговорах и в своих книгах был так добр к людям, что порой казалось, он не хочет огорчать ни себя, ни дру-

гих столкновениями с действительной тяжестью жизни». И если Лопатин раньше еще мирился с этим, подчас лишь иронизируя над своими друзьями, их поверхностным, легковесным восприятием реальности, то теперь, в дни войны, в нем «все нарастало и нарастало раздражение против чего-то, что делало... их оптимизм пустым и легким, как гнилой орех». Сам Лопатин постоянно ищет свое место в сложном переплетении исторических событий, идя навстречу трудным задачам времени. В разговоре с дочерью он говорит: «...я рад, что ты храбро смотришь в будущее. Но вдобавок к этому не надо представлять себе ни собственную, ни чужую жизнь проще, чем она есть и будет... А для этого тоже нужна храбрость. Всю жизнь. И что самое трудное — всякий раз заново».

Дочь Лопатина той же духовной закваски, что и ее отец. Приехала Нина к нему в госпиталь. И эта встреча подняла обоих на новый уровень взаимопонимания. Отец с внутренним волнением увидел, что совсем еще юная его дочь — уже сформировавшийся человек, личность. У нее твердые продуманные жизненные планы. «...окончу школу,— говорит она Лопатину,— пойду на курсы сестер — на дневные, потом поработаю еще два-три месяца там же у нас, в Омске, в госпитале,— меня обещали взять, стану настоящей хирургической сестрой и уйду в армию. А что?» И ожидая возражений, добавляет: «А ты что, против того, чтобы я... пошла на фронт? Вот уж никак от тебя не ожидала!» Отец столь же серьезно раздумывает над ее словами. «Наверное, нет, не против,— отвечает он ей,— просто не привык еще... Два года не видел, была маленькая, стала большая...»

Трудность ситуации для отца именно в том, что его дочь приняла единственно возможное, честное решение, такое же, какое принял и он сам. Может ли он возражать, отговаривать? Конечно, нет. «Остается только одно,— серьезно говорит Лопатин,— ускорить дело.

— Какое дело? — не поняла она.

— Известно, какое! Которое на войне делают. Чтобы такие, как ты, при всем желании на нее не попали. Не успели...»

Выдвигая свою концепцию положительно-го героя, Константин Симонов рисует человека, трезво и точно избравшего жизненный путь. Это труженик войны, спокойно, упорно и сознательно делающий свое дело.

Некогда Павел Бажов, автор неповтори-

мой книги «Малахитовая шкатулка», сказал о своем понимании героического начала: «Напрасно повторяют, что русский человек терпелив. Не в этом суть дела. А в мужестве, в трезвом понимании процессов жизни. На крутых поворотах истории видишь— другого выхода нет, через огонь, через смерть пройти надо. Вот без нытья и трусости и берешься за трудную задачу». Именно такие подлинно народные характеры и выводит Константин Симонов в своем новом произведении.

В повести переплетаются линии личных судеб героев с неумолимым движением военных событий, поступью истории.

Драматическая обстановка не может полностью заслонить обыденную сторону жизни. Люди любят, страдают, расходятся или встречают тех, кто им сужен. Повседневное и трагически необычное причудливо переплетаются между собой. Приходится Лопатину думать и о разделе квартиры и о будущем дочери; подмечает он робкое, чистое чувство, зарождающееся у капитана Велихова к Нине. Трудно налаживаются и его собственные отношения с женщиной, которую он полюбил. Но все эти простые и привычные житейские дела свершаются в исторически необычных, драматических обстоятельствах.

Об исключительности обстоятельств то и дело напоминают и мельчайшие бытовые и пейзажные детали, разбросанные в повествовании. Запоминаются и «фронтная безрукавка, висевшая на спинке одного из старинных кресел» в квартире прославленной актрисы; и неловкость, испытываемая Лопатиным, сменившим ненадолго военное обмундирование на обычную одежду: «Только странно, что все лежит не там, где привык,— пистолет в заднем кармане брюк, а не на ремне... документы не в левом нагрудном, а во внутреннем пиджачном...»; и изменившийся пейзаж, лес, который «побило войной. Многие деревья срезаны, как большими ножами. Иногда ближе к верхушкам, а иногда посередине...».

Внутренний драматизм обычных житейских ситуаций, драматизм и в личных отношениях людей определяется самой природой войны. Люди встречаются и расстаются, не зная, будут ли живы, встретятся ли вновь. Двое молодых влюбленных людей, целиком поглощенных друг другом, идут по улице — Велихов и дочь Лопатина,— что может быть обычнее?.. Но через полчаса Велихов отбывает на фронт.

И невольно вспоминается звучащая, словно песенный рефрен, строка заглавия — «Мы не увидимся с тобой...». Да, все может быть...

Лопатин прилетает в Москву с фронта на недолгую побывку, чтобы встретиться с Ниной Николаевной и все решить: быть ли им вместе, соединить ли навсегда свои судьбы... Но его тут же отзывают: погиб на фронте Гурский, надо немедленно возвращаться, взять на себя не завершенную им работу. Думает Лопатин о любимой женщине, о том, что их связывает: «Те полтора года, которые он ее не видел, все-таки как пропасть, в которую и заглянуть страшно. А мост через нее — если он есть, этот мост,— лишь те несколько дней и одна ночь в Ташкенте и то утро на вокзале... и два письма — ей от него, и одно письмо — ему от нее, и эта телеграмма в кармане гимнастерки, чуть не убитая вместе с ним всего-навсего три с половиной дня тому назад». Прочность людских отношений проверяется давлением военных обстоятельств. Люди познают друг друга до самых сокровенных глубин. «Да, вот она, так называемая личная жизнь...— размышляет Лопатин в счастливые мгновения своей любви.— А что такое личная жизнь? Употребляем слова, не вдумываясь в их смысл. Разве есть у человека еще какая-то другая жизнь, не личная,— безличная, какая? Потусторонняя, что ли? Если человек из малодушия не разделил сам себя на две мнимые половинки, то никакой другой жизни и вообще-то нет в природе, кроме личной».

Страстное желание отстоять, спасти родную землю от фашизма, от вражеского нашествия для героев Константина Симонова — это глубоко личное переживание. Именно потому в повести повседневное бытие людей столь неотрывно от военных событий, от героической жизни страны.

Внутренним сюжетом повести является движение событий к решающему наступлению на всех фронтах, к полному разгрому фашизма в его логове. Отсюда и все убыстряющийся, тревожный ритм повествования. В начальных главах действие как бы замедлено, затем темп нарастает, события развиваются убыстренно. В повествовании появляется множество деталей, примет, предвещающих, что вот-вот начнется... Картина военного вокзала, где царит особенное оживление, суета в редакции — ломаются полосы, возникают все более срочные материалы. Фронтные дороги — нескончае-

мые встречные потоки машин, везущих снаряды к фронту и раненых в тыл, тяжелая артиллерия на тягачах. И тихая ночная московская улица: «Ночь была светлая и теплая... Перед зданием «Известий» у репродуктора стояли люди. По радио передавали те самые итоги трех лет войны, которые вычитывал сейчас за своей стойкой редактор: «Война теперь идет к концу. Но оставшаяся часть пути к полной победе будет нелегкой. Война вступила в самую ожесточенную, решающую и наиболее трудную фазу...»».

И снова затишье, но совершенно иное — предвещие нового броска: «...кругом тихо, даже неожиданно тихо; хотя первые солдаты переправились на тот берег, в Восточную Пруссию, еще сутки назад». Опять прозаическая, внешне спокойная деталь из последних записей Гурского — сидят они с капитаном на берегу реки, а вернее, на краю своей родной земли: «...сидим и ждем, когда возвратится с того берега, из Пруссии, надувной плотик, на котором старшина повез туда термосы, сидим и слушаем все приближающиеся тихие шлепки весла».

Внутренний динамизм самых обыденных деталей — характерная черта стиля Константина Симонова. Писатель постигает подлинный смысл происходящего, скрытый за привычной повседневностью того, что окружает героев: Лопатин — на границе, а по сути на рубеже двух миров — видит спокойный пейзаж: «...поля и пригорки; кое-где обнажившийся на склонах песок делал эти пригорки похожими на дюны; вдали виднелись перелески и небольшие хутора».

Но герой повести с необычайной силой и остротой ощущает истинное значение происходящих событий — здесь открывается новый рубеж истории: «...война окончательно переломилась и пошла на запад, и где-то уже мерещился конец ее...» И в эту минуту ощущает Лопатин острую жажду защитить людей, все живущее на земле от военных катаклизмов. «...ему тревожно бросалась в глаза молодость продолжавших жить и воевать людей, — говорит о своем герое Константин Симонов. — Она казалась опасной, и хотелось защитить ее от смерти — неизвестно чем и как, но все равно хотелось».

Писатель талантливо выразил чувства и переживания тех наших современников, кто в годы Великой Отечественной войны не только отстоял родину от вражеского нашествия, но завоевал для всего человечества десятилетия мирной жизни. Это новое отношение к жизни точно сформулировал в 1947 году Леонид Леонов: «...есть высочайшая степень патриотизма, который существует пока в одной нашей стране, но светит далеко за ее пределы. Это патриотизм не только для себя, но и для других... Это патриотизм мудрости и старшинства: мы живем здесь, но наша родня раскидана всюду — по горизонталям пространства и по вертикалям времени. Мы — человекство». Константин Симонов в своей повести и рассказал нам о рядовых людях нашей страны, поднявших на свои плечи великую ответственность за судьбы всего человечества.

Л. СКОРИНО.



## БЕЗ ОСОБЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Владимир Макаинн. Портрет и вокруг. Роман. М. «Советский писатель». 1978. 280 стр.

**М**ожно было бы положить рядом первую повесть, которую Владимир Макаинн напечатал более десяти лет назад, и эту, новую книгу, которая называется «Портрет и вокруг». Можно было бы удивиться, как спадает напряжение чувств и фабулы. В «Прямой линии» молодого героя (он рассказывал о себе сам) сотрясали честолюбие, напор желаний, страх высоты, на которой он ощущал себя. Мир он видел под угрозой, а себя видел в ответе за него. Фа-

була спешила дать тому мотивировку, действие повести приходилось на часы карибского кризиса, герой и его сотоварищи больше чем кто-либо иной понимали истинный размах угрозы — если они сами не носили погоню, то работали на людей в погонах, понимали, что такое атомный удар. Они не спали ночей. Ошибка в их расчетах могла стоять и стоила людям жизни: где-то далеко во время испытаний погибали люди, герой не был виновен в том, ошибку

допустил не он, а его товарищ, счастливец, честолюбец. Уже зная, что на нем нет этой крови, герой умирает в самолете от разрыва сердца.

В романе «Портрет и вокруг» тоже умирает человек, но умирает по житейским, печальным и нормальным, причинам: долго болел, пошла неприятности, разволновался. Впрочем, смерть тут на периферии повествования: умирает некий Николай Николаевич, муж знакомой рассказчика.

В «Прямой линии» повествование то и дело прерывалось тем, что в кино называют английским термином *flash-back*: герой словно проваливался в глубину собственной памяти, смутные страхи детства, которое было детством военным, голодным, опасным, внезапно охватывали его. В прорывах сегодняшней фабулы шла фабула прошлого.

В романе «Портрет и вокруг» тоже есть сдвигание: идет повесть о жизни рассказчика (его зовут Игорь Петрович, ему вначале тридцать четыре года, жена Аня моложе его на десять лет, у двухлетней дочке Маши осложнение после гриппа, но еще хорошо, что зацепило только ноги, не безнадежно) и идет «прикидка» повести, которую собирается написать герой-рассказчик о некоем своем знакомом, известном в кинокругах человеке по фамилии Старохатов. Что говорят о Старохатове одни, что говорят другие; версии, пробы жанра (скажем, газетный фельетон); поиски мотивов поведения персонажа, экскурсы в его прошлое — предвоенное, военное, послевоенное.

Но сдвигание фабул в «Портрете и вокруг» лишено упругой, пружинистой энергии, как и энергии нервной. Идея повести-портрета как-то оправдывает для самого Игоря Петровича его податливость, когда не надо бы соглашаться. Это разве что добрая и далекая от делового закулисья жена Аня считает, будто ее Игоря призвали постоять за правду и спасти советское кино, которому мешают такие нечестные люди, как Старохатов. Игорь же отдает себе отчет: история, которой он начинает заниматься, неаппетитна и тривиальна; при чем тут принцип? — обыкновенная служебная лужа. Иное дело, что давней своей приятельнице Вере Сергеевне он не сумел отказать, пообещал разузнать то, что ее интересовало, — словом, влез.

Впрочем, и для него самого действительно небезынтересно подумать, как же так человек в годах, именитый и вроде бы с та-

лантом, делается обиралой, берет с молодых долю за проталкивание; зачем бы ему, с чего бы?

Игорь Петрович вникает в дело добросовестно: расспрашивает под магнитофон разных людей, поднимает архивы, сличает сценарные варианты, вымеривает вклад Старохатова. Узнает, что Старохатов подчас мог заняться чужими сценариями и бескорыстно (история Тихого Инженера). Это пыльная работенка в буквальном смысле слова. Сухая, скучная бумажная пыль. Скучно сличать, как один серый эпизод замешен другим, тоже серым; почему после его появления что-то изменилось в судьбе сценария — загадка, но неинтересная загадка.

Все художественные версии характера смазываются и растворяются по мере приближения к материалу, то есть к тому, как на самом деле живет и работает Старохатов. Игорь Петрович сложит и задвинет подалеже свои выписки и пленки: прозаик ими не может воспользоваться. Воспользуется зато Вера Сергеевна: выгадит их без ведома Игоря, пойдет с ними куда надо, то есть всего-навсего в тот отдел Комитета по делам кинематографии, которому подчиняются и она, маленький административный работник сценарной мастерской, и Старохатов, эту мастерскую создавший и ею руководящий. Здесь воздержатся от шума, Старохатова без огласки причин проводят на пенсию. То, в чем Игорь Петрович понапрасну искал драму, и разрешение получает не как драма, а как некрасивый служебный конфликт. Реальность, не требующая художественного толкования, не кристаллизующаяся, средняя, незанимательная, некрасивая реальность — ведь бывает и такая.

Игорь Петрович некоторое время бьется над ней и откладывает. Владимир Маканий тоже бьется над ней и не откладывает. Можно задаться вопросом, кто из них избрал благую часть.

Мы столько учили уму-разуму публику, уверяя, что лишь на первой стадии восприятия восхищаются собственно красотой изображаемого — роскошных фруктов, красавицы или героической сцены; в музеях объясняют, почему разбитые крестьянские башмаки, написанные Ван Гогом, стоят дороже, чем иные изображения шелков да бархатов. Оно так; и все же интерес, красота, значимость предмета самого по себе тоже не последнее дело. Оставаясь при своем выборе скудной природы, автор «Пор-

трета и вокруг» шел на проигрыш. Что он проиграл, невооруженным глазом видно; стоит, однако, рассмотреть, что он выигрывает.

Какие-то интерьеры, лица, голоса, сцены на пленэре он пишет просто прекрасно; и все же я бы не сказала, что цель его работы — возведение было с подлинным того, что само по себе есть лишь россыпь гусклых бусинок действительности.

Он пишет натуру как она есть; он имеет о ней свое суждение, суждение это сквозит в написанном, но забота его все же в первую голову и преимущественно о том, чтобы изображение было с подлинным верно. Пусть то и не сулит в данном случае силы, яркости, игры — было бы верно. Вышло так, что эта-то самая, казалось бы, традиционная для прозаика цель книги Владимира Маканина в кругу сегодняшних книг выделяется. Если бы вдруг на ее страницах оказывалось приблизительным, оно режет глаз. Так, режет глаз фигура сына Старохатова. То есть сам-то Виталик, Старохатов-младший, с его порывом к отделению, который он материализует в отделении буквальном, в отъезде из родного дома куда-то в Архангельск, — сам-то Виталик тоже «взят с натуры», только с другой. С той, которую лет двадцать назад писал Виктор Розов. Сегодня в семьях таких людей дети, кажется, растут, жажды вырваться не имея; эти дома хорошо слажены внутри, хорошо вмонтированы в среду, и дети здесь свою вмонтированность в среду принимают изначально за данность: две руки, две ноги и своя среда, так и не иначе.

В романе Маканина интересно не столько лицо, списанное с натуры, сколько среда, списанная с натуры. Среда эта плотная, хорошо сформированная, твердая и гладкая на ощупь, так сказать, а написана она легко, в одно касание.

Новоделная, усвоенная «киношность» манеры Веры Сергеевны, которая вообще-то в кино чужачка, Игорю малость противна; но то, что кино — это отдельный мир, что там своя речь, своя жизнь, он легко принимает как данность. Не его мир: не вошел, не сумел, не вышло. Но ведь и мир сизой курилки в цокольном этаже Центральной библиотеки — это тоже отдельный мир, своя речь, своя жизнь. То, что везде свои люди и свои правила, не вызывает отталкивания.

В «Портрете и вокруг» есть сцена, когда Вера Сергеевна теснит собеседника пафо-

сом: ты же справедливый мужик, неужели же тебя не возмущает такой факт? «Я подумал, прислушался к себе... И сказал:

— Нет. Не возмущает».

Здесь важна пауза, время, чтобы подумать и прислушаться к себе. Нет. Не возмущает. Если и рождает какие-то чувства и мысли, то иные, не возмущение. Интересно понять эти иные, не возмущенные мысли романа Владимира Маканина. Они существенны, тихи, новы.

У героя «Портрета и вокруг» нет тревоги, будто земной шар погибает, будто он его должен спасти, будто его ошибка может всех погубить. Это отходило вместе с персонажем повести «Прямая линия». Земной шар пока не погибает. Как-нибудь выдержит, даже если всюду вхожий и принятый «граф», известный Старохатов, не так порядочен, как того хотелось бы.

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Герои Маканина и их сверстники слишком нахлебались, чтобы завидовать этому обошедшему их блаженству. Не призвали всеблагое как собеседника на пир? Пожалуй, и спасибо, что не призвали.

Мир героев Маканина — мир в обыденную, neroковую минуту. Вечер, почти ночь, спит жена, спит дочка, на кухне включена настольная лампа, очерчен сосредоточивающий желтый круг света. Это стандартное однокомнатное панельное жилье, которому все успели обрадоваться, получивши. Ночные звуки, которые тоже всякому знакомы: «Иногда у жильцов над нами еле-еле слышно гудел кран. Иногда он гудел сильнее. Мелочь, не нарушающая идиллии. И даже подчеркивающая». Не надо слишком верить усмешке за этой фразой. На кухне действительно хорошо. То, как написано семейное счастье, светит и греет.

На последних страницах романа у Игоря Петровича квартира уже трехкомнатная, хлопотами жены приобретен хороший гарнитур. Мебель несут на ремнях, на лестничной площадке опускают — тяжелая. Жена поднимается рядом с грузчиками, просит поосторожней, не обить бы углы. И на второй площадке то же. «И на развороте. И на третьей. И так до самого конца».

Между тем шкаф тут не символ. А если и символ, то подлежащий вовсе не той расшифровке, к какой мы привыкли. И Аня не жена-мещанка, которой наскучили вытверженные когда-то добрые прописи, наскучила бедность так, что она взялась точить недобычливого мужа, чтоб стал добыт-

чиком. «Портрет и вокруг» — совсем другая история. Другая по существу и с другой мыслью рассказанная.

А мебель, которую тащит на себе Игорь Петрович и покряхтывает? Что ж мебель. Просто мебель. Вы сами что, никогда не покупали тахту или обеденный стол?

Впрочем, может быть, вы и не покупали. Вероятно, скоро пойдут свадьбы за теми столами, за которыми справляли рождение нынешних новобрачных и первые годовщины свадьбы их родителей. На тех сервантах и шкафах, которые двадцать лет назад кидался рубить отцовской шашкой мальчик, герой пьесы Розова, успели появиться уютные, свои пятнышки, пошли трещинки, в которые дано набиваться нежной семейной пылью. Фразы «это у нас от бабушки», «это еще бабушкино» стали произноситься иначе, чем произносили: теперь с оттенком гордости. Оседлость, долговечность, перспективу перейти из рода в род полюбили.

Роман Владимира Маканина о жизни оседлой, притом что оседлости этой немного лет, лет двадцать — тридцать. Все-таки срок довольно долгий.

При отсутствии общих потрясений (а их, на счастье, нет) бытовые слои за такой срок успевают отложиться плотно. Каждая среда разрастается изнутри себя и обновляется за собственный счет прежде всего. Из одной среды в другую, конечно, идет просачивание, но его токи неохотны и медленны; при переходе из среды в среду человеку на новом месте достаточно одиноко и достаточно неуютно.

Герои Маканина — люди, не поспевшие к той поре, когда среда только еще утрясалась и укладывалась, когда внутри нее сохранилась некоторая рыхлость, когда она впускала в себя. Причины, по которым эти герои как-то приподнялись, могут быть любыми, важен сверх всего еще и год рождения. В иное время их общим ветром перенесло бы с места на место заодно со всеми; сейчас этот вопрос стал личным делом, оттого несколько осложнившись.

Человек, чуть-чуть запоздавший, задержавшийся в дверях, когда все рассаживались, герой Маканина имеет и некий личный мотив задержки. В ней жива опасность перед окончательностью, перед лузой, из которой не выкатиться. Хороша или нехороша луза, по сердцу она или не по сердцу, чиста или не чиста, не в том даже дело. Герой Маканина знает собственную природу: куда уж ему из лузы, если однажды попа-

дет туда. Оттуда и всякому трудно выкатиться.

Когда стихает общая тектоника, резкие передвижения из слоя в слой осуществляются только за счет личности, ее, личности, собственной взрывной, перемещающей, раздвигающей силой.

Несколько лет назад в статье о Василии Шукшине, тогда он еще был в живых, мы позволили себе усмехнуться: чего это все так восторженно повторяют о писателе, что он родом из крестьян, можно подумать, будто остальные кругом из графов. Но выясняется, что в реакции на «выброс», на «прорыв» Шукшина была правда и логика. Как была она и в реакции на «прорыв» Вампилова, на «прорыв» Рубцова. Драматизм ранней смерти трижды заставил думать, сколько жизненных сил у каждого из этих троих ушло на «прорыв».

Способный и даровитый, Игорь Петрович в себе не чувствует подобной взрывной, перемещающей вверх и рвущейся изнутри силы. Стабильность — условие, в котором он начинает и которого не ломает. Он и не пробует ломать. Стабильность хранит для него тепло. «Было тихо. Было как надо». Все же страх перед стабильностью живет в нем, страх наследственный, от героев Чехова, от героев Толстого.

Лев Толстой после представления «Дяди Вани» в Художественном театре записал, что возмущился и захотел написать драму «Труп», набросал ее конспект.

Дядя Ваня кричит, что пропала жизнь: мог бы стать и не стал тем-то и тем-то, Шопенгауэром. Ничем не стал, и в том драма. Толстой в «Живом трупе» угадывает иную драму: гораздо страшнее для человека, может быть, что непременно надо чем-то стать, раз навсегда осуществиться — все равно, стать ли предводителем дворянства, директором банка или хотя бы и Шопенгауэром.

Самые простые житейские вещи — женитьба, выбор дела — смущают человека не потому, что все мы подколесины и обломовы, а потому, что жизнь в нас боится этой окончательности. Директор — так из кабинета никуда. Женится — и уж все, брат, крышка.

Жизни, по-видимому, свойственна своего рода клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства, боязнь этой самой «крышки». Жизнь до тех пор, пока еще все может быть иначе; жизнь кончается, когда иначе

уже быть не может. Самый страх Феде Протасова, когда ему оказывается невозможно убить себя (сцена в трактире), — самый страх Феде перед смертью в чем-то, пожалуй, средни его живому страху перед закрепленностью, окончательностью положения (убьешь себя — и это уж скорее всего навсегда; будет так и только так).

В романе «Портрет и вокрут» на первых же страницах горчит привкус знания: впредь будет именно так и только так. Решено, и уже некуда спешить. «Без гонки». «Негородливо и с достаточной тщательностью». «Семья подрезает крылышки, но дает тебе вес. Дает большую массу, чтобы ты не ударом кулака пробивал фанерный лист, как пробивают его в молодости, — а чтобы сел на него и терпеливо продавливал задом».

Если бы не было неловкостью поставить рядом с фразой о фанере, которую надо терпеливо продавливать задом, фразу о том, что герою выпала драма в сущности своей бытийственная, надо было бы выразиться именно так.

В бытийственной драме нет виноватых. К чести героя романа, он не выискивает вокрут себя тех, кого мог бы называть «они», тех, что напирают, подминают под себя, пре-

вращают в себя, несут порчу. Также нечего валить все на Аню, корить ее практицизмом. Скорее уж Игорь Петрович виноват перед женой: ее в деловитые женщины не тянуло, но должен же кто-то в семье, где больной ребенок, быть деловитым. Если бы Аня, как это сделал ее муж, под настроение уехала бы куда-нибудь на месяц-другой осмысливать свою жизнь, бросив Машку, — это как бы?.. Не ему пенять, если она с годами становится жестче, но он и не пеняет, надо ему отдать справедливость. Он вообще не жалуется.

Что с ним происходит?

В последнее время стало ходовым, раздражающе часто звучит: «Как жизнь?» — «Нормально». Персонажи романа «Портрет и вокрут» живут нормально. Автор разглядывает, что это реально значит.

Трудно сказать, полюбит ли его книгу читатель. Читатель может и отложить ее, сказавши в сердцах: зачем мне рассказывают, как я живу? будто я этого не знаю. Но на самом-то деле мы не всегда хорошо знаем, как мы живем. Книги нам об этом рассказывают реже, чем то кажется. Поэтому не пропустим случая. Почитаем.

И. СОЛОВЬЕВА.



## АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВСКИЙ — ПОЭТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Алексей Кулаковский. Песня якута. Стихи и поэмы. Перевод с якутского Владимира Солоухина и Сергея Поделкова. Составитель С. Данилов. М. «Советская Россия». 1977. 304 стр.

Среди множества больших и малых событий, которыми был отмечен последний год XIX столетия, одно имело прямое отношение к рождению новой литературы. Школьный учитель в далеком якутском наслёге написал в том году стихотворение «Закляинания Баяная», послужившее началом якутской письменной литературы. Автором стихотворения был Алексей Елисеевич Кулаковский.

Алексею Кулаковскому (Ексекуляху, как называют его якуты) суждено было стать не только зачинателем родной литературы, но и одним из самых выдающихся ее представителей, классиком в полном смысле этого слова.

Детство Кулаковского было типичным

детством деревенского мальчика, живущего в глухом таежном наслёге, среди величественной и суровой сибирской природы, в семье, поглощенной борьбой за существование. Он рано узнал всю тяжесть крестьянского труда, цену насущного куска хлеба.

Единственным развлечением жителей глухих наслёгов было в долгие зимние вечера слушать олонхосутов — народных сказителей. В старинных олонхо — бесценном духовном наследии, передаваемом из поколения в поколение, — откристаллизовались исторические предания и вековые мечты народа о лучшей жизни, мудрость его речений, волшебство его сказочных вымыслов, его быт и нравы. В олонхо сплелись песня и присказка, пословица и легенда, героиче-

ский сказ и юмористическая побасенка. Мир жарких страстей, могучих характеров открывался перед слушателем древних сказаний.

Несомненно, Алексей Кулаковский первое свое художественное и нравственное воспитание получил в этом великом «театре одного актера». Не принимая в расчет влияние на него фольклорной традиции, особенности творческой манеры Кулаковского, многие компоненты его стиха невозможно оценить по достоинству.

Кулаковский окончил Якутское реальное училище. Уже там раскрылись недюжинные способности деревенского юноши. В архивах Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР сохранилось два реферата Алексея Кулаковского. Один написан в год окончания им реального училища (1897), другой — двумя годами позже. В рефератах обращает на себя внимание зрелость суждений молодого исследователя, демократичность мировоззрения, настойчивость, с какой он отмечал необходимость учиться у русской литературы.

Алексей Кулаковский переезжает из одного улуса в другой, работает сельским писарем, письмоводителем канцелярии, учителем. Народная жизнь развертывается перед ним во всей многогранности, пестроте и сложности. Значительную часть своего времени он посвящает исследованиям, сочетая в них фольклористику, этнографию, языковедение и социологию. Так появляются его работы, относящиеся к якутским пословицам и поговоркам, к растительному и животному миру Якутии, к якутскому языку, поверьям, обрядам, легендам.

Своими глазами он видел, как под хищным натиском российского капитализма рушатся патриархальные, родовые устои якутской народной жизни, как капиталистическая цивилизация вторгается в таежную глухомань, спиртом выжигая души, золотом ослепляя глаза. А. Кулаковский не раз встречался с русскими ссыльными революционерами, чьи легендарные судьбы не могли не поразить его воображение. В рождающейся якутской интеллигенции жила память и о героях-страдальцах двадцать пятого года — декабристах, сумевших здесь, «на краю земли», не только сохранить достоинство передовой русской культуры, но и внести важный вклад в пробуждение национального самосознания якутского народа, в становление его культуры и просвещения.

Алексей Кулаковский много размышлял о том, какими путями должно пойти развитие молодой якутской словесности. Чей пример более всего заслуживает внимания? Первым и существенным шагом к созданию якутской литературы, считал он, должны быть переводы с русского на якутский язык. В 1908 году он печатает в газете «Якутская жизнь» перевод отрывка из поэмы Лермонтова «Демон». Этот перевод — первое опубликованное произведение зачинателя якутской литературы. Созданные им в этот период поэтические произведения составляют ныне славу и гордость якутской культуры. Среди них «Портреты якутских женщин», «Дары Лени», «Скупой богач», «Песня старухи, которой исполнилось сто лет», «Благословение по-старинному», «Слово о водке», «Хомус», «Спор между умом и сердцем», «Городская девушка». Каждое из этих произведений было новаторским и по форме и по содержанию. На смену героям-богатырям олонхо, сказочным витязям былинного прошлого, Кулаковский привел в якутскую литературу героя-современника. С бесстрашием подлинного реалиста рассказал он о горькой участи грузеника-якута, на жизненном пути которого жестокая судьба возвела столько преград, что для преодоления их не хватало бы и богатырских сил героев олонхо.

Алексей Кулаковский взял из народного эпоса то, что представлялось ему живым и созвучным современности, мастерски использовал многие фольклорные стилистические приемы, творчески переосмыслил и обогатил метафорический словарь эпоса. Несомненно, от вековых традиций народной поэзии идет нравственная бескомпромиссность поэзии Алексея Кулаковского, чистота его нравственного идеала.

Излюбленный композиционный прием Кулаковского — рассказ человека о себе, своей жизни, своей любви, радости, горе. Женщина плачет по умершему мужу. И сквозь бессвязные причитания, сквозь привычные слова, диктуемые вековым обычаем, прорывается рассказ о жизни, о том, как она когда-то вышла замуж, как появились первые дети, как начали «хлевы городить, деньги копить», как «прорехи латали», как пришел к ним вроде бы достаток, когда можно «о прошлом думать мирно», «о будущем думать тихо». И вот нелепая смерть главы семьи все разом разрушила. В рассказе этом, то эпически сдержанном, то полным стенаний и жалоб, вырисовывается уже не

просто жизнь одинокой женщины, а как бы картина человеческой жизни вообще, биография человека. Стилистические повторы, аллитерации, устоявшиеся фольклорные образы лишь усиливают впечатление глобальности, типичности изображаемого.

Редко можно встретить такое бесстрашное приземление поэзии, обычно чурающейся «низких» подробностей. Алексей Кулаковский этого не боится. В его поэзии рядом с героикой вы встретите прозаический быт, рядом с патетикой — шутку, рядом с прекрасным — уродливое. Он не разрешает себе пользоваться только светлыми, поэтическими красками, он словно бы следует пословице, что тот, кто любит пить кумыс, не должен гнушаться запаха навоза.

Алексей Кулаковский показал в своей поэзии расслоение якутской деревни в предреволюционную пору, появление в ней кулака-мироода, «скупого богача», готового на все ради обогащения. Уродующая, безнравственная власть богатства показана им и в таких известных произведениях, как «Песня пьяного буржуя», «Городская девушка».

Вершиной творчества Кулаковского справедливо считается поэма «Сновидение шамана». Она была написана в 1910 году, финал же дописан потом, в советское время. В поэме нарисована широчайшая панорама событий начала XX века, увиденных глазами пророка шамана, который поднялся во сне «в великую неба ширь» и оттуда зорко наблюдает «вселенную всю и весь круг земной, взлеявший род людской».

Когда вслушиваешься в страстную, обличительную речь героя поэмы, невольно на память приходит образ пушкинского пророка, который, «обходя моря и земли», глаголом жжет сердца людей. Кулаковскому, несомненно, был близок этот пушкинский образ. Шаман обращается к землякам-якутам, «детям своим», с пророчествами одно страшнее другого. Картина гибели мира нарисована так впечатляюще и так современна по краскам, что кажется не пророчеством старого шамана, а предупреждением какого-нибудь нынешнего дипломированного футуролога, озабоченного защитой биосферы. Характеризуя народы, которые увидел он в своем вещем сне, шаман превращается в сурового обличителя им-

периалистической политики «клякастых» наций.

Пророческие сны шамана призваны убедить слушателей в том, что свой «оскудлый удел, обложенный горем кругом», якутская нация изменит к лучшему лишь в том случае, если сама себя захочет спасти. Время патриархальной наивности, детства детства прошло. Если якутский народ хочет выжить, он должен ступить на дорогу прогресса, преодолеть национальную замкнутость.

Излюбленная идея Кулаковского, идея просветительства, обнаружила в этой поэме свои сильные и слабые стороны. Спасение малых народов, которым действительно угрожала капиталистическая колонизация, стало возможным лишь тогда, когда коренным образом изменилась сама социальная система жизни малых народов. Без таких коренных, революционных перемен в народной жизни просвещение оставалось лишь иллюзией. Осознав это, поэт стал активнейшим строителем новой культуры.

Сложность идейно-творческих исканий писателя дала в свое время повод некоторым исследователям его творчества вынести наследие Кулаковского за рамки якутской демократической культуры, объявить поэта чуть ли не пособником угнетателей народа. Сегодня все стало на свои места. Отмечая в марте 1977 года столетие со дня рождения Алексея Кулаковского, якутская общественность воздала должное своему замечательному художнику слова.

Переводы В. Солоухина и С. Поделкова представляются мне принципиальной удачей двух известных русских поэтов. С уважением отнеслись они к особенностям поэтической манеры Кулаковского. Не причисывая и не приглаживая оригинал, бережно сохранили и ритмическое своеобразие стихов-монологов, и народную основу их об разного строя, и даже жестокость реализма Кулаковского, неторопливость, обстоятельность его рассказа и сложное переплетение векового и современного в структуре его стиха.

Мудрый, мужественный голос Алексея Кулаковского отчетливо слышен далеко за пределами Якутии...

**Виктор КОЧЕТКОВ.**



## Политика и наука

### СЕРАЯ ПРОКАЗА КИЧА

Е. Карцева. *Кич, или Торжество пошлости*. М. «Искусство». 1977. 159 стр.  
Е. Н. Карцева. «Массовая культура» в США и проблема личности. М. «Наука». 192 стр.

Даже неплохо информированные люди с большим удивлением обычно узнают, что в наш век всестороннего научного и культурного прогресса количество неграмотных на земле не уменьшается, а увеличивается, и притом достаточно ощутимо — на 20—25 миллионов в год. Объясняется этот противоестественный для конца XX века факт просто. В некоторых странах Африки, Азии и Латинской Америки неграмотные составляют от 70 до 90 процентов. И именно они обеспечивают основной прирост населения на земном шаре. «Ничего, — говорят в ответ «оптимисты». — Вот разовьют эти страны экономику, вот понастроят школ, вот...»

В развитых капиталистических странах все мыслимые «вот» произошли давным-давно, но... В конце книги Е. Карцевой «Кич, или Торжество пошлости», посвященной анализу самой постыдной разновидности буржуазной «массовой культуры», говорится:

«Кич<sup>1</sup> захлестывает мир. Кичевое сознание, кичевый вкус становятся преобладающими, причем прежде всего в тех странах Запада, в которых существуют давние, казавшиеся незыблемыми культурные традиции. Белые флаги капитуляции подняты над бастионами, представлявшимися неприступными...»

Масштаб бедствия велик. Подлинная культура на Западе находится под серьезной угрозой. Это общий вывод почти всех исследователей проблемы...»

Известно пророчество Маркса относительно многочисленных несчастий, которые принесет человечеству демоническая сила невежества. Неграмотность простая, «традиционная» — это еще не невежество. Обычно она сочетается с народной культурой, культурой достаточно высокой, жизнестойкой, оберегающей в условиях самых неблагоприятных твердые нравственные и эстетические критерии. «Массовая» же «культура», объединившая словно в насмешку в своем названии два столь хороших понятия, — это поистине редкостный букет всех видов невежества: политиче-

ского, интеллектуального, нравственного, эстетического.

Опасности, связанные с уничтожением живой природы, осознаны нами достаточно широко. Угроза уничтожения живой культуры пока понимается сравнительно узким кругом специалистов. А ведь и масштабы разрушения и масштабы последствий тут вполне сопоставимы!

Е. Карцева занимается проблемой «массовой культуры» давно и продуктивно. Мы коснемся двух ее последних книг, объединенных единством темы и авторской позиции.

Качественная определенность у явлений духовной жизни ничуть не меньше, чем у природных явлений, но, как говорили древние, «подобное познается через подобное». Попытки точно расклассифицировать явления идеологические и культурные без учета, так сказать, «смутных» механизмов человеческой души обычно не проясняют, а лишь запутывают проблему. Поэтому так важно в работах Е. Карцевой стремление выявить не внешние, не однозначные, формальные приметы «массовой культуры», а проникнуть в качественную эстетически-идеологическую ее суть. Минуты такие «расплывчатые», неоднозначные понятия, как духовность, благородство, тонкость вкуса, человечность и т. д., портрета «массовой культуры» не рисовать. Но ведь смутны и релятивны все эти критерии только для того, кто ими не обладает! Они не переводятся на язык формальной логики, однако определенности оттого вовсе не теряют. Пошлость в любых условиях не станет чем-то возвышенным, а подлость не сумеет обратиться в благородство даже самый изощренный из софистов. Культура человека в том и проявляется, что он умеет выявлять эту однозначность при помощи механизмов своей «очеловеченной» души.

Вовсе не бездарность порождает «массовую культуру», подчеркивает Е. Карцева, можно назвать немало художественных произведений, не лишенных ни таланта, ни технической изощренности, ни высокого уровня профессионализма и тем не менее являющихся типичными поделками

<sup>1</sup> От немецкого Kitsch — безвкусица, чтиво.

«массовой культуры». Столь же опасно пытаться определить приметы «массового искусства», допустим, через жанр или тематику. Легкие, развлекательные жанры отнюдь не признак кича. Даже комиксы могут сочетаться с высоким вкусом и глубокими гуманистическими идеями. Повышенное внимание к жестокости и сексу? В книгах Е. Карцевой приводится немалое количество примеров спекуляций на «острых» ощущениях, на слабостях и страстях человека. Даже в детских телевизионных передачах в США никого уже не шокируют сцены, крупным планом демонстрирующие, как рассекается ножом лицо хорошенькой девушки, как волокут по каменистой дороге двух мужчин лицом вниз, как готовятся проткнуть женщине глаз острой сосулькой.

Жестокость и секс — две характернейших черты «массовой культуры», но сами по себе служить отличительной приметой ее все-таки не могут. Важно, как к этим сторонам жизни обращаться, во имя чего. «У Шекспира в каждой его трагедии кровь льется даже не ручьями, а реками. Он довольно подробно показывает все способы лишения жизни. Однако никто еще не называл этого автора антигуманистом. Дело здесь не в силе гения, а в авторской позиции», — резонно замечает Е. Карцева.

То же можно сказать и о сексе. Классики оставили немало примеров «вторжения» в самую интимную сферу человеческой жизни. И вовсе не «мера откровенности» отличает их творения от кичевых поделок, а цели, которые преследовали классики, обращаясь к откровенным любовным сценам. Они проникали в глубины психики, чтобы вернее понять и точнее оценить поведение героев, их идеалы и побуждения, чтобы повлиять на жизнь, помочь добру и красоте, помешать злу... Но ведь и в «массовом искусстве» злодеи рисуются несимпатичными, а секс увязывается со всякого рода проблемами! В том-то и дело, что с внешней (сюжетной, тематической, жанровой и т. д.) стороны «массовое искусство» делает вроде бы абсолютно «то же самое», но по сути у него «почему-то» получается нечто прямо противоположное!

Пошлость — это не просто неразвитость, бедность вкуса. Пошлость — это духовная нищета, помноженная на большую ~~инстинктивную претензию~~. И в этом Е. Кар-

цева вполне верно усматривает качественную суть кича.

На перепахате многотомной эпопеи Анн и Сержа Голон «Анжелика» крупно выведено: «Жизнь так переменчива. Колесо фортуны все время вертится». Красиво? Еще бы! И в принципе разве не верно? Конечно, переменчива. Бесспорно, вертится. Чем же раздражают подобные глубокомысленные изречения? Да именно тем, что пустейшая банальность подается как новейшее философское откровение. Чтобы усвоить глубокие мировоззренческие истины (даже с чьей-то помощью), надо поработать и головой и сердцем. «Массовый» человек к этому не приучен, а быть «на уровне» ему весьма хочется. Вот и требует он, как бессмертный персонаж «Бани»: «Сделайте нам красиво!» Громко требует, куражливо, с пониманием того, что раз деньги платит он, то и музыку вправе на свой вкус заказывать. И «делают» ему, чтобы и необременительно для головы, и «волнительно», и красиво. И тут уж все может оказаться в одном ряду — парики для собачек и борьба с коммунистическими агентами, проблемы сохранения живой природы и пепельница в виде фривольной фигурки, идеалы свободы, равенства, братства и зубной эликсир «Идеал», кадры кровавой бойни во Вьетнаме и ролики, рекламирующие жевательную резинку... В этой свалке незаметно для глаза производятся величайшие в истории человечества фальсификации и профанируются высшие духовные ценности.

Мизерные переживания ничтожных людей тщатся выгладеть высокими трагедиями, почтение к серости и убогости выдается за демократизм, уход от реальных острейших социальных проблем претендует на то, чтобы считаться уважением к внутреннему миру «простого человека».

В книгах Е. Карцевой рисуется широкая картина наступления «массовой культуры» на общество, на человека, показывается, как под воздействием пошлости, тиражируемой в несметном количестве средствами массовых коммуникаций, деградирует личность, как опускается до примитивных норм показного приличия нравственность, выцветает спектр эстетических красок, низводится до кошачьего секса любовь, сужаются до размеров простой обывательской лояльности гражданские качества... «Массовая культура» — это не просто еще один объект изучения для соци-

логов, это клубок проблем, определяющий во многом развитие современной человеческой культуры, эволюцию идеалов, темпы социального прогресса.

И в анализе этого комплекса острейших проблем Е. Карцева проявляет социальную чуткость, богатую эрудицию, вкус, высоту нравственно-эстетических позиций. И такт. Содержание работ известных буржуазных философов и социологов, таких, как Фромм, Рисмен, Маркузе, Маклюен и другие, излагается объективно. Во всех случаях, где наша точка зрения совпадает с точкой зрения зарубежных исследователей, автор старается вести речь их устами, отдавая должное той встревоженности перспективами развития культуры, которую проявляют многие художники и мыслители Запада. Точен и прост язык книг. Авторская интонация... Впрочем, этот аспект хотелось бы выделить особо. Рассматриваемые нами книги позволяют поговорить об очень важной стороне научной и научно-популярной литературы — о том, что тон, стиль, темперамент и в этих жанрах не являются чем-то второстепенным, внешним для содержания.

В. И. Ленин был убежден, что писать о плохом без гнева — значит, плохо писать. Е. Карцева чаще всего пишет о «массовой культуре» с гневом и иронией, с издевкой, горечью... И именно эти откровенно публицистические, эмоционально насыщенные куски лучшие в ее книгах. Но порой автор словно бы нарочно пытается сдерживать свой полемический темперамент. Тогда и читать становится менее интересно, и (случайность или внутренняя закономерность?) рассуждения выглядят менее убедительно даже в чисто теоретическом отношении.

Раскрывая духовное убожество конкретных проявлений кича, Е. Карцева делится собственными мыслями и впечатлениями. Но как только дело доходит до самых глубоких социальных корней «массовой культуры», автор словно бы перестает доверять себе и начинает вести речь от лица науки, не пропущенной через собственное сердце. Увы, мысль ее сразу становится холодноватой, вялой и не очень убедительной при всей своей правильности.

Мне кажется, что Е. Карцевой не всегда удается по-писательски персонифицировать для себя те явления, те социальные силы, которые можно прямо обвинять в происходящих на наших глазах попытках

растления душ и геноциде высокой культуры. Бесспорность и заведомость ответа на вопрос о виновнике в данном случае идет не на пользу, снимая остроту и притупляя мысль. Конечно, во всем виноват «его преподобие» капитализм, о чем тут спорить! Но капитализм не итог чего-то злого умысла, он неизбежный этап истории. И в анализе общих причин «массовой культуры» у ученых (у Е. Карцевой тоже) зло зачастую в какой-то мере начинает приобретать безличные черты стихийного бедствия.

Кого или что следует винить за эту духовную пандемию? Средства массовой информации? Но разве от сосуда зависит, что в него наливают? Может быть, во всем повинны условия жизни, при которых у рядового человека развивается страх перед будущим, чувство незащитности перед гигантскими социальными силами и т. д.? Но это же фактически признание неизбежности «массовой культуры» на данном этапе истории, а стало быть, и бесполезности сопротивления. Надо переждать, и все. А переждать нельзя! Одержав победу, кичевое сознание даст человечеству совсем иной вариант будущего, чем хочется нам с вами. Сам «массовый человек», обыватель, во всем виноват? Да, его есть за что упрекнуть. Конечно, сначала обывателя формируют при помощи пошлости, но потом уж он сам начинает беспощадно душить все живое. И все-таки с точки зрения истории он жертва. Им манипулируют!

А кто манипулирует? Конечно же, власть имущие, владельцы газет и телекомпаний, сенаторы и миллиардеры. Они хозяева буржуазного общества, с них главный спрос. С одной стороны, вроде бы все это очевидно, как день, но ведь давно отмечается (и в книгах Е. Карцевой тоже) тот факт, что в странах «массовой культуры» преуспеяние, политическая карьера и т. д. все более и более обеспечиваются именно стандартностью духовного мира. И эта омассовляющая селекция идет на всех уровнях — снизу доверху. «Сотрудникам, примерно выполняющим все требования фирм, обеспечено продвижение вверх по служебной лестнице. Не соблюдающие их под теми или иными предлогами изгоняются». Тот же триумф посредственности наблюдается и на высшем уровне. Кандидат в президенты ныне «должен думать или, во всяком случае, показывать, что он

думает так же, как рядовой избиратель». Когда серия комиксов «Сиротка Анни» в середине 40-х годов была прервана, Генри Форд срочно отправил в адрес организаторов выпуска взволнованную телеграмму: «Сделайте невозможное, чтобы найти Анни». Притворство? В какой-то степени. Но привычки, как известно, довольно быстро становятся второй натурой. Так манипулируют ли злодейски буржуазные лидеры чьим-то сознанием или просто отстаивают свои собственные взгляды и вкусы, что никому, как принято считать, не возбраняется? Но тогда и тут мы видим не столько виновных, сколько опять же жертвы «массовой культуры».

Говорят: понять — значит, наполовину простить. Но в следствии по делу «массовой культуры» это не годится. Тут понимать надо, а прощать нельзя! Нетрудно разобраться в том, как оплетают золотыми щупальцами талантливых художников, как вынуждают их, изменив высокому искусству, служить пошлости. Больному проказой полагается сочувствовать. Но если он нарочно заражает окружающих, он преступник со всеми вытекающими из этого следствиями. Но уж совсем не может идти речь о каком бы то ни было сочувствии... проказе!

Вот тут и важно отделить больных от болезни, разносчиков от возбудителя, условия и последствия от причин. Думается, что в нашем случае этому может помочь вычленение понятия буржуазности. Культура капиталистического общества — огромный конгломерат вечного и преходящего, общечеловеческого и классового, прогрессивного и реакционного... Но буржуазность культуры двух знаков внутри себя не содержит. Это духовная проказа, это враг активный и агрессивный, которого надо узнавать в лицо под любой маской, с которым не может быть никаких компромиссов.

Буржуазность — это вектор, это качество, это позиция по отношению к жизни. С ней мы сталкиваемся в идеологии, в системе ценностей (материальных и духовных), в образе жизни, в вкусах... Если я покупаю машину, чтобы возвыситься над окружающими, я буржуазен. Если я почтительно пожимаю руку влиятельному казнокраду, я буржуазен.

Конечно, понятие буржуазности расширяет границы разговора о «массовой культуре». Но зато указывает точные коорди-

наты интересующей нас проблемы на фоне жизни, позволяет увидеть противника целостно. А этого порой, как мне кажется, не хватает работам Е. Карцевой. Элитарная культура, к примеру, наряду с «массовой» в первой книге рассматривается как нечто равномасштабное демократической культуре. Но элитарное и массовое в современном буржуазном обществе — лишь две стороны одного и того же явления, совместно противостоящего демократическому направлению. И то и другое — сменные лики буржуазности. Антагонизм их декоративный. Не случайно западные снобы увлеченно вводят «моду на пошлость», демонстративно восторгаясь наиболее карикатурными явлениями кича («кэмп»). Думается, раскрытие этого внутреннего родства за ширмой кажущегося антагонизма весьма способствовало бы выявлению стержневой сути «массовой культуры»...

Такие выходы за пределы обозначенной в заглавии проблемы, как нам представляется, не только усилили бы в книгах их публицистическое начало, но могли бы добавить им сюжетности, органичности структуры. Пока в книгах все-таки преобладает описательный принцип — последовательно рассматриваются и оцениваются проявления «массовой культуры» в живописи, кино, на телевидении, в печати, рекламе, быту и т. д. В артгалереи это называется стрельбой по площадям, применяющейся, когда точные координаты ключевых объектов противника не установлены. Буржуазность, увы, в своих проявлениях неиссякаема, бороться с каждым фонтанчиком пошлости в отдельности — занятие достаточно безнадежное.

Не очень убедительным выглядит и оптимизм последней фразы книги «Кич, или Торжество пошлости»: «...моды приходят и уходят, а подлинное искусство остается». Подлинным искусством кичу грозить — все равно что вирус запугивать здоровыми клетками. Он, вирус, этими клетками ведь и жив, он научился заставлять их работать на себя.

Конечно, грозное «пророчество» А. Блока, записанное в его дневнике 8 июля 1917 года, остается в силе:

«Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией. Вульгаризация не есть демократия. Со временем народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал

его ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего... интеллигентского недомыслия хотел к нему «спуститься». Народ — наверху, кто спускается, тот проваливается».

Но в деле о покушении на культуру, ко-

торое будет вынесено на суд народа, суд истории, пассивных свидетелей быть не должно.

Высокое искусство само себя не спасет, если мы его не спасем. И себя тоже.

А. НУЙКИН.



## К ПОЗНАНИЮ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

Ю. А. Александровский. Глазами психиатра. М. «Советская Россия». 1977. 224 стр.

**М**не не приходилось писать о научно-популярных книгах, хотя, естественно, по своим темам многие привлекали мое внимание. Уменьше рассказать об основах той или иной науки читателю-неспециалисту, рассказать увлекательно, ни в чем не отступая от строгости в изложении сути предмета, не всем доступно. Упрощение не прибавляло от скуки. И не удивительно, что у иных моих собратьев по литературной деятельности к научно-популярным книгам создавалось отношение как к скучным отчетам. Но вот в последние примерно два десятилетия я замечаю в литературной среде все большую тягу не просто к чтению, но и к глубокому изучению научно-популярных книг. Да и широкий читатель проявляет к ним все больший интерес.

Не берусь объяснять, почему это происходит, однако «интрига» научного поиска, фабула рождения, развития, становления или крушения той или иной научной концепции для многих наших современников оказываются очень интересными. И нужными. Не действует ли здесь такой огромный «сюжет» самой жизни, как научно-техническая революция?

Особый интерес привлекают книги, написанные крупными специалистами о своем деле. Такие книги приобщают к науке многих людей. Уверен, что в конечном счете это приносит пользу не только читателю, но и самой науке.

Обо всем этом думалось при чтении не так давно вышедшей книги доктора медицинских наук Ю. А. Александровского «Глазами психиатра», книги по самому заданию научно-популярной. Признаюсь, я читал ее не без напряжения, в иных местах приходилось возвращаться к уже прочитанному. Но вот перевернута последняя страница, и я чувствую себя обогащенным в понимании не только специального вопроса,

но и некоторых сторон жизни и поведения различных людей. Автор дал мне возможность взглянуть на проблемы одной из сложнейших областей естествознания взглядом опытного специалиста, умеющего комментировать историю развития научных представлений о болезнях души человека.

В книге последовательно и доходчиво излагаются важнейшие выясненные наукой закономерности психической деятельности в нормальном состоянии и при болезни. Читатель находит здесь самые современные объяснения биологических и психологических «механизмов», узнает о границах психического здоровья и болезни, о проявлениях неврозов и их профилактике, знакомится с той большой научной работой, которая ведется в лабораториях и клиниках всего мира по созданию новых психофармакологических средств. Однако это далеко не все, что дает книга Ю. А. Александровского.

Уже в авторском предисловии и в специальном разделе «О враче-психиатре» мы знакомимся с особенностями этой трудной, почетной профессии, требующей особого проникновения в специфику своей области знания, исключительной по социальной ответственности за судьбу больного. Психиатрия — молодая наука, но, как показывает Ю. А. Александровский, она имеет не только свою теоретическую основу, но и собственные методы обследования и особые терапевтические возможности. Сомневающимся в истинности психиатрического диагноза непросто объяснить методологию и методику клинической психиатрии. «Да вряд ли это нужно всякий раз делать, — пишет Ю. А. Александровский. — Врачам, в том числе и психиатрам, необходимо верить. Ведь когда речь идет о врачебной помощи, многие становятся и советчиками, и судьями, и прорицателями. Забывают при этом, что компетенция любого человека, не

являющегося специалистом, исчерпывается или случайно полученными сведениями, или личным, далеко не полным опытом.. Научно обоснованная система знаний, дающая необходимые права оценки здоровья человека и вмешательства в жизнь больного, может быть только у врача». Книга «Глазами психиатра» знакомит с высоким профессиональным мастерством современного психиатра, она усиливает доверие к психиатрии. В этом ее несомненное большое значение для самого широкого читателя. Автор дает возможность как бы заглянуть внутрь современного отделения для психически больных и убедиться в том, что оно мало чем отличается от терапевтических, неврологических и других отделений обычных больниц. Обратиться за помощью к психиатру, обратиться вовремя — для больного это значит начать лечение своевременно.

В книге есть глава, которая называется «Талант, творчество и психические расстройства». В ней автор проводит на основании современных научных представлений сложный анализ возможных связей между чертами характера человека, степенью его одаренности и своеобразием его творчества. Знание основ психической жизни человека в норме и патологии может содействовать в определенных случаях угадыванию особенностей творческой индивидуальности. Ю. А. Александровский анализирует творческую эволюцию многих выдающихся деятелей науки и культуры, показывая зависимость роста таланта от социальных условий, в которых проявляет себя творческая личность. В этом анализе автор идет от известного утверждения Карла Маркса о том, что не каждый, в ком заложен талант Рафаэля, сделаете им на самом деле. Это зависит от социальной организации общества и, по выражению Маркса, от спроса на тот или иной вид человеческого труда.

Автор книги стремился подчеркнуть у творческих людей в самых разных областях деятельности наиболее типичные личностные черты. Он особенно обращает вни-

мание на осознаваемую, волевою и неосознанную установку к выполнению замысла, повышенные впечатлительность и воображение, не всегда видимую постоянную целеустремленную работу мысли. Отмечая оригинальность (нестандартность) чувств, мыслей, поступков у многих по-настоящему талантливых людей, Ю. А. Александровский с большим сочувствием говорит о естественном желании окружающих всячески беречь талант.

Каково взаимоотношение творческой деятельности и психических расстройств — ответ на этот вопрос, имеющий непосредственное отношение к пониманию условий развития творческого дарования человека, составляет содержание особого раздела книги Ю. А. Александровского. Вопрос тем более существенный, что можно назвать немало известных писателей, художников, музыкантов, страдавших психическими заболеваниями. Анализируя течение их болезни и сопоставляя его с творческой продуктивностью, автор показывает, как проявления таланта в отдельных случаях уживаются с психической болезнью. История жизни выдающихся деятелей науки и искусства, страдавших психическими заболеваниями, свидетельствует о том, что не болезнь порождает талант и творческую активность, наоборот, она сдерживает развитие, доводя их до истощения. Мощь таланта утверждает себя в душевном здоровье.

В заключение этого моего отклика на книгу Ю. А. Александровского не могу не сказать, что я не специалист в его области и имеющиеся в книге упущения профессионального плана (если они есть) для меня просто незаметны. Однако познавательная сторона работы Ю. А. Александровского оказалась для меня столь значительной, что захотелось сказать об этом и привлечь к книге «Глазами психиатра» внимание не только литераторов, но и широкого круга читателей.

**В. ПЕРЦОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ВИКТОР БЛИЗНЕЦ.** Молчун. Повести. Авторизованный перевод с украинского Е. Мовчан. М. «Молодая гвардия». 1978. 335 стр.

Украинская литература вызывает постоянный интерес многонационального всесоюзного читателя. Нередко книги украинских писателей появляются на родном языке и русском почти одновременно. Это касается не только известных, маститых авторов, но и талантливых молодых писателей.

Свидетельством заботливого внимания может служить Государственная премия, присужденная недавно поэту Борису Олейнику. Массовыми тиражами ежегодно выходят книги молодых украинских литераторов в «Молодой гвардии». Новые повести Виктора Близнеца — одно из последних таких изданий.

Виктор Близнец принадлежит к поколению, на долю которого, как пишет он сам, «выпал кусочек бесконечно радостного довоенного детства... Но всю эту радость, как потом многие события жизни, заслоняет одно — война». Она так и осталась тем главным событием, которое определило дальнейшую жизнь, судьбу. И не удивительно, что книги о войне, о военном детстве, о том, как мальчишки становились людьми, как война, трудности и лишения помогли им в этом, лучшие у В. Близнеца.

О военном детстве написано много, и все же каждую новую вещь прочитаешь с жадностью, потому что, рожденная горькой памятью, она кладет еще один штрих на суровом военном полотне.

Мерзли, голодали, боролись, надеялись — каждый по-своему. Впрочем, в повестях Близнеца важно и интересно не то, что происходило, что стало с героями, а то, какими они стали. Это ощущение идет оттого, что сюжетной, событийной стороне автор как бы не придает значения. Там же, где он пытается сюжет заострить (история поимки полицая Федора Кудима — «Землянка») или усложнить (тщетно связывавшая по контрасту два рассказа о двух разных женщинах — «Молчун»), он, как мне кажется, терпит неудачу. В первом случае не хватает мотивировок, объясняющих поступки героя, во втором рассказы соединяются почти механически, да и слишком прямолинейным, назидательным выглядит противопоставление двух героинь.

Но главное в повестях та пронзительность, с которой Близнец показывает жизнь села в последние дни оккупации и первые дни освобождения, измученных страхом и голодом, но не растерявших своей доброты женщин, неунывающих стариков и мальчишек, дух братства и непобедимости. Все это написано зримо, сочно, и тут, наверное, немалая заслуга переводчицы Е. Мовчан, чутко, бережно умеющей передать и лиризм, и мягкий юмор Близнеца, и музыкальность его интонации.

Мальчишки вообще любимые герои писателя. Мальчишки — с пагубной страстью к оружию, выдумщики, смешливые и среди этого ада не чувствующие себя обездоленными. Притом именно деревенские мальчишки, выросшие на речке да среди лесов, сызмальства понимающие крестьянский труд, землю-матушку. И хлебнувшие горя, какого хватит на всю будущую жизнь.

Ребята эти взрослеют, нет — мужают на глазах читателя. Еще бы — чего только им не пришлось увидеть и пережить. Яшка Деркач, первый жених в селе, просит Вовку и Леся: «Вот что, братва... Приглашаю, значит, вас на свадьбу. Будьте моими друзьями, больше никому. Пойняли?...». В этом юмористическом эпизоде таится большая горечь: вот они, оставшиеся в селе мужчины! И тем не менее закрываешь книгу с прекрасным чувством уверенности: если мир будет стоять на таких мужчинах, он будет стоять крепко.

Э. Сергеева.



**АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ.** Рукотворное море. Рассказы. М. «Советский писатель». 1978. 294 стр.

Сборник рассказов Александра Письменного «Рукотворное море» готовился к печати уже после кончины автора. Быть может, сам он несколько иначе построил бы композицию книги. Основную ее часть составляют произведения 1966—1970 годов. Вряд ли стоило присоединять к ним вещи, которые были написаны много раньше: очень уж у них различны и стиливая фактура и, главное, звучание голоса рассказчика. Впрочем, иронические вкрапления в сборнике немногочисленны и не слишком нарушают его цельность.

Эта цельность определяется несколькими моментами. Почти все рассказы, помеченные последними годами жизни писателя, ведутся от первого лица. Иногда они открыто автобиографичны, в других случаях автор пользуется подстановкой. Причем это не очередная вариация общеизвестного и традиционного литературного приема, а очевидное и в своем роде подчеркнутое использование личного жизненного опыта автора. Предельно искренняя и сугубо доверительная интонация безраздельно господствует в сборнике.

А. Письменный вспоминает только быстрое и повседневное, время в целом и маленькие людские тропинки, пересекающие его бесконечные пространства. Из сотен и сотен зорко подмеченных мелочей и деталей складывается жизненная среда, в глубинах которой, как в рамках точно и убедительно разработанной театральной мизансцены, движутся и сплетаются людские судьбы.

...«Маленький мальчик стоял на углу Пушкинской и Бассейной и встречал Октябрьскую революцию», — повествует автор в рассказе «Детство», который открывает сборник. Это странное на первый взгляд соотношение великого события и обычной топографии города, где вырос герой рассказа, чрезвычайно характерно для книги. Такого рода субординация системы образов то и дело встречается в ней. Вот и для мальчика Пети, главного героя «Детства», его родной Харьков был в тот момент всем миром. Точно так же московские Сокольники первых послереволюционных лет, куда долгим маршрутом «шел 20-й номер трамвая», — это в изображении Письменного совершенно особый и неповторимый мир со множеством своих характерных черточек и представлений, рождающих островеобразное чувство жизни. У него есть свой небосвод, свои радости и сложности.

Повседневные детали и подробности становятся изначальной жизненной стихией, из которой вырастает все вплоть до психологического рисунка образов и глубинных концепций общественного порядка. Вся композиционная структура лучших вещей сборника достаточно красноречиво об этом свидетельствует.

Мерилом во всех поворотах сложных и противоречивых жизненных ситуаций служит у А. Письменного прежде всего нравственная логика. Именно она обладает в книге строгой и безоговорочной определенностью и потому-то полностью сливается с авторским голосом. И вот этот всегда требовательный и бескомпромиссный в своей взыскующей человечности моральный критерий применяет автор, повествуя о сложных, иногда парадоксальных жизненных коллизиях, которые решительно не поддаются прямолинейному истолкованию и способны поставить в тупик любителей стереотипных суждений о пороках и добродетелях. Подобные ситуации особенно очевидны в тех рассказах, где идет речь о резких и неожиданных крайностях людского поведения: они оказываются как бы опытным полем для острых экспериментов во взаимоотношениях с жизнью. А испытываются на такой манер способы достижения душевной гармонии, внутренней свободы. В рассказе «Фарт» блистательный и всеми уважаемый профессор-криминалист Евгений Андреевич Ван-дер-Беллен совершенно неожиданно для окружающих покидает все свои научные и служебные посты и становится золотоискателем. Своему новому образу жизни бывший профессор дает задиристо-убежденное оправдание: «Я тут ни от кого не завишу. Что мне фарт пошлет, то мое...».

Спутник рассказчика, инструктор райкома, резко и жестко осуждает профессора, толкая его поведение как победу собственнических инстинктов, как лихую, дурманящую сознание страсть к наживе. Но сам рассказчик не торопится с окончательными выводами. Он напряженно и остро размышляет. Может быть, профессор пережил

душевный надлом и лечил его крайними мерами? Попал в беду и искал любого выхода? Хотел любой ценой достигнуть ощущения «свободы воли», о которой в рассказе заходит сложный и драматический разговор?

Вслед за автором читатель погружается в подобные размышления. Они не прикованы к одним лишь конкретным ситуациям и охватывают широкий круг жизненных ценностей. Рассказ за рассказом, история за историей, а главный авторский интерес, несмотря на различие обстоятельств и персонажей, остается неизменным: увидеть душевный свет в людских поступках и помыслах, понять в хитросплетениях современного мира истоки добра и красоты. Холодный расчет, неспособность жить чужой болью и радостью и чувствовать в «толчее жизни», в потоке «житейских мелочей» движущую силу высших человеческих побуждений — это, по Письменному, самый тяжкий недостаток, «формула всего бессердечного», как сказано в заключительных строках тонкого и мудрого рассказа «А какая была корова?».

В сборнике «Рукотворное море» за свободно-разговорной интонацией повествования, за его бесконечными, порой, как кажется, случайными деталями и подробностями в изображении жизни ощущаются и острота мыслей автора, и его душевная ранимость, и удивительно тонкая, светлая сердечность, которая придает рассказам Александра Письменного особую привлекательность и обаяние.

Александр Каменский.



**ВАЛЕНТИН СИДОРОВ.** На вершинах (Творческая биография Н. Рериха, рассказанная им самим и его современниками). М. «Советская Россия». 1977. 176 стр.

Автор рецензируемой книги — поэт, и в моей заметке, как она ни мала, мне хочется найти место для одного стихотворения, принадлежащего его перу:

Ты — человек.  
Ты — отблеск откровенья.  
Ты —  
В непроглядной вековой мгле  
Светящаяся точка единья  
Меж всеми существами на земле.  
  
А если гаснет  
Эта точка света  
И вот стоит  
У бездны на краю  
Слепая,  
Омертвевшая планета —  
Ты, значит, предал  
Миссию свою.

Стихотворение привлекло меня и своей серьезной, планетарной темой, и своей мыслью, и одухотворенностью материалистического мироощущения, и даже своей решительной, дидактически-властной интонацией. Как мне кажется, поэт, волнуемый такого рода философскими размышлениями (а приведенное стихотворение достаточно характерно для Валентина Сидорова), обязательно должен был потянуться к Николаю Рериху и, наверное, что-то воспринять, чему-то научиться у него.

Именно как носителя света, как «отблеск откровенья» — творческого откровенья вечных сил природы — и вместе с тем как существо, наделенное свободой воли и несущее всю полноту ответственности за свои деяния, рассматривал человека Рерих. Этот философско-нравственный пафос замечательного мастера русской культуры и стремится раскрыть в рецензируемой книге Валентин Сидоров.

Больше всего интересуют автора стихи Рериха. Говоря откровенно, я, читатель, был бы рад, если бы автор свою работу целиком и полностью посвятил творчеству Рериха-поэта. У нас еще нет монографии на эту тему. Автор же пытался охватить всю творческую биографию Рериха и многое преподнес в книге слишком фрагментарно; особенно бегло сказано о Рерихе-живописце.

И все же перед нами хорошая, оригинальная книга. Автором нарисован образ подвижника, борца за лучшие гуманистические традиции и духовные ценности человечества, образ человека, действительно знавшего миссию свою и подчинившего ей всю энергию своего неукротимого духа.

Валентин Сидоров увидел и по достоинству оценил необыкновенно сложное и вместе с тем гармоническое соединение в поэзии Рериха двух мощных духовных традиций — русской и индийской. Рерих был, как показывает автор, поэтом-мыслителем, духовно обогатившим себя эстетически, эмоциональными, пластически-образными элементами древней пантеистической философии, очень близкой к материализму, поэтом, остро ощутившим — подобно Тютчеву или Рабиндранату Тагору — «дыхание чудесного во всем, что окружает человека».

Созданный Валентином Сидоровым портрет многогранен. Рерих предстает перед нами как поэт, утверждающий царственность творческого труда, прославляющий пытливість человеческого духа, глубоко понимающий неразрывную связь современности с предшествующими столетиями. Рерих предстает как поэт, прославляющий радость жизни. Автор нашел удачную формулу: «космический оптимизм» Рериха.

Один из важнейших выводов автора книги: Рерих — славный художник-патриот России и одновременно художник, доказавший непосредственно своим творческим опытом с наглядностью поистине уникальной плодотворность и перспективность сближения различных национальных культур. Приобщение к живописи и поэзии Николая Рериха с его «героическим реализмом» (так он сам называл свой метод) — дело не только увлекательное и дарующее эстетическую радость. Этот необыкновенный мастер своим опытом философско-поэтического восприятия и воссоздания действительности, своим органическим усвоением культурных традиций двух великих народов и всего человечества преподносит современным поэтам интереснейший урок. У Николая Рериха есть чему поучиться...

Н. Жегалов.



**А. В. СИДОРЧЕНКО.** Байрон и национально-освободительное движение на Балканах («Восточные повести»). Издательство ЛГУ. 1977. 120 стр.

Не так давно усилия наших ученых-байроноведов были направлены на то, чтобы сформулировать целостные характеристики, охватывающие весь путь жизни поэта-романтика и все его произведения. Таковы ценные книги о Байроне, принадлежащие перу А. А. Елистратовой, М. С. Кургиян и А. С. Ромм. Позднее исследователи предпочитали дифференцированный анализ отдельных жанров и этапов идейной эволюции Байрона, примером тому служат книги Н. Я. Дьяконовой «Байрон в годы изгнания» и «Лирическая поэзия Байрона».

Очерк А. В. Сидорченко «Байрон и национально-освободительное движение на Балканах («Восточные повести»)» принадлежит к тому же разряду трудов. Автор стремится воссоздать черты исторического и творческого сознания поэта, останавливаясь на так называемых «Восточных повестях», именуемых обычно поэмами, которые созданы в 1813—1815 годах. Было принято считать, что среда, в которой действуют герои «Гяура», «Абидосской невесты», «Корсара» и других поэм этого цикла, — условный экзотический фон. По распространенному мнению, эти персонажи помещены автором в столь необычную обстановку для того только, чтобы подчеркнуть их одиночество и самоотчужденность от враждебного им мира.

А. В. Сидорченко открывает иные черты в поэмах Байрона. Широко привлекая исторические, социологические и мемуарные источники, ленинградская исследовательница обнаруживает, что романтизм Байрона не исключал, а подразумевал в известных пределах точное воспроизведение исторической и этнографической среды. Более того, исследовательница убедительно говорит о прототипах некоторых из героев, например Гяура, Конрада в «Корсаре» и Селима в «Абидосской невесте», после чего они не могут уже рассматриваться только как самохарактеристики Байрона. Видимо, структура этих образов сложнее: в них синтезированы настроения и оценки, присущие поэту-романтику, с психологией и действиями прототипов, изученных Байроном во время его путешествия на Восток. Но вот того, что определяет внутренний накал восточного цикла — байронического начала, воплощенного в героях, — автор едва коснулся, видимо полагаясь на то, что этот компонент достаточно изучен. Вряд ли это оправданно.

Бегло упомянуто и о сюжетно-композиционной и речевой системах разбираемых произведений. Не этим ли объясняется некоторая поспешность в отнесении восточных поэм к жанру повести? Впрочем, сам автор не совсем уверен в точности новой дефиниции, поскольку на страницах 100—112 одни и те же произведения именуется то повестями, то поэмами.

В рецензируемой книге читатель найдет развернутый очерк того, как возник и раз-

вивался в Западной Европе интерес к Востоку. Благодаря этому восточные поэмы Байрона выступают как звено в цепи, как этап в художественном освоении великой темы. Еще больший интерес представляет анализ многослойного отражения национально-освободительной борьбы на Балканах в поэзии Байрона. Эта часть книги позволяет сделать далеко идущие выводы о социальных горизонтах романтизма.

**И. Дубачинский,**  
доктор филологических наук.

Даугавпилс.



**С. ПОЖАРСКАЯ.** От 18 июля 1936 — долгий путь. М. «Молодая гвардия». 1977. 174 стр.

В мировой историографии имеется огромная литература о гражданской войне в Испании, о героической борьбе ее народа за демократию, против нарождавшегося фашизма. С. Пожарская рассматривает события тех лет в ретроспективе сегодняшнего дня, когда эрозия франкизма, этой специфической разновидности фашизма, — совершившийся исторический факт, когда испанское общество вступило на путь избавления от этой ужасной болезни, иными словами — когда в Испании развернулась духовная и политическая реконкиста. Но именно новые горизонты, открывшиеся перед страной после смерти диктатора, подчеркивают жгучую актуальность исследования явлений, предшествовавших падению в бездну.

Как и почему франкизм временно победил в Испании? Был ли он неизбежным следствием испанской истории, как пытались представить апологеты режима и его главный архитектор, любивший драпироваться в тогу традиционализма, верности «заветам прошлого»?

Уже после того, как республика была удушена, а режим гарроты стал для Испании повседневностью, Франко выдвинул тезис, который неизменно варьировался в идеологических декларациях фашизма. «Победила Испания, — утверждал каудильо, — а поражение понесла только анти-Испания». В эту «анти-Испанию» реакционные правители зачислили все, что было передового и прогрессивного в стране, и принялись с механическим упорством уничтожать эти силы. «Масштабы репрессий были таковы, — пишет С. Пожарская, — что, казалось, франкисты намеревались преодолеть пресловутый «кризис нации» и разделить на Испанию и анти-Испанию путем физического уничтожения или строгой тюремной изоляции не только своих активных противников, но и всех не поддающихся «единению во франкизме» элементов». Вместе с поверженной «анти-Испанией», как это понимали франкисты, были отсечены и олицетворявшие ее государственные и общественные институты: конституция, кортесы,

политические партии и добровольные профсоюзы, а также свобода слова и печати.

Характерно, что в стремлении представить режим «традиционно испанским», Франко в качестве наиболее подходящей для «новой Испании» модели выдвинул «национальную монархию» Изабеллы и Фердинанда, которые правили в эпоху фанатической нетерпимости, олицетворенной в кошмарах инквизиции. Основополагающей исторической традицией для Франко и его слуг стали самые темные, реакционные тенденции в испанской истории. Таким образом, все погути режима выглядят историческим свелесью лишь к безвкусной помпе псевдоисторических политических спектаклей.

Известна также роль, которую сыграла в установлении владычества Франко интервенция фашистских государств. После разгрома фашизма во второй мировой войне режим полностью использовал в своих интересах международную напряженность, поддержку мировой реакции. Но как ни балансировал франкизм, ему не удалось бесконечно противостоять общим тенденциям развития как Испании, так и мира в целом.

Конечно, борьба прогрессивных сил Испании за свободу и демократию не прекратилась и после гибели республики. Но путь борьбы был поистине долгим и трудным. «Как показал опыт истории страны, — пишет автор, — должно было пройти гораздо больше времени, чем это казалось не только оптимистам, но и пессимистам из лагеря оппозиции, чтобы из-под более плотного, чем представлялось, пласта перла поражения вновь вспыхнул огонь сопротивления. Этот огонь вспыхнул с новой силой в сердцах нового поколения...»

Кончина престарелого диктатора символически совпала с агонией режима. В книге С. Пожарской во всей сложности реальной обстановки обрисован противоречивый процесс развития страны после Франко, когда профранкистские круги с их «бункерной» психологией делали все, чтобы не допустить каких-либо радикальных перемен. Вместе с тем в работе показана и интенсивная консолидация тех сил, которые только и могли заставить верхи сделать заметные шаги по пути демократизации социально-политической жизни страны. Инициатором и деятельным проводником объединения демократических сил была Коммунистическая партия Испании.

Процессы, которые затронуты в книге С. Пожарской, не завершены. В том, что перед нарождающейся демократией в Испании стоят проблемы, требующие безотлагательного решения, убеждено большинство испанцев. Долгий путь борьбы не окончен. Ясно, однако, и это хорошо показано в рецензируемой работе, что франкизм с его институтами и политической практикой безвозвратно ушел в прошлое.

**Б. Марушкин,**  
доктор исторических наук.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Доклад о мире на Втором Всероссийском съезде Советов.— О внутренней и внешней политике Республики. (Отчет ВЦИК и СНК IX Всероссийскому съезду Советов) 48 стр. Цена 5 к.

**В. И. Ленин.** Последние письма и статьи. 71 стр. Цена 10 к.

**В. И. Ленин.** Доклад о революции 1905 года. 23 стр. Цена 3 к.

**Л. И. Брежнев.** Целина. Воспоминания. 79 стр. Цена 20 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**С. Айни.** Повести. Публицистика. Перевод с таджикского. 479 стр. Цена 1 р. 90 к.

**И. Брагинский.** Садриддин Айни. Жизнь и творчество. Изд. 2-е, дополненное. 246 стр. Цена 75 к.

**В. Бубнис.** Цветение несезонной ржи.— Жаждающая земля.— Три дня в августе. Романы. Перевод с литовского. 607 стр. Цена 2 р. 80 к.

**М. Дудин.** Клубок. Стихотворения и поэмы. 527 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Улит.** В службу. Рассказы. Перевод с латышского. 384 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Н. Федоренко.** Кавабата Ясунари. Очерк. 270 стр. Цена 3 р. 40 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**С. Бонди.** О Пушкине. Статьи и исследования. 477 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Булгаков.** Белая гвардия.— Театральный роман.— Мастер и Маргарита. Романы. Предисловие К. Симонова. 813 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Я. Гашек.** Рассказы. Перевод с чешского («Классики и современники. Зарубежная литература») 304 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников.** В 2-х тт. Т. 1. («Серия литературных мемуаров») 621 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Н. Шамота.** О гуманизме, о свободе. Проблемы литературы социалистического реализма. 527 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Яшпал.** Одна сигарета. Рассказы. Перевод с хинди. 245 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Липатов.** Игорь Саввинович. Роман. 398 стр. Цена 1 р. 80 к.

**В. Личутин.** Душа горит. Из хроники поморской деревни. 543 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Р. Мир-Хайдаров.** Оренбургский платок. Повести и рассказы. 223 стр. Цена 65 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Аренштейн.** В пятнадцать верстах от Парижа. Документальная повесть. После-словие Г. Жука. 190 стр. Цена 50 к.

**Г. Машкин.** Наводнение. Повести и рассказы. 206 стр. Цена 50 к.

**С. Михалков.** Литература, время, жизнь. Публицистика. 287 стр. Цена 70 к.

**И. Радунская.** Предчувствия и свершения. Рассказы о научном поиске. («Люди. Время. Идеи») 350 стр. Цена 75 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Б. Евгеньев.** Голос друга. Повесть о книге. 138 стр. Цена 20 к.

**А. Иванов.** Жизнь артиста. 288 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Ю. Оклянский.** Повесть о маленьком солдате. 240 стр. Цена 50 к.

**В. Песнов.** Речка моего детства. («Писатель и время») 96 стр. Цена 15 к.

## «НАУКА»

**Актуальные проблемы социалистического искусства.** Сборник статей о художественной культуре социалистических стран Европы. 287 стр. Цена 1 р. 90 к.

**На ступеньках в солнцепек.** Рассказы писателей хинди. Переводы. Составители А. Вархударов и А. Сенкевич. 200 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Сказки адыгейских народов.** Переводы. Составление и вступительная статья А. Алиевой. («Сказки и мифы народов Востока») 406 стр. Цена 2 р. 30 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Армянские писатели о русской литературе.** Сборник. Ереван. Издательство Академии наук Арм. ССР. 230 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Г. Асатиани.** Классики и современники. Статьи. Тбилиси. «Мерани». 335 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Гитович.** Избранное. Стихи и переводы. Ленинград. 352 стр. Цена 85 к.

**Горький нижегородских лет.** Воспоминания Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 335 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Туркменский юмор.** Сборник переводов. Ашхабад. «Ылым». 215 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Рудани.** Лирика. Перевод с фарси. Душанбе. «Ирфон». 127 стр. Цена 15 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Режемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 24/XI 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 16/I 1979 г.  
Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)  
А 00851. Тираж 272.000 экз. Зак. 3918.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 0164.

Цена 70 коп.

70636